

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

М. КОЩЮБИНСКИЙ

М. КОЩЮБИНСКИЙ





# М. КОЦЮБИНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ

*Под редакцией*  
П. ТЫЧИНЫ и Н. УШАКОВА

---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА

# М. КОЦЮБИНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

*Перевод с украинского*



*Составитель I тома*  
*АЛ. ДЕЙЧ*





## ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее Собрание сочинений М. М. Коцюбинского состоит из трех томов.

В первый и второй томы входят избранные художественные произведения выдающегося классика украинской литературы — рассказы и повесть в двух частях «*Fata Morgana*». Таким образом, читатель сможет познакомиться с творчеством М. Коцюбинского — от его ранних рассказов до произведений последних лет жизни — и получить наиболее полное представление о творческом пути писателя.

Третий том Собрания сочинений включает критические и публицистические статьи М. Коцюбинского, а также избранную переписку. Этот материал, знакомящий читателя с широкой литературно-общественной деятельностью М. Коцюбинского, в значительной своей части впервые публикуется на русском языке.

Переводы с украинского выполнены по изданию Академии наук УССР, начатому в 1947 году (в пяти томах). Исправления в отдельных произведениях, сделанные в связи с новейшими текстологическими исследованиями, оговорены в примечаниях, помещенных в конце каждого тома. Примечания и пояснения, сделанные М. Коцюбинским, даются в сносках, в самом тексте.

Материал в первых двух томах расположен в хронологическом порядке. Даты написания помещены в конце произведения, причем в квадратные скобки взяты те из них, которые отсутствуют в рукописях автора.



## ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М. М. КОЦЮБИНСКОГО

Всем советским людям близко и дорого творчество классика украинской литературы Михаила Михайловича Коцюбинского, произведения которого переведены на многие языки народов нашей социалистической родины.

Имя М. Коцюбинского стоит в украинской литературе рядом с бессмертными именами Т. Шевченко, И. Франко, Леси Украинки.

Творческая деятельность Коцюбинского протекала в конце XIX и начале нашего века. С конца XIX столетия в истории украинской литературы начался новый этап. В годы подготовки и проведения великих классовых битв литература обогатилась опытом революционного движения народа. Наиболее передовые украинские писатели находились под благотворным влиянием идей марксизма, изучали труды классиков марксизма, переводили их на украинский язык, под их воздействием писали свои художественные произведения, пропагандировали революционные идеи в публицистических выступлениях.

Революционный подъем в России усилил освободительное движение угнетенных национальностей. Украинский народ, борющийся за свое социальное освобождение, все более активно выступал против царских ограничений, против национального угнетения во всех его формах. Естественно, что передовая украинская литература питалась мыслями и чувствами, стремлениями и надеждами народа, подымавшегося к революции.

Выдающиеся представители украинской прогрессивной интеллигенции: И. Франко, М. Коцюбинский, Леся Украинка — талантливые писатели, общественно-политические деятели, мыслители и публицисты — всегда обращались к русскому народу, к его прогрессивной, демократической культуре, считая, что освобожде-

ние украинского народа от гнета самодержавия произойдет в результате социалистической революции в России.

Дальнейшее развитие украинской демократической литературы, которая всегда шла плечо к плечу с передовой русской литературой, было возможно только на пути пролетарского освободительного движения. Огромную роль в направлении по этому пути демократических писателей Украины сыграл М. Горький, наставник и ближайший друг М. Коцюбинского.

Богатство идейного содержания, художественная самобытность передовой украинской литературы конца XIX — начала XX века наиболее полно проявились в оригинальном и сильном таланте М. Коцюбинского.

Один из самых трагических своих рассказов Коцюбинский назвал: «Что записано в книгу жизни». Все его произведения — это подлинно книга жизни, повествующая о том, как томился народ в условиях бесправия, эксплуатации, голода, как лучшие сыны народа гибли на виселицах, под пулями и саблями карательных отрядов, тысячами и тысячами ложились под ударами топоров «черной сотни».

В своих произведениях Коцюбинский — гневный обличитель всякого угнетения и бесправия, негодующий и призывающий к революционной борьбе. Но Коцюбинский был не только обличителем. Главнейшая его заслуга — изображение революционной силы украинского народа, его борьбы с социальным и национальным угнетением в эпоху первой русской революции.

Новая, счастливая жизнь цветет ныне в нашей стране. Она завоевана в боях и труде, добыта в нерушимом союзе народов страны социализма. За эту дружбу, за это единение братских народов всегда боролись лучшие народные писатели прошлого. О семье великой, вольной, новой писал Шевченко в самом сильном, самом задушевном своем стихотворении «Заповіт». Об Украине, которая будет сиять в кругу свободных народов, мечтал Франко. Коцюбинский, который был благоговейным поклонником и учеником великой русской культуры, также страстно боролся за братское единение народов России.

Разоблачая великодержавную националистическую политику царизма, Коцюбинский одновременно отстаивает общность интересов культурного развития русского и украинского народов.

«По нашему глубокому убеждению, — пишет он, — каждый дальнейший шаг в развитии украинского литературного языка будет достоянием общерусской литературы: совместное существование обеих родственных культур нам представляется могучим



условием культурного роста двух взаимно дополняющих одна другую народностей».

М. Горький любил и ценил украинского прозаика, как человека глубоко идейного, гуманного, как горячего патриота.

«Он очень часто говорил, — вспоминает М. Горький, — о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно...

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбинского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные ласковые глаза»<sup>1</sup>.

М. Коцюбинскому, писателю-революционеру, передовому деятелю угнетенной нации, жить было невыносимо тяжело. Но его не сломали силы реакции, вера в светлое будущее всегда побеждала. Он остался цельным человеком, безгранично преданным народу.

\* \* \*

Михаил Михайлович Коцюбинский родился 17 сентября 1864 года в Виннице, в семье мелкого служащего. Детские и юношеские годы писатель провел в местечках и селах Украины. Отец его не удерживался на службе, потому что ненавидел произвол и дикость царских чиновников и никогда не мог скрыть своей ненависти к ним. Он вынужден был часто переезжать из местечка в местечко, из села в село в поисках службы. Старший сын Михаил ездил вместе с отцом и видел все новые и новые картины крестьянской нужды и бесправия.

Большое влияние на развитие Коцюбинского оказало чтение революционной, политической и научной литературы, а также передовой русской и украинской художественной литературы. В автобиографии он пишет, что под влиянием чтения «стал на 13 году атеистом, а на 14 социалистом».

Еще в детстве Коцюбинский узнал горе и нужду. «Семейные несчастья (мать ослепла, а отец потерял службу, и наступила беда) сделали меня еще более сосредоточенным и серьезным...» — вспоминает он в автобиографии. Учиться он смог только в начальной школе, но, предполагая подготовиться экстерном в университет, усиленно занимался самообразованием.

В 1882 году семья Коцюбинских поселилась в Виннице. Местная молодежь организовала кружок, в котором читались запре-

---

<sup>1</sup> М. Горький, «Литературно-критические статьи». Гослитиздат, 1937, стр. 139—140.

ценные тогда произведения Чернышевского, Добролюбова, Белинского, Салтыкова-Щедрина. Взгляды Коцюбинского формировались под влиянием идей русской революционной демократии.

Уже с этих лет писатель стал подвергаться преследованиям жандармерии. «На 17 году, — вспоминает он, — я уже имел политический процесс, и с этого времени до последних дней жандармы не оставляют меня вне своей ласковой опеки».

Об отношении органов царской власти к писателю свидетельствует «Дело о сыне чиновника Михайле Михайловиче Коцюбинском», в котором дана характеристика революционных убеждений «поднадзорного»:

«По соглашению гг. министров внутренних дел и юстиции дознание по отношению к Коцюбинскому в марте 1886 г. было прекращено, но ввиду его сомнительной политической благонадежности за ним, по распоряжению департамента, 11 марта 1886 г. был учрежден негласный надзор».

«Негласный надзор» длился до самой его смерти, жандармы всячески преследовали Коцюбинского, постоянно шпионили за ним.

В начале 80-х годов М. Коцюбинский сошелся с группой народолюбцев; идеи народничества отразились известным образом в ряде ранних его произведений, но не имели решающего для него значения.

Хотя Коцюбинский начал писать еще в середине 80-х годов, но впервые в печати появился только в 1890 году, когда во львовском журнале «Правда» было напечатано его стихотворение «Наша хатка». В этом же году он познакомился с Иваном Франко. Между писателями установились искренние дружеские отношения. Коцюбинский просит своего старшего собрата по перу дать совет, высказать критические замечания.

«Поеду в деревню, — пишет Коцюбинский, — поселюсь там на некоторое время — и за работу. А там, как приготовлю что-нибудь, — pošлю Вам, помня обещание Ваше указать мне мои недостатки и наставить на путь».

Внимательно изучив творчество Франко, Коцюбинский написал статью-очерк о выдающемся украинском писателе.

В 1891 году М. Коцюбинский сдал экзамен на звание народного учителя и получил возможность осуществить свою мечту — пойти работать в село. Живя в селе Лопатинцы, он ближе знакомится с бытом крестьян, дружит с ними, ведет фольклорные записи. Впечатления этих лет отразились в рассказах: «Харитя», «Елочка», «Цеповяз», повести «На веру». Все эти произведения, а также

статьи и переводы начали систематически печататься в украинских журналах, — зачастую со значительными цензурными искажениями.

С 1892 до 1897 года Коцюбинский работал в комиссии, которая вела борьбу против вредителей виноградников — филлоксеры — в молдавских и крымских селах. В эти годы в сознании писателя произошли значительные сдвиги. В середине 90-х годов начался третий этап освободительного движения в России, возглавленный рабочим классом. В. И. Ленин в ряде выступлений нанес сокрушительные удары либеральным народникам, разоблачил их как лжедрузей народа. Выступления В. И. Ленина помогли массе революционной молодежи освободиться от народнических иллюзий. Победа марксистов над народниками нашла прямое отражение в передовой украинской литературе. Ссылный поэт, Павло Грабовский, сообщал в письме на Украину, что все передовое теперь развивается под флагом марксизма. Леся Украинка в статье 1897 года пишет, что многие на Украине, в том числе и она, считают рабочих наиболее благоприятной почвой для революционной пропагандистской деятельности. Отражение разгрома народничества видно во многих произведениях Коцюбинского 90-х годов, в первую очередь в рассказах «Хо», «Для общего блага» и других.

Оставив работу в филлоксерной комиссии, Коцюбинский некоторое время отдается журналистской деятельности, редактируя в житомирской газете «Волянь» отдел хроники. В серии очерков «Свет и тени русской жизни» Коцюбинский изображает неприглядную жизнь рабочих и крестьян России. О положении рабочего класса он писал:

«Времена рабства прошли, крепостничество отошло в область преданий, — а между тем рабы существуют и до сих пор.

Присмотритесь к жизни бездомного рабочего пролетариата, вечно живущего в атмосфере всяких «урезок», «вычетов», «недоплат», «штрафов», «тринадцатичасовых рабочих дней» и т. под. прелестей — и вам жутко станет за человека, за свободного гражданина страны...»

Несмотря на тяжелые условия цензуры, на контроль либерала-редактора, Коцюбинский пытается на страницах газеты поднимать острые социальные проблемы, протестовать против капиталистической эксплуатации, национального гнета и бесправия.

С 1898 года писатель непрерывно проживал в Чернигове и почти до самой смерти служил в статистическом бюро губернского земства, составлял сельскохозяйственные обзоры, редактировал «Земский сборник». Он группировал вокруг себя передовую черниговскую интеллигенцию, в частности организовал протест земских

служащих против расправы полиции с демонстрацией на Казанской площади в Петербурге в 1901 году.

Жандармы в эти годы усилили слежку за поднадзорным писателем. «Отношением от 12/VI начальник Черниговской губ. жандармского управления уведомил, что Коцюбинский принадлежит к группе лиц, оказывающих как нравственную, так и материальную помощь активным деятелям черниговских революционных кружков». (Из личного дела М. М. Коцюбинского в департаменте полиции за 1900 год.)

Мировоззрение писателя и его эстетические принципы окончательно сформировались в годы революционного подъема. Он принимал активное участие в литературной борьбе, выступал организатором прогрессивных писателей.

В 1903 году, приступив к изданию альманаха, он обратился ко многим украинским писателям с призывом «расширить и углубить темы из крестьянской жизни, а также обратить внимание на другие группы общества: фабричных рабочих, мир работников искусства, армию», он требует «верного рисунка» всей сложности социальной жизни. Как бы в ответ на декадентский альманах «Знад хмар і долини», он издает сборник «З потоку життя», самим названием подчеркивая принципиальное отличие своего направления от декадентства.

Коцюбинский ведет широкую переписку и личное знакомство со многими украинскими и русскими передовыми писателями — И. Франко, Лесею Украинкой, В. Короленко, Панасом Мирным, О. Кобылянской, В. Стефаником и другими.

В 1902 году, под влиянием рабочего движения, на Украине — в Полтавской и Харьковской губерниях, развернулось массовое движение крестьян. На материале этого движения Коцюбинский начал работу над повестью «*Fata Morgana*».

М. Коцюбинский, как и Грабовский, Леся Украинка, изучал и пропагандировал марксизм, был читателем и распространителем большевистской прессы. В личной библиотеке писателя было немало произведений классиков марксизма. В 1906 году Коцюбинский принимал участие в составлении и рассылке каталога книг, рекомендуемых для земских корреспондентов<sup>1</sup>. Самый значительный раздел каталога посвящен общественно-политическим вопросам. Тут пред-

---

<sup>1</sup> Статистические бюро земства подбирали добровольных корреспондентов из сельской интеллигенции и грамотных крестьян, в задачу которых входило давать статистические и прочие сведения. В виде вознаграждения земские корреспонденты получали популярные книжки и газеты.

ставлены такие названия: «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса. «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса, «Развитие социализма от утопии к науке» Энгельса, «Буржуазия, пролетариат и коммунизм» Маркса и Энгельса, «К деревенской бедноте» Ленина, «К пересмотру аграрной программы» Ленина (точное название у Ленина «Пересмотр аграрной программы рабочей партии»), «Победа кадетов и задачи рабочей партии» Ленина и другие.

Для жизни и творчества М. Коцюбинского революционные события 1905—1907 годов имели огромное, решающее значение.

Писатель развернул активную общественную деятельность, выступал с докладами и речами. Он пытался использовать черниговское либерально-культурническое общество «Просвіта» для ведения революционной работы в легальных формах; он стал председателем общества. Однако жандармы поняли тактику Коцюбинского. В одном из донесений писалось:

«С открытием общества во главе его стали тотчас же руководители, заподозренные или изобличенные в преступной революционной деятельности лица, благодаря чему деятельность «Просвіти» стала направляться к достижению революционных целей».

Во многих выступлениях, в письмах революционных лет Коцюбинский верно оценивает события, ожидая дальнейшего победного их развития. Он писал в ноябре 1905 года:

«Борьба идет упорная, страстная, каждый день выдвигает новые факторы на историческую арену, революция охватывает войска, в Севастополе сейчас идет настоящая война между войсками и войсками. У нас всюду преобладает такая мысль, что до того, как у нас наступит спокойная и культурная жизнь, весь старый политический строй будет сметен всеобщим восстанием... Все, без различия национальности, сосредоточивают свои силы, чтобы повалить общего врага».

Политическое чутье помогало Коцюбинскому правильно разбираться в движущих силах исторического процесса. В реферате, посвященном Ивану Франко (1908), Коцюбинский дал глубокий социальный анализ развития капитализма и классовой борьбы в Галиции, связал творчество Франко с этими процессами.

«...На глазах Франко происходит крупный социальный процесс. Процесс роста капитализма, победы капитала над трудом. Если раньше, при панщине, эксплуатация крестьянина находилась в стадии, так сказать, «натурального» хищничества, то при росте капитализма она принимает формы острой, смертельной борьбы».

Капитализм уже показывает свои когти, они растут и становятся острее. На деревню идут походом новые эксплуататоры, опутывают крестьянина долгами, забирают его хату, землю. Они захватывают в свои руки промыслы, строят фабрики, повсюду расставляют свои сети, как паук паутину. Вчерашний землепашец, хозяин, а сегодня пролетарий — крестьянин неминуемо попадает в эти сети и гибнет в неравной борьбе».

Наиболее ценным в творчестве Франко Коцюбинский считал то, что он открыто связал себя с борьбой эксплуатируемых, что в рассказах мы видим «самого Франко — Франко-борца, который не скрывает своих симпатий и антипатий».

Для определения эстетических позиций М. Коцюбинского характерно его отношение к декадентской, упаднической, националистической литературе. Он с сарказмом пишет о стихах украинского декадента Филянского, резко критикуя их за шовинизм, мистику, эротику. В рассказе «В дороге» он разоблачает увлечение символизмом, как характерную черту мещанского быта ренегатов.

В течение двух лет революции (1905—1906) Коцюбинский написал сравнительно мало, но зато как писатель-реалист обогатил свою память жизненными впечатлениями; все написанное после 1905 года так или иначе с этими впечатлениями связано.

В первой русской революции народу не удалось свергнуть общего врага всех национальностей — царизм. Началась пора реакции, которую Коцюбинский образно назвал «черной тишиной». Многочисленные нестойкие попутчики революции, которые в годы подъема стремились быть с народом, во время реакции очутились в болоте измены и ренегатства. Коцюбинский принадлежал к тому кругу наиболее последовательной передовой интеллигенции, которая сохранила веру в светлое будущее. В своих произведениях «В дороге», «Intermezzo» он клеймит ренегатов. Писатель продолжает чувствовать свою неразрывную связь с народом, особенно крепкую в дни народного лихолетия.

В эти годы произошло знаменательное событие в жизни Коцюбинского. Летом 1909 года он выехал в Италию для лечения. Он просил своего близкого знакомого и земляка В. Г. Короленко рекомендовать его М. Горькому. На острове Капри произошло знакомство, сразу перешедшее в душевную дружбу.

«Отношения эти с первых же дней знакомства сложились, — вспоминает М. Горький, — как очень дружеские и тесные. Мы читали друг другу черновики наших работ и оба очень искренно говорили друг другу, что каждый думает о работе другого. Если говорить о «влиянии», оно, вероятно, было взаимным. М. М.

работал на Капри мало, но очень много рассказывал о своих планах».

М. М. Коцюбинский с глубоким уважением относился к творчеству великого русского пролетарского писателя, их дружба была связана общественными и литературными интересами. В одном письме Коцюбинский так выражает свой восторг перед автором «Жизни Матвея Кожемякина»:

«Эпопея русского города, уездной жизни развернулась вширь и вглубь... Будто развернулась страница истории жизни народа, уходящая началом в темное прошлое, а концом задевающая вчерашнее, близкое, знакомое, но плохо сознанное. Фон так хорош, что лучшего трудно желать. А какие чудесные люди на этом фоне, везде мрамор, везде резец... И все — люди, чувства, природа — все так воздушно, солнечно, ярко и до боли живо переживается. И за всем чувствуется какое-то проникновение, до конца продуманный синтез».

Литературная и личная дружба М. Коцюбинского с М. Горьким — явление знаменательное. Горький был подлинным «властителем дум» своего времени, любимым писателем всех прогрессивных людей. Значение Горького как пролетарского писателя, чья деятельность и творчество определялись глубоким влиянием идей революционного марксизма, вышло далеко за пределы русской культуры. К нему тяготели передовые деятели национальных культур всей России. Он был истинным другом и наставником передовых украинских писателей и в первую очередь — М. Коцюбинского. В годы знакомства с Горьким Коцюбинский написал лучшие произведения: вторую часть повести «Гата Моргана», «Тени забытых предков», рассказы «Лошади не виноваты», «Подарок на именины» и другие.

По инициативе Горького и с его участием в 1911 году издательство «Знание» выпустило два тома рассказов Коцюбинского в переводе на русский язык.

Журнал «Современник», выходявший при ближайшем участии Горького, поместил рецензии на оба тома сочинений Коцюбинского. В одной из рецензий подчеркивается общность творческих принципов украинского прозаика с творчеством лучших прозаиков России — Тургенева, Чехова, Горького. Совершенно справедливо сообщается русскому читателю о близости творчества Коцюбинского к украинской народной словесности; этой своей особенностью, как писал «Современник», он походит на Горького, творчество которого также тесно связано с русской фольклорной традицией. Таким образом, русская критика еще до Великой Октябрьской



революции указала на органическую общность творческих принципов наиболее крупных писателей России и Украины. Особенно высоко оценил «Современник» повесть «Fata Morgana», как политически злободневное произведение.

М. Коцюбинский был знаком с большевистской легальной и нелегальной периодикой еще со времени ленинской «Искры». Во время пребывания в 1911 году у Горького он читал большевистскую газету «Звезда». В этой газете была помещена положительная оценка рассказов Коцюбинского, изданных на русском языке.

М. Коцюбинский, как глубокий художник и литературный критик, как активный общественный деятель, заботился о развитии украинской литературы, о ее молодых кадрах. Он организовал у себя на дому литературные вечера для молодежи. На этих вечерах дебютировал молодой поэт Павло Тычина, талант которого заметил и растил Коцюбинский.

В последние годы жизни, в период нового революционного подъема, Коцюбинский, по свидетельству Горького, «настраивался на героический лад». Он мечтал написать книги о народных украинских героях Довбуше, Кармелюке.

Тяжелая жизнь подорвала здоровье писателя, и он очень рано, не дожив и до пятидесяти лет, умер (25 апреля 1913 года). Царское правительство пыталось запретить воздание почестей народному писателю. О запрещении общественных похорон Коцюбинского В. И. Ленин писал как о позорнейшем акте насильственной царской политики.

Выражая чувства всех передовых людей, М. Горький сказал об украинском народном писателе:

«Большого человека потеряла Украина, — долго и хорошо она будет помнить его добрую работу... Смертен человек, народ бессмертен».

\* \* \*

Первый дошедший до нас рассказ М. Коцюбинского датирован 1884 годом, последнее незаконченное, оборванное смертью произведение он начал писать в 1912 году. Коцюбинский почти ничего не получал за свой творческий труд и вынужден был зарабатывать и на пропитание и на расходы по печатанию своих произведений службой в статистическом бюро. В автобиографии Коцюбинский с болью отмечает:

«Но наибольшая драма моей жизни — это невозможность посвятить себя целиком литературе, ибо она, как вам известно, не

только не обеспечивает материально, но требует еще расходов. Тем временем необходимость зарабатывать на кусок хлеба забирает у меня почти все свободное время и силы. Нет возможности возобновить свои впечатления, провести необходимое изучение, найти время для большой работы».

Неудивительно, что творческое наследие Коцюбинского количественно сравнительно невелико. Самое крупное произведение — повесть «*Fata Morgana*»; помимо нее написаны три небольшие повести и около сорока рассказов. Публицистику, критические статьи и стихи Коцюбинский писал лишь эпизодически.

В ряде ранних произведений Коцюбинского сказалось влияние культурнических идей, которые писатель постепенно преодолевал, а в дальнейшем решительно отбросил и осудил.

Первый рассказ Коцюбинского имел характерное название: «Андрій Соловейко, или ученє свет, а неученє тьма». Наука, просвещение даже в самых незначительных дозах будут служить преодолению бедствий крестьянства, — такова идея этого рассказа.

Писатель иногда склонен обращаться к совести богатых, ищет у них милосердия и сострадания (рассказ «21 ноября, на Введение»), он создает образы добрых и отзывчивых крестьян, стремясь гим вызвать к ним сочувствие (рассказ «Пятизлотник»). Но было бы совершенно неверно отождествлять творчество Коцюбинского с творчеством либерально-народнических писателей. Народники в эти годы стремились отвлечь народ от мыслей о борьбе, Коцюбинский же создает образы протестантов, которые выступают против тяжелых условий жизни крестьянства, против социального и морального закабаления.

В преодолении либерально-народнических иллюзий начального периода большую роль сыграло обращение писателя к традициям революционно-демократической украинской литературы.

Коцюбинский учится у Т. Шевченко, Марка Вовчка, Панаса Мирного, И. Франко. Эпиграфом к произведению «Андрій Соловейко...» писатель взял стихи Шевченко: «За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм», подчеркивая этим сознательное восприятие идей и традиций революционно-демократической литературы. Коцюбинский описывает тяжелую нужду, беспросветность крестьянской жизни:

«Издали деревенька кажется веселой. Чем-то свежим, тихим веет от нее. Не один толстый пан, которому приелись и его роскошные хоромы, и его праздная жизнь, проезжая мимо, с завистью смотрит на такую деревеньку, любит ее, думает: «Вот тут уж

рай! Вот тут уж покой!» И не знает, что эти зелёные пышные садики, эти низенькие беленькие стены скрывают много горьких слез, тяжелой нужды, много беспросветной темноты человеческой».

Многие украинские писатели, изображавшие жизнь трудового народа, видели нужду, горе, слезы — «лихо давне й сьогочасне», как озаглавил свою повесть Панас Мирный. Горе давнее и современное заметил и Коцюбинский, но он не ограничился критическим изображением действительности. Он близко принял это горе к сердцу, и это определило у него тот же подход к образам униженного человека, которым отличался Иван Франко.

Всю жизнь Франко писал об униженных и оскорбленных, но, когда критика попыталась назвать его поэтом горестных судеб и мук, он решительно запротестовал, подчеркивая, что его внимание прежде всего привлекали проявления человеческого достоинства, проявления борьбы против социальной несправедливости.

Новый подход к образам угнетенных проявился в том, что в деревне Коцюбинский увидел не только классовое расслоение, но заметил новый тип крестьянина, осознающего свое социальное положение и готового к решительному протесту. Эти представления о деревне и крестьянстве оказались прямо противоположными образам, созданным в либерально-народнической литературе.

В рассказе «Цеповяз» (1893) Коцюбинский изложил историю крестьянина — искателя правды. Герой рассказа попытался искать правду у «самого царя». Но эти поиски окончились тем, что его вызвал становой пристав и жестоко избил за попытку подать прошение. Крестьянин начинает сознавать, что добиваться правды нужно иными средствами. Воображение переносит его в будущее, в те времена, когда людям станет тесно на своих убогих угодьях, когда они, изможденные, изголодавшиеся, все вместе во всю силу голоса воскликнут: «Смерти нам или земли!» Перед ним возникает картина народного восстания: «Проливается море крови народной... И не остановить тогда смуты, как не остановить метелицы, как не остановить ливня, затопляющего землю, несущегося бурными ручьями, сокрушающего на своем пути все препятствия...»

Демократизм Коцюбинского сказался в его отношении к религии и духовенству. Повесть «На веру» изображает стихийный протест рядовых крестьян против освященных церковью законов. В рассказе «Цеповяз» кулак Роман в своем преступном стяжательстве ищет поддержки в проповедях священника. «Вот и батюшка в церкви говорит: «Всякому имущему дастся, а от неиму-

щего и то, что имеет, отыметься», — заявляет Роман и, воодушевленный этой проповедью, отнимает землю у «неимущего».

У Коцюбинского уже в раннем творчестве начали определяться своеобразные черты его стиля. Он изображает явления жизни в их социальном развитии. Главными героями произведений выступают представители трудовой массы, люди глубокие, мыслящие, пытающиеся решать «проклятые» вопросы. Это дает возможность ставить перед читателем многие общественно важные проблемы. Отсюда политическая актуальность творчества Коцюбинского.

Коцюбинский постепенно отказывается от излишеств в изображении бытовых деталей, от стилизации под разговорную крестьянскую речь. У него вырабатывается мастерство сжатого изложения, экономность в сюжетных перипетиях, строгий отбор ярких многозначных деталей. Его язык насыщен богатыми и разнообразными метафорами.

«На западе, в безоблачном небе, стояло большое золотое солнце. Под его косыми лучами золотом сверкали желтые листья лип и берез, казалось — какой-то волшебник, как в сказке, одел деревья в ризы из чистого золота... Красные, как бы кровью смоченные, черешни горели огнем на солнце. Земля под ними была покрыта яркими листьями и краснела, будто ее полили свежую кровью. Зеленели темными листьями ветвистые яблони, розовели нежными полутонами груши. На вербах листья поредели, стали бледнее, и издали казалось, что они, как в начале весны, лишь теперь распускаются» («На веру»).

В пейзажах, в ярких красках и точности описаний проявилось своеобразие таланта писателя. Коцюбинский любит живых людей, стремящихся к лучшему, он воспринимает явления рельефно, ясно, он любит все, что богато жизненной силой. В творческой манере писателя отразился тот постоянный оптимизм, вера в лучшее будущее, которые не оставляли его никогда, даже в изображении наиболее темных картин жизни.

Особенностью таланта Коцюбинского является его неизменный рост. Первые десять лет — с 1884 по 1895 — были периодом преодоления чуждых влияний, утверждения собственного голоса. С 1895 года начинается второй, более значительный этап развития писателя, как революционного демократа, большого художника-реалиста.

Наиболее важным политическим событием второй половины 90-х годов был разгром народничества марксистами. Остро реагируя на современные ему события, Коцюбинский в рассказе «Для общего блага» (1895) изображает, как под влиянием реальных от-

ношений между крестьянами и представителями власти развеиваются народнические иллюзии у честных интеллигентов.

Герою рассказа члену филлоксерной комиссии Тиховичу вначале кажется, что честный труд при всех условиях принесет пользу народу. Следует лишь понести в народ свои знания, культуру, как этого требовали либеральные народники. Но постепенно он убеждается, что современная ему социальная система сводит на нет результаты его труда.

Мысли и переживания героя рассказа были характерны и для самого Коцюбинского. Рассказ свидетельствовал о резком осуждении писателем всех теорий либерального народничества.

К теме разоблачения народничества Коцюбинский возвратился в рассказе «Куколка» (1901). В либеральной националистической литературе (повести Б. Гринченко, А. Конисского и др.) идеализировались образы культурников, творцов «малых дел». В «Куколке» Коцюбинский изобразил бессилие и последовавшее затем ренегатство подобного культурника. Учительница Раиса Левицкая, дочь дьячка, воспитанница епархиального училища, некоторое время считала себя пламенным «другом народа». Она воевала против засилья священнослужителей не только в школе, но и во всей деревенской жизни. Такой изобразил ее автор в начале рассказа. Но изменились обстоятельства, и Раиса Левицкая незаметно и легко забыла о своей «дружбе» с народом, стала безвольным, послушным орудием в руках попа Василия. Утратив чувство собственного достоинства, пренебрегая общественным долгом, она не замечает всего зла, которое священник приносит крестьянам.

Рассказ «Куколка» имел резкую антирелигиозную направленность. Поп Василий — тип деревенского кулака, крестьяне батрачат у него даром за отпущение грехов.

Реалистическими деталями писатель усиливает антирелигиозную идею рассказа, разоблачает легенду о «святости» церковной обстановки. Он пишет о том, как «сморкался на всю церковь старый дьяк и помекивал, пробуя голос». Иконы он называет «грубо намалеванными богами в убогой позолоте» и т. д.

Рассказ «Куколка» приводит к общему выводу о разлагающем влиянии церкви на человека. В другом рассказе «В грешный мир» (1904) эта идея дана еще выразительнее, монастырь изображен, как черное дно, исполненное злобы, человеконенавистничества, эксплуатации. Послушницы монастыря долгое время автоматически называли друг друга сестрами. Но по-настоящему человеческую

теплоту этого слова ощутили, только порвав с монастырем, «в грешном мире».

Идея несовместимости религии с нормальными человеческими чувствами и устремлениями проведена в рассказах «В сетях шайтана», «На камне», в которых разоблачается консерватизм, реакционность мусульманской религии.

Обращаясь к жизни и быту разных народностей царской России, Коцюбинский показывает ломку патриархальных косных традиций и обычаев, нарастание протеста в среде передовой молодежи («В сетях шайтана», «Ведьма», «Пе-коптьор»). Характерно убеждение автора, что социальный протест у угнетенных национальностей зарождается под влиянием русского социально-освободительного движения и русской культуры.

В произведениях М. Коцюбинского, написанных накануне революции, особенно выразителен романтический пафос призыва к борьбе.

Писатель обращается к прошлому Украины, ищет в нем сильных волевых людей, способных на подвиг. На основе народной песни о чумаках и их самозащите от татарского набега он создает поэтический рассказ «На крыльях песни» (1895), исполненный глубокого патриотизма и прославления родной земли. В исторической повести «Дорогой ценой» (1901) показана борьба за свободу, борьба столь решительная, что она не прекращается даже перед лицом смерти. Героиня повести Соломия — сильная волевая натура. Вместе со своим любимым Остапом она, чтобы освободиться из крепостной зависимости, убегает за Дунай, в чужие края. Это была великая трагедия украинского народа, которую изображали многие писатели. За пределами родной земли не было крепостной зависимости, но это была не родная земля. И всю жизнь беглецы мечтали о возвращении в родные места, «на тихій води, під ясній зорі», чтобы добиваться свободы у себя на родине.

Борьба Соломии изображена в героико-романтических тонах. Автор поэтизирует характер человека сильного, упорного, активного. В годы предреволюционного подъема подобные образы имели огромное воспитательное значение, революционизировали сознание читателей.

В цикле лирических стихотворений в прозе «Из глубины» (1903—1904), во многом созвучном пафосу горьковских песен о Соколе и Буревестнике, писатель говорит о своем недовольстве существующим строем, говорит о своей кровной связи с народом, о желании служить его борьбе.

Цикл начинается миниатюрой «Облака», в которой дается ал-

легорическое сравнение тучи с душой поэта. Туча — душа поэта — наполнена не только скорбью, в ней — огонь, гром, движение. Туча мчится, рассекая простор и тишину, пробуждая от сна, веющая бурю.

«Я знаю ее. Она... тревожная, как насыщенная огнем, вся пылающая великим и праведным гневом. Мчится неистово по небу и подгоняет ленивую землю... И вызывает так, чтобы все услышали, чтобы никто не спал, чтобы все проснулись...»

В другом стихотворении цикла дается символический образ сердца поэта. У него в груди осталась лишь половина сердца. И могучий, властный голос приказывает найти другую половину в потоках жизни, среди человеческой массы.

Годы первой русской революции и последовавшей за ней реакции были временем наивысшего расцвета таланта М. Коцюбинского. За последние семь лет жизни он написал лучшие свои произведения: вторую часть повести «Fata Morgana», рассказы «Смех», «В дороге», «Persona grata», «Подарок на именины», «Лошади не виноваты» и многие другие. В эти годы в полной мере проявились идейная глубина и художественная зрелость писателя. В его повестях и рассказах, датированных 1906—1912 годами, читатель неизменно находил картины текущих событий, образы людей современности, массовые революционные выступления, манифестации, митинги, кровавые классовые столкновения. В художественную литературу входили, как основные герои, новые люди: профессионалы-революционеры, рабочие-социалисты, крестьяне — организаторы масс. Все лучшее, передовое, революционное, появившееся в жизни, впитывалось и изображалось писателем.

Особенностью творческого метода Коцюбинского было умение вторгаться в жизнь, находить решения современных проблем. Так, например, в произведениях, написанных в ходе революции, он разоблачал фарисейство, лживость либералов. В первый же год наступившей реакции, в первый год десятилетия, названного Горьким «позорным» в истории русской интеллигенции, он написал рассказы «В дорогу», «Intergrezzo», в которых заклеил ренегатство, как проявление крайнего морального падения и цинизма. В 1910 году, когда проводилась так называемая «стопылинская реформа», укреплявшая кулачество, писатель-революционер показал в повести «Fata Morgana» деревенскую буржуазию, как прямого союзника, добровольную гвардию царских палачей.

Писательское мастерство Коцюбинского сказалось в умении в сжатую композицию небольшой повести или рассказа вложить общественно значимые идеи, зарисовать новые проявления действи-



тельности. Никогда не повторяясь, он в каждом произведении ставит иную проблему, которая делает это произведение значительным документом не только художественной литературы, но и общественной мысли на Украине. Писатель выступает как глубокий мыслитель, разрешающий серьезные общественно-политические и философские вопросы.

\* \* \*

Основа творческого метода Коцюбинского — критический реализм. В резко отрицательном, часто сатирическом плане он изображал самодержавие, черносотенцев, либералов, ренегатов, всю человеческую грязь и гниль отживающего буржуазно-дворянского общества. Столыпинцы-вешатели, попы — организаторы погромов, либералы-помещики, пугливо прячущиеся за карательные отряды, кроважидное кулачье, вооруженное топорами и дробовиками, предатели и шпионы — эти и многие другие типы николаевской, столыпинской, победоносцевской России с гневом и презрением описаны Коцюбинским. Это картины расстрелов, виселиц, ссылок, мордобоя, засилья околоточных надзирателей и тюремных смотрителей, — не реки, а море крови и слез.

Но писатель уже не мог ограничиться этими картинами. Новые черты характера, которые выработывались в революционном движении, в революционной борьбе, показаны им в образах рабочего-социалиста Марка Гущи, крестьянина-демократа Прокопа Кандзюбы, девушки-батрачки Гафийки Волык и других. Несгибаемая воля к борьбе, стремление к коллективным действиям и коллективному труду, честность по отношению к общественным обязанностям, широкий размах революционной деятельности — эти новые черты, свойственные народу революционной эпохи, нашли свое отражение в образах Коцюбинского, утвердились им, как образцы поведения.

Наряду с идейным ростом и развитием новых черт в художественном методе выросло мастерство его лаконической прозы. Воспитываясь на непревзойденных образцах монументальной прозы русских и украинских классиков, Коцюбинский внес значительный вклад в развитие жанра. Композиция и своеобразие художественных деталей повести «Fata Morgana» и большинства рассказов являются образцами экономии художественных средств, ясности и выразительности.

Огромный материал, изображающий подготовку и разворот революции в деревне, уложен Коцюбинским в рамки небольшой по размеру повести. Главы заменены краткими эпизодами, подробное

описание — изображением одной наиболее характерной черты, стороны, явления или лица. Предельной экономией отличается фраза писателя, синтаксически простая и ясная по смыслу.

Отнюдь не случайным для Коцюбинского был выбор жанров. Любимой формой, которой он пользовался почти неизменно, является небольшой рассказ-новелла. В украинской литературе начала XX века новелла достигла необычайно высокого развития и была представлена такими мастерами, как В. Стефаник, О. Кобылянская, Л. Мартович, М. Черемшина и другие. В одном из сборов литературы начала XX века Франко во главе этого «букета талантов» поставил Коцюбинского.

Рассказы Коцюбинского многообразны не только по тематике, но и по своим художественным приемам — от лирических и философских стихов в прозе до сатиры. Почти во всех сюжетах и характеристиках большое место отведено анализу психологии, мыслей, настроений героев. И Франко говорил об этой особенности психологической новеллы, как о приеме, подобном освещению человека изнутри сильной, яркой лампой. Коцюбинский часто все развитие сюжета строит на изображении хода мыслей героев. Так, например, в рассказе «В дороге» профессионал-революционер Кирилл после провала своей организации на некоторое время оказался без настоящего дела. Он тщательно разбирает свои мысли, чувства, желания. И писатель охотно следит за этой напряженной психологической жизнью героя, за тем, как чувство революционного долга у него ярко вспыхивает при виде отвратительного цинизма и затхлого мещанского быта, которым довольствуются ренегаты революции.

Психологический анализ служит писателю и тогда, когда речь идет об отрицательном персонаже, совершенно отвратительном и подлом по своей природе. Околодочный надзиратель из рассказа «Подарок на именины» в результате долгих размышлений, побуждаемый своей профессиональной полицейской жестокостью, деспотизмом в семейных отношениях и несомненной отцовской любовью, «дарит» сыну на именины зрелище казни через повешение.

Подробную психологическую характеристику автор дает людям сложного и богатого интеллекта, каков, например, лирический герой рассказа «Intermezzo», — общественный деятель, художник, привыкший к самоанализу. Но не менее детализирована психологическая характеристика примитивного убийцы — палача Лазаря из рассказа «Persona grata», начинающего впервые задумываться над содеянным.

Углубленная психологическая характеристика образов является одной из наиболее ярких особенностей таланта Коцюбинского.

Коцюбинский много существенного сделал для развития литературного языка. Он ввел в словарный состав украинской литературной речи большое количество слов индустриальных, слов, связанных с развитием культуры городов, лексику, рожденную развитием революционного движения.

Он глубоко, непосредственно в народе изучал многие украинские говоры — Правобережья, Черниговщины, западных областей — и лучшие закономерные элементы этих говорों вводил в общелитературный национальный язык. Достаточно сравнить язык лучших украинских прозаиков — Марка Вовчка, Панаса Мирного, Нечуя-Левицкого с языком Коцюбинского, чтобы убедиться в огромном расширении словарного состава у последнего.

Заслуга Коцюбинского сказалась еще в том, что язык его прозы сделал значительный шаг навстречу языку поэзии; отсюда огромное, неизвестное до того времени употребление метафорических слов и фраз, ритмизация прозы не только в таких произведениях, как стихотворения в прозе, но и во многих описаниях, особенно пейзажных.

\* \* \*

Самым ранним откликом М. Коцюбинского на события 1905 года был рассказ «Смех» (1906). Он посвящен беспощадному разоблачению либерализма. В образе Чубинского автор высмеивает случайного попутчика революции, либерального болтуна, неспособного на решительный шаг. Автор подчеркивает отчужденность подобных людей от народа, их кровную связь со всей системой эксплуататорского общества. У Чубинского много лет работает прислуга Варвара. Условия ее жизни ужасны. Либерал адвокат немилосерден в своей эксплуатации. Более того, он не замечает нечеловеческих условий ее жизни, считает их чем-то вполне естественным и обычным, не требующим никакого изменения. И когда Варвара узнала, что собираются «бить панов», в том числе и ее пана, она обрадовалась и от всей души засмеялась радостным, грозным, гневным смехом.

Писатель поддерживает этот смех. Ведь вся ее жизнь ушла на других, на богатых. Несмотря на то, что буржуазный интеллигент находится под угрозой черносотенного погрома, не остается даже тени сочувствия к его положению. Более того, становится ясным, что люди типа Чубинского, иногда произносящие либеральные пышные речи, не могут идти вместе с трудовым народом на

решительную борьбу. Все симпатии автора на стороне Варвары; ее ненависть ко всем эксплуататорам он считал глубоко справедливой. В разговоре с М. Горьким Коцюбинский подчеркивал именно это — справедливость гневного смеха Варвары. «В жизни этот смех страшнее и законнее», — говорил он Горькому.

Борьба против либерализма была важной и сложной задачей для сил революции. М. Коцюбинский, как певец революции, в самом ее разгаре ставит перед собой цель — разоблачать либерализм, включаясь своим творчеством в ход событий, влияя на события, воспитывая в читателе революционное понимание происходящего.

Во втором рассказе революционных лет «Он идет» (1906) Коцюбинский разоблачает погромную политику царизма, направленную на разъединение сил народа.

Разжигание национальной вражды было неизменной политикой самодержавной России. Рассказ Коцюбинского исполнен благородного чувства интернациональной солидарности трудящихся, он направлен против зверств самодержавия, против национализма.

Коцюбинский, как революционный писатель, был тенденциозен в лучшем понимании этого слова. Не только развитие сюжета и характеров, но и каждая словесная образная деталь произведения у него развивала, подчеркивала идею, определяла отношение к явлениям жизни.

Для творческого метода Коцюбинского характерно внимание к положительным образам. Наиболее полно проявляется его мастерство психологического раскрытия образа в изображении положительного героя: революционера-профессионала, рабочего, передового мыслящего крестьянина. В дни революции, естественно, его привлек психологический облик активного борца, решимость которого не останавливается ни перед какими препятствиями, даже перед лицом смерти. Образ борца, несущего смерть классовому врагу, отдающего самое дорогое — жизнь — во имя торжества идеи, был навеян, несомненно, революционными событиями. В этюде «Неизвестный» (1907) дается своеобразная исповедь осужденного на казнь революционера. Герой хочет восстановить в искренней исповеди весь ход своих мыслей и решений. Он убил важного царского сановника и считает это справедливым и гуманным.

В рассказе «Intermezzo» (1908) дан прямой ответ на вопрос об отношении к народу, определена общественная роль искусства; ответ тесным образом связан с текущими событиями своего вре-

меня, с эпохой. В это время появилась целая орава писателей-декадентов, которые клеветали на революцию, воспевали отступничество, разврат, прикрывая все это лживым лозунгом «искусства для искусства». Коцюбинский показал, что измена общественным интересам порождает подлый цинизм, что честный художник в дни народных страданий должен еще более сродниться с народом. Никакие красоты природы не могут заслонить картины крестьянских бедствий. Лирический герой рассказа встречается с представителем угнетенных, поротых, сеченных, избиваемых в страшные годы столыпинской контрреволюции. Встреча порождает в герое чувство неразрывного единства с угнетенными, вызывает бурю гнева и протеста. В «Intermezzo» тема общественного служения художника перерастала в прямой призыв к революционной борьбе.

Композиция рассказа своеобразна. В ней почти нет развернутого сюжета, последовательности действия. Описание мыслей и переживаний лирического героя чередуется с прекрасными пейзажами. Среди всех деталей легкой степи писатель избирает картину обработанных человеком полей. Он создает торжественную песнь огромной зеленой долине, как чаша, налитой до самых краев созревающими хлебами. Каждый злак в этом огромном поле — результат человеческого труда. — Так любить поле может только истинный демократ, знающий цену труда и уважающий его. На фоне прекрасного пейзажа особенно выразительна сцена встречи героя с крестьянином, переданная диалогом: герой слушает страшный рассказ крестьянина о столыпинском терроре и прерывает его единой репликой-рефреном — «говори, говори!», репликой, необычайно усиливающей напряженность повествования.

В годы реакции еще более очевидным становилось, что либералы являются контрреволюционной силой, пресмыкаясь и холопствуя перед царским правительством кнута и виселицы; кадеты прямо писали, что надо «благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас (то есть либеральную буржуазию) от ярости народной»<sup>1</sup>.

Тип либерала-помещика, на словах еще как будто признающего справедливость крестьянских требований на землю, а на деле поспешившего стать под защиту карательного отряда, изображен в рассказе «Лошади не виноваты» (1912). Тема его разоблачение лицемерия либералов. Помещик Аркадий Петрович на митингах признает право крестьян на землю, даже в кругу своей

---

<sup>1</sup> «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 93.

семьи, желая слыть «красным», он повторяет свои прекраснородушные излияния. Но в нем пробуждается истинный землевладелец-дворянин, эксплуататор и тунеядец, когда крестьяне и впрямь решили отобрать у барина девятьсот десятин земли, оставив ему только пять для огорода и... крокета.

Во время пребывания Коцюбинского на Капри Горький писал свои «Русские сказки», часть из которых печатал в «Звезде». Шестая «Русская сказка» посвящена сатирическому изображению барина-либерала. Рассказ Коцюбинского во многом напоминает «Сказку» Горького. «Сказки» очень нравились Коцюбинскому, он их считал «злыми, но остроумными». И, очевидно, под их влиянием написал рассказ «Лошади не виноваты». Еще более вероятно, как об этом свидетельствует сам Горький, что оба писателя знали о замыслах произведений друг друга, и тут «влияние было обоюдным», как говорил Горький.

В рассказе «Подарок на именины» (1912) автор создал образ девушки-революционерки, исполненный глубокой нравственной силы и привлекательности. В сопоставлении с ней еще более жутким, каннибальским кажется «подарок на именины», придуманный ретивым царским служакой, околоточным надзирателем Зайчиком, который хочет порадовать сына видом казни.

Подобное впечатление полнейшего морального падения, потери всякого человеческого чувства создает и образ тайного агента полиции, кулацкого сынка из очерка «Как мы ездили в Криницу».

Бывая за границей, Коцюбинский имел возможность наблюдать быт представителей буржуазного общества, прожигающих жизнь на курортах Италии. О богатых американцах и англичанах он пишет с едкой иронией и в письмах, и в художественных произведениях. В письме от 4 июля 1910 года он с сарказмом сообщает: «Везде масса дорогих отелей, где проводят зиму американцы, немецкий император и прочая шваль».

В рассказе «Сон» (1911) писатель рисует фигуру англичанина — богатого туриста: «Я видел хорошо знакомую, привычную для глаза картину: господин в черном смокинге, в белых панталонах молча и методично режет кровавое мясо».

В другом произведении «На острове» Коцюбинский продолжает характеристику англичанина-туриста, сравнивая с ним... старого осла. «Ему... скучно, как английскому лорду, который видел весь свет», у него «глаза в белых мохнатых кольцах, как в очках, и гной длинной полосой тянется до самого беловатого носа».

Наряду с этим в других рассказах («На острове», «Хвала жизни») Коцюбинский любовно изображал трудящихся-итальянцев. Но как писатель-патриот он неизменно стремился писать о самом близком и лучше всего известном — о жизни трудового народа своей родины. Летом 1910 года, возвращаясь из Италии, где он гостил у Горького, Коцюбинский намеревался посетить Швецию. Обстоятельства сложились так, что он очутился в Галиции, среди гуцулов. С радостью сообщает писатель о том, что такая замена оказалась ему весьма по душе, что в среде гуцулов-пастухов, в украинских Карпатах он нашел материал необычайной поэтичности.

«Здесь так красиво, что я не могу налюбоваться. Целая сеть высоких гор, покрытых чудесным лесом, вдалеке снежные вершины; среди гор в долине вечно шумит горная прозрачная речка, по которой красочные гуцулы сплавляют свои «дарабы» (плоты. — С. Ш.)... Сколько тут красивых сказок, сказаний, поверий, символов».

По материалам, собранным среди гуцулов, Коцюбинский написал повесть «Тени забытых предков» (1911), занимающую особое место в его творчестве. Повесть разработана в романтическом духе, ее образы, язык передают чарующую красоту простых людей. Они овеяны сказочностью. Автор часто стилизует изложение и язык в духе местных легенд и мифов.

Коцюбинский неизменно обращался к сокровищам фольклора, записывал, изучал его, использовал в своих произведениях. Повесть «Тени забытых предков» — яркий образец плодотворности обращения художника к народному творчеству.

Главнейшим произведением последних лет и всего наследия Коцюбинского является повесть «Fata Morgana». Первая часть повести была опубликована в 1903 году, над второй, основной частью автор работал до 1910 года.

Этой работе предшествовало длительное изучение материалов, связанных с революцией 1905 года, внимательное наблюдение жизни, тщательная подготовка конспектов, планов и т. д. На повести «Fata Morgana» в особенности сказалось то, что Коцюбинский внимательно читал сочинения В. И. Ленина по аграрному вопросу.

В первой части, написанной накануне революции, основное внимание писатель уделяет изображению настроений крестьянства, преимущественно беднейших его слоев. Глубокий реалист, внимательно изучавший жизнь, он сумел показать то новое, что появилось на селе в эти годы — рабочих-агитаторов, молодежь,



читающую нелегальную политическую литературу, сумел показать влияние пролетарского революционного движения на сознательную часть крестьянства.

Основное внимание уже в первой части повести автор уделяет образам деревенской бедноты: Андрею Волыку, Маланке, Гафийке, Хоме Гудзю, Прокопу. Знаменитая заключительная сцена этой части произведения дает обобщенную картину безысходности, угнетенности положения батраков, которые сквозь осенний туман и дождь идут длинными вереницами в неведомые края в поисках работы и куска хлеба.

Во второй части повести Коцюбинский поставил перед собой задачу показать массы в революционной борьбе. Поэтому большое внимание уделено массовым сценам. Таковы изображения стачки, митинга в лесу, сельской демонстрации.

В описании стачки у Коцюбинского есть ряд моментов, подобных тем, о которых идет речь в статье В. И. Ленина «К деревенской бедноте»: об организации стачки в горячую пору, о дружной поддержке друг друга рядом сел, о том, что стачка несет помещику «разорение» и он становится «сговорчивым».

Чтение марксистской литературы помогало великому писателю глубже, проникновеннее рассмотреть жизненные явления.

В повести с исключительной глубиной отражена расстановка классовых сил в деревне, рисуется классовая борьба не только между крестьянством и помещиками, но и между беднейшей частью деревни и кулаками. Подобное понимание социальных процессов тогда можно было встретить только в социал-демократической большевистской литературе, и, несомненно, знакомство с этой литературой дало возможность автору создать свои реалистические картины классовой борьбы в деревне.

Центральный образ повести — Марко Гуца. Марко работал на фабрике, за нелегальную деятельность был арестован. По характеристике самого автора Марко Гуца — социалист. Он выступает организатором революционного движения на селе, готовит его, возглавляет.

Взаимоотношения между Марком Гуцей и Гафийкой обусловлены общностью их убеждений. В ней Марко видит помощника в борьбе. Гафийка тяжело переживает арест любимого, но продолжает революционную деятельность. Когда Марко возвращается, она рассказывает о своей работе: «Разбрасывала листочки среди крестьян, читала книжки». Она с радостью рассказывает, что тайком вышила красное знамя.

Хотя произведение Коцюбинского посвящено трагическим событиям, но оно оптимистично, в нем чувствуется вера в будущее народа, высказана мечта о лучших, светлых днях.

Действительность, изображенная великим украинским классиком, отошла в прошлое. Знакомясь с этим жестоким временем, мы ярче видим и острее осознаем разительные изменения, происшедшие в нашей стране.

Еще живы в селе Выхвостово Черниговской области участники и свидетели событий, описанных М. Коцюбинским в повести «*Fata Morgana*». Они могут на собственном примере, на полувековой истории своего села показать, как вместо забитого, голодающего, эксплуатируемого помещиками и кулаками выросло новое село с крупнейшим коллективным хозяйством, электростанцией, школой, детскими яслями, клубом, зажиточное, культурное.

Александр Корнейчук рассказал на страницах «Правды» о встрече с героиней повести «*Fata Morgana*» Маланкой — Мариной Валлах.

«С огромным волнением я смотрел на геронню «*Fata Morgana*» Коцюбинского...

Нет на Украине ни одного школьника, ни одного грамотного человека, который бы не читал «*Fata Morgana*», произведения великого реалиста, не был бы знаком с ее прошлой, полной глубокого трагизма каторжной жизнью.. Она стояла передо мной, повязанная беленьким платочком, скромная, тихая и, стыдась, говорила:

— Идемте, я покажу вам наши ясли, моих детей. Ах, какие они чудесные... какие чудесные...

Когда я ехал в Выхвостово, я хотел подробно расспросить Марину о 1905 годе, о ее трагедии, но сейчас я не смог поставить ей ни одного вопроса. Я слушал ее ласковый тихий голос. Я видел счастливую улыбку, освещавшую глубокие морщины и немного грустные глаза. Казалось, ее можно слушать без конца, как в детстве с особенным, неповторимым волнением мы слушаем чудесные сказки<sup>1</sup>.

М. М. Коцюбинский был писателем, близко стоявшим к рабочему революционному движению и его идеологии. Он изображал революционную борьбу масс, борцов-революционеров, поэтому рядом с критическими элементами в его произведениях часто встречаются образы положительные, жизнеутверждающие.

---

<sup>1</sup> «Правда», 26 сентября 1937 года.

Коцюбинский стремился не только отображать установившийся процессы, но и те, которые совершались на его глазах; он старался влиять на события, подсказывать читателю свои решения вопросов, влиять на действительность.

Коцюбинский был необычайно чуток ко всем изменениям в жизни, он изображал новые черты в психологии людей, выработанные революционной борьбой, он смело вводил в художественный язык своих произведений лексику революции, он был не только беллетристом, но и публицистом, общественным деятелем.

Все это важнейшие новаторские черты творчества великого художника, писателя-революционера, обогатившие национальную культуру украинского народа.

М. Коцюбинский по праву занимает видное место во всесоюзной сокровищнице классического наследия. Чудесно воплотив в своем творчестве лучшие черты своего народа, он, писатель неисчерпаемой революционной силы и философской глубины, и до сих пор является одним из глашатаев свободы и дружбы народов.

*С. Шаховский.*

# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



**АНДРИЙ СОЛОВЕЙКО,  
ИЛИ УЧЕНЬЕ СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ ТЬМА**

**I**

За шо, не знаю, називають  
Хатину в гаї тихим раєм  
Я в хаті мучився колись,  
Мої там сльози пролились,  
Найперші сльози. Я не знаю,  
Чи єсть у бога люте зло,  
Щоб у тій хаті не жило?  
А хату раєм називають!

*Т. Шевченко.*

Маленькая деревенька Босовка. Небольшие беленькие хатки ее, окруженные садиками и лугами, разбежались по пригорку, словно белые ягнята по зеленому полю. Внизу, под пригорком, небольшая чистая речка с маленьким, тоже чистым омутом, мельницей и плотиной. Все как полагается, как бывает в наших убогих деревнях. Издали деревенька кажется веселой. Чем-то свежим, тихим веет от нее. Не один толстый пан, которому приелись и его роскошные хоромы, и его праздная жизнь, проезжая мимо, с завистью смотрит на такую деревеньку, любит ее, думает: «Вот тут уж рай! Вот тут уж покой!» И не знает, что эти зеленые пышные садики, эти низенькие беленькие стены скрывают много горьких слез, тяжелой нужды, много беспросветной темноты человеческой. В каждой хате своя печаль, свое горе. В этой лежит больной отец — умирает, верно, — а жена не знает, что делать,

чем помочь; о докторе и думать нечего — денег нет. И горюет она, что будет с малыми сиротами, которых и теперь не на что кормить. В другой хате человек чешет в затылке, словно хочет вычесать из него деньги на подать, которая крепко засела в голове. Хоть тресни, а внеси! Эх, надо под заклад, под проценты брать. А в этой хате пьяный отец (лошадей, видите ли, у него украли, вот он и пил могоарыч), вернувшись из кабака, что есть силы лупит по голове своего сынишку, бьет до потери сознания, навеки дурачком сделает. И много, много можно встретить в этих хатах подобного, а может быть и худшего. Говорю: в каждой хате своя печаль, свое горе...

И хату Харитона Шакулы — вот она там между тополей на краю деревни — тоже не забыло горе, кажется, никого оно не забывает.

Жена Шакулы Ульяна, злющая, тощая баба, хлопочет у печи, вынимает хлеб и тут же сердито изливает свое горе и злобу соседке, которая стоит рядом, подперев голову рукой, и утвердительно кивает на слова Ульяны.

— И все этот сумасшедший, — кричит Ульяна. — Все он, чтобы добра ему не было! Где ж это видано? Своих, чорт их не берет, — дармоедов — как вшей, а тут на тебе еще и чужой. Некому хлеб, что ли, съесть?.. Чудно! На беду мне умер этот Иван Соловейко. Жена его тогда как раз тяжела была вот этим самым добром, — кивнула Ульяна на всхлипывающего в люльке ребенка. — А как родила этого щенка, прости господи, так и сама умерла. Надо было отдать ребенка людям, какому-нибудь зажиточному, а тут мой с ума спятил, напился и взял это добро себе. Приносит, слышите, в хату отродье это, а сам на ногах не держится. Я к нему: «И такой, и сякой, что это ты сделал, сумасшедший? Да я ни за что в жизни не буду его кормить. Что он мне?! Родня? Работник, что ли, чтобы я на него тратилась, кормила-поила? Что у меня — своих детей нет, чтобы за чужим ходить? Что мы — богачи? Сейчас же унеси, откуда взял! Слышишь? Не то, чтоб я пропала, если не выцарапаю тебе глаза, а ему шеи не сверну. В жизни не буду нянчиться, возиться с чужими детьми!» Он молчит. А потом — бац меня по морде. Я к нему со скалкой... он меня опять... да

за косы и давай таскать, а я ему кричу: «Хоть убей, а не буду это отродье нянчить!» А он меня молотит ногами, а он кричит: «Не перечь мне, сука! Я тут хозяин, а не ты: что скажу — делай!» А сам меня молотит и молотит... Аж соседи побегались на мои вопли — вот разве вас не было: вы работали... всю меня измолотил, места живого нет, — сплошь синяки... гляньте...

И Ульяна, плача, показывает соседке кровоподтеки и синяки, гостинцы пьяного сердитого мужа. Соседка сокрушенно покачивает головой:

— О! Ох, доленька моя! А мой? Как только выпьет, так не приведи господи... хоть беги на край света. Чем попало дубасит: валеk подвернется — вальком, скалка — скалкой, горшок — горшком... Я вам скажу, что и... и... и не дай мать божия!..

— Нет, вы только скажите — ну не спятил ли, не рехнулся человек? Чужого ребенка брать, да еще на мою голову? Ему, говорит, ничуть не в тягость: из-за него не будет ни пахать больше прежнего, ни сеять, ни молотить, ему все равно! А мне: и накорми, и умой, и рубаху шей, и возись с ним и нянчи. А чтобы ты сдох, щенок сучий! Да еще из-за него ссору и драку заводи в хате! Дрянь!

И Ульяна со злостью и ненавистью посмотрела в тот угол, где в люльке хныкало маленькое, красное, ни в чем не повинное дитя. Если б оно знало, если бы понимало, какая ему жизнь предстоит, оно бы, невинное, и жить не захотело на свете, несмотря на то, что лишь недавно увидело и прекрасный мир божий и ясное солнце! Горе ему!

Дверь скрипнула, и в хату вошел Харитон Шакула. Он хмуро глянул на жену и соседку, замолчавших, словно у них языки отняло, когда он вошел. Затем так же хмуро снял с себя пояс, свитку и, положив их на постель, сел за стол, где жена уже поставила еду. Молча, хмуро ел Харитон хлеб с чесноком и время от времени сердито покрикивал на детей, если они уже чересчур сильно начинали драть друг друга за вихры или шуметь.

Харитон Шакула был человеком уже немолодым — лет под сорок. Высокий, с длинными черными волосами, в которых, как серебряные нитки, поблескивала кое-где седина, бритый, с коротко подстриженными усами, с



густыми, даже слишком густыми бровями, нависшими над хмуρο сверкающими глазами, с черным, как сапог, лицом и такой же открытой грудью — он наводил своей силой и свирепым видом страх даже на самых смелых. Эта проклятая работа на панов, заевшая столько людей, наложила свою печать и на Харитона, сделала его таким хмурым, таким сердитым. А вот совсем недавно — сполгода назад — пристрастился он к водке. Иногда проснет-ся в нем человек, и он становится добрым: и детей приласкает, и к жене обратится как следует. Но это бывало очень редко. Обычно же он колотит жену, если она его слушается или что-нибудь наперекор скажет, бьет детей, которые только боятся отца и даже ненавидят его за то, что он и за провинность, и без провинности оставляет синяки на маленьком теле. Ребенку хочется поиграть с котенком, который вон под постелью мяучит и так красиво протягивает лапку к клубку ниток, старается его поймать, а тут ребенок — дерг за нитку, и клубок вырывается из кошачьих лапок. Гесело мальчику! Кругленькое, перепачканное личико озаряется невинной, чистой радостью... Но вдруг обрушивается сверху тяжелый отцовский кулак, опускается на спину перепуганному ребенку, и раздается сердитый окрик:

— Чего под ноги лезешь, стерва! Своего места не знаешь!..

И в ту же минуту ребенок забивается в угол; закапали от боли и страха слезы. Стоит и исподлобья злобно поглядывает на отца и думает своим детским умом: «Чего он дерется, проклятый? Что я ему сделал?» И отцовская несправедливость сеет злобу и ненависть в детском сердце: «Подожди, — думает ребенок, — только вырасту, не дам тебе. Я тогда тебе чуб вырву, чтобы ты знал, как драться!»

И представляется ребенку, как он вырастет, станет сильным, как тогда оплатит отцу, как, запустив руки в густой отцовский чуб, будет рвать его. Злая радость наполняет сердце ребенку. О родители, родители! Из дитяти-ангела вы делаете чорта лютого, а когда состаритесь, то будете сетовать, что дети не любят вас, не уважают.

И мать не лучше. Замученная мужем, замученная работой, замученная горем — она редко прижмет к сердцу свое родное дитя, редко весело улыбнется. Тоже всегда

сердитая, все бранится, колотит. Горько детям с такими отцами и такими матерями, всю жизнь не знают они ни ласки, ни доброго слова; очерствеет их сердце, и уже никто, даже их дети не услышат от них доброго сердечного слова!

## II

Тяжко, важко в світі жити  
Сироті без роду...

*Т. Шевченко.*

Поел Харитон, посмотрел на злобное, надутое лицо жены, на люльку, в которой лежало Соловейкино дитя, посмотрел вокруг, сел на скамью — и задумался. Не слышал даже, как из хаты вышла соседка: так задумался.

«Позвал меня Овксень Москалик... выпили по рюмке, по второй — а хорошая водка была... быстро голову затуманило... Еще такая у меня собачья натура: только выпью — сейчас же становлюсь добрым, хочется что-нибудь доброе сделать... И покойный тато, царство ему небесное, приходят на память... и что поп говорил в церкви — все вспомню. И вот чорт меня попутал взять этого мальчишку... Соловейкиного. Хоть и хороший был человек Соловейко и даже кумом мне приходился — но ведь тут и свои дети... Спятил я — и все... И жена пристаёт... Лучше бы мне язык отняло, раньше чем я сказал: «Дайте, говорю, его мне. Я ему отцом буду...» да еще и расплакался. Ну и дурак... А все водка!.. И жена жару поддает... Ничего. Пусть она как себе хочет, а если я сказал слово, то уже не переменю. Хоть взбесись. Назло жене сделаю, чтобы видела, что пока жив — я всему голова! И все же плохо я сделал, что взял ребенка — одни хлопоты... И накорми его, и возись с ним... вот... Отказаться, отдать ребенка назад как-то неудобно: сам просил, чтобы дали... засмеют люди: скажут — бабы испугался... Будь что будет, а будет, что бог даст».

Харитон поднялся со скамьи, почесал в голове, надел свитку и, не сказав жене ни слова, вышел из хаты.

\* \* \*

Так и остался маленький Андрий на воспитании у Шакулы. Как ему там житься будет — можно предска-

зять: это будет жизнь сироты, горького сироты, которого ненавидят. И теперь вот — лежит голодный ребенок, а Ульяны это не касается, ей все равно. Закричит ребенок, пожалуется на свою судьбу — Ульяна только выругается, толкнет ногой люльку, чтобы качалась. Мокро под ребенком — никто не знает, никто не позаботится... Кругом сирота, и все: некому за ним посмотреть, навести порядок. Однажды Ульяна пошла куда-то, к соседке, что-ли, — дети давай забавляться с Андрийкой, фасоли ему в нос засовывать. Насилу потом вытащила Ульяна, когда вернулась.

Прошло три года. Хоть и не заботились об Андрийке, не смотрели за ним, а был он ребенком здоровым, крепким. Нянчила его девочка Шакулы — сама ребенок, лет шести. Ну как она могла доглядеть?! Несла она как-то его на ручонках через двор, споткнулась о Рябчика, гревшегося на солнце, и упала. Андрийка сломал ногу, болел, едва не умер и на всю жизнь остался калекой.

Никто не любил Андрийки. Ульяна за то, что он отнимал у нее время, он — чужой ребенок. Она вечно ссорилась с мужем, грызла его, что он навалил забот на ее голову, а Андрийку колотила и когда было и когда не было за что. Харитон, слушая попреки жены, считал, что во всем виноват Андрийка и тоже не любил его и не спускал ему ничего. Дети, глядя на мать и отца, не очень хорошо обращались с сиротой, и особенно потому, что он умел за себя постоять, сам себя защищал и за каждый пинок платил с процентом — два, а то и больше, сколько удавалось. Бывало Ульяна, если останется тесто, спечет пирожки своим детям, а об Андрийке будто забудет. Придет Андрийко с поля, пригонит скотину (ему уже годиков восемь минуло), — дети хвалятся, показывают пирожки.

— А мне? — спросит Андрийко.

— Мама тебе не спекли, — отвечает ему девочка.

— Почему? — допытывается Андрийко.

— Потому что ты х'омой чойт, — ковыряя в носу, говорит младшая.

— Потому что ты стейва! — восклицает другой.

— На тебе, выкуси, на... еще... еще... на!.. вот тебе пирожки, хромой чорт! — показывая кукиш, наступает

на него девочка. Андрийко ее за косы дерет, а у самого глаза так и горят недобрым огнем, так, кажется, и съели бы, и разорвали бы всех. Девочка вцепилась зубами в лицо Андрийке... Дети подняли крик. Входит Ульяна и, увидев, что Андрийко — чужой, никчемный — бьет ее родное дитя, со злостью хватает Андрийку за волосы и давай его дубасить.

— Ах ты, стерва собачья! Ты — драться? Да я тебя, сукин сын, задущу на месте! Ты драться! Да я тебе голову твою дурацкую размозжу! Ах ты, подлец, дрянная хромая!..

— Он, мама, за то бил Маййку, что вы ему пирожка не спекли, — лепечет маленький мальчик с соплями, текущими из носа и заглядывающими, словно просятся, прямо в рот.

— Пирожка? — свирепеет Ульяна. — А чтобы ты холеры наелся! Вишь чего захотел, паскуда! Да я тебя так накормлю пирожками, что ты и ноги протянешь, висельник проклятый!.. Прочь с глаз моих, прочь! — и Ульяна, надавав ему на дорогу тумачков, выталкивает Андрийку за дверь. Долго еще она свирепствует...

А Андрийко, выбежав из хаты, направился в сад. Мальчик не плачет. Его душит злоба. Глаза горят недобрым огнем. Страх что творится в его маленькой душе! Он бы хотел на клочки разорвать и тетку, и дядю (так он звал Ульяну и Харитона), и детей их... Он хотел бы разорвать весь мир, себя самого... его маленькое сердце требует мести всем тем, кто его мучает... А кто его не мучает? Разве тот, кто не хочет. Ни от кого, ни от тетки, ни от дяди, ни от их детей, ни от одного человека — ни от кого он не слышал доброго слова, никто не дал ему ни одной, хотя бы одной спокойной, счастливой минуты... И злоба охватывает его, как огонь охватывает сухое дерево. Голова горит, руки сжимаются в кулаки, глаза горят.

«Подожди, — думает Андрийко, — ты мне не дала пирожка («что ты, ребенок») — я украду... Они радуются, что у них пирожки. Подождите, будете вы плакать... Я их все украду...»

И ему так хочется, чтобы они плакали, господи как хочется! «А если тетка бить будет? Ничего... пусть бьет... а я украду...»

И он немного успокоился, обдумывая, как бы выполнить свое намерение. Легли все спать в хате. Со всеми лег и Андрийко. На другой день с утра дети кинулись к пирожкам, которыми еще не налакомились и припрятали их на завтра, а пирожков и след простыл. Поднялся плач... Горько плачут дети... А у Андрийки словно праздник на сердце: так радостно...

— Это Андрийко-о укра-а-аал пи-рож-ки-и! — не своим голосом заверещал один из ребят, а за ним все в один голос закричали:

— Это Андрийко-о!

Ульяна и сама догадалась — и к Андрийке:

— Это ты украл, сукин сын? — и хватъ его за волосы. — Признавайся, чортов лодырь, чтоб ты пропал, проклятый!

Андрийко молчит. Легко ему сносить тумачи: он доволен. Колотила, колотила его Ульяна, а потом вышвырнула из хаты.

— Подожди, сука! — только и сказал Андрийко, стиснув зубы.

Однажды Андрийко, как и обычно, пас скотину: пару лошадок, корову и двух телят. Корову была с норовом, насилу с ней управлялся хромою Андрийко. Но в тот день, о котором я рассказываю, с ней что-то особенное происходило. Задрал хвост и опустив голову, она галопом пустилась на огород к Панасу, находившийся как раз за выгоном, где Андрийко пас скот. Андрийко погнался за ней, чтобы перехватить ее. Но корова бросилась на него, свалила наземь, истоптала ногами, а сама очутилась на огороде Панаса — врага Шакулы. Пока Андрийко поднялся, пока отделался от испуга — Панас, радуясь, что удружит врагу, захватил корову. Пошел Андрийко просить Панаса, чтобы отпустил корову, Панас и слушать не хочет: «Дай, говорит, рубль!» Беда! Пригнал Андрийко вечером скотину, Ульяна смотрит — нет коровы.

— Корову куда девал? — спрашивает.

— Взбесилась, что ли... побежала на огород к Панасу — хотел я поймать... а она сбила меня с ног... пока поднялся, а она у Панаса... Он требует рубль.

Как услышала Ульяна, даже побледнела. Ишь ты — рубль отдать! Да это не шутка! И все из-за этого па-

щенка, который сам не стоит рубля!.. Как кинется на Андрийку:

— У-у! Проклятый! Что ты наделал! Головонька моя бедная! Рубль! А чтоб ты лопнул, окаянный, чтоб ты вечера не дождался, чорт хромой!

Харитон, услышав этот шум, выбежал из хаты и, словно зверь на добычу, бросился с кулаками на Андрийку. Не помня себя бьет и кричит:

— Ты куда смотрел? Ты что делал, аспид, стерва? Спал? А-а! Взрослый хлопец, двенадцать лет, а ни на что не годен! Ты только красть умеешь... Я тебя проучу! Запомнишь ты меня!.. Рубль? Вот тебе рубль! Вот тебе!.. вот, сукин сын!.. вот!..

Еле живым вырвался Андрийко из рук Шакулы. Избитый, растерзанный, едва дыша, спрятался он в канаве на огороде.

Сидит. Не плачет... Только испуганные горящие глаза бегают то туда, то сюда... Молчит...

— Либо себя зарежу, либо их, — промелькнуло у него в голове. — Нет, — сказал он громко и твердо, — нет!.. — И, поднявшись, стремительно пошел к клуне. Сгрел соломы, полез в карман, вынул спички.. чиркнул — не горит... Руки трясутся, глаза сверкают... Чиркнул снова... зажглась, подложил под солому... огненный язык лизнул солому раз, другой... И в ту же минуту на пороге появился Шакула...

Увидел и обмер... А затем бросился, затоптал огонь, не помня себя выволок за шиворот Андрийку во двор, повалил и, схватив несколько лежавших поблизости прутьев, стал стегать. Стегал, стегал, до тех пор пока не насытилось перепуганное, озлобленное сердце.

Только недель через пять, после длительной болезни, пришел Андрийко в себя, начал узнавать дядю, тетку, соседей...

Выздоровев, он стал хмурым, молчаливым. Недобрый огонь еще сильнее, чем раньше, горел у него в глазах.

Остался Андрийко у Шакулы. И Ульяна все чаще и чаще изливала перед соседкой свои жалобы на него.

— За что господь наказал нас этим хлопцем, вот, ей-богу, не знаю. Разве мы убили кого или зарезали?

Что с ним делать: ударишь его, так и он норовит тебя ударить. А что еще хуже: все, что есть в хате, — крадет! Будь то грош какой или сало, все, что пропадет, — все его работа. Я вам говорю, что это чистое наказание божье!

— О! Ох! — живала соседка. — И не говорите! Вот у Микиты Линдрика свитка пропала — все говорят, что это Андрийко постарался. А у вдовы Тодорчихи вчера клеть обокрали — тоже на Андрия говорят. Ох, господи! Чистое наказание!..

Рос парень — росла и дурная слава о нем. Люди называли его вором, хоть никто еще не поймал его. В деревне стали его бояться.

Стукнуло Андрию 19 лет.

Темная ночь. Черные тучи, словно огромные волны, надвигаются одна на другую. Дождь... Молния... Гром...

Василю Стецюку не спится... Есть о чем думать, есть чем душу терзать: подушные, недоимки, аренда... Вдруг слышит — возле конюшни что-то стукнуло... вот опять... Оделся он, взял топор, пошел. Подкрался. Сердце замерло... Вот отбивает засов... Василь схватил вора за руки... Сверкнула молния...

— Ты, Андрий?

Но Андрий так толкнул Василя в грудь, что тот упал, а сам скрылся.

Утром Василь Стецюк пошел в волость, рассказал все старшине. Другие тоже жаловались на Андрия, говорили, что он непутевый.

Старшина велел позвать Андрия.

— Слушай, хлопец, — сказал он Андрию, когда тот пришел, — ты занимаешься плохим делом. Хотя тебя еще не поймали, но могут поймать... И еще общество может вынести приговор, что не хочет держать в деревне вора, и ты прогуляешься в Сибирь... Так лучше на тебе паспорт, — в солдаты тебя не возьмут: хромой, — так иди в люди... Иди, добром говорю... Авось из тебя еще что-нибудь выйдет...

Подумал Андрий, затем взял документ, забрал свою одежду, да и пошел из деревни.

Диво дивное сталося  
Надо мною, недолюдом...

*Т. Шевченко.*

Грохот пролеток по мощеным улицам, высокие дома, большие магазины, длинные прямые и душные улицы, толпы всякого люда — панов, мещан, солдат, цыган, мужиков, евреев и евреев больше всего: куда ни посмотришь — все еврейские пейсы, бороды, засаленные сюртуки и такие же юбки...

Впервые Андрий в таком большом и хорошем городе, хотя и забрел он в самый бедный, еврейский квартал.

Но не обращает Андрий внимания на невиданные чудеса. Идет мрачный, с узелком за плечами. Наконец заметил скамейку под деревом, присел и задумался.

«Что тут делать? Надо искать какую-нибудь работу. А где ее найдешь? Никого не знаешь... А есть хочется... Эх, если бы хоть хлеба кусок... можно было бы купить, но как назло — ни копейки!»

— Булки! бублики! — выкрикивает безносый еврей, с корзинкой, полной румяных свежих булок. — «Как бы украсть?» — промелькнуло в голове у Андрия. В ту же минуту, когда он об этом подумал, у его ног оказалась соломенная шляпа, сорванная ветром с какого-то человека, который с растрепанными волосами подходил к Андрию. Андрий поднял с земли шляпу и держал ее в руках.

— Спасибо, — произнес человек, беря шляпу. — Куда идешь?

— Да вот сюда, в город... Пришел работу или службу искать, да никого не знаю тут. Посоветуйте мне, дядя, что делать, куда обратиться...

— Ох, и трудно же теперь найти хорошую работу. Да вот обратись-ка к пану Лотоцкому или к Жуку... Может, им нужно... впрочем, не знаю... Прощай!

— Спасибо, дядя. Будьте здоровы.

Пошел Андрий искать пана Лотоцкого. Спрашивал, спрашивал — нашел. Приходит, рассказывает, зачем пришел — нет, не нужно. Посоветовали ему пойти еще к двум. Пошел — чигде не требуется.



Наконец идет он к пану Жуку, на другой конец города. Входит в небольшой беленький домик. Навстречу Андрию — пан Жук, человек лет двадцати двух, такой приятный на вид. Лицо его так и светится добротой.

— Чего тебе, хлопец?

— Да я пришел к пану, не нуждается ли пан... не примет ли меня на службу?

— Да, мне нужно было б человека в дом, чтобы подмел, сходил куда надо... А ты откуда, хлопец?

— Из Босовки...

— Из Подольской, значит?

— Ну да.

— Так мы земляки с тобой. Ну, земляк, оставайся у меня, если хочешь... Платою не обижу...

Остался Андрий у Жука. Хорошо ему там. Пан такой добрый, ласковый, говорит с ним по-человечески, хоть и пан. Полюбился он Андрию. Андрий подметет комнаты, внесет самовар, сходит куда надо — вот и вся его работа. Как-то раз подметал Андрий комнату, стены которой заставлены книгами, и, стирая пыль, заметил на столе несколько медяков. Будто чорт какой-то шепнул ему: «укради». Кажется, и не хочет взять, а так и тянет: привык.

Только он, набрав полную горсть, собрался спрятать деньги в карман, как кто-то легонько взял его за плечо. Оглянувшись, Андрий чуть сознания не лишился: это был его пан. «Все пропало... выгонит!» — подумал Андрий.

— Как тебе не стыдно чужие деньги брать! Разве ты их заработал? — тихо и мягко сказал Жук. — Если ты хотел больше денег, чем я тебе плачу, почему ты не сказал мне? Я бы набавил тебе несколько рублей. А красть?! Так честные люди не поступают! Ты подумай: за такие вещи тебя отовсюду выгнали бы, и ты, скитаясь на чужбине, пропал бы ни за что ни про что... Я тебя не выгону. Мне тебя жаль. Такой молодой хлопец — и крадет. Мне очень жаль таких людей. Сколько ты тут взял? Тридцать — сорок копеек? На тебе рубль и не делай так, потому что это стыдно... дурно. Чего же ты не берешь? — удивился Жук и посмотрел на Андрия.

Андрий стоял красный, опустив голову. Впервые за всю жизнь в нем проснулась совесть... Он ждал, что его изругают, прогонят, а тут тихое, ласковое слово... Вместо

того чтобы бить, осыпать бранью, его жалеют, не гонят... Впервые в жизни ему стало стыдно. Хотелось поцеловать руку этому доброму пану, попросить у него прощения...

— Отчего же ты не берешь? — снова спросил удивленный Жук. — А! тебе стыдно, ты жалеешь, что так поступил. — Ну, тогда руку, товарищ, и забудем то, что было... Кто из нас без греха?

И Жук взял руку Андрия. Но Андрий быстро нагнулся и, раньше чем Жук опомнился, поцеловал ему руку, на которую при этом капнуло две горячие слезы.

— Зачем целуешь руку, зачем? А! Ты плачешь... ты раскаиваешься... хочешь честным быть... Если так — ты мне брат... поцелуемся...

И они, как братья, расцеловались.

С тех пор еще крепче полюбил Андрий Жука. Он привязался к нему еще больше, словно стараясь загладить свою вину перед ним. Однажды Жук сказал Андрию:

— Послушай, Андрий, случается у тебя свободная минута?

— Да как же, есть!

— А не хотел бы ты учиться грамоте? Это так весело: все равно как слепому свет увидеть.

— А почему бы не хотеть? Я еще с детства такую охоту имею к грамоте, что господи!..

— Вот и хорошо! Приходи по вечерам ко мне, будем учиться. А почему ты меня называешь паном: мне стыдно. Я такой же человек, как ты. Ты смотришь на одежду? Не тот настоящий человек, кто хорошо одет, а тот, кто хорошо думает и поступает. Зови меня просто Семеном, как я тебя — Андрием. И смотри — приходи каждый вечер.

И Андрий стал по вечерам приходить к Семену учиться. Позанимаются они немного, а потом Семен начнет рассказывать и о мире божьем, и о том, что делается в мире... так всю правду и выкладывает, так все и показывает, как на ладони. И любо, приятно да мило слушать Андрию его слова. Полюбил Андрий Семена, как родного брата, как отца, как мать... душу свою готов за него отдать...

Соберутся, бывало, у Семена гости, такие же студенты, как он, которые на доктора учатся, на учителя...

С Андрием они обращаются, как с равным, хотя он и мужик.

А станут они разговаривать, и разум Андрия словно светом светится — видит он ясно то, о чем раньше и не знал, о чем и не догадывался, и не мечтал; видит, каким он прежде плохим был и каким надобно быть.

Не заметил Андрий, как пробежало три года... И узнать его нельзя. Куда девалась прежняя мрачность, недобрый огонек в глазах? Как не бывало. Он теперь веселый, рассудительный, грамотный человек. Вот сидит он над книжкой — задумался.

«Господи, — думается ему, — господи! Я был темным, неразумным, злым... а теперь я свет вижу... а теперь я иной... Сам себе не верю... Я свет вижу... господи!.. Какой же я счастливый!» — и слезы, слезы чистые, хорошие святые слезы капаят на книгу.

— Знаешь что, Андрий? Мне часто вспоминается твоя жизнь у Шакулы. Это была страшная, тяжелая жизнь. Если бы ты не встретился с нами или с такими, как мы, может, и погиб бы совсем. А подумай, сколько в деревнях погибает вот так детей от отцовской и материнской темноты, оттого, что нет человека, способного поддерживать этих несчастных детей словом любви, знания... Хорошо нам: не обездолены знаниями, светом, а крестьяне? Как ты думаешь?

— О! я помню то проклятое время! Я помню те страшные муки! И до сих пор еще волосы поднимаются дыбом да мороз по коже подирает. Я так думаю сделать: поучусь еще года два и в народные учителя — в деревню. Всю свою любовь, какая есть в моем сердце, весь свой разум, какой есть у меня в голове, все я отдам бедным замученным крестьянским детям и их темным отцам и матерям. Ты думаешь, Семен, что я обвиняю Ульяну и Харитона, хотя они мне и много зла причинили, хотя они меня чуть не погубили?.. Нет, я их не виню, я им прощаю. Не они так плохо поступили, а их темнота...

— Руку, друг! Поступай, как тебе разум и совесть подсказывают. Через два года я уже кончу учиться, буду доктором. Неужели ты думаешь, что я пойду к господам, где и без того есть много врачей и денег на них? Нет, я пойду к тем несчастным людям, трудом которых все

пользуются, а для счастья которых никто и пальцем не хочет пошевелить. Вот куда я пойду: так мне велит моя совесть.

\* \* \*

Прошло два года.

— Слава богу, — крикнул Семен Жук, вбегая в комнату к Андрию, — нас назначили: тебя народным учителем, а меня — сельским врачом.

— Куда? — спросил Андрий.

— Тебя в Босовку, а меня в Крутые Горы... Тебя — в одну губернию, меня — в другую. Прощай, друг! Дай бог, чтоб у нас сил хватило честно и смело выполнить свой долг и принести ту пользу, о которой мы мечтаем...

— Дай бог!

#### IV

Учітіся, брати мої!

*Т. Шевченко.*

Не очень изменилась Босовка через пять лет после того, как ее покинул Андрий. Те же зеленые садики, те же веселые луга. Кой-какие старые хаты покосились еще больше, да несколько новых поставили, а между ними сияет беленькая; чистенькая школа, в прошлом году выстроенная. Несколько человек умерло, — среди них и Харитон с Ульяной. Ульяну насмерть придавило глиной, за которой она ходила перед пасхой, а Харитон спился и с перепоя умер через год после Ульяны. Кто-кто из хлопцев женились, да девушки повыходили замуж... несколько детей родилось.

Шинкарь поставил новый шинок, стал больше водки возить и спаввал людей, подсыпал в разбавленную водку дурману и табаку, чтобы крепче казалась... Урядник появился и стал налетать на людей, как коршун, и ощипывать их так, что перья летели... Вот и все, чем изменилась Босовка за пять лет. Об Андрии в деревне и думать забыли: решили — верно, умер где-нибудь в тюрьме или еще что...

А Андрий в соломенном бриле и свитке подъезжал к Босовке... Услышав по дороге от хлопчика, который его вез и не узнал, что Шакулы умерли, Андрий вздохнул и сказал: «Прости им, господи, их прегрешения!» Чем ближе подъезжал Андрий к деревне, тем сердце билось быстрее и сильнее и наполнялось то печалью, то радостью.

Подъехав к волостному правлению, Андрий увидел, что собрался сход. Люди что-то говорили, выкрикивали, почесывали затылки... Тихонько, так, что никто его не заметил, он зашел в канцелярию и показал старшине бумаги.

Старшина удивился, даже перепугался, узнав Андрия.

— Вы ли это, Соловейко? А у нас слух шел, будто вы в тюрьме умерли...

— Вот видите — жив, здоров и к вам учителем приехал...

— Как же это вы... раньше-то... — не договорил старшина, удивленным взглядом окидывая Андрия.

— Слава богу, люди научили уму-разуму... только вот что, старшина, мне необходимо поговорить с обществом... Как раз теперь и сход собрался. Как покончат люди свои дела, то скажите им, чтобы немного подождали, — скажите, учитель приехал и хочет поговорить с вами.

— Да они уже и кончили, ждут только, пока не скажу, чтобы шли по домам, — ответил старшина, выходя на крыльцо волости. — Послушайте, люди, — крикнул он собравшимся, — учитель приехал... что-то говорить с вами хочет... подождите малость.

Андрий степенно вышел на крыльцо и, поклонясь на все стороны, ровным, спокойным голосом произнес:

— А узнаете ли меня, люди добрые?

Люди молчали и, приглядываясь, придвинулись к крыльцу. Никто не узнавал Андрия, а кое-кто от удивления рты поразевали...

— Да это Андрий Соловейкин, — крикнула какая-то баба.

— И впрямь он! — удивленно загудел сход.

— Правда ваша... Я Андрий Соловейко. Я тот самый, которого вы лет пять тому назад боялись, как вора, чуть

ли не разбойника... которого вы ненавидели, называли непутевым. Я тот самый. Теперь я приехал к вам учителем. Удивляетесь? Не удивляйтесь, братья мои! Вы знаете, помните, верно, как я рос? Я был сирота... меня не любили, меня били, надо мной издевались... Ни от кого я не видел ласки, не слышал сердечного слова, слова правды. За такую жизнь я отблагодарил, чем мог, Шакулов, царство им небесное, несчастным людям... а потом, когда появились силы, я свою злобу вымещал на неповинных людях. Я не знал тогда, что такое совесть, что такое бог... Я был темный, неразумный... Стыдно мне за мои дела. Теперь я не такой, нашлись добрые люди, разбудили во мне совесть, осветили разумом мою голову — теперь я не такой. Раньше я умел только ненавидеть людей — теперь научился их любить, научился объяснять их вину темнотой их. Видите, люди, что сделала из меня наука? Из пропащего, нечестного, она сделала меня честным, способным на доброе человеком. Знание, учение, грамота — великая сила. Как хорошо быть грамотным! Никто тебя не обманет — сам все знаешь. Неграмотному нужно все в голове держать, случается, и забудется, а грамотный записал — бумага не голова — с нее не утечет. Да грамотный и понятливее ко всему: ремеслу ли какому-нибудь научиться — он скорее научится, чем неграмотный. Или, если судишься, например, нужно написать прошение — идешь к писарю, несешь рубль. А писарь, пользуясь твоей темнотой, нарочно напишет так, чтобы оно тебе не помогло, чтобы ты снова шел к нему и нес рубль... А грамотный сел себе, написал — и хорошо. Посоветоваться надо по какому-нибудь делу — снова идешь, снова даешь. А грамотный прочтет закон и знает все, и деньги в кармане. Еспомните: сколько вы ночей не доспали, сколько в затылке скребли, сколько труда потратили из-за того, что ходите, хоть и среди бела дня, а как будто с завязанными глазами — во тьме?

Или поехал куда-нибудь человек далеко, не знает, что дома делается — хочет письмо написать, — ищи такого человека, чтобы написал — опять плати, да еще, смотри, напишет ли, как хочешь.

А грамотная мать не может разве учить своих детей? Не может вместо того, чтобы пачкать их чистые души

всяким дурным словом, наполнить их добром, а головы разумом? Разве не может? А вспомните, люди, сколько горя причинили вам шинки, пьянство. Сколько оно отняло у вас здоровья, счастья; сколько загребло в тяжком труде добытых кровных грошей. А почему? Нароботаешься за целую неделю — в воскресенье хочется отдохнуть, повеселиться... Дома скучно сидеть. Либо спишь, либо с тоски ругаешься с женой, иногда и до драки доходит. Идешь в шинок, где встретишься с кумом, сватом, приятелем. Поболтаешь, выпьешь по рюмке, потом по второй, а там пошло писать — и образ человеческий потеряешь... Втянешься вот так — потом уже и жалеешь, да не поможет. Одно разорение да печаль...

А грамотный! Возьмет в воскресенье книжку, читает, или жена читает. Учится... Говорят: «Ум хорошо, а два — лучше!» А что ни книжка — то и ум. И грызни нет с женой: любо и тихо, по-божески. Тогда уже человека не потянет в шинок.

А как ловко пользуются вашей темнотой шинкари? Да и кто не пользуется? Разве тот, кто не хочет! Раньше не так трудно было прожить без грамоты. Но с каждым годом грамота все больше нужна. Скоро настанет такое время, что без грамоты и вовсе трудно будет жить. Вы — деды и отцы — еще доживете кое-как свой век неграмотными. Но детям вашим без грамоты совсем будет плохо. Братья мои! Отцы мои! Отдавайте детей своих учиться! Не делайте их несчастными, не губите им жизнь! Ведь вы им не враги: они ж ваши дети!..

Да и сами учитесь, братья мои! Увидите, что легче будет жить на земле, когда озарит вас свет науки. Лучше поздно, чем никогда. Я вам живой пример! А я, люди добрые, чтоб искупить свою вину перед вами, и потому, что мне долг мой велит, всегда готов помочь любому из вас, чем смогу, готов быть братом, надежным советчиком.

Андрей поклонился людям и направился в школу, чтобы немного отдохнуть после долгой дороги.

Еще долго стоял сход не двигаясь... Наконец разошлись, каждому было о чем подумать после слов Соловейки.

\* \* \*

Через две недели, когда Андрий приступил к занятиям — школа была полнехонька.

Детвора охотно бежала к доброму учителю и хорошо, старательно училась.

Кое-кто из родителей тоже приходили к Андрию учиться уму-разуму.

За ум, за доброе сердце, честность, искренний совет и помощь все люди из Босовки и других деревень говорили, что не знали и не знают человека лучше, чем Андрий Соловейко.

*Бинница 1884 г.*



## 21-го НОЯБРЯ НА ВВЕДЕНИЕ

Солнце было на закате. На дворе — слякоть, ветер, холод. В дом вошла какая-то старуха с мешком за плечами и палкой. Худые сапоги, покрытые жидкой грязью, ветром подбитая свитка, летний платок из китайки, видно, не сильно-то грели, и потому, войдя в дом, старуха переступала с ноги на ногу, кряхтела:

— Паны-голубоньки!.. Пустите меня переночевать! Так озябла, так озябла, что и... А-а-а!

— Да у нас, бабка, негде переночевать, кухня холодная, а в двух комнатах — мы... у нас семья большая...

— Холодная, говоришь, кухня?

— Холодная. Садитесь, бабка, к печке да погрейтесь, коли озябли.

Старуха положила на сундук мешок, уселась возле печки и стала греться, кряхтя, охая и причитая.

— А-а!... так озябла, так озябла, что не могу и разогнуться. А живот... так живот болит, прямо невозможу!

Страшная была старуха. Низенькая, несчастная; голова маленькая. На левой щеке какое-то темносинее пятно. Большое: от виска до самого подбородка. Лицо землистое. Губы черные, сморщенные, словно шнурком стянутые. Весь ее облик как-то болезненно поражал сердце. Не человек это казалось, не зверь, а такое, что и название ему трудно найти. Какой-то отброс человеческого рода.

— Хоть бы, господи, вырваться из Винницы. Хоть бы угол свой теплый, хлеба ломоть. А то слоняешься с

сумой по людям... Вот иду на вокзал. Обещали меня взять в Сороки... то ли город такой есть, то ли село... Да сегодня уже не дойду. Озябла очень.

— Кто вас возьмет в Сороки? — спрашивает из другой комнаты мама.

Молчит старуха, свое твердит. Глухая, верно.

— А-а!.. какая печка горячая. Вот оно, господи... одни рождаются счастливыми, есть у них еда, есть и одежда, и горя не знают, а другие... вот так зря гибнут... Ни хаты, ни хлеба куска, ни рубахи путящей нет, а помрет — не на что и похоронить.

— Да кто вас, бабка, возьмет в Сороки? — громче говорит мама.

Молчит старуха, греется.

— Бабка, пани зовут!

Поднялась старуха, пошла к маме, села на кровать.

— Зачем вы идете на вокзал?

— Да пани какая-то... к детям... Не знаю, будет ли толк. А есть так хочу... Пани, милая, мать моя родная. Дайте мне, голубка, борщика немного. Дайте, сердце, чтобы согреться. Хоть две ложечки. Душу свою спасете. Так у меня живст болит, так болит — всю крутит... Дайте согреться...

— Дай ей, — говорит мама, — что осталось от обеда и горячего чаю стакан.

— Холодное все, пойду подогрею, — сказала сестра и ушла хлопотать на кухню.

— Садитесь, бабка, у печки, грейтесь, а вам дадут чаю и поесть чего-нибудь, — кричит мама.

Села старуха у печки и так тяжело сопит, прямо свистит, словно ветер осенью.

— Разве у вас крова нет? — спрашивает мама.

— Нету... Плохо мне с той поры, как моего Стефанка зарезали...

— Кто зарезал?

— А Остапин Гарасько...

— Когда зарезал, где?

— А на улице... Уже восьмой год. У сапожника служил мой Стефанко... А Гарасько его и зарезал... Тот зарезали его в воскресенье, а от меня скрывали... Дали мне знать в понедельник утречком... Я стираю лохмотья, а тут приходит сестра моя Устя. «А-а, Франя, вы уже

поднялись?» — Эге. «Стираете?» — Ну да. «Пойдемте Стефанка хоронить». — Какого Стефанка? — «Да нашего». — Как так? — «Разве вы не знаете, что вчера его зарезали, а сегодня хоронят, уже и люди собралась». Надо пойти дать знать справнику, городничему... полиции, значит. Прибежала, сказала... «Иди, матушка, мы сейчас будем». Пошла я... Не успела дойти, как они (полиция) приехали. Смотрю — мой Стефанко лежит, распухший, как колода. (То ли старуха врет, то ли слабоумная. Где это видано, чтобы зарезанные распухали?) А они о чем-то поговорили и обрядили моего Стефанка. Положили его на лавку и уехали. А я бегу. Идет солдат-барабанщик и на барабанах играет. А у меня деньги были за пазухой. Так мне весело. Вот я и говорю ему: «Солдатик! Сыграй мне хорошо, я тебе заплачу, потому мне страх как веселиться хочется». Он как заиграет, а я пляшу, а я пляшу... А у меня в голове уже помутилось. Вдруг идет справник. Стал вот так. (Старуха поднялась, руки в боки — ну прямо унтер-офицер.) Смотрит на меня да и спрашивает солдата: «Что ты делаешь?» — «Играю», — говорит. «Зачем же ты играешь?» — спрашивает. — «Да она плясать хочет». — «Матушка, — говорит мне справник, — зачем ты танцуешь?» — А тебе что? — говорю я. — Хочу, вот и пляшу. — «Хочешь?» — спрашивает. — Хочу, — говорю. — Иди и ты со мной плясать, — да ему кукиш тычу. А он обернулся к кому-то да и говорит: «Возьмите ее, видите, как бедная женщина бьется...» А я говорю: — Не хочу... я есть хочу. — «Хочешь есть?» — спрашивает. — Хочу, — говорю. — «Пойдем», — говорит. Пошли мы. Приходим, он и впрямь говорит хозяйке: «Хозяюшка, дай этой бедной женщине поесть». А она говорит: «У меня ничего нет, только холодец...» — «Ну так дай ей холодца немножечко». Пошла она на погреб, принесла мне свиных ножек на тарелочке... Я села да и ем. Такие вкусные свиные ножки... А он входит и говорит: «Кабы ты знала, матушка, чего я хочу...» Я говорю: — Чего? — «Так хочу я водки!...» — Ну так и пошлите, — говорю, — и мне дадите. Вот и послал он за водкой. Принесли. Налил вот такую здоровую рюмку, ей-богу, хе-хе-хе... Он и выпил. А потом налил и мне. «На, — говорит, — матушка, пей!» Я выпила. «Хочешь, — спрашивает, — и вторую?» — Выпейте сперва сами, а тог-

да и я выпью. Выпили по второй. «Ну, теперь, — говорит, — пойдём танцевать». — Пойдем, — говорю. Приходим, а солдата с барабаном уже нет. — Вот видишь, — говорю, — из-за тебя я и музыку упустила, нельзя и поплясать. — «Ничаво, — говорит, — матушка, не огорчайся, я тебе найму музыку, да еще и не такую». — Какую же? — «Палковую. Эй, пойдите за музыкой!» — крикнул кому-то (даровую, значит), ну...

В это время сестра принесла из кухни миску с едой и поставила перед старухой.

— Ой, спасибо, да воздаст вам господь! — говорит старуха, крестится и за ложку берется.

Тяжело было смотреть на нее. В своем рассказе она многое напутала. Частенько плела вздор. Но была здесь и доля горькой правды. Так или иначе, но что-то довело бабку до такого отчаянного состояния. И это «что-то» даже и не пахло ни счастьем, ни достатком, ни благополучием, на которые право имеет каждый человек.

Поела бабка, напилась чаю, поднялась: «Господи Сусе Христе, — шепчет. — И спасибо вам, да воздастся вам, что меня обогрели... Вам здоровьица, а умершим душешкам царствие небесное...»

— Вот так, пани, — стала досказывать старуха, — разумом я помутилась, пролежала тут немного в больнице; не вылечили меня тут... Пролежала я год в Киеве, и там меня не вылечили. А как пролежала год в Браилове у монашек, так малость мне полегшало. Разум вернулся. Слава тебе, господи Сусе Христе, что ты мне разум вернул, — подняла старуха руки. — Вот еще если бы меня взяли в Сороки, может был бы у меня теплый угол и хлеба кусок. А то слоняйся с сумой.

Стемнело.

— Собирайтесь, бабка, — говорит мама, — и идите искать ночлега, а то поздно будет...

— Эге... вот сейчас пойду. — Встала бабка, шарит за поясом.

На пол что-то упало, зазвенело, будто деньги.

— Это мои три копейки упали... Только-то и денег на дорогу. — Зажгли лампу, чтобы найти три копейки.

— Будьте здоровы... и спасибо вам, да воздаст вам господь. — Ушла старуха.

Четверть часа спустя снова приходит старуха.

— Не принимают... Ходила к соседям — не хотят принять...

— Пойдите, бабка, немного подальше... там хаты, там примут вас; там тепло по крайней мере, а у нас холодно и тесно.

Пошла бабка. Через несколько минут — опять бабка.

— Не принимают... нигде не принимают. Пани-голубонька, мать моя! Что мне делать? Имейте ко мне сожаление... Не дайте душе погибнуть... Я уж у вас переночую... Я уж у вас, как у матери родной... Я и места-то займу, как курица под решетом...

— Да ведь холодно в кухне. Хоть на печь полезайте, может, там чуть теплее.

— Ничего, я укурюсь и переночую...

Легла старуха. Мы не спим. Иногда приходится пройти через кухню. Кричит бабка, словно у себя дома: «Чего двери отворяете, чего ходите?»

Утром мы уже встали, а бабка спит. Уже одиннадцать часов, бабка не уходит. Пошел брат выпроваживать бабку. Бабка и слушать не хочет.

— Тебе, говорит, какое дело. Твой это дом?

Пришла мама: куда там! Бабка сидит на печи, почесывается, вши сыплются, на кухне вонь. Под бабкой мокро, даже по печке течет. Беда. А бабка покрикивает: «Что же я съем, что ли, кусок вашей печи, если перезимую? Посижу с недельку, ну и что ж с того?..»

Насилу старуху выпроводили. Через минуту снова бежит: свои три копейки позабыла (она все с этим алтынном носилась, все его в руках держала, где сядет, там и положит).

\* \* \*

Много на свете таких старух. Несладка их жизнь в молодости и в средние лета, а под старость, — бродяжничая и выпрашивая милостыню, умирают они под забором. В больших городах есть хотя бы дома призрения для таких несчастных, а у нас, в маленьких городах, — один конец: голодная и холодная смерть под забором.

Следовало бы тому, кто хочет и может сделать добро людям, обратить внимание на этих несчастных, ведь и они — люди.

[1885?]

## НЮРЕНБЕРГСКОЕ ЯЙЦО

Все вы, детки, наверно видели часы; можете узнать, взглянув на них, — и днем и ночью — который час, можете высчитать каждую минуту. А когда-то люди не умели узнавать время. Различали только весну, лето, осень и зиму, а сутки делили на день и ночь. В светлые летние дни, когда солнышко весело сияет на небе, люди время определяли легко; но ночью или глухой осенью не знали они, что и делать. Не раз и не два задумывались люди над тем, как горю помочь. Но ничего путного выдумать не могли. Один английский король приказал сделать одинаковые плоски, рассчитать, сколько их может выгореть за сутки и таким образом, зажигая одну за другой, вычислять время. Но такие дорогие часы были в состоянии иметь только король и богачи. Нужно было, чтобы плоски горели постоянно, чтобы днем и ночью кто-то присматривал за ними и зажигал новую, как только догорит предыдущая. Много было хлопот с этой выдумкой. Потом придумали люди песочные часы. Брали две стеклянные бутылочки с узкими горлышками, наполняли одну из них мелким песком и соединяли их горлышками так, чтобы песок мог сыпаться из одной бутылочки в другую. Как только песок из верхней бутылочки пересыпется в нижнюю, — переворачивают ее кверху доньшком, и песок снова сыпется, как и раньше. Недорогие и очень простые это часы, но и с ними не мало возни, — все время нужно за ними следить. Наконец изобрели часы башенные. Кто первый и как выдумал это чудо — неизвестно. Говорят, будто первыми арабы научились делать часы и что арабский калиф Гарун-аль-Рашид в 807 году

прислал такие часы в подарок французскому королю Карлу Великому.

Тогдашние часы были без боя и не имели маятника. Приделали маятник к часам только в XVII веке. Тогда же разделили час на шестьдесят минут, а минуту на шестьдесят секунд. Очень много пользы приносили людям часы. Но их можно было увидеть только на башнях королевских и княжеских замков. Путешественник не мог пользоваться ими, потому что были они очень велики и тяжелы. О бедных людях нечего и говорить: они должны были довольствоваться солнцем, которое одинаково светит и богатым и бедным.

Долго, очень еще долго нужно было трудиться, чтобы выдумать часы более удобные и дешевые, чтобы ими могли пользоваться все люди.

В начале XVI века в городе Нюрнберге проживал один медник — Петр Гелье. Старость покрыла его голову сединой, но он не складывал рук, не бросал работы. Все считали его честным человеком и хорошим мастером. Кроме своего ремесла, Петр Гелье любил заниматься механикой. Раз как-то навестил его один итальянец, с которым Гелье, во время своих странствий, познакомился во Флоренции. С тех пор старый медник бросил свое ремесло, по целым дням читал книги, рисовал и рассчитывал какие-то винты и колесики.

Жена Гелье и двое взрослых его сыновей никак не могли понять, почему такой трудолюбивый человек бросил работу, и с утра до вечера попрекали и бранили его. Не выдержал старый Гелье и, оставив собственный дом, переселился к замужней дочери. Хорошая дочка очень любила отца, взяла его под свою защиту и, хотя сама была бедна, делала все, чтобы утешить его старость. На беду, муж ее, портной, был страшно любопытен и с тех пор, как старый тесть поселился у него в доме, ни на минуту не находил себе покоя. Любопытный портной не знал механики, и разные колесики и винтики, с которыми все время возился Петр Гелье, казались ему чем-то необыкновенным, диковинным. Он следил за каждым шагом тестя.

Однажды старый медник пошел в город, забыв запечатить свою комнату. Портной забрался туда, довольный, что может удовлетворить свое любопытство. Удивлен-

ный, почти со страхом осматривал он комнату, разглядывал каждый кусочек проволоки, меди, железа... Все казалось ему необыкновенным. Как вдруг среди разных инструментов увидел он кругленькую, небольшую штучку, которая как-то странно стучала и шипела. Вначале он подумал, что это ему послышалось. Схватил машинку в руки, приложил к одному уху — стучит; приложил к другому — не перестает. Бедный портной покрылся холодным потом. Ему представилось, что в этой кругленькой штучке сидит нечистая сила и, не долго думая, он изо всех сил швырнул машинку об стену, а сам, не оглядываясь, выбежал из комнаты, крестясь и читая молитву.

«Так вот оно что! — думал он, — вот почему дорогой тесть запирается в комнате, прячется от людей! Недаром жена и дети выгнали тебя из дому! Спознался с чортом и упрятал его в машинку! Хватит! Не хочу жить под одной крышей с нечистой силой! Еще, упаси бог, в суд пстанут!..»

Вернувшись домой и увидав, что труд его погублен, старый Петр даже за голову схватился от горя. Столько труда, столько времени пропало зря! А тут еще глупый зять кричит, что не хочет жить в одном доме с чортом. Несчастный Гелье увязал в узелок свои пожитки и выбежал на улицу.

Тяжело ему было. Он думал:

«Я стар, немощен... Скоро придет смерть и вместе со мной похоронит и мою идею... И я не сделаю людям того добра, которое могу сделать. А тут еще никто мне не доверяет, все чураются меня, как безумного. Как мне, бедному, быть? Вот что я сделаю: пойду к судье, попрошу, чтоб посадил меня в тюрьму. Там уж никто не будет мне мешать».

Так подумал, да и пошел к судье.

Судья только что закончил свои дела и собирался идти обедать. Увидев нового просителя, он очень удивился.

— Сударь! — сказал Гелье, — окажите мне великую милость, прикажите посадить меня в тюрьму.

Услышав такую странную просьбу, судья удивился еще больше: он подумал, что старик не в своем уме, и внимательно поглядел на него.



— Почему же тебе так захотелось тюрьмы? — спросил он.

— Я, видите ли, должен закончить одну очень важную работу, да на беду не могу найти спокойного уголка, где бы мне не мешали. В тюрьме уж верно никто мне мешать не будет.

Напрасно старался судья уверить старого механика, что в тюрьме не так уж хорошо, чтобы туда проситься. Гелье так умолял, что судья приказал заключить старика в тюрьму. Очень заинтересовал судью старый Петр. Чтобы больше узнать о нем, судья отправился к его жене и стал расспрашивать ее об ее муже.

— Мой муж сумасшедший, — ответила женщина, — он забросил работу, целыми днями возится с книгами и занимается пустьками.

И сыновья были против отца. Тогда судья обратился к дочери и зятю. Зять называл тестя сумасшедшим и говорил, что тесть продал душу нечистой силе. Бедная дочка плакала, защищала отца, как могла, но ее никто не слушал.

Поверил судья, что Гелье и в самом деле не в своем уме и велел всем родным Петра собраться, чтобы при них допросить его и уже окончательно убедиться, что он сумасшедший.

В назначенный день собрались у судьи все родные Петра Гелье. Послали за ним в тюрьму и вскоре его привели.

С достоинством вошел он в залу. Глаза его были ясны и светились умом. Лицо сияло тихой радостью. В руке держал он небольшую вещицу, похожую на яйцо, в которой что-то стучало.

— Господа судьи, — сказал Петр, — вот почему мне так хотелось попасть в тюрьму! Мы с моим приятелем итальянцем долго учились механике, долго раскидывали умом и приглядывались, как сделаны башенные часы, и, наконец, сами решились сделать такие часы, только маленькие. Приятель мой доставал мне книжки, давал кое-какие советы, и я взялся за дело. Мы условились молчать, никому и не намекать о нашей работе, зная, что без насмешек не обойдется. Кроме того, в Нюрнберге не мало искусных механиков, и я боялся показывать свою работу, чтобы кто-нибудь случайно не воспользовался

моей идеей. Теперь, когда труд мой окончен,— мне скрывать нечего.

С этими словами он показал машинку. Это были часы, или нюрнбергское яйцо. Так назвали их, потому что были они яйцевидной формы. Судьи и все, кто был в зале, с изумлением смотрели на часы Петра Гелье, а он каждому рассказывал, как они сделаны.

Жене и сыновьям стало стыдно, и они начали просить прощения у старика; дочь плакала от радости, а зять убедился, что в машинке нет нечистой силы.

Скоро весть о новых часах разошлась по всему Нюрнбергу, и все стали уважать медника Гелье.

*6 января 1891 г.*

## Х А Р И Т Я

### *Рассказ*

#### I

В печи пылал огонь, красным языком лизал устье. В маленькой хате было сумрачно, по углам стояли тени. На постели лежала больная женщина и стонала. Это Харитина мать. Шесть недель прошло с тех пор, как умер ее муж, отец Харитин, и с тех пор бедная вдова тоскует и болеет, а вот уже второй день, как совсем слегла. Слегла в самую страду, в горячую пору, когда все, кто может жать, отправились в поле убирать хлеб. И у вдовы рожь поспела, да некому ее жать; сыплется спелое зерно на землю, а вдова лежит больная: тяжкий недуг связал руки и ноги, приковал к постели... Лежит бедная Харитина мать и думает, думает...

Скрипнула дверь.

— Это ты, Харитя? — послышался слабый голос больной.

— Я, мама!

В дверях показалось сначала ведро, до половины наполненное водой, затем наклоненная к ведру русая головка, а затем немного приподнятая правая рука. Харитя вошла в хату и поставила ведро возле печи. Девочке было восемь лет. Очень тяжелым было для Харити это ведро с водой, потому что, поставив его на пол, некоторое время стояла она неподвижно, опершись на шесток

и тяжело дыша. Левая рука от непривычной тяжести онемела, и Харитя не могла ее согнуть. Но это продолжалось одну минуту. В следующую — метнулась Харитя к полке, легонько, как козочка, вскочила на лавку, сняла с полки горшок и поставила его возле ведра.

— Что ты делаешь, дочка? — спросила мать.

— Ужин буду варить, мама!

Больная только вздохнула.

А Харитя и в самом деле занялась ужином. Сполоснула в мисочке пригоршню пшена, кинула щепотку соли и две-три картофелины, налила в горшок воды и придвинула его к огню. Любо было глядеть на ее маленькие загорелые ручки, быстро перебегавшие от одного дела к другому. Большие серые глаза из-под длинных черных ресниц глядели внимательно и умно. Смуглое личико покраснелось, пухлые губы приоткрылись, — вся она была поглощена работой. Она забыла даже о новых красных лентах, которые дважды обвивали ее русую, почти белую, головку. Ленты эти были ее радостью, ее гордостью. Вот уже третий день, как крестная мать подарила ей эти ленты, а Харитя и до сих пор не нарадуется им.

Мать тихо застонала.

Харитя встрепенулась и подбежала к постели:

— Что вы, матушка? Может, водицы холодной? Что у вас болит? — ласточкой прильнула она к больной.

— Ох, дитятко мое милое! Все у меня болит: руки болят, ноги болят, головы не поднять. Вот, может, помру, на кого же я тебя покину, сироту несчастную?.. Кто о тебе позаботится, кто вырастит?

Харитя почувствовала, что ее маленькое сердце заболело, как будто кто-то зажал его в кулак; слезы задрожали на ее длинных ресницах. Она припала к материнским рукам и стала их целовать.

— Что мы будем делать, дочка? Вот пришлось мне слечь в самую страду... Хлеб стоит в поле несжатый, осыпается... И уж не знаю, как мне, бедной, больной, горю помочь... Если хлеб не соберем — пропадем с голоду зимой!.. Ох, боже мой, боже!

— Не горюйте, мама! не плачьте! Бог поможет вам поправиться...

## II

Когда Харитя говорила эти слова, в беленькой головке ее мелькнула мысль: как это некому жать? А она на что? Еще в прошлом году ходила она с мамой в поле, видела, как мать жнет, даже сама брала серп и жала! Да она бы много нажала, если бы мать не разбранила за порезанный палец! Но в прошлом году она была еще маленькая, маленькими ручонками не могла удержать серпа, а теперь она уже выросла, набралась сил и руки больше стали. Харитя взглянула на свои руки. Ведь этими руками она принесла с реки полведра воды, хотя оно такое тяжелое, это ведро! Завтра, когда рассветет, встанет Харитя, накормит маму (хотя бы захотели поесть, а то, с тех пор как больны, одну воду пьют), возьмет серп и пойдет в поле. А уж как будет жать! Не разгибая спины! И представилась Харите сжатая нива, а на ней стоят копны и блестят на солнце, как золотые. И сама Харитя стоит на поле, смотрит на свою работу и думает, как бы свезти хлеб на гумно. Вот что она сделает: пойдет к крестному, обнимет его, скажет: «Крестный мой дорогой и любимый! Я уж вам буду забавлять маленького Андрийку, буду ему за няньку, только свезите наш хлеб на гумно!» Он добрый, отец крестный, он ее слушает, свезет хлеб. А как обрадуется мать, когда Харитя придет к ней и скажет: «Вот видите, матуся милая, весь хлеб на гумне!» Мать от радости выздоровеет, прижмет дочку к сердцу, поцелует, и опять заживут они, веселые и счастливые, и не пропадут зимой с голоду...

В печи что-то забулькало, заклокотало, зашипело.

Это убегал кулеш.

Скорее кинулась Харитя к печи, оставила горшок, заглянула в него, затем налила в глиняную миску горячего кулеша. Мать съела немного и положила ложку. Еда показалась ей невкусной, противной. Харитя не то поела, не то нет, быстренько помыла посуду, поставила на полку, заперла наружную дверь и стала на колени перед образами молиться богу. Она сложила ручки, крестилась, вздыхала и, подняв глаза, пристально вглядывалась в икону, на которой был нарисован бог-отец. Харитя детским своим голоском просила у бога здоровья больной матери, а себе силы, чтобы сжать ниву. Эта мысль не давала

ей покоя. Ей хотелось скорее дожидаться утра. «Лягу сейчас спать, чтобы завтра раньше проснуться», — подумала Харитя и, поставив возле матери воду на ночь, легла на лавку. Но сон не смыкал ей глаз, он вообще покинул эту хату, потому что и больная мать не спала и стонала. Полная луна глядела в окно и рисовала на печке тоже окно со светлыми стеклами и черными рамами. Харитя поглядывала в тот угол, где лежал серп, и думала свою думу. А на дворе ночь такая лунная, светлая, хоть иголку уронишь — найдешь. Харитя села на лавке и поглядела в окно. Во мгlistой дали, освещенной серебряными лучами луны, стояли широкие поля золотой ржи и пшеницы. Высокие черные тополи, как солдаты, выстроились рядами вдоль дороги. Синее небо было усыпано звездами. Звезды тихо мерцали. «А что если бы сейчас выйти на поле? Э, нет! страшно, волк выбежит из лесу, русалки защекочат, страшилища вылезут из пшеницы...» И Харите в самом деле стало страшно, она снова улеглась на лавке и отвернулась от окна.

— Почему ты не спишь, дочка? — спрашивает мать.

— Так... я сейчас усну, мама!

Мать стонет, а Харитино сердце охватывает горячая жалость. Бедная мама! Все болит у них... Но вот немного погодя и больная мать, и копны на поле, и русалки, и волк, и светлое окно на печке смешиваются в какой-то забавной путанице. Сон, залетев в хату, берет Харитю под свое крыло. Серебряный луч луны тихо светится на белой головке девочки, улыбается новым красным лентам, гуляет по смуглому личику и по мелким беленьким зубкам, выглядывающим из-за полуоткрытых пухлых губ.

Харитя спит сладким сном.

### III

Рано встало золотое солнышко. Рано, вместе с солнцем, проснулась и Харитя. Быстренько сварила кулеш, накормила маму, съела и сама несколько ложек. Управившись, сняла с полки серп, положила в мешочек хлеба и луку и завязала пестреньким платочком. Потом поцеловала маму и говорит:

— Пойду я, мама, на улицу к девочкам, поиграю немного.

— Иди, дочка, только не надолго...

Идет Харитя по деревне и как-то ей чудно. Никогда не ходила она одна так далеко от дома. Вот уже и крайнюю хату миновала, вышла в поле и остановилась, заглядевшись вдаль на чудесный вид. И правда, на поле было несказанно хорошо! Погожее голубое небо дышало на землю теплом. Желтела и лоснилась на солнце рожь. Краснело целое море пшеничных колосьев. По долине вилась речка, как будто кто-нибудь кинул новую синюю ленту на зеленую траву. А за речкой, под кудрявым зеленым лесом, вся гора покрыта роскошными коврами яровых. Горячей зеленой краской горит на солнце ячмень, широко стелется ковер светлозеленого овса, дальше, словно мята, темнеет просо. Меж зеленых ковров белеет гречиха, будто кто-то разостлал белить на солнце большие куски полотна. В долине, там, где кончается лес, висит синяя мгла. И над всем этим раскинулось погожее голубое небо, звенит в воздухе веселая песня жаворонка. С поля веет чудесным запахом зреющего зерна и полевых цветов. И хорошо Харите в поле, и страшно. Стоит она и не знает, итти дальше или возвращаться. Но выглянула из ржи где-то далеко красная женская косынка, и Харитя вспомнила больную маму и зачем пришла. Она двинулась по тропинке между хлебов. Босые ножонки ее ступали по утопанной стежке, над головой, между колосьев, лентой голубело небо, а с двух сторон стеной стояла рожь и шелестела усатым колосом. Харитя очутилась будто на дне моря. Во ржи синели васильки и шпорник, белели звездочки ромашки, краснели цветы полевого мака. Вьюнок пополз вверх по стебельку ржи и раскрыл свои нежные белые цветочки. Харитя мимоходом рвала цветы и шла все дальше. Вот и их поле. Она хорошо знает свое поле, вот и овражек, промытый внешней водой. Харитя положила узелок, взяла в руки серп и начала жать. Тихо вокруг. Только кузнечик звенит во ржи, шелестит сухой колос да изредка закричит перепелка. Жнет Харитя, но как-то неладно идет работа. Длинные стебли путаются, большой серп не слушается маленькой руки, колосья щекочут вспотевшее личико... Как вдруг что-то как будто обожгло Харите палец. Она

подняла руку и увидела на пальце кровь. Серп выпал у Харити из рук, лицо искривилось от боли, на глаза набежали слезы, и Харитя вот-вот бы расплакалась, если б не вспомнила о своей бедной маме. Быстро обтерла она кровь с пальчика юбочкой, присыпала порезанное место землей и стала жать. Стерня колет босые ноги, прямо плакать готова Харитя, пот крупными каплями падает на землю, а бедная девочка жнет да жнет.

Как-то обернулась Харитя, чтобы положить сжатую горсть колосьев, глянула вокруг, и страх охватил ее. Ведь она одна в поле! А ну, как чудище какое-нибудь выскочит из жита и задушит ее! Вдруг — ффрр!.. Перепелка вспорхнула перед самой Харитей и, трепеща коротенькими крылышками, едва перенесла на несколько шагов свое тяжелое, жирное тельце. Сердце заколотилось у Харити в груди от страха; потом как будто остановилось, и Харитя окаменела на месте. В одной руке зажала пучок ржи, в другой — серп. Лицо побледнело. Большие серые глаза с ужасом смотрели в рожь. Через минуту Харитя пришла в себя. Сердце снова застучало в груди. Харитя собралась бежать...

На тропинке показались две молодые женщины. Харитя заметила их, опять вспомнила о больной бедной маме и, склонив русую головку, взялась за работу. Она должна сжать рожь! Она должна обрадовать свою несчастную маму!

Женщины приблизились к Харите, узнали ее и переглянулись.

— Ты что тут делаешь, Харитя? — спросили они в один голос. Харитя вздрогнула, подняла на них глаза и застыдилась.

— Жну... мать больная лежит... некому хлеб сжать... с голоду пропадем зимой.

В голосе ее дрожали слезы.

Женщины снова переглянулись.

— Бедное же ты, бедное дитя!..

Вдруг Харитя почувствовала, что слезы. Как-то сразу ей стало очень жалко больной мамы, но разболелся пальчик, который она порезала ногами, исколотые стерней, вспомнился недавний град слезы, посыпавшийся на землю, и Харитя всхлипнув, зарыдала.



Женщины бросились к ней.

— Что с тобой, дитячко? Не плачь, перепелочка! Мать твоя, даст бог, поправится, а рожь мы выжнем, не дадим вам с голоду пропасть. Ну, не плачь же, цветик!

Женщины взяли на руки бедную Харитю, целовали, утешали.

— Идем сейчас к матери, пусть она порадуетя, что у нее такая хорошая дочка...

Женщины взяли Харитю за руки и тропкой направились обратно в деревню. Харитя шла и тихо всхлипывала.

#### IV

Скоро Харитина мать выздоровела. Молодые женщины сжали вдове рожь, крестный отец Харити свез хлеб на гумно, и сироты уже не боялись голодной смерти.

Мать целовала и ласкала свою хорошую дочку, а Харитя щебетала:

— Разве я не говорила вам, матенька, что бог даст вам здоровья?.. Разве не по-моему вышло?..

*18 июля 1891 г.*

*с. Лопатинцы.*

## НА ВЕРУ

### *Повесть*

#### I

Гнат сидел в корчме за столом, подперев голову рукой. Перед ним стояла бутылка с двумя-тремя рюмками недопитой мутной сивухи. Небольшая рюмка из грубого зеленого стекла опрокинутая возле еврейской булки. Гнат угощал соседа Ивана; но Ивана кто-то позвал, и Гнат остался один.

В корчме, как всегда по воскресеньям, было полно. В дверях то и дело появлялись мужчины в длинных свитках и высоких шапках, хлопцы в коротких куртках-чугаях, нарядных поясах и брилях. Женщины, одетые в яркочерные и синие юбки, в коротких бумазейных кофточках-гвавтиках, мелькали пышными концами цветастых платков и позвякивали нитками кораллов. Приходили выпить в корчме, приходили и за водкой, пряча бутылки в рукава или за пазуху. Корчмарь даже не выходил из-за своей обнесенной деревянной решеткой стойки. Он неустанно цедил из бочонка и подавал половинки, кварталы, пол-ока и око. Крупные капли пота скатывались на его рыжие усы, и корчмарь вытирал пот рукавом рубахи, поглядывая на гостей хитрыми серыми глазами.

В корчме было душно и сумрачно. Под стеною, у стола, сидело несколько мужчин и круглолицая полная женщина. Рюмка шла по кругу, беседа переходила в

крик, движения становились все более оживленными, лица горели. Полная женщина обмахивала раскрасневшееся лицо красным платочком и всем приветливо улыбалась. Кое-кто из мужчин сосал трубку, и дым синими струйками шел вверх. Запах водки, смешанный с тяжелым духом махорки, насквозь пропитал черные стены. Неимоверный шум широкими волнами вырывался из корчмы в распахнутые двери и выбитое в окне стекло. И чего только не было в этом шуме! И звонкий людской говор, и жалобный голос песни, и плач пьяной бабы, и писк еврейского ребенка. С улицы, где хлопцы заказывали музыку для дивчат, долетали в корчму веселые звуки скрипок и цимбал и смешивались с праздничным пьяным шумом.

А Гнат сидел, подперев голову рукой, и ничего не слышал. Он уставился на сноп солнечных лучей, которые, прорвавшись сюда сквозь окно, легли на стену четырьмя золотыми пятнами. Солнечный луч напомнил Гнату об одном счастливом дне его жизни. Это было в прошлом году в такой же веселый майский день. Гнат стоял в садике под яблоней, покрытой белым цветом, и разговаривал с любимой девушкой. Она улыбалась ему, говорила, что любит его... «Пойду за тебя, присылай сватов...» Он был вне себя от радости. Да и как не радоваться, если сразу весь мир стал прекраснее: и солнце веселей засияло, и полились волнами сладкие запахи садов, и озимь обещает быть неплохой в этом году, и сосед Иван в сущности добрейший человек, бог его знает, из-за чего они поссорились... Счастье не вмещалось в сердце, счастье разрывало грудь! Но долго ли он наслаждался этим счастьем? Пришла беда и, словно корова языком, слизнула счастье... Такая уж у него доля... с изъязном, видно... Говорят — дети счастливы: ребенок не знает беды, горя не знает. Глупости! Как далеко в глубь детства ни заглядывает Гнат — он все не видит себя счастливым. Уже семи лет от роду стал он помогать отцу в хозяйстве. Далеко еще до рассвета, а отец уже будит: вставай, сейчас же иди скотину пасти или погонщиком на пахоту. Господи, как не хочется оставлять нагретое местечко, как трудно расстаться с сладким утренним сном! Но суровое слово отца, как холодной водою, обдаст и прогонит сон... хорошо еще,

если в поле сухо и тепло. Но в дождь, в непогоду, в осенние холода так намокнешь бывало, что и ниточки сухой не найдешь на себе, сядешь где-нибудь под кустом и стучишь зубами от холода, и томишься голодный, потому что разве это еда — хлеб с луком! А мало ли бивали его и отец, и мать, когда возвращались оба пьяные из корчмы или просто озлобленные горькой нуждой? Да что об этом вспоминать! Хуже всего они сделали, что умерли, оставив его, девятилетнего, сиротой... И попал он к пану в экономию пасти скот. И поиздевались же тогда вволю над ним, и надавали же ему тумачков! Правда, недолго пас он коров: на зиму приказал пан взять хлопца в дом, в помощь лакею. Случалось, захочется панам свежей водицы — лакей и посылает его к колодцу. Тащит мальчик тяжелое, большое, полное доверху ведро, а в глазах позеленело от натуги... Руки и ноги дрожат, дыхания не перевести... А слушаться надо, не то лакей угостит подзатыльником!..

И каждый имел право обругать его, поиздеваться над ним, потому что он сирота мужицкий... Еще тогда, сравнивая жизнь панов и мужиков, он проникся глубоким убеждением, что бог не дал счастья мужикам, что нет для мужиков счастья на земле. Рос он, росло и крепло вместе с ним это убеждение. И действительно, где оно, это мужицкое счастье, в чем оно? Не узнаешь этого счастья и в детстве, не узнаешь его и в зрелые годы... Рано вставать, день-деньской надрываться на солнцепеке, в пыли, голодать и ложиться измученными, без ужины, потому что некому было сварить, все были на работе — вот она, мужицкая доля. А в голове — путаница, темным-темно; ничего мужик не знает, не ведаёт, что делается на свете, как справиться с бедой, как добиться лучшей доли... Ищет он порой эту долю на дне рюмки, но и там находит одно горе! А сердце — хоть бьется оно в груди мужика — все равно хочет счастья, тоскует по лучшей жизни, живет надеждой!..

Однажды, он тогда уже парнем был, ему показалось, что он решил эту жизненную загадку. Вот если б иметь хорошую жену, тихую, ласковую, чтобы можно было перед ней раскрыть свое сердце, показать, что там наболело, запеклось, что отравляет человека, чтоб она пожалела и своим тихим, приветливым словом, словно рукою,

сняла всю тяжесть с сердца. Тогда и сухарь вкусен, тогда и работа легка. Кусок хлеба с водою, лишь бы, сердце, с тобою! И мысль о верной, тихой жене скрашивала его горькую жизнь. Женится он, возьмет подругу по душе, и горе навеки потонет в волнах семейного счастья! Лишь бы девушку такую найти. И он встретил ее совсем неожиданно. Он косил ячмень, она коноплю дергала. Участки их были рядышком. Девушка пела какую-то песню. Ему понравился ее голос, и Гнат подумал, что хорошо было бы в длинные зимние вечера слушать такую песню у себя в хате. Они разговорились. Она рассказала ему, что зовут ее Настей, что живет она далеко от него, в другом конце села, со своей матерью Явдохой. Хороши были большие серые глаза, тихо сиявшие из-под длинных ресниц и широких русых бровей. И лицо было красивое — чуть продолговатое, но полное, с пухлыми красными губами. Смеялись одни лишь глаза и губы: поднимутся уголки красных губ, и возле них появятся две ямочки. Выражение лица при этом оставалось спокойным и печальным. Настя как-то сразу полюбилась ему. Он уже не чувствовал себя таким одиноким, как раньше, словно объявился у него кто-то близкий, родной. Гнат стал ходить за ней следом. Где Настя на работе — там и Гнат. Жнут ли на поле пшеницу — он перетащит и сложит в копны ее снопы. Копают ли у пана свеклу — Гнат досыплет мерку Насте из своей мерки. Ему было радостно брать на себя ее работу, помогать Насте, чем только может. Все чаще замечал Гнат, что в сердце у него шевелится любовь, тихая, ласковая любовь, что захватывает она все его существо, и он не бежал от этого нового чувства, а охотно отдавался ему, жил им. Ему казалось, что до сих пор он не был целым человеком, только половиной, что он нашел вторую свою половину и оттого начинает жить новой, полной жизнью. Представить себе жизнь без Насти он не мог, не умел.

Настя всегда была добра, тиха, ласкова. Много говорить она не любила. Все слушала, что говорят другие, и усмехалась глазами и уголками губ. Но если уже молвит слово, так влетит это слово ласточкой в сердце и, словно крылышками, разгонит печаль. Кротка, как овечка, нежна, как голубка. Гнат стал ходить к ней

домой. Заходили и другие хлопцы. Среди них был рослый, веселый хлопец Петро. Не раз сжималось сердце Гната, не раз хмурил он тонкие брови, когда весельчак Петро сыпал всевозможными шутками и прибаутками и весело, по-детски смеялся. Насте нравились шутки говорливого Петра, и временами она даже забывала про Гната. Молчаливая по природе, она охотно слушала веселый и интересный разговор. Досада брала Гната, что он не владеет, как Петро, метким словом. Досадуя, Гнат стал еще молчаливее, только в сердце накапливалась ненависть к Петру и тоска по Насте. Но лишь скажет Настя ласковое слово, выйдет к Гнату под яблоню — и он снова устремляется мыслью в счастливое будущее. Настя, кажется, любила его, но все как-то не решалась произнести решительное слово. Сколько ни спрашивал он: «Пойдешь за меня? Прислать сватов?» — она твердила свое: «Разве я знаю?.. Я тебя и так люблю...» Подруга Насти, веселая смуглая Александра, смеясь, говаривала: «Вот, господи, мяучит, словно котенок несчастный! Да ты скажи, пойдешь за него или не пойдешь, а то водит парня — ни себе, ни людям!..» И вот в один прекрасный майский день, выйдя под яблоню, Настя сказала: «Пойду за тебя, шли сватов!» Он растерялся от радости. Через три дня после этого разговора Гнат со сватами шел к хате Явдохи.

Хорошо помнит он, как стучало сердце, когда сваты взялись за щеколду и открыли дверь. В хате было шумно. Петро со своими сватами сидел на скамье. Старая Явдоха угощала гостей водкой и желала дочери и Петру счастливой жизни. Настя, подперев голову рукой, стояла возле печи. Гнат все понял и почувствовал, как в сердце у него сразу что-то оборвалось, кровь остановилась, и он похолодел, как мертвец. В голове беспорядочно возникали вопросы: «Как? Почему? За что?» Сваты что-то говорили, но он даже не разобрал толком что — может быть, утешали его; затем они взяли его под руки и, словно пьяного, вывели из хаты. Неожиданное горе ошеломило Гната. Ему казалось, что он спит, что ему снится тяжелый сон, и Гнат старался проснуться. Холодный вечер немного освежил Гната. Первой мыслью было повидать Настю и узнать у нее, что произошло, что она с ним делает. Он вскочил и побежал к хате

Явдохи. В хате было темно. На белой стене чернели маленькие окна. Гнат остановился под окном и стал насвистывать песню, которой всегда вызывал Настю. Но дверь не открывалась, и хата была немой, как могила. Гнат десять, сто раз насвистывал ту же песню, с каждым разом все громче, думая, что Настя его не слышит. А хата все безмолвствовала и смотрела на него черными окнами, будто череп глазами-ямами. Несколько раз казалось Гнату, что он отчетливо слышит, как заскрипели двери, стукнул засов, зашлепали в сенях босые ноги... Сердце тогда переставало биться, и Гнат, затаив дыхание, весь превращался в слух... Но дверь сеней была плотно закрыта, и вокруг была немая, мертвая тишина. Гнат с трудом переводил дыхание, подходил к окну, под которым спала Настя, и все намеревался постучать. Сперва он стукнул тихонько, затем застучал сильнее, сильнее... Широко раскрытые глаза внимательно смотрели на дверь, ухо жадно ловило каждый звук в ночной тишине, и звуки эти обманывали встревоженное и растравленное сердце. Дверь не открывалась. Нетерпение охватывало Гната. Он готов был грызть окно, стекло, раму. Он готов был головой высадить стекло и влезть в хату, чтобы хоть на минутку увидеть Настю... Временами вся его энергия пропадала, и какой-то внутренний голос говорил: «Зачем? Конец! Дошел до края!» Но через мгновение надежда увидеть Настю, услышать от нее, что все, что его мучит, — сон, наваждение, охватывала его всего, и снова упрямо ходил он под окнами и ждал... Полная луна освещала бледное лицо с тонкими черными усами, широко раскрытые горящие глаза и растрепанные волосы. Если бы кто-нибудь увидел его в это время, то, наверно, подумал бы, что это упырь явился с того света и вот-вот исчезнет, как только запоют третьи петухи.

Уже перед рассветом, когда восточный край неба вспыхнул пылем и свежий воздух наполнился прекрасной гармонией птичьего пения, Гнат, шатаясь, как пьяный, поплелся домой.

В полдень пришла к Гнату его тетка Мотря. Она уже все знала. Ей так было жаль бедного Гната! Обидели бедного сироту люди злые, чтоб им добра не было. Зелье какое-то дали хлопцу, околдовали, а теперь глу-

мятся! А все эта цыганка Александра. Как начала уговаривать Настю, как начала: «Да ведь он, сестрица, лентяй, ведь он бездельник: с малых лет служит лакеем, привык к легкому хлебу. Ты будешь бедовать за ним, ведь он хозяйничать неспособен. К тому еще угрюмый, невеселый. Ни совета, ни привета от такого никогда не дождешься. Вот Петро — богач, хозяйский сын, не скитался по чужим людям. И веселый такой, живой и собой хорош, — с лица хоть воды напейся. Вот с таким мужем жена горя знать не будет. А войдет в хату — и в хате светло». И старая карга Явдоха тоже стоит за Петра, потому что богат. Так окрутили бедную Настю, что она и говорит: «Кто первым придет сватов, за того и выйду». А Александра передала Петру, чтобы поторопился, если хочет девушку взять. Впрочем, Гнат не такой дурак, чтоб убиваться по Насте. Такого цвета по всему свету! Он найдет себе красивее, богаче!

Каждое слово тетки, как острый нож, поворачивалось в сердце Гната. Так Петро лучше тем, что богач! Это он, Гнат, не работник, он, который всю жизнь так тяжело трудился и за работой света не видел! Он лентяй? Ладно. Этот лежебока, этот лентяй пошлет сватов к Александре. Назло Насте пошлет. Услышим, что злая разлучница ответит его сватам! Пожалеешь, Настя, да поздно! После смерти нет покаяния! Он послал сватов к Александре. Александра перевязала их полотенцами. В воскресенье праздновали свадьбу Насти и Петра, в следующее венчали Гната и Александру.

После свадьбы Гнат стал как будто спокойнее. Он понимал, что должен взять себя в руки, чтобы не пропасть от тоски, что все его спасение в работе. Ему легче становилось, когда он был занят; работая, он меньше бывал дома, реже видел жену, меньше разговаривал с ней. Она была для него чужим человеком, мешала. Иногда пройдет целая неделя, а они и словом не перекинутся. Будто немые. Злость охватывала вспыльчивую Александру. Что это в самом деле за выдумки? И долго ли так будет? Она ему не батрачка, чтобы только угождать, а он и не кивнет, и словом не отзовется, прямо не хата, а могила! Нет, довольно! Уж слишком у нее накопело на сердце. И она подавала обед Гнату так, что миска прямо гудела и едва-едва не разлеталась на



мелкие куски, а ложка летела под стол. Александра искала ссоры. Гнат хмурил тонкие брови и поглядывал на жену исподлобья. По натуре неопрятная, неряшливая, Александра и совсем опустила руки. Пусть все идет прахом! Хата по три дня стояла неприбранной, еда была невкусной, хлеб — сырым, и на хозяйку было противно глянуть: сорочка грязная, юбка затасканная. Они начали ссориться. В сердце Гната закипала ненависть к нелюбимой жене, дом стал немил. И зачем Гнат женился! Да, он это сделал назло, но только не Насте, а себе. Вот это и есть то долгожданное счастье, которое должно было скрасить его убогую жизнь, счастье, которое он рисовал себе в юношеских мечтах?.. Гнат зачистил в корчму. В корчме за рюмкой он забывал свое горе.

Однажды он встретил Настю. Мужа ее взяли в солдаты, и она осталась солдаткой. Первым движением Гната было бежать: ему было неловко, как будто стыдно. Но как-то совсем неожиданно он с горькой обидой стал рассказывать Насте о своей жизни, о своем горе, укорять ее, почему она загубила его молодые годы.

Настя плакала. Она и до сих пор не знает, как это произошло. Видно, так оно должно было случиться. Но и ей жаль, что они разлучены: она не бедовала бы так горько без мужа, как теперь, когда Петра взяли в солдаты.

Гнат открыл Насте все, что так долго угнетало его сердце, отравляло его жизнь, и ему словно легче стало на душе. Но эта встреча разбудила в нем воспоминания о былом счастье, разожгла притихшую было любовь. Гнат снова стал ходить за Настей по пятам.

Вскоре пришло извещение, что Петро умер. Настя осталась молодой вдовой. И с этих пор — по воскресеньям или в праздник, или просто в свободную минуту — Гнат исчезал из дому, а услужливые кумушки, соболезнуя Александре, рассказывали ей, что Гнат ходит к Насте. Александра все знала и ссорилась с мужем. В хате у них был ад. Гнат уходил в корчму. Вот и теперь сидит он в корчме, подперев рукой голову, и вся его горькая жизнь стоит у него перед глазами...

Из-за стены послышался пискливый голос ребенка. Гнат потер лоб, словно от тяжелого сна очнулся, и посмотрел через распахнутые двери в соседнюю комнату. Толстая Берчиха качала ребенка, лежавшего в люльке, и вязала чулок. Растрепанная, в заношенной юбке и пересиненном белье, она напоминала Гнату его неряшливую жену. Гнат даже сплюнул от отвращения. Точь-в-точь Берчиха! Нет, он не может с ней жить! Так все ему опротивело, так опротивело — хоть с моста в воду! Тонкие брови Гната насупились, темная тень упала на глаза. Тяжелый кулак решительно опустил на стол, рюмка покатилась, ударилась о бутылку и жалобно зазвенела. Гнат вышел из корчмы.

Вечерело. Голубое небо было опоясано широким розовым поясом. Цвели яблони; тихий воздух был напоен сладкими запахами. В прощальном луче солнца танцевала мелкая мошкара и, точно сетка, мелькала перед глазами. Гудели майские жуки и летали, как пули. Детвора высыпала на улицу и разбудила тишину криками и звонким смехом. Стадо шло по плотине и, подымая пыль, ревели и мычали. Пыль стлалась по гладкой, как зеркало, поверхности пруда и купалась в волнах розового света.

Гнат перешел плотину. Перед ним была улочка, темная и сырая. Старые тенистые вербы зеленым шатром стояли над ней. От колодца по канавке бежал ручеек. Женщины стояли у ворот, поджидая стадо. Гнат немного постоял с встречавшей овец теткой Мотрей. Тетка рассказывала, как ей было хорошо с покойным третьим мужем и как теперь она бедует, не зная, где голову приклонить на старости лет... Наступили сумерки. Гнат увидел огонек в своей хате и вошел в ворота.

## II

Александра уже давно сварила ужин и ждала мужа. Картофельная похлебка застыла в холодной печи, а Гната все не было. Александра негодовала. Господи, что это за жизнь?! Лучше бы в девках сидеть до седых волос, чем загубить свои годы, выйдя за Гната! Правда, не очень-то хлопцы спешили сватать ее, должно быть

потому, что она сама к ним липла, но может быть, все-таки кто-нибудь стоящий и посватал бы! А то есть муж, и нет мужа. И не поговорит ласково, и не приголубит, как муж жену. Только волком смотрит. А тут еще эта змея, разлучница эта, Настя, бывшая ее подруга! Водит его за собой, словно теленка на веревке. Нет, довольно терпеть! Терпение лопнуло! Она выскажет Гнату в лицо всю правду, а там — будь что будет! — либо он убьет ее, либо она сама его оставит.

В нервном возбуждении Александра металась по хате, не знала, что делать: то она принималась перекидывать с места на место хлеб на столе, то бралась за веник, чтобы подмести, и вдруг бросала его посреди хаты, а то, метнувшись к жерди, искала что-то среди одежды. Длинная тень высокой, плоской, как доска, фигуры бегала по стенам, добиралась до потолка. Смуглое лицо Александры побелело, из-под высоких, дугой изогнутых бровей светились острые черные глаза; в глазах вспыхивали молнии. Ноздри длинного тонкого носа раздувались, тонкие губы нервно дергались. Она была даже красива — возбужденная, гневная, решительная.

Гнат вошел в хату.

Презрительно и вызывающе Александра посмотрела на мужа. Гнат не заметил оскорбительного взгляда, повесил шапку на колышек, разделся и свитку свою перекинул через жердь. Ему хотелось есть. Он сел за стол, отрезал ломоть хлеба и круто посолил его.

— Ужинать!

Александра с необычной торопливостью схватила стоявшую на посудной полке миску, и та даже загнула в руках; Александра налила холодного супу и поставила перед Гнатом так энергично, что Гнат исподлобья посмотрел на жену. Он обратил внимание на ее грязную, замызганную сорочку, казавшуюся еще грязнее оттого, что Александра была в новой праздничной юбке. Гнат принялся за еду. Суп был холодный, картошка твердой.

— Застыла, — сквозь зубы проговорил он и отодвинул миску.

Как ошпаренная вскочила Александра и сверкнула на Гната глазами.

— Застыла! Чтоб ты сам застыл, когда сидишь чорт его знает где! Терпела-терпела, больше терпенья нету... Где это видано? Что ты за муж? В хату его собаками не загонишь. Придет воскресенье — не посидит и минуки дома, а шляется где-то по шинкам с любовницей... а ты жди, до одури жди его с ужином! Нет, не будет этого... Довольно!

— Цыть, Берчиха!

Стол застонал под кулаком Гната, миска подпрыгнула на столе, и мутный суп расплескался по скатерти.

— А вот и не буду молчать! — Александра подскочила к мужу, размахивая ложкой перед его лицом. Она имеет право сказать слово правды! Она ему жена, а не батрачка. А он разве муж? Он хуже врага лютого! Ему не угодишь: что ни сделай — все плохо, всегда чортом смотрит! Она не слыхала еще от него ни одного приветливого слова, ласки не видела! И так ей все опостылело, так осточертело, прямо в печенках сидит! Она должна молчать, а он будет по чужим бабам бегать, он будет любиться с этой овцой, с этой слюняйкой Настей, чтоб им обоим провалиться, может, ей тогда хоть немного легче станет!..

— Молчи, не то побью! — крикнул Гнат, и стекло задребезжало в окне. Он встал из-за стола. О, это уже чорт знает что! Баба уже чересчур разошлась! Он ведь не говорит этому чортовому отродью, что она неряха, не хозяйка, что она неспособна обед сварить, хлеб испечь! Разве он не знает, кто разлучил его с Настей, кто на него налгал? Разве он не видит, что она, словно распутная девка, хороводится с хлопцами? Он все знает! Пусть она только осмелится хоть слово сказать — тогда узнает, что лихо не лежит тихо. Ох, и будет он ее бить, будет бить, как еврей Гамана!

— Вот и врешь, вот и не ударишь, разрази тебя гром!

Александра подскочила к Гнату и стукнула кулаком о кулак. Гната охватила злоба. Он замахнулся и сбил очипок с головы Александры. Валик раскрутился, и на плечи волной упали роскошные черные волосы. Мягкое их тепло еще сильнее разожгло Гната. Ухватив целую прядь, он намотал ее на руку и дернул. Александра дико вскрикнула. Этот крик еще больше разъярил

Гната. Не помня себя, он бросился на жену. И сразу же два существа слились в одно, диковинное, с четырьмя руками и четырьмя ногами. Существо это как-то необычно, конвульсивно двигалось, и нельзя было разглядеть этих движений при неровном, мигающем свете керосиновой лампочки. Гнат швырнул Александру на пол, начал ее топтать. Она вскочила на ноги и, растрепанная, перепуганная, с плачем и криком выбежала за дверь.

— Вон из моей хаты! — проревел Гнат.

Он стоял бледный, с широко раскрытыми глазами и тяжело дышал.

— Вон, чтобы твоего духа здесь не было!

Гнат кинулся к сундуку жены. Ухватив сундук, он хотел выбросить его из хаты вслед за Александрой. Но сундук был слишком тяжел. Гнат дернул крышку с такой силой, что она отлетела и железный запор зазвенел. В бешенстве, не помня себя, Гнат стал в раскрытые двери выбрасывать добро жены. Со свистом летел кусок полотна, и через всю хату стлалась белая дорожка. Ярkokрасная юбка, сверкнув на свету горячей краской, упала возле скамьи. Будто змеи, летели полотенца и повисали на двери. Монисто ударилось о пол и, рассыпавшись, раскатилось по всем углам. Большой клубок ниток быстро-быстро покотился по белой полотняной дорожке и перепрыгнул через порог в сени. Пучок льна, зацепившись за посудную полку, повис там, словно кося русалки. Гнат кидал белье, одежду, тряпки с такой силой, что по хате гулял ветер и огонек лампочки, выгибаясь длинным язычком, все время чадил. От неровного движения дрожали тени на стенах. Опорожнив сундук, Гнат дернул его с такой силой, что сундук загудел. Гнат посмотрел вокруг себя. В хате было пусто и мрачно. Александры не было. Он сплюнул всердцах и вышел из дому, даже не закрыв двери.

Была прекрасная майская ночь. На улице было темно, почти черно. Сквозь плотный купол веток кое-где пробивался серебряный луч луны и ложился на землю серебряным пятном. Выйдя из улочки, Гнат словно погрузился в море белого света. Этот белый, чуть голубоватый свет тихо струился сверху, и зачарованная земля как бы купалась в фантастическом сиянии. Гнат направился к пруду и присел под вербой на росистой траве.

Он посмотрел на пруд и не узнал его. Нет, это был не пруд, это было второе небо с луной и звездами. Два голубых купола слились в один огромный шар, охваченный чудным поясом темнозеленых деревьев, белых хат, черных плетней. Одна хата крышей вверх, другая — вниз; одно дерево ветвями вверх, другое — вниз. Две луны словно улыбаются одна другой. Звезды тихо трепещут вверх и вниз... А в садах сладко дремлют окутанные лунным сиянием стройные тополи, раскидистые липы, ветвистые яблони, и лишь иногда, как бы сквозь сон, тихонько вздохнет дерево молодыми своими листьями. Длинные черные тени легли на серебристую землю... Тихо. И земля, и вода, и воздух — все заснуло. Но ночная эта тишина полна разными голосами. Громко квакают лягушки на противоположном берегу. Щелкает-разливается в саду соловушка. Где-то далеко в деревне лают собаки. На лугу фыркает лошадь и лязгает железными путами...

Гнат сидел на берегу под вербой. Ночной воздух немного охладил его и успокоил возбужденные нервы. Но на сердце у Гната было тяжело. Он инстинктивно чувствовал, что поступил нехорошо, но старался об этом не думать. На минуту ему стало жаль Александру, и даже промелькнула мысль о примирении, но тут же набежала другая мысль и, словно более сильная волна, смыла первую. Он не хочет жить с Александрой, он не может жить с нелюбимой! Пусть делают с ним, что хотят, пусть его все осуждают, но он не впустит ее в свою хату. Лучше о стену головой. Александра ему противна, постыла, она искалечила ему всю жизнь, разлучив с милой, отравила всю его жизнь своим неподатливым характером, неряшливостью, ленью... С тех пор как он женился — и в хозяйстве ему не везет. Завел лошадей, подкормил их, надеялся продать и заработать — продал с убытком. Других завел, снова подкормил, и понес снова убыток, на этот раз еще больший. Купил двух кабанчиков — ходил за ними, кормил их — такие жирные были. Ну и что же? Однажды утром они не захотели есть, а к вечеру околели. Или вот с телянком?! Да разве это телянок был — годовалая телка. И случилось это зимой. Была сильная метель. Ветер выл, будто дикий зверь, и, наметая целые горы снега, поднимал их,

к белым, низко нависнувшим над землей тучам. Трудно было пройти до ворот. Резкий ветер бил прямо в лицо, снегом залеплял глаза и, казалось, хотел подхватить, поднять, чтобы затем кинуть в холодный снег... Гнат понес теленку есть. А в хлеву теленка не было. Гнат обошел весь двор, заглядывал во все уголки — не было теленка. Гната охватила тревога. Ведь мог теленок где-нибудь замерзнуть под забором, глупый? Гнат подпоясался, надвинул поглубже шапку, взял в руки палку и пошел со двора. Ноги вязли в снежных сугробах, ветер бил в лицо с такой силой, что Гнат не мог дышать. Он отворачивался, чтобы перевести дух. Гнат обошел всю деревню — теленка нигде не было. Измученный, потный, Гнат вернулся домой без телки. На следующий день люди рассказывали, что волки разорвали в лесу какого-то теленка. Гната словно что-то подтолкнуло. Он пошел в лес и вскоре нашел в овраге голову своего теленка. Да, Гнат представляет себе, Гнат собственными глазами видит кровавую драму, разыгравшуюся в лесу. Холодный ветер свистит среди голых оледенелых деревьев. Засыпанный снегом, увязнув по колени, стоит теленок и, вытянув шею, жалобно мычит. Из-за полного снегом оврага смотрят на теленка горящими, как угли, глазами два волка. Они будто сговорились — один лег в овраг, животом вверх, а другой, крадучись, припадая к земле, обошел теленка сзади и погнал его к оврагу. Теленок жалобно замычал, задрал хвост и, неровно подпрыгивая, понесся прямо на лежащего волка. А тот лежал и ждал. Теленок с разгону на него наскочил. Волк схватил теленка и распорол ему живот. Теленок упал. Подбежал другой волк и из тела еще живого теленка вырвал кусок мяса... Волки ели, рычали и скалили друг на друга зубы.

Гнату при одном воспоминании об этом стало холодно. В воздухе и впрямь потянуло прохладой. Над прудом поднялся туман и, словно кисеей, затянул даль. Пахло сыростью. Гнат встал и пошел домой. Из окон его хаты лился свет, и двери были заперты. В хате было прибрано, все стояло на своем месте. Гнат посмотрел в угол и догадался, кто навел порядок в хате. На скамье под иконами, посапывая, сладко спала тетка Мотря. Гнат погасил свет и лег спать.

Солнце уже взошло; косые лучи его, пробившись сквозь окно к скамье, разбудили Гната. Он посмотрел на тетку, хлопотавшую у печи, и сел, протирая глаза. Никак не мог он понять, откуда здесь, в его хате, взялась тетка, что она делает. Но через минуту Гнат вспомнил вчерашний вечер. Тетка, крошившая свеклу, заметила, что Гнат проснулся, и тотчас же громко затараторила. Ну он и спит! Она думала, что он уже никогда не проснется. Пусть он молчит, пусть ничего не рассказывает: она все знает! Ведь в то время, когда Гнат и Александра дрались, она стояла во дворе и все видела, все слышала. Разве не за что было бить Александру? Ну и неряха, ну и лентяйка! Все женщины удивляются, как он терпел, как до сих пор не избил ее до полусмерти. Убежала к отцу. Не бойся, прибежит обратно. А если не захочет вернуться, то муж имеет право такую жену на ремне привести, как в прошлом году Клим свою Варвару привел. Ушла, а посуда стоит немытая. Ей, Мотре, своими руками пришлось все привести в порядок, хотя ей надо было пойти на поденщину... Мотря говорила долго, жаловалась на свою горькую жизнь. Ее басистый голос звучал грозно, словно она с кем-то сорилась.

Гнат и слушал и не слушал. Ему было как-то не по себе с теткой и хотелось остаться одному. Пообедав, Гнат взял топор и пошел во двор чинить плетень. Вскоре у перелаза появилась приземистая фигура человека с седой колючей бородой. Гнат узнал тестя и, выжидая, остановился. Старик подошел ближе.

— Здорово, сынок! Что там вчера вышло у вас, Александра к нам сама не своя прибежала?

— Да что вышло... Дали вы, отец, мне жену, теперь забирайте ее обратно, потому что я с ней жить не буду.

— Ишь ты! Не торопись, сынок, с необдуманным словом, — не так легко итти на попятную. А почему это у вас так вышло?

— Потому что она мне не нравится... Я ее не люблю!

— А ты почему, сынок, не расспросил раньше дорожку у своего сердца и забрел в нашу хату? Разве тебя кто заставлял? А? Нет, теперь кончено! После смерти нет покаяния!



— Как себе хотите, но мы жить вместе не будем...

Гнат рассказал тестю, как они жили с Александрой. Старика разбирала злость. Сдурел, что ли, зять? Не буду с ней жить и не буду... Ну, ударил бабу, поучил ее малость — и все! Дело обычное. А поругались — помириться надо, да и живите, как полагается по закону.

— Вы, отец, лучше не вмешивайтесь в это дело, ничего из этого не выйдет!

Как это не вмешиваться? Ведь она ему дочь. Может быть, у него сердце болит за свое дитя... Старик сердился. Он говорил быстро и брызгал слюной, словно сукно обрызгивал. А если зять свою жену убить захочет, так тесть, что ли, должен собственную дочь еще коленом в яму подталкивать? Э, нет, извини! Хоть он и стар, а не даст дитя в обиду!.. Взбесились они, что ли? Этот затвердил, что не будет жить вместе, и та ту же песню поет... Тут и сам чорт лысый не разберет!.. Старый Максим всердцах сплюнул и, бубня что-то себе под нос, пошел к воротам.

Назавтра под вечер к Гнату явился Максим с кумом Гаврилой, пожилым, всеми уважаемым человеком. Оба они уговаривали Гната помириться с женой и жить с ней в согласии. Гнат и слушать не хотел. «Я ее не люблю», — упрямо твердил он. Гнат даже не захотел пить водку, которую захватил с собой тесть. У Максима лопалось терпение, брызги слюны так и летели изо рта вслед за каждым словом, и руки сами просились в драку. Но кум останавливал Максима, сдерживал его все время. Максим кричал на всю хату. О, он найдет управу на такого зятя! Он к старосте пойдет, пусть рассудит!.. Пускай люди добрые скажут, можно ли бросать жену, ломать то, что поп скрепил.

Гнат был спокоен. Ему все равно! Пусть к самому старосте идут, пусть ему, Гнату, голову снимут, не то что судят, он не будет жить с Александрой...

Максим выругался, хлопнул дверью и вышел из хаты. За ним поплелся и кум. В среду утром Гнат нанял подводу и отослал Александре ее сундук.

В воскресенье в сумерки, когда Гнат принес хворосту и принялся варить ужин, в хату не вбежал, а прямо влетел десятский. Ни усы, ни борода не хотели расти на

его темном, как юфть, лице. Вместо них торчали какие-то пучки темного волоса. Весь он был в смятении, небольшая его фигурка выражала страх, словно человек только что вырвался из рук какого-то чудовища. Рыжая шапка не прикрывала растрепанных волос, и они лезли из-под нее и сквозь все ее дыры. Локти виднелись из протертых рукавов обтрепанной свитки. В руке для пущей важности десятский держал длинную палку. Староста послал его из корчмы к Гнату, и десятский бежал, как сумасшедший, потому что в корчме ждал его человек с бутылкой водки.

Десятский пробормотал что-то так быстро, что Гнат не сразу его понял:

— Пришла бумага в корчму... Да нет, к старосте... велют, чтобы завтра с утра непременно пришли в корчму... да нет... в волость... Дело есть... Смотрите, не опоздайте...

Он для чего-то помотал бородой и так же быстро, как вошел, исчез из хаты.

«Верно, на суд. Пускай судят!» — подумал Гнат.

Уже высоко в небе стояло солнце, когда Гнат отправился в дорогу. До волостного правления было добрых восемь верст. Гнат рассчитал, что придет туда к позднему обеду. Ветер подталкивал Гната, волновал зеленые нивы, поднимал пыль на дороге. Было холодновато. Гнат шел и думал о суде. Он задавал себе вопросы от имени старшины и отвечал на эти вопросы. Он представлял себе, что будут говорить тещь и Александра, подготавливал им ответ. Гнат и не заметил, как дошел до леса. Начинались густые заросли орешника, а за ними, будто стена, стоял густой грабовый лес. Здесь, на опушке, ветру было раздолье. Будто орел, налетал он на зеленую заросль, обнимал ее, как казак дивчину, а заросль, застыдившись, отклоняла от него свои ветви и, казалось, шептала круглыми, мягкими листьями: «Пусти, не трогай, бесстыдник!» Высокие деревья на опушке махали ветвями навстречу ветру, словно с ним заигрывали. Гнат вошел в лес. Гнату захотелось передохнуть. Он лег на траву и посмотрел вокруг.

В лесу было темно. Молодой стройный явор, укрыв корни бархатным мхом, вытянул вверх свой рябой ствол, чтобы зеленой верхушкой улыбнуться голубому небу,

искупаться в золотых лучах, любопытным глазом поглядеть на широкий простор, поговорить с вольным ветром... Тихо в лесу: воздух неподвижен, ничто не шелхнется, ни одна былинка не нагнется, не вспугнет ни одной мурашки. Все точно уснуло, точно зачаровано. А вверху идет громкий разговор ветра с зелеными верхушками. Вот слышно, как несет ветер какую-то новость из далекого, синеющего за холмами леса. Издали слышен глухой гомон: он приближается, крепнет, охватывает ветви, и начинает казаться, что каждое дерево каждым своим листочком произносит какое-то волшебное слово, а эти слова, сливаясь в чарующую гармонию лесного шопота, волной катятся дальше, затихая в просторах... За первой волной катится вторая, третья...

Мелодичный шелест листьев, волшебная красота молодого леса навеяли на Гната сладкую грусть. Он вспомнил Настю. Ему даже привиделось — за зелеными ветвями ласковое лицо любимой, полные губы и серые большие глаза. Сердце его вновь захотело любви, того тихого рая, о котором он так долго думал. Гнат лежал, и сладкие мечты убаюкивали его сердце. Он сел. В голове, словно молния, мелькнула новая мысль. Мысль эта поразила его необыкновенной своей простотой. Именно так он поступит. Он упросит Настю жить с ним на веру. Ведь они будут не первыми! В их деревне можно насчитать больше десяти хат, где муж и жена невенчаные! Лишь бы любили друг друга, а связал ли поп руки, или не связал — безразлично. Живут люди невенчаные и ничего с ними не случается. Пожалуй, бывают еще счастливее венчаных!

Лицо Гната разгорелось, глаза словно расширились и смотрели куда-то в даль, мимо деревьев; на губах под черными усами играла улыбка. Вспомнив, куда он идет, Гнат тяжело вздохнул: — Скорей бы конец! — вслух произнес он, снова пускаясь в дорогу. Всю дорогу Гнат думал о Насте. Разгоряченное воображение рисовало ему картину тихого, безмятежного счастья...

Еще издали узнал Гнат большой дом с облупившимися от дождя стенами и зеленой железной крышей. Это было волостное правление. Несколько молодых акаций цвело перед окнами, бросая густую тень на крыльцо. На ступеньках, в тени, сидели люди и разговаривали.

В сторонке стояла чья-то телега. Выпряженные лошади, пофыркивая, тихо жевали овес.

Гнат приблизился и увидел тестя. Старый Максим что-то рассказывал собравшимся вокруг него крестьянам. Александра сидела поодаль и обрывала веточку белой акации. В волостном правлении Гнату велели подождать; он устроился под забором, в тени, и закурил цыгарку.

Тесть разговаривал с людьми, а сам все поглядывал, ожидая, не подойдет ли Гнат, не заговорит ли. Но Гнат и не смотрел в ту сторону, где сидел тесть. Максим не знал, как обратить на себя внимание зятя, как вступить с ним в разговор. Максим посмотрел на свою трубку и подошел к Гнату.

— Здоров, сынок! Дай-ка огня трубку раскурить.

Гнат молча подал свою цыгарку.

— Ну, зятек, что с нашим делом будет? — начал Максим.

— Что будет?.. Ничего не будет!

— И зачем нам ругаться и судиться? Хата все скроет; для чего выносить оттуда сор, для чего его людям показывать?

— Не я выношу, не я показываю, не мне и стыдно будет!

— Ты бы лучше помирился с Александрой, и жили бы, как люди, в согласии! Не терзайте мое старое сердце, не укорачивайте мой век, он и так недолог... — старик чуть не плакал.

— Вот, господи! — выбежала из-за крыльца Александра. — Тянетесь к нему, как кот к салу. Сколько раз повторять вам, что я не хочу жить с ним! Не дождется он, чтоб я переступила его порог! Я лучше чужих коз доить буду, а не стану его хлеб есть. Я ему не жена!..

Александра говорила сердито, словно ссорилась. Мужики вокруг умолкли, стали прислушиваться к происходившему. Из канцелярии в это время вышел десятский; он позвал Максима и Гната с женой к старшине.

Стол, покрытый красным сукном, стоял посреди просторной, в четыре окна, комнаты. Сукно казалось рябым от чернильных пятен. По всему столу были разбросаны бумаги; они лежали большими и маленькими

кучами. Бумаги были везде: и на столе, и на полках, и даже стены были облеплены ими. Три молодых писца, согнувшись в дугу, скрипели перьями за столом.

Вдоль стены, на скамьях, дожидаясь своей очереди, сидели мужчины и женщины. Старшина, рослый и красивый мужчина, стоял у стола и, словно готовясь к какой-то работе, все время засучивал рукава своей застегнутой на все крючки свитки. Рыжий писарь в парусиновой куртке и вышитой рубахе стоял возле него и что-то говорил, указывая пальцем на бумаги. Старшина заметил Максима и поморщился, как человек, недовольный тем, что его отрывают от очень спешного дела.

— А, это вы, кум Максим! А где ваши дети?

Гнат и Александра беспокойно переминались с ноги на ногу. Максим низко поклонился и с подобострастным смешком заговорил:

— Вот они, старшина! Вот это зять, а это моя дочка... Я к вам, старшина, как к господу богу. Рассудите, сделайте милость... Я уж полагаюсь на ваше слово — как решите, так и будет...

Старшина засучил рукава, пригладил длинные усы и грозно глянул на Гната.

— Такое, значит, дело! Ты Гнат Музыка?

— Я.

— Так это ты, голубчик, выгоняешь жену из хаты и ссору заводишь, забыв законы и бога? Ты?

Гнат молчал и нервно теребил шапку. Он побледнел.

— Тебе уши позаложило, что ли, голубок? Что не отвечаешь, когда тебя старшина спрашивает? Почему ты не живешь с женой, спрашиваю? А?

— Я... Я не могу с ней жить... она мне не по душе...

— О-го-го! Сможешь, голубок, когда мы тебе поддадим охоты!.. Нет такой статьи в законе, чтобы муж жену выгонял из дому. Такое, значит, дело!

Писцы, услышав интересный разговор, выскочили из-за стола и, заложив перья за уши, стали за спиной старшины. Они друг другу подмигивали и показывали пальцами на Александру. Нехорошая усмешка расплзлась по их желтым болезненным лицам.

Александра сделала два шага вперед и, комкая в руках красный платочек, поклонилась старшине.

— Господин старшина! Лучше мне с моста прямо в

воду, чем с ним жить!.. Он избил меня, накажи его святая пятница... Он бегаёт за бабами... Я докажу, что он ходит к этой слюнявой Насте...

Писцы захихикали и, чтобы сдержаться, закрыли рты кулаками.

— Цыть! Затарахтела, как пустая телега на дороге... А ты, слышишь, сейчас же помирись с женой! — обернулся старшина к Гнату. — Чтобы мне все было как следует меж вами! Я люблю коротко! Раз-два — и готово! Такое, значит, дело!

— Как хотите, старшина, а я с ней не буду жить! — сказал Гнат.

— И я с ним! — подхватила Александра.

— Посмотрим!.. Эй, десятский!

На зов, расталкивая людей, вбежал десятский.

— Лопаты дай им, пусть исправляют канаву вокруг правления, а вечером отведешь обоих в «холодную», авось, там они скорее договорятся! И настать соломы в «холодной», чтобы было им мягко.

Писцы фыркнули в кулаки, но не смогли удержаться, и громкий хохот раздался в комнате...

Растерянных Гната и Александру вывели из волостного правления.

— Такое, значит, дело, кум, — засучивая рукава, обернулся старшина к Максиму. — У меня все решается скоро! Увидишь, завтра, как голубки, заворкуют твои дети. А в «холодной», как в клетки, никто не помешает.

Писцы скалили желтые зубы и пересмеивались до тех пор, пока рыжий писарь не прикрикнул на них. Тогда они кинулись к столу, вынули из-за ушей перья и заскрипели по бумаге.

Максим благодарил старшину, но было ему как-то неловко. Он не ожидал такого решения. «А может быть, и в самом деле будет лучше, — подумал он, — может быть, они скорее договорятся, если их свести вместе».

Десятский привел Александру и Гната на огород и выдал им лопаты. Александра и Гнат стали копать. Десятский, пряча улыбку в усы, ушел в правление. Александра начала ругать мужа; она плакала и говорила сквозь слезы: где это смерть ее запропастилась, не

приходит избавить от муки! И почему мать не утопила ее, купая в корыте, почему гром не убил или земля не расступилась, когда она под венцом стояла! Нет, заговорила ее от смерти нечистая сила и отдала мужу, этому душегубу, из-за него приходится такое терпеть!..

Придавленная несчастьями энергия Гната вырвалась на волю, словно река, прорвавшая плотину, и между ним и Александрой снова началась бы драка, если бы любопытная жена писаря не позвала Александру, чтобы расспросить у нее об ее неудачной жизни.

Оставшись один, Гнат немного успокоился. Он взял себя в руки и решил молчать. Он переживет беду, он победит ее терпением и упрямством.

Черная земля с шумом слетала с лопаты Гната, а он копал и копал, не разгибая спины.

Александра вернулась несколько более спокойной. Она тоже принялась копать, но работала медленно, больше стояла и все время смотрела по сторонам.

Вечером десятский повел их в «холодную». «Холодная» была в подвале под волостным правлением. В ней было темно, сыро и холодно. Черные стены небольшой комнатки были скользки от плесени. Мокрая глина местами отвалилась, и липовые балки белели, как ребра скелета. В углу, около дверей, стояла кадка из-под капусты, тяжелый запах гнилой капусты заполнял воздух. На кирпичном полу лежали кружки от кадки и груды мокрой прогнившей соломы. Гнат исподлобья посмотрел вокруг себя, выбрал место, где солома была посуше, и лег, отвернувшись к стене. Александра нашла трехногую скамью, приставила ее к стене и села. В «холодной» стало тихо, как в могиле. Немного позже за окном послышался шопот и приглушенный смех. Александра посмотрела в окно и через решетку увидела лица писцов. Писцы показывали пальцами на Александру, шептали что-то друг другу, смеялись. Гнат лежал неподвижно, точно ничего не слышал. Писцы решили, что он спит, и начали отпускать по адресу Александры сальные шутки. Постепенно писцы становились смелее, смеялись уже громко, не обращая внимания на Гната. Сперва Александра молчала, а затем стала, искоса поглядывая на Гната, и свое словечко вставлять

в их шутки. Гнат лежал, как мертвый. Александра прислушалась к тому, что делалось за окном. За окном слышались шутки, смех, разговоры.

Гнат все слышал и негодовал. Он старался свое внимание сосредоточить на другом. «Чорт с ней! Пусть дразнится, бесстыжая! Лучше буду о своей Насте думать... или о хозяйстве, оставшемся без присмотра...» Но ухо невольно улавливало отдельные слова разговора, и Гнату становилось гадко, досадно, больно... Он заткнул уши и лежал так, пока не заснул...

На следующий день их снова взяли на работу — опять копать канаву. Они копали молча, за все время не перебросившись ни единым словом.

В полдень приехал старшина. Он велел позвать Гната и Александра. Оба, и Гнат и Александра, решительно ответили: «Нет!», когда старшина спросил, будут ли они жить вместе. Старшина рассердился. Они заупрямились, но и он не тряпка. Пусть копают каналы, если охота, и ночуют в «холодной».

И канаву копали, и в «холодной» ночевали, а примирение не наступало. Они были, как чужие. На третий день старшина вызвал их к себе, они продолжали стоять на своем: никто не заставит их жить вместе. Старшина внимательно посмотрел на них.

— Убирайтесь вы на все четыре стороны, а то, ей-богу, приблю! — крикнул он. — Такое, значит, дело! Что ты с упрямыми сделаешь?..

Гнату и Александре не нужно было это повторять: они вышли из волостного правления и разными дорогами направились домой.

### III

Было прекрасное утро. Под голубым небом на солнце сверкала свежая зелень. По зеленому лугу вилась тропинка до самого пруда. Семен Караташ шел по этой тропинке. Он только что побрился обломком старой косы, и выбритый подбородок белел на загорелом лице. Семен шел купаться.

Дул свежий ветерок; пруд был покрыт мелкой рябью, блестящей на солнце, как серебро. Казалось,



на дне пруда кипело серебро, и горячие расплавленные брызги взлетали вверх и прорывали ровную поверхность воды. Пруд сверкал так ярко, что глазам становилось больно. Ласточки низко вились над прудом и едва не касались крыльями сверкающих волн. У берега под вербами вода казалась зеленоватой. Мелкие волны равномерно катились, ласково омывали берег. Хлюп-хлюп!.. хлюп-хлюп!.. Семен стал раздеваться. Подбородок зудел после бритья, и Семен, потрогав шершавый подбородок, вспомнил, почему сегодня так прихорашивается. Да ведь сегодня он сватается в четвертый раз! В четвертый раз! Он похоронил трех жен. Когда первая умерла, он сказал себе, что больше не женится, потому что не найдет такой верной и любящей подруги. Однако, кто его знает как, но Семен женился во второй раз. Умерла вторая — и он закаялся еще раз жениться, чтобы на свою голову не взять снова такую зловредную. Но и в третий раз он женился — нужна была мать малой сиротке. Похоронив третью, Семен написал прошение архиерею, просил, чтоб ему разрешили жениться в четвертый раз. От архиерея не было ответа, а в это время начала разваливаться необмазанная хата, некому было сварить и ложки горячей пищи, не с кем было перекинуться словом. Пойти к зятю в другое село не хотелось, ведь зять — чужой человек, а чужой хлеб горек, да и на что Семену чужой хлеб, если есть свой, если и хата есть, и огород, и поле — полное хозяйство... Да что с этого, если хозяйство без хозяйки плачет! И сам Семен уже готов был плакать, да добрые люди посоветовали жить на веру. Может быть, и впрямь так будет лучше. Бог простит, что без венца, потому что в мыслях у Семена нет ничего грешного, а понапрасну погибать человеку не надо. Да и славную жену выглядел он себе! Мотрю Левкову. Хоть и похоронила трех мужей, а не так уж стара — лет сорока пяти-шести, а какая работающая, какая старательная — и рассказать трудно. Правда, любит пропустить рюмочку... Ну так что? И это не беда, потому что будет с кем выпить, будет кому пожелать: «Дай боже!» Семену было весело. Раздевшись, он подошел к самому краю берега и посмотрел на тихую воду небольшого омута, окаймленного зеленью низкорослой лозы. Из омута

глянуло на него небольшое круглое лицо с подстриженными седыми усами, красным носом и добрыми серыми глазами, приветливо шутившимися на мир из-под густых и длинных бровей. Седые волосы были подстрижены кружком, по-казацки. Семен усмехнулся. — Чем не казак? — сказал он вслух. — У, и холодная же вода! — Он бултыхнулся в воду, и она широкими кругами побежала от него навстречу волнам. Семен выплыл на середину. Солнце залило все вокруг своими лучами и играло на белом теле Семена. У берега купались дети и так били по воде, что она вспенилась. Одевшись, Семен снова уже сидел на берегу, когда по плотине с другого берега подходила какая-то женщина. Семен закрылся рукой от солнца.

«Кажется, Мотря, — подумал он. — Она».

— Добрый день, Мотря! Куда это вы идете?

Мотря остановилась. С минуту она вглядывалась.

— Дай боже! К куме иду. Отношу квас, который занимала, чтобы борщ сварить, — Мотря показала на черный горшочек. — А вода холодная?

— Сперва холодная, а потом ничего... — Он хотел еще что-то сказать, но не смог подобрать слов и из-под ладони смотрел на Мотрю.

Мотря стояла, будто тоже ожидала чего-то. Потом повернулась и пошла быстрыми мелкими шагами, словно молодые годы вспомнила.

Когда Мотря возвращалась от кумы, Семен все еще сидел на берегу и курил трубку.

— Постойте, Мотря, мне надо вам что-то сказать! — окликнул ее Семен. Он подошел к канаве и прислонился к сухому дереву. Мотря стояла на дороге, по ту сторону канавы.

— Не знаю, передавала ли вам София, ваша старшая сестра, что я... чтобы вы...

Язык не повиновался Семену.

— Она передавала... — Мотря поджала губы и стала глядеть на горшочек.

— А что вы на это скажете, Мотря? Выпьем по случаю сговора или нет?

— Разве я знаю... — Мотря нашла на дне горшочка кусочек присохшей глины и стала его очень внимательно отколупывать ногтем.

— Право, решайтесь и переходите ко мне жить на веру. Ведь сами вы знаете, что плохо, когда человек один как перст... Разве я не вижу, что и вы бедуете, скитаясь по чужим хатам. Что с того, что вы деньги зарабатываете, когда не знаешь, какую этими деньгами дыру заткнуть. За хату заплати, дров купи, купи хлеба и к хлебу... А у меня все свое: и хата, и хлеб, а хозяевами будем, так и к хлебу что-нибудь найдется. Заработаете какую копейку, соберете — вот и деньги окажутся про черный день... И веселее станет: вы у себя хозяйка, а не вечно в работницах. И муж будет, хоть и не законный, а все-таки муж. Детей у нас не будет, да и зачем нам эта забота, теперь и так туго, земли мало, а людей — как саранчи... А уж как я вас уважать буду, никогда пальцем не трону: ведь и я за три года хорошо узнал, что такое одиночество. Так мне опротивела пустая хата, так мне надоело изо дня в день молчать, что хоть бери старый дед, и живьем в гроб полезай...

Старый Семен говорил долго; чем дальше, тем свободнее и быстрее, и речь его текла, как вода по мельничному лотку, и размывала последние колебания Мотри. Она продолжала стоять, сжав плотно губы, и вертела в руках горшочек.

— Разве я знаю?.. Еще люди засмеют... — проговорила она несмело.

— Вот тебе на! Люди засмеют! Ведь каждый знает, что не баловство у них в мыслях, что не пустяки какие-то сводят их вместе, а настоящая необходимость. А что жить они будут на веру, без брака — это уже не их вина. Ведь писал он к архиерею, просил позволения жениться в четвертый раз! Архиерей — ни гу-гу, а без жены не обойтись человеку, без хозяйки не обойтись.

— Может быть, как-нибудь и наладится! — вздохнула Мотря.

— Конечно. А почему не наладится! — подхватил Семен.

Полное, толстое, с отвислыми щеками лицо Мотри разгорелось. В карих, немного потускневших глазах промелькнуло беспокойство и раздумье, словно Мотря потеряла моральное равновесие. Маленькое лицо Семена

тоже покраснело, а красный нос прямо пылал на солнце. Они попросились. Семен еще долго смотрел вслед высокой крепкой фигуре Мотри. «Будет кому работать!» — подумал он и направился домой. Семен был весел. Проходя мимо покосившегося старого сарайчика, он подумал: «Непременно надо снести его и поставить новый. А то разживется человек на корову или овечку, так некуда будет и на ночь загнать...» Три года смотрел он на этот сарайчик, но ни разу не приходила в голову такая мысль. И хата была заброшенной. Дождь размыл стены — желтая глина всюду потрескалась и осыпалась. Лишь вверху, под стрехой, укрылась от дождя полоска белой стены. В одной половине хаты не было оконных рам, и желтая стена смотрела во двор двумя черными дырами. Двор зарос спорышем и зеленел, будто луг весной. Семен вынес из хаты топор и, мурлыча себе что-то под нос, захлопотал возле сарая.

В тот же день вечером Семен пришел к Мотре. Он застал здесь Софию, старшую сестру Мотри, еще не старую, разговорчивую женщину. Сестры о чем-то советовались. Семен вынул из-под полы бутылку водки и поставил ее на стол. Начался разговор о засухе, о хозяйстве. Нету дождя, все нету... Яровые плохи, мало надежды на озимые. Женщинам обязательно нужен дождь для картошки, для огурцов. Вчера было набжала тучка, маленькая, маленькая, но едва покропила сухую землю... Беседа шла вяло. Мотря вышла и вскоре привела с собой Гната. Затопили печь, поставили воду для теста и горшочек с яйцами. Мотря и София месили тесто, хлопотали у печи. Скрипнула дверь, и в комнату вошла Явдоха, Настина мать. Семен искоса посмотрел на старуху. «Эта святоша на другом конце деревни почуяла добычу», — подумал он. В небольшой хате сталолюдно, даже тесно. Беседа оживилась. Все уже знали, что Семен просит Мотрю жить с ним на веру, и советовали Мотре переходить к Семену. Он человек добрый, положительный, имеет свое поле, свою хату. Мотря соглашалась, но не высказывала этого решительно, хотя и самой ей хотелось избавиться от одиночества и снова стать хозяйкой, такой, какой она когда-то была.

Ужин был готов. Мотря наложила галушек в миску и поставила на стол возле тарелок с яйцами и крошеным салом... Горячий пар от галушек поднялся над миской, стол будто повеселел. Гости любовно поглядывали на большую зеленую бутылку.

— Прошу, угощайтесь! Сестрица, кума! Семен, Гнат! Садитесь, прошу вас, да кушайте, — приглашала Мотря.

Семен налил рюмку и повернулся к Мотре.

— Дай же нам бог дожить жизнь вместе, в любви и согласии... Дай боже начать это дело в добрый час и еще в лучший закончить, чтоб и нам хорошо жилось и хозяйство хорошо велось... Пошли вам бог в моей хате такую тихую старость, как ясная вода в колодце.

Семен начал пить, он цедил водку медленно, словно прислушивался к тому, как она тонкой струйкой переливалась из рюмки в живот. Выпив до дна, он налил Мотре.

Мотря приняла рюмку и обвела глазами гостей, не зная, с кем выпить.

— Пейте с кумой Явдохой, — решила София.

Мотря отпила, собрала губы шнурочком и, обтерев их рукавом, влила в рот вторую половину рюмки, даже не поморщившись. Рюмка обошла вокруг стола. Гости приговаривали, желали Семену и Мотре и от воды и от росы полный мешок добра. Закусив салом, гости пододвинулись к миске и стали есть из миски; чтобы не за капать скатерть, они подкладывали кусок хлеба под ложку. На минуту в хате стихло, только деревянные ложки стучали о глиняную миску. После второй рюмки разговорились. Говорили все сразу, перебивая друг друга.

— Переходите, сестра, к Семену, переходите, милая! Вам будет лучше, не будете так бедовать горько, как теперь...

— А вы думаете, голубка, не надоело мне это одиночество! Встану затемно, растоплю печь, еду поставлю... Э, какая там варка! Больше для вида: варить — не варить, лишь бы вместе с людьми дымить. Перехвачу чего-нибудь наскоро и бегу на поденную, как на панщину. Одно хорошо — хоть и не поем сладко, хоть и наработаюсь горько, да никто меня не изругает, ни от кого не

услышу укора, — намекала Мотря, поглядывая на Семена.

— Да боже мой! Я не такой человек, кого хотите, спросите, — волновался Семен.

— Да, да, грешно о нем говорить плохое, — зашумели все гости. — Семен не такой. Он своих жен жалел, хоть покойница вторая жена была такой, что лучше и не подходи, если что не по ней.

Снова выпили по рюмке.

— А если люди меня засмеют, если мне в глаза будут тыкать, что я на веру живу... — словно себе самой сказала Мотря.

— Да бог с вами! — затараторили женщины. — Кто над вами смеяться будет, над чем? Вы не потаскуха какая-нибудь, простите за слово, и у вас в мыслях не глупости, не распутство. Ведь живут на веру и Микола Козачишин, и Иван Бондарь, и Олена Сидоручка, а Андрей Муржак уже девятый год живет с Марией... И никто над ними не смеется, все их по-настоящему уважают. Случится праздник какой — приглашают, угощают; и они у себя принимают, как бог велел. Каждый увидит, что свела вас обоих крайняя необходимость, что живете вы на веру — поп не венчает в четвертый раз! Есть, правда, и такие, что из-за распущенности сходятся, а плохому и плохой конец: если выгонит жену через какое-то время муж, так она тут же станет искать другого на два дня... А сколько над ней наиздеваются, сколько стыда она примет, о том все знают... Но бывает и так, — либо у нее есть муж, либо он жену бросил, и, значит, им повенчаться нельзя, так от большой любви идут жить на веру. И это плохо, но все же это как-то иначе. Люди все-таки считаются с искренней любовью. Старики, правда, упорно противятся этому, так как раньше таких случаев не бывало, не привыкли старики к такому. Но молодежь на подобные дела иначе смотрит. «Когда живут на веру, тогда муж жену больше любит и жалеет, — говорят они, — потому что она может его в любую минуту бросить...» или: «Это все равно, обвенчал их поп или не обвенчал, лишь бы друг друга верно любили...»

— Да, милая, так уж теперь на свете пошло! — вздохнула Явдоха. — Вот и в песне поется:

Ой, господи милосердний,  
Який тепер світ настав;  
Свою жінку покидає.  
А з чужою жити став!.

— И не будет добра! Не будет! Из-за грехов наших тяжких не будет на свете лучше! — плакала Явдоха. Она была уже под хмельком, и пьяные слезы текли по жалобно скривившемуся морщинистому лицу.

Гнат внимательно слушал. Каждое слово западало глубоко в душу, больно задевало чувствительные струны его сердца. Вслушиваясь в этот разговор, Гнат заранее взвешивал, что придется ему вытерпеть, когда он станет жить с Настей на веру. Правда, не каждое лыко в строку. Люди — божьи собаки: и лают, и кусают. Ему это безразлично, но бедная Настя вряд ли выдержит. Сердце у него щемило, словно кто-то сжимал его в руке, однако Гнат не мог преодолеть желания хоть раз в жизни узнать счастье.

В большой бутылке уже мало оставалось. Гости шумели, им было весело. Явдоха рассказывала, как она ходила на богомолье в Браилов, что слышала от монашек. Одна из них говорила, что скоро бог покарает людей за грехи, что настанет страшное лихолетье, начнется мор, но не все люди умрут от мора. Выпадет град величиной с баранью голову и побьет тех, кто не говееет, кто ссорится до службы божьей и не подает нищим. София тяжело вздыхала, но не очень внимательно прислушивалась к этому рассказу — ей самой хотелось рассказать о недавнем столкновении с кумой Одаркой: как она поссорилась с кумой Одаркой и что эта кума Одарка говорила о ней куме Марье. И Явдоха, и София говорили одновременно, одна об этом, другая — о том, и их разговор сливался в какую-то смешную мешанину... Гнат угождал Явдохе, — ведь она была матерью его Насти.

Семен и Мотря сидели рядышком. Они вели приветливый разговор. Семен был весел. Его нос, задранный вверх, цвел, как роза. И Мотрю разогрела водка — женщина точно похорошела, помолодела. Дородная, плотная, крепкая — она казалась еще крупнее рядом с маленьким, сухоньким Семеном. Семен говорил, что как только Мотря перейдет к нему в хату, он починит сарай, потому что нужно лошадок купить... Может, заработает

какую копейку извозом, а придет время пахать — не надо будет нанимать лошадей... Мотря говорила, что сарай действительно надо исправить, но необходимо купить корову, потому что за петров пост можно будет собрать масло и сыр: и деньжат заработают, а там и самим будет что поесть. Они разговаривали, не обращая внимания на гостей. В их разговоре ежеминутно слышалось: «Будут телята — продадим... купим кабанчика... сделаем новую трепалку для льна... без коровы нельзя!»

Они условились, что завтра Мотря придет осмотреть хозяйство Семена, а затем и совсем переберется к нему.

Было поздно. Гости стали прощаться.

— Ой, я напилась у вас, напилась — даже пить хочу!.. Ой, беда, как же я домой доберусь? Придется где-нибудь в канаве ночевать, — жаловалась Явдоха.

— Не беспокойтесь, тетка, — отозвался Гнат, — я вас домой провожу.

Гости попрощались, ушли. София осталась ночевать у сестры.

На следующий день солнце уже склонялось к вечеру, когда Мотря с Софией входили к Семену во двор. Рябой пес с лохматым хвостом бросился на них и лаял до хрипоты. Возле сарая Семен колол дрова. Он защитил гостей от Рябка и ввел их в хату. Мотря смотрела на потрескавшиеся, облупившиеся желтые стены. «Вон как глина вздулась, точно опившаяся скотина. Нужно будет поотбивать, — думала Мотря, — и обмазать свежей глиной...» Пол в хате был черный, весь в выбоинах, потолок потрескался. В хате было темно, как в трубе. Грязная, измятая постель лежала на скамье. Гвоздика за иконами и кресты из круглолистной володушки были черны от пыли. «Ой, будет муки на мои руки!» — подумала Мотря. Но охотно, хоть сейчас, задала бы своим рукам эту муку, лишь бы свить себе тихое, чистенькое гнездышко. Семен просил простить его, что ему нечем попотчевать гостей. Они сами хорошо знают, что дом без хозяйки — сирота. Так пусть же не откажутся потрудиться и что-нибудь приготовят — вот дверь в кладовушку, а он сходит за водкой.

Как только Семен вышел, женщины — любопытные, как все женщины, — кинулись осматривать каждый



уголок, каждый закоулочек. В кладовой стояла квашня с мукой, а возле нее горох в треснувшем корыте; в кадшке лежало несколько кусков сала; на жерди висела одежда. Курица-пеструшка, надувшись и нахохлившись, водила по двору шестерых цыплят. Женщины приготовили ужин. Семен привел с собой соседа. Начали разговаривать, угощаться.

— А если я не угожу вам и вы, рассердившись, побьете меня, я должна буду бросить вас, сколько тогда стыда я наберусь от людей? — педперев щеку рукой, с грустью говорила Мотря.

— Что вы, Мотря, бог с вами! Да я вас и пальцем не трону, пусть меня бог накажет, если я вру. При свидетелях клянусь...

Мотря поверила и облегченно вздохнула.

На следующий день она перенесла к Семену свой сундук и расположилась в хате как настоящая хозяйка.

#### IV

Гнат тосковал. Еще до сих пор он не поговорил с Настей, все никак не решался просить ее жить с ним на веру, пока не уладится это несчастное дело с женой. Неуверенность и тревога, словно огонь, пожирала его сердце. Гнат даже побледнел от постоянной тревоги. Молодые усы еще резко выделялись на бледном лице.

Однажды в теплый розовый вечер Гнат и Настя встретились на улице. Гнат возвращался с покоса, Настя — с работы на свекле. Они пожелали друг другу доброго вечера и прошли дальше, каждый своей дорогой. Но случилось так, что оба они одновременно и оглянулись и остановились. Настя улыбнулась Гнату уголками красных губ. В последнее время она похорошела, пополнела. Мягкие тонкие черты ее лица выравнялись, стали еще нежнее. Большие серые глаза бросали целые снопы мягкого света. Она была свежа, как ягода. Гнат на нее загляделся.

— Мне надо тебе что-то сказать, Настя, — решился Гнат и подошел ближе.

— Говори!

— Да здесь как-то неловко, ходят вокруг. Выйди под яблоню, когда стемнеет. Очень нужно поговорить.

— Чего выходить? Говори здесь!

— Нет, нельзя, выходи в сад, там скажу... Выйдешь?

— Посмотрю! — Настя заторопилась. — Выйду! — сказала она, сделав несколько шагов, и озарила Гната ясным светом серых глаз.

У Гната стало тепло на сердце от этого взгляда.

Ночь была темная. На синем небе густо высыпали звезды. В пруде громко кричали лягушки. Село спало. Гнат осторожно перелез через плетень, очутился в густом саду и подошел к ветвистой яблоне, под которой не раз стоял с Настей. Здесь было темным-темно. Он вглядывался в темноту, но никого не видел. Настя не пришла. «Нет ее!» — тихо произнес Гнат, и слово это печальным эхом отозвалось в его сердце. Вдруг из-за дерева послышался тихий смех; кто-то легонько ударил Гната по плечу. Гнат затрепетал, как на ветру осина. Он увидел Настю и схватил ее за руку. Он держал ее руку и молчал.

— Ну вот! Ты будешь молчать, а я буду слушать, — сказала Настя.

— Ты знаешь, Настя, что нет мне без тебя жизни... Мне свет опостылел, без тебя — я несчастен, — грустно произнес Гнат.

— Что тебе посоветовать? У тебя есть жена, почему же ты не живешь с ней в согласии?

— Не мучь меня, напоминая о жене, — я и так измучен... Я ее ненавижу, она загубила мои молодые годы... Александра не переступит больше моего порога, мы навсегда разошлись... Настя, если ты не захочешь жить со мной, я наложу на себя руки!.. Лучше мне в сырой земле гнить, чем без тебя жить.

— Ну и сказал! Как же нам сойтись, если у тебя жена есть? Как я людям тогда на глаза покажусь?

А как живут другие? Разве он и она будут первыми или последними? В селе больше десяти хат, где живут на веру. И живут люди не хуже венчаных, хозяйство ведут, достаток имеют... Она говорит: «пересуды»... да хоть забей двери и окна и сиди в хате не выходя — и тогда от этих пересудов не спрячешься. Пересуды что?.. Собака лает, ветер разносит.. Лишь бы счастье было..

А счастье будет: он ее горячо любит, он ее, как цветок в саду, беречь будет, он будет о ней заботиться, ходить за ней станет, как за малым ребенком... Неужели она захочет, чтоб он погибал понапрасну, ни за что ни про что укоротил свою жизнь молодую?!

Настя слушала, прижавшись к шершавому стволу; ей стало жаль этого тихого, кроткого человека, который так горячо любит ее и тоскует по ней. Она сама любила Гната, и где-то в дальнем уголке ее сердца шевелилось согласие на предложение Гната. Теперь ее уже волновали препятствия, которые должны были неминуемо встать на пути к счастью.

— А мать? Да ведь она загрызет меня, и так она сердится, что я двум женихам отказала, — будто самой себе рассказывала Настя.

— Что мать — пустое! Можно упросить тетку Мотрю, она все устроит. Кума с кумой поговорят, кума с кумой посоветуются, и как-нибудь дело наладится.

Овеянные чарами летней ночи, взволнованные разговором, Гнат и Настя замолкли, но мысли попрежнему кружились вокруг одного.

Гнат надеялся, что Настя согласится жить с ним на веру.

— В нашем краю тихо! — засмеялась Настя.

Этот свежий, почти детский смех взволновал Гната. Он обнял Настю, прижал ее к себе. На него пахло теплом молодого женского тела. Настя не сопротивлялась. Она запрокинула голову, и белая шея блеснула из-под красной коралловой ниточки. Гнат припал губами к белой теплой шее.

Ветвистая яблоня разбросала над ними могучие ветви и лишь иногда, словно сквозь сон, вздрагивала темными листьями. Под синим звездным шатром неба было тепло и тихо... Поздно, пьяный от счастья, Гнат возвращался домой.

На другой день, совсем рано, Гнат забежал к тетке Мотре. Мотря месила глину возле дома; ее ноги, измарианные желтой глиной, казалось, были обуты в желтые сафьяновые сапожки. Щели на стенах были уже заделаны, и глиняные пятна напоминали огромную желтую паутину, сотканную пауком-великаном. Мотря месила глину и слушала, что говорил Гнат. Она обещала

переговорить с Явдохой, но не раньше, чем в воскресенье, так как теперь, — он сам видит, — она начала мазать хату, и нужно работу довести до конца.

Поблагодарив тетку, Гнат пошел на работу.

В воскресенье после обеда Мотря собралась к Явдохе. Явдоха сидела на завалинке и дремала на солнышке. Насти не было дома.

— Добрый день, кума! С праздником вас, — еще издали крикнула Мотря.

Явдоха вздрогнула, посмотрела на пришедшую и сказала:

— Дай бог здоровья! Садитесь, кума, гостьей будете. Как же вам на новом хозяйстве живется?

— Неплохо, совсем неплохо... Старый мой так прихорашивается, что куда молодому! Взялся он переделывать сарай, осталось только соломой покрыть и обмазать, вот и все будет готово. А я хату мазала да так мазала, что еще до сих пор, милая, болят у меня руки и ноги, а поясница так ноет, будто кто палкой ударил...

Мотря рассказывала о хлопотах в новом своем доме, а Явдоха — о святости монахинь, о тяжелой каре божьей за грехи...

— Кума моя дорогая и милая, что я хочу вам сказать?! — начала Мотря.

— Говорите, говорите, а я послушаю...

— В пятницу утром, только принялась я месить глину, прибегает Гнат, мой племянник. Посмотрела я на него и вижу — не такой он, как всегда, словно что-то произошло с ним... «Что с тобой, сынок?» — спрашиваю. «Тетка моя дорогая и любимая, — отвечает Гнат, — если вы не захотите помочь, так придется мне пропадать понапрасну...» Я даже заплакала и говорю: «Сынок мой любимый и дорогой, как же мне не помочь тебе, если ты мне самая близкая родня. Ведь у меня не столько родных, как колосьев в поле». А он, правда, поцеловал мне руку и говорит: «Сами вы, тетя, знаете мое горе... знаете, как мы с Настей друг друга любили, — это с дочкой вашей, кума! — да разлучили нас злые люди, не дали обвенчаться. И теперь я хожу, свет мне не мил, нет мне без Насти жизни... Если я не буду с ней жить, буду в сырой земле гнить... Идите, — говорит, — к тетке Явдохе, просите ее, пусть свою Настю отпустит жить со

мною на веру...» Так мне его жалко стало, так крепко жалко, что и не рассказать... Вот я и пришла к вам, милая; право, отпустите свою Настю к Гнату, он человек тихий, работающий...

— Что это вы, кума? Господь с вами! Моя дочь вдова, ей хорошие люди встречаются. Не сегодня завтра кто-нибудь посватается. Зачем жить ей на веру?

— Но они, кумонька, крепко любят друг друга, Гнат и Настя! Если вы их разлучите, дочка будет обливаться слезами, а у вас ведь одно дитя, нельзя ей жизнь калечить!

— Что вы, кума, что вы! И не говорите мне этого! Чтоб я потворствовала дочке в таком деле, чтоб я толкала ее на грех? Да меня покарала бы богородица, и пост и молитвы не помогли бы.

— Говорят люди, что верной любви и сам бог не противник, — перебила Мотря.

— И не говорите, серденько, не говорите! Иное дело вам, вы уже женщина в летах, были за тремя мужьями и в мыслях ничего грешного не имеете, вам-то бог простит, а моя Настя еще дважды может венчаться, зачем же ей грешить? И так господь бог карает за грехи наши тяжкие...

Явдоха стала рассказывать, какое чудо недавно произошло в Горешковцах. Жил в этом селе один человек, и было у него четверо детей; были у него дети, а кормить их нечем, потому что обычно перед новым урожаем редко кто имеет свой хлеб, а у этого человека и крошки не было. Так вот, когда ему невоготу стало, что дети все время кушать просят, схватил он нож и с отчаяния хотел их зарезать. А дети говорят: «Не убивайте нас, мы будем спать до нового хлеба...» И легли рядышком на печи и заснули. Спят день, спят второй, а человеку уже страшно стало, он будит их, а они спят как мертвые... Страх охватил человека, стал он богу молиться, а дети спят. Пошел он к попу, заказал молебен, — ничего не помогает... Посоветовал кто-то этому человеку пойти в Киев к святым местам; вот он и пошел, а дети и до сих пор спят... Ох, боженька, боже милостивый! Тяжки грехи наши перед тобой!

Сколько Мотря ни уговаривала Явдоху отпустить дочку к Гнату, сколько ни просила, — не помогло. Яв-

доха как отрезала — Настю не отпустит. Старуха действительно боялась, чтобы не выпал крупный град величиной с баранью голову и не убил ее, грешную.

Так и разошлись они не договорившись.

Под вечер из гостей вернулась Настя. Мать стала ее расспрашивать о Гнате, хотела выпытать, знает ли дочь о его намерениях, а если знает, что скажет о них. Настя призналась матери, что любит Гната, что хочет жить с ним на веру. Старуха раскричалась, слова не дала сказать Насте. Пусть и не думает о Гнате и такой любви, — все это глупости! Пока мать жива, не будет этого, потому что не хочет мать срамиться на старости лет, не хочет гневить бога, который и без того карает людей за грехи! Настя возражала, говорила, что все равно уйдет, и, плача, упрекала мать, что та мучает ее, хочет загубить молодую жизнь, хоть и ходит по монастырям и отмаливает грехи всего мира. Вся в слезах, Настя выбежала из хаты в сад под свою любимую яблоню. Ветвистая яблоня напомнила ей о нежном разговоре с любимым и о тех счастливых минутах, которые промелькнули здесь под сенью этих широких ветвей. «Что будет — то будет, а я уйду к Гнату», — подумала она, немного успокоившись. Не было у нее собственной воли, ее можно было ко всему склонить, но одним лишь тихим, ласковым словом. А запрет матери только подстегивал вялую волю Насти. Настя стала обдумывать, когда и как перебраться к Гнату. Э, что там долго думать! Ведь как раз в пятницу, перед уборкой хлеба, пойдет мать на богомолье просить бога, чтобы помог собрать богатый урожай. Об этом сообщить бы Гнату, пусть отвезет ее, Настин, сундук к себе, вот и все. Настя замечталась о тихом рае у любимого в доме... Но как оставить старую мать, да еще в страду? Эта мысль, словно серпом, подрезала мечты Насти. Ей жаль стало старуху... Ничего, вместе с Гнатом можно будет сжать хлеб на поле у матери; и тогда, может, мать скорее переложит гнев на милость. Настя даже повеселела от этой счастливой мысли.

В понедельник, когда Гнат возвращался с работы, Настя нарочно выбежала ему навстречу и сказала, чтоб он ее ожидал в пятницу.

В пятницу на рассвете взяла Явдоха узелок с харчами и палку и пошла вместе с другими на богомолье.

Немного позже, когда люди разошлись на работы и не слонялись больше по улице, подъехал Гнат к хате Явдохи и вынес на телегу сундук Насте. Настя заперла двери, а ключ положила под стреху.

Настя сразу же принялась убирать хату Гната. Ей хотелось прежде всего вынести грязь, оставшуюся после Александры. Настя сняла со стены иконы, вымыла их и принялась мазать стены. Гнат кинулся помогать; он хватался за все и чуть не разбил икон. Накричала на него Настя, сказала, чтобы не занимался бабьей работой и убирался из хаты. Гнат хотел поцеловать Настю, но она, смеясь, обрызгала его глиной и вытолкала за дверь. Настя побелила стены, обвела шесток красной глиной, разрисовала синькой печь. Черная балка с вырезанным крестом прямо-таки блестела на белом потолке. По стенам, от жерди до посудной полки, Настя равесила два ряда икон и убрала их гвоздикой и кудрявой мятой. Под иконами она повесила красивые вышитые полотенца, на жердь — большое полотенце с роскошно вышитыми концами. Шерстяное покрывало горело на постели яркожелтой и зеленой красками. Белая скатерть на столе и вымытые скамьи сияли чистотой. Большая посудная полка улыбалась большими глазированными мисками, белыми, зелеными, красными. Настя взглянула на нарядную хату и улыбнулась. Хата была, как цветочек. Вечером Настя сварила ужин и поставила пред Гнатом. Ресело светила керосиновая лампочка. В печи догорали угли. Гнат смотрел и не узнавал хаты. Она похорошела, побелела, из бедной лачуги превратилась в богатую комнату. Перед ним на скамье сидела его давнишняя мечта, свежая и красивая, как цветок. Гнату показалось, что ему приснился прекрасный сон. На сердце было так радостно, так счастливо, что он боялся, чтоб этот волшебный сон не исчез.

Гнат повеселел, словно наново на свет родился. То, бывало, работа ему надоедала, казалась тяжелой: поработает-поработает, а потом сам себя спросит: «Для чего?..» А теперь не работа — забава: куда ни пойдет Гнат — все с песней. В воскресенье Гнат отправился в город на ярмарку. На ярмарке он накупил Насте гостинцев. Купил красивый большой платок с красными розами, и серьги с длинными золотыми подвесками, и ярко-

красную юбку в семь полотнищ. Он совсем не жалел денег, которые еще с зимы копил на свитку. Не так уж ему нужна эта новая свитка! Старую он еще не совсем сносил. Когда он был холостым, он хорошо одевался. Бывало, какую захочет шапку — такую и купит! А теперь не то... купит любую, лишь бы покрыть голову... Да и смеются люди над теми мужчинами, которые франтят... А раз женился — надевай большие сапоги с голенищами выше колен, надень грубую и длинную свитку, чтобы полы касались земли, надвинь на нос высокую, с длинным волосом шапку, — и скажут: «Хозяин». А если наденешь короткую свитку, захочешь обуться в деликатные, по ноге, сапоги, подпоясаться красивым поясом, тотчас засмеют, скажут: «Важничает! не будет из него хозяина!»

Настя, как ребенок, обрадовалась подаркам. Она повязалась цветастым платком, надела сережки и вертелась перед маленьким, вмазанным в стену зеркальцем, стараясь хоть одним глазком увидеть длинный конец красивого платка. Гнат стоял поодаль и улыбался, глядя на то, как Настя примеряет красную огненную материю и собирает ее в мелкие складки. Настя посмотрела на Гната чистыми, счастливыми глазами, и он в них прочел и радость, и благодарность.

В понедельник, в обеденную пору, вернулась с богомолья Явдоха. Не найдя ни дочери, ни сундука, старуха крепко встревожилась. Соседка сказала Явдохе, что Настя ушла к Гнату жить на веру. Явдоха остолбенела. Ей стало жаль дочери и было стыдно, что дочь живет на веру. Явдохе казалось, что вот-вот тяжелые тучи обложат небо и выпадет большой град и побьет и ее, и дочь, и Гната, и всех грешников. Старуха не знала, что предпринять: бежать ли к Насте и увести ее домой, посоветоваться ли прежде с людьми.

Явдоха направилась к хате Гната. Настя хлопотала возле печи. У Насти опустились руки, когда она увидела мать. Явдоха остановилась на пороге, бледная, гневная. Сухие старческие губы дрожали от гнева.

— Прочь отсюда! — хриплым голосом крикнула она Насте.

— Куда я пойду? Некуда мне итти из моей хаты...

— Из твоей хаты, негодная? Так ты уже где-то под



кустом повенчалась, побей тебя бог, как ты меня, старую, бьешь этими словами! Иди сейчас же домой, не то как возьму вон ту скалку да избью тебя! — Явдоха схватила со скамьи скалку и двинулась на Настю.

— Лучше убейте меня, — и Настя заплакала.

Со двора вошел Гнат. Он увидел эту сцену и нахмурил тонкие брови. Он стал между Настей и Явдохой.

— Меня бейте, мама, а не ее...

— А какая я тебе мама, вражий сын? Чорт повенчал вас на помойке, а ты меня мамой зовешь? Да я на тебя и смотреть не хочу, такой-растакой сын! Я на тебя управу найду, я тебе покажу, как баб на грех подбивать! Где это видано? Где это слыхано? В мое время не знали такого срама. — И, обратясь к Насте, она продолжала кричать: — Мать твоя и бабка твоя были честного рода, а ты позором покрыла мою голову седую! Ступай домой! — кричала она Насте.

— Простите нас, не гневайтесь, прошу вас, — отозвался Гнат. — Так уж, видно, бог нам судил... Сами вы знаете, как мы любим друг друга, и врозь жить не можем...

— По мне хоть на дереве повесься, но дочку мою не мути!.. Иди сейчас же домой! — снова обратилась она к Насте.

Настя плакала. Старуха хотела схватить ее за руку, но Гнат встал между ними.

— Я не пущу Настю, — угрюмо сказал он.

— А вот пустишь!

— А вот не пущу!

Со скалкой в руках Явдоха двинулась на Гната, но Гнат так грозно посмотрел, что старуха поняла — бороться с ним ей не под силу.

Коли так, она найдет управу на них, они ее еще вспомнят. Явдоха выругалась, как умела, и со скалкой в руках выбежала из хаты. Уже около ворот старуха заметила, что держит скалку, и отшвырнула ее далеко от себя. Явдоха пошла жаловаться попу.

Под вечер пришел пономарь и позвал Гната и Настю к попу.

Они долго сидели у попа на кухне, пока работница не позвала их в комнату. Они поцеловали руку у батюшки и у матушки и отошли обратно к дверям. В комнате

на круглом столе кипел самовар. За столом сидела полная, круглолицая попадья и пятеро маленьких детей. Все они уставились на Гната и Настю. Поп был еще не старый человек. Черные с проседью волосы спадали на плечи. Долговязая фигура в парусиновом подряснике слегка наклонилась вперед. Продолговатое лицо с длинным носом и насмешливыми губами глядело на Гната.

— Что же ты, Гнат, вступаешь на плохой путь? Свою жену прогнал, без венца сошелся с другой, а это грех, священное писание запрещает жить на веру...

— Я, батюшка, никого не обокрал и никого не зарезал, — отозвался Гнат.

— Ишь ты! Откуда ты такой разумный взялся? Хоть надевай на него рясу и посвящай в архиереи! Не обокрал!.. Не зарезал!.. А ведь в священном писании сказано... Утри нос!.. — крикнул поп и грозно взглянул на маленького попенка, сидевшего на стульчике возле Насти.

Настя решила, что это поп приказал ей и торопливо склонилась над попенком, взяв его пальцами за нос. Ребенок заревел на всю комнату.

— Убери ребенка! — гаркнул поп на попадью. Попадья унесла мальчика в соседнюю комнату, и долго еще из-за дверей было слышно, как она успокаивает плаксивого попенка.

— А ведь в священном писании сказано... — поп поднял брови и, не договорив фразы, стал прислушиваться.

Очевидно, Гнату не суждено было узнать, что сказано в священном писании, потому что в соседней комнате засуетились, и чей-то бас спросил: «А дома отец Ипполит?»

Отец Ипполит вскочил с места и побежал навстречу гостю. Дети вприпрыжку заспешили вслед за отцом. Поп торопливо облобызался с гостем и сказал: «Просим». В дверях появился толстый лысый священник. Одной рукой он поглаживал живот, а другой — седую бороду. Как бы крестный ход прошел через комнату: впереди — гость, за ним — батюшка, а за батюшкой — вереница детей. Гнат с Настей остались одни. Только пузатый самовар шумел на столе и, словно отдуваясь, выпускал пар. Вскоре отец Ипполит, мелькнув полами белого подрясника, пробежал через комнату. Он не обратил внима-

ния на Настю и Гната. Лишь возвращаясь с бутылкой, батюшка заметил своих прихожан.

— Вы еще здесь? — удивился он. — Смотрите же, образумьтесь... Ты, Настя, повинись перед матерью... и живите так, как сказано в писании!..

Поцеловав батюшке руку, Гнат и Настя вышли из комнаты.

Наступили дни жатвы. Настя работала на поле Гната. Рядом, на своей полосе, работала Явдоха. Увидев, что мать не справится, Настя перешла на ее полосу и начала жать.

— Убирайся! Не нужна мне твоя помощь! — крикнула Явдоха. И Насте пришлось снова взяться за рожь на своем поле. Но на следующий день, когда Явдоха, обессилев, не вышла на работу, Настя убедила Гната, что надо убрать полосу матери. Когда Явдоха увидела сжатый и сложенный в копны хлеб, она пожалела свою добрую дочь. Слова Мотри и время залечили рану в сердце Явдохи; старуха примирилась с Настей, даже обещала ей, как только закончится уборка хлеба, снова пойти на богомолье, чтобы замолить грехи и свои, и Настины.

Была теплая, ясная осень. Настя садами шла к Мотре. Осенний воздух был прозрачен, тих. На западе, в безоблачном небе стояло большое золотое солнце. Под его косыми лучами золотом сверкали желтые листья лип и берез, казалось — какой-то волшебник, как в сказке, одел деревья в ризы из чистого золота. Падали желтые листья, а казалось, что это золото струится на землю с дорогих риз. Красные, как бы кровью смоченные, черешни горели огнем на солнце. Земля под ними была покрыта яркими листьями и краснела, будто ее полили свежей кровью. Зеленели темными листьями ветвистые яблони, розовели нежными полутонами груши. На вербах листья поредели, стали бледнее, и издали казалось, что они, как в начале весны, лишь теперь распускаются. Сухие листья дождем падали с деревьев, задевали ветви и шелестели. Под ногами шуршали целые горы сухих свернувшихся листьев. Насте нравился этот шорох, и она нарочно разбрасывала ногами сухие груды. Ее поражала роскошная картина осенней природы, освещенной

солнечными лучами под прозрачным голубым небом. На сердце у Настя было тихо и радостно.

Мотря доила корову. Отгоняя надоедливую Рябку, Настя поздоровалась с Мотрей. Они разговорились. Подвиг корову, Мотря отнесла ведро с молоком в хату и показала Насте свое хозяйство. Кроме рябой коровы, здесь было еще два полосатых кабанчика и одиннадцать кур-пеструшек. В ее хозяйстве держится скот лишь рябой масти. Ни черной, ни белой ни рыжей — только рябой. Была одна единственная черная курица, так славно неслась, и что же! — петухом запела, пришлось зарезать. А у Семена еще при жизни второй жены случилось так, что рыжая корова, которую он привел с ярмарки, пропала на третий день... Вот так и хозяйничаешь, слава богу, и привыкла она уже к дому и к своему старику. Живут и хлеб жуют. А Насте — хорошо ли ей у Гната? Жалеет ли ее Гнат? А будет ли она на помолвке у Зинки Василишиной, ведь они близкие родственники? Сжалось у Настя сердце. Ее на помолвку не звали. «Может быть, оттого, что живу на веру», — подумала она. И почему-то сразу стало обидно и грустно.

А слышала ли Настя, что Александра обещает выгнать ее из дома Гната? «Я, говорит, эту разлучницу за косы из хаты выволоку. Будет она знать, как разлучать мужа с женой!» Настя вернулась домой грустная и весь вечер проплакала. Гнат заметил ее слезы и стал допытываться, отчего она плачет. Долго Настя ничего не хотела рассказывать, но затем, рыдая, пожаловалась Гнату, что Александра обещает ее за косы вытащить из его хаты.

— Я бы задушил ее, как змею! — сказал Гнат, нахмутив тонкие брови.

## V

Воздух был раскален и, казалось, застав дыхание, не дышал — так было тихо. Освещенная солнцем, зеленела молодая ботва на огромном свекловичном поле. Издали казалось, что среди этой зелени цветут большие красные цветы. Это мелькали повязанные цветастыми платками головы полольщиц. Возле каждого ряда стоял надсмотрщик. Он наблюдал, чтобы полольщицы не лени-

лись и хорошо засыпали землей каждую свеклу. Среди женщин была Александра. Она пришла сюда, в соседнее село, полоть свеклу у помещика, потому что на этих работах было весело. И действительно, женщины шутили, смеялись, пели песни — эхо звенело над полем. Александра была самой задорной. Она задевала надсмотрщика, еще не старого человека с длинными белыми, как лен, усами на загорелом лице. Надсмотрщик ходил вдоль рядов и все требовал, чтобы побыстрее полоти. Женщины еще ниже склонились над сапками, одна лишь Александра стояла, опершись на свою сапку, прямая, как свеча...

— Работайте, бабы, работайте, — передразнивала она надсмотрщика, — солнышко уже высоко, а сделали вы мало! — и стояла во весь рост, будто солдат на ученьи.

— Ты чего стоишь и смотришь, как баран на новые ворота? — зло прикрикнул на нее надсмотрщик.

— Ой, не кричи, слышишь, а то нас тут целый полк баб, а ты один, хоть и здоровый, как кот перед мышью, — мигом забросаем тебя ботвой, только ногами дрыгать будешь.

Полольщицы засмеялись.

— Смотри, чтоб я тебя не забросал! — обозлился надсмотрщик.

— Гир-гир! — передразнила его Александра, поглядывая на надсмотрщика хитрыми глазами.

В нього плечі, як у баби,  
В нього очі, як у жаби, —

затянула Александра высоким голосом.

В нього усы, як у рака,  
Сам недобрий, як собака! —

подхватили полольщицы.

— Ты б, Иван, сбрил усы, и эта песня не о тебе была бы, — засмеялась Александра, — да не отхвати губ, когда будешь бриться, а то:

Ще й без верхньої губи,  
Як цілує — знати зуби!..

Женщины хохотали, а Иван, отвернувшись, присел на кучу вырванного бурьяна и стал набивать трубку.

Александра нарвала острицы и неожиданно кинула Ивану на голову. Зеленая острица гирляндой повисла на голове, на красной шее, зацепилась за белые усы. Иван оглянулся. Александра усердно полола свеклу; смуглое лицо было притворно серьезным, красные губы надуты, словно она сердилась. Иван сорвался с места и обмотал этой гирляндой шею Александры, да еще к щекам ее прижал колючки. Александра взвизгнула не своим голосом и замахала грязными руками. Вырвавшись из рук Ивана, она схватила целую охапку бурьяна и осыпала им надсмотрщика. Повилика обвилась вокруг плеч, побежала по рукавам сорочки, свесилась с широких полей соломенной шляпы; мшанка, подорожник и гирлянды острицы пристали к одежде Ивана, к длинным его усам. Он стоял разукрашенный, как купальское деревцо. Александра смеялась, показывая ряд ровных зубов, белевших на фоне смуглого ее лица. Начались шутки, смех. Иван уже не сердился: ему нравилась веселая, задорная Александра, нравились ее черные, горячие глаза, густые, изогнутые дугой брови. Он все на нее заглядывался и охотно отвечал шутками на ее шутки. Женщины, наклонившись одна к другой, разговаривали. Они рассказали Александре историю Ивана. Иван уже пять лет был женат, но его жена через год после свадьбы сбежала с паничем, и Иван остался ни женат, ни холост. С полгода он жил на веру с какой-то покрывкой, но почему-то ее прогнал. Ему было хорошо служить у пана: и деньги получал, и хлеба у него было немало. Иван в свою очередь разузнал все об Александре. Очевидно, она ему понравилась, потому что он предложил ей и завтра притти на работу.

— Не приду, нет здесь красивых надсмотрщиков, — сказала она и весело повела бровью.

На следующий день, когда солнце было порядком высоко и полольщицы уже оставили позади себя длинные ряды осыпанной землею свеклы, где-то вдали замелькал красный платок Александры, направлявшейся на работу. Александра подошла к подружкам и весело улыбнулась.

— Кланяется вам голова с ушами, и темечко кивает в то же времечко, — задорно смеясь, поздоровалась Александра.

— Чего ты так запоздала? — спросили женщины.

— Заспалась. Пообедала поздно, да и пошла к вам на рассвете около полудня, чтобы мухи не кусали... Примете меня на работу?

— Поздно уже, да что с красивыми бабами поделаешь! Принимайся за работу!

— Придется приняться, что скажешь некрасивым мужикам, если они так хорошо просят, — отрезала она, занимая место в ряду.

Но Александра еще долго стояла, опершись на сапку, и что-то рассказывала полольшницам. А те прямо показывались со смеху.

Солнце поднялось высоко и жгло немилосердно. Над зелеными полями дрожал горячий воздух, словно кто-то тряс сверкающей кисеей прямо перед глазами. Волны света лились с неба, и черные тени исчезли, точно солнечное сияние загнало их в землю. Горячий свет играл на загорелом, бронзовом лице Александры, обливая крепкие бронзовые руки, и поблескивал на тоненьких золотых волосках, которыми они были покрыты. Два ряда белых зубов сверкали на солнце, как две нитки отборного жемчуга, черные глаза были, как два агата. В красном платочке, в красной юбке и белой сорочке, густо расшитой узорами-казаками, Александра казалась огромным цветком, созданным тропической природой. Золотые лучики ласкали Александру, словно любимое дитя жаркого юга.

В полдень на поле приехал эконом. На руке у него висела нагайка. Подбоченясь, он крикнул:

— Гей, бабы, на обед!

— Побей его гром! — вскрикнула Александра и, притворно сердясь, ударила сапкой о землю. — Никогда не назовут людьми, только: бабы да бабы! Ой, неправда, два раза в день называют людьми: утром и вечером. Выйдет кто поутру во двор и говорит: «Э, уже люди затопили на обед!» И вечером опять говорят, что люди на ужин затопили. А весь день — бабы да бабы! Стоят два мужика. «А кто там стоит?» — Люди. — А будь баб хоть десять — все бабы! Ну и порядки!

Напевая и приплясывая, Александра подбежала к своему узелку и вместе с другими полольшницами села обедать. Поели. Кое-кто уснул, а другие разговаривали.

Иван подсел к Александре. Он загляделся на ее черные глаза и разгоревшееся лицо.

— Неужели все у вас в Мовчанах такие красавицы, как ты? — спросил он.

— Все. А у вас в Кругах все такие уроды, как ты? — засмеялась Александра.

— Разве я уже такой некрасивый?

— Нет, не очень: поглядишь сзади — хорошо сложен, поглядишь в лицо — тошно! — засмеялась Александра.

Иван вырвал свеклу и, швырнув ее, попал Александре прямо в голову, очипок съехал немного набок.

— О, этого я тебе ни за что не прощу! — крикнула Александра и, схватив пустой мешок, стала бить Ивана по голове так, что пыль облаком поднялась над его головой.

Успокоились.

— Скажи мне, где ты живешь, Александра? — спросил Иван.

— А тебе зачем? Третья хата от Кондрата, старые ворота и новый пес! — засмеялась Александра, блеснув синеватыми белками черных глаз.

— Да не шути ты! Мне сдается...

— ...что плотно ткется, а это дерюга, — перебила Александра.

— Ну и веретено: дыр... да дыр... мне сдается, что я видел тебя в саду около церкви, когда приезжал в ваше село нанимать на свеклу... Если я приду в ваш сад вечером, выйдешь?

— Конечно, выйду, еще грошик вынесу: нате, дедушка, и помолитесь за души покойников...

— Ну, довольно! Слышишь, Александра, и твой муж, и моя жена где-то пропали... У тебя нет мужа, у меня — жены. Вот мы и пара!

— Ну?

— Почему бы нам и действительно не быть парой? У меня тебе так хорошо будет, как у Христа за пазухой.

— Ты что, человеке, сон рябой кобылы рассказываешь или дорогу знать хочешь?

— Я не сон рассказываю и не о дороге знать хочу, а тебя крепко люблю. Я сегодня приду в ваш сад. Выходи...



Полольщицы проснулись и веселой гурьбой обступили Александру.

Иван от Александры не отставал: он с ней заигрывал. Женщины подшучивали над ним, но больше всех Ивана донимала сама Александра.

Уже совсем стемнело, когда Иван перелезал в сад старого Максима. Александра вышла к Ивану. Они долго беседовали в вишеннике, долго был слышен приглушенный смех Александры.

На следующий день Александра опять пошла на свеклу, но на ночь не вернулась домой. Не было ее и на третий день. Отец и мать не знали, что и подумать, стали расспрашивать о дочери и узнали, что Иван уговорил Александру жить с ним на веру.

Сначала Александра принялась было с увлечением хозяйничать в хате у Ивана. Она вертелась, как муха в кипятке; работа прямо горела у нее под руками. Александра всюду попевала, и все делала весело, и все с песней. Хата Ивана наполнилась смехом и пением, как роща весной щебетаньем птиц. Иван радовался, глядя на жилистые, загорелые руки, быстро выполнявшие то одну, то другую работу. Он смотрел в веселые, черные глаза Александры, которые сверкали, просто жгли из-под высоких, дугой изогнутых бровей, и не мог нарадоваться. Но вскоре работа Александре надоела. Ей надоело одиночество в пустой хате, бесконечная домашняя работа, эти «помои и снова помои», как она говорила. Пылкая натура, она не могла удовлетвориться будничной жизнью, тянуть каждодневную лямку. Александра чувствовала, что, кроме рабочей силы, есть в ней что-то, чему имени она не знала, но что рвалось к другой, к лучшей жизни, прорывалось песней, шуткой, остротой... И вдруг Александра все забросила в хате и стала опять ходить на свеклу.

Иван сначала ничего не сказал Александре. Но, заметив, что в хозяйстве все пошло вверх дном, что непрополотые на огороде гряды зарастают, намотал это себе на ус и стал наблюдать, ожидая, что будет дальше. Александра старалась работать не там, где Иван был надсмотрщиком, а там, где был другой, молодой, красивый надсмотрщик. Иван издали слышал ее громкий смех, ее шутки. Она ни на минутку не утихала; несла

всякий веселый вздор, рассказывала всякие были и небылицы. Слушая ее, и другие полольщицы смеялись, и веселый звон стоял над широким зеленым полем. Иван прямо зубами скрипел, но до поры до времени молчал. Однажды он не выдержал — он сказал Александре, что сошелся с ней не для того, чтобы она скалила зубы и хороводилась с хлопцами, и что огород зарастает сорняками, что дома все пошло вверх дном. Александра вспыхнула. Началась ссора, чуть-чуть не дошло до драки. Александра оставила Ивана, не прожив с ним и двух недель. Выйдя из его хаты, Александра не знала, куда деваться. Домой, в Мовчаны, идти не хотелось: она боялась отца, хоть он был с ней всегда добр. Она переночевала у знакомой женщины, а на следующий день пошла к арендатору проситься на какую-нибудь работу. В тот же день арендатор нашел ей место у эконома. Работа была тяжелой, плата небольшой. Приходилось вставать очень рано, а ложиться поздно. Еще было далеко-далеко до рассвета, а ее будят корову доить, гнать на пастбище. Возьмет Александра подойник, до рассвета пойдет доить корову и заснет, сидя над подойником. Злая, как ведьма, старуха, мать эконома, следила за каждым шагом работницы, кляла, ругала, не давала покоя. А работы было выше головы: нужно обед сварить и подать, и посуду мыть, и стирать белье, и печь хлеб. Лишь теперь Александра вспомнила Гната, вспомнила свой дом. Какая ни была хата, но все-таки свой угол, своя работа. Александре жаль стало своей хаты, и обида поднялась на Гната, но еще большей была обида на Настю. «Ох, если бы не эта разлучница, не знала бы такого горя. Но погоди! Придет твой черед! Пусть у меня руки отсохнут, если я при всех не выволоку тебя за косы из моей хаты! Тогда ты не то еще запоешь, голубка!» — думала Александра.

Александра тяготилась службой. Мысли ее рвались за грани будничного; она хотела более красивой, праздничной жизни. А на работе — все сплошные будни, все мелко. Нанялась — продалась. В воскресенье или в праздник выйдет, бывало, Александра на танцы, нырнет, будто в море, в толпу веселого, беспечного народа, заглядится на красивых хлопцев, и отляжет немного у нее от сердца. Но как вспомнит, что на пороге встретит

ее мать эконома и начнет шипеть, как змея, и бранить, и укорять, — так глаза Александры от злости засверкают молниями, а веселые брови нависнут, словно густые черные тучи перед дождем.

Как-то на танцах пристал к ней крепкий, ладный хлопец — Василь. Он нанимал для Александры музыкантов, угощал ее, вился, как хмель, вокруг нее и заглядывал в горячие глаза. Александра и сама заигрывала с хлопцем, задевала его острым словцом, горячим взглядом. Ей нравились мужчины, и она была бы рада, если бы они ходили за ней толпой. Еечером, после танцев, долго стояли Василь и Александра под вербами у пруда и разговаривали. Василь говорил, что будет ходить к ней, будет ее любить, ведь таких черных бровей нет в Кругах, да и за Кругами нигде не найдешь.

Однажды вечером Александра поджидала Василя. Она подала хозяевам ужин и отнесла в кухню гору грязной посуды. В кухне было неуютно. Огромная печь, распахнув черную пасть, дышала теплом. На грязном полу стояло полное ведро помоев, под ногами валялись мокрые мочалки, тряпки и картофельная шелуха. На скамьях, на столе, возле печи — везде была наставлена немытая посуда: горшки, тарелки, лежали ложки. Мухи роями обсели черные стены, роями снимались с места и жужжали, как пчелы на пасеке. На всю кухню коптила лампочка без стекла. В кухне было душно, воздух был какой-то кислый и тяжелый. За день Александра устала и с такой злостью поставила панскую посуду на стол, что та загудела, как целая ярмарка. Александра присела и сложила руки. Ей так осточертела служба у панов и непрерывная работа, так опротивели паны, а больше всех мать эконома! «Не буду им мыть посуду, пусть им черт моет!» — подумала Александра, не разнимая фук. Она прилегла, чтобы немного отдохнуть, и захрапела. Кухня наполнилась разнообразными звуками. Храпела Александра; жужжали мухи под потолком; в углу за печкой пел сверчок. Чадила лампа, и печь дышала теплом. В кухню вошел Василь. Он огляделся и увидел спящую Александру. Василь стал ее будить, а Александре приснилось, что мать эконома превратилась в ведьму, села на помело, схватила ее за косы и тащит в трубу.

— Пусти! — поднявшись на скамье, закричала Александра не своим голосом.

— Глупая, чего ты кричишь, это я... Василь.

Александра сидела и протираала заспанные глаза.

— Это ты, Василь, а мне показалось, что это ведьма меня тащит...

Александра встала и неверными шагами, еще сонная, стала бродить по кухне. Немного прибрав на столе, Александра вынула из печи вареники с творогом и молочную кашу и поставила все это перед Василем. Василь принес водки. Выпив рюмку, Александра пришла в себя и повеселела. Она села рядом с Василем и загляделась на его крепкую, ладную фигуру, на широкое румяное лицо с серыми глазами, на широкие брови, на темные, молодые усы.

Как в пропасть, бросал Василь вареники в рот; в глубокой тарелке их оставалось уже совсем мало. Только теперь Александра это заметила и принялась за вареники: ей тоже захотелось есть после водки.

— Караул! Спасите! У Василя горячка, ест без памяти! — вскрикнула Александра и в притворном испуге прикрыла рукой тарелку.

Василь зарычал, как пес, и кинулся на Александру. Он подступал все ближе, рычал, лаял, показывал белые зубы. Александра не выпускала тарелки из рук и все смеялась. Василь приблизился к самому лицу Александры, принялся ее кусать, забавно изображая злость и упрямство пса. Александра вскрикнула и выпустила тарелку. Василь схватил тарелку и, не выпуская из рук, по-собачьи щелкая зубами, начал доедать вареники.

— Ой, горе мое! — испугалась Александра. — Если услышат хозяева, что в кухне есть посторонний, будет мне на орехи! — Она кинулась в сени, послушала у дверей, тихо ли в комнатах, и, возвратясь в кухню, прикрыла дверь и занавесила платками окна. В кухне стало весело, слышен был смех, веселые голоса. Василь заигрывал с Александрой, а она, глядя в веселые серые глаза гостя, забывала и свою злую долю, и ежедневную тяжелую работу.

На следующий день мать эконома с трудом разбудила Александру. В кухне стояли горы невымытой посуды. Старуха начала кричать на Александру. Уже солнце

как высоко поднялось, а служанка спит, словно барыня на перинах! И посуду невытой на ночь оставила, лентяйка проклятая!

Александра не выдержала:

— Ой, господи! Как червь точат мою душу! Если я вам не нравлюсь, ищите себе другую работницу.

Александра со злостью швыряла все, что попадалось под руку, хлопала дверью и всех посылала ко всем чертям.

Однажды Александра не убереглась: мать эконома появилась тогда именно, когда Василь был на кухне и собирался ужинать. Василь выскочил в окно, но прыгнул так неловко, что оконное стекло зазвенело и осколки посыпались на пол. Александра погасила лампу, схватила тарелку с едой и засунула под скамью, бутылку с водкой и хлеб запрятала в печь, а сама легла, притворяясь, что спит. Старуха прекрасно слышала, что кто-то выскочил в окно. Она вошла с зажженной лампой, осмотрела все углы, вытащила из-под скамьи и из печи спрятанную еду и принялась ругать Александру. Поднялся крик. Хозяйка и прислуга ссорились, друг друга попрекали и чуть ли не дрались... Наутро эконом рассчитал Александру.

Александра перебралась к знакомой женщине, ходила копать свеклу и этой работой зарабатывала на жизнь. А Василь Александры не оставлял.

Дни шли за днями. Наступила осень. Начались морозы, сковали землю; опустели леса и рощи. Река замерзла и, как стекло, засверкала между черными берегами. Выпал первый снег, земля побелела, словно завернулась в белое полотно.

Гасиля взяла в солдаты. Александра потосковала немного и успокоилась. Разве одни в мире веселые глаза и густые брови?

Одиночество вскоре ей надоело. «Господи! сегодня — как вчера, завтра — как сегодня! Все одно и то же! Пусть хуже, да иначе!» — думала Александра.

В это время на ее счастье овдовел один еще не старый человек. Третья жена оставила ему четырех ребят. Бедный Петро не знал, как ему жить на свете божьем. Малые дети, нужно приглядеть за ними, нужно и на хлеб заработать. Взять наймичку — трудно: во-первых, пла-

тить нечем, а во-вторых, наймичка как следует за хозяйством не присмотрит. Петро принял решение найти какую-нибудь покрывку или вдову, чтобы жить с ней на веру. Он слышал об Александре и перелал через соседа, чтоб она перешла к нему жить. «Пойду, — решила Александра. — Он похоронил трех жен, значит, будет жалеть меня, потому что в четвертый раз не женится. Может быть, мне станет хоть немного легче...» Поставили водку, и Александра перешла к Петру, и отныне его хата должна была стать и ее, Александриной, хатой. Хата была маленькой, низкой. Рослая Александра чуть ли не ударялась головой о потолок. Приходилось ходить согнувшись, — ей казалось, что вот-вот она или шишку на лоб набьет, или развалит потолок в старенькой хате. На черных от дыма стенах цвела плесень. На всем лежали следы нищеты и неряшливости. Дети плакали по углам. Работы было много. Александра не знала, за что ей раньше приняться. Чтобы затопить печь, нужно было сначала собрать хворост, так как дров Петр не заготовил. Муку на хлеб тоже пришлось занять: после похорон жены у Петра и гроша медного не было в доме. Александра пекла хлеб, варила обед, стирала детское белье, и времени у нее не было даже спину разогнуть. Малыши ревели, надоедали: она не любила детей, не привыкла к ним. Тесная и низкая хата давила ее, как крышка гроба. Александре нехватало воздуха. «Вот так попалась, — думала она. — Нет, не останусь я здесь, не выдержу. Лучше уже ходить по наймам, чем свои силы, жизнь молодую загубить, работая на чужих детей».

Около двух недель, как вол в ярме, работала Александра. Потом пропала охота к работе, а потом Александра стала заглядывать в корчму. Все в хате бросит, а сама — в корчму. Дети плачут от голода, в хате холодно — не топлено, а Александра гуляет в корчме, заигрывает с хлопцами, задевает молодых мужиков. Под вечер, уже порядком навеселе, она возвращалась домой и поднимала страшный шум: избивала детей, приставала к Петру, кричала, вопила, долго не могла утихомириться... Раз Петро стерпел, но в другой не выдержал. Он побил Александру так, что она едва-едва поднялась с пола, и выгнал ее, а двери взял на засов. Жестоко

избитая, растрепанная, Александра выбежала в сад. Начинаясь оттепель. Мокрый снег всю ночь напролет валился на мокрую землю, и все вокруг было покрыто белым покрывалом. Плотный седой туман обволокло землю. Казалось, что оловянное небо опустилось совсем низко, а горизонт так приблизился, что осталось до него не больше ста шагов. Но этот маленький серый купол висел над чудесным уголком. Оголенные холодным осенним ветром деревья сада снова оделись в роскошные белые одежды. Ветви деревьев и кустов согнулись под тяжелым снеговым покровом. Куда ни глянь — везде непроходимая белая чаща. Зимние тени легли под белыми деревьями. Чистый, придавленный туманом снег не блестел, не сверкал. В сыром тумане трудно дышалось. Густая, все покрывшая белизна переносила мечты в какое-то сказочное царство, в какой-то волшебный уголок, полный таинственных чар. Тоска давила сердце Александры, как туман землю. Так горько, так тяжело было Александре на свете. Злая судьба издевалась над ней, как мачеха над неродными детьми... И все из-за врага лютого, из-за проклятой этой Насти, которая околдовала Гната... Александра б убила, на кусочки бы разорвала и разлучницу, и Гната, и себя. Злоба затопила ее сердце, как весенняя вода талый снег! Что делать? Что предпринять? Пойти в свою хату и за косы выволочить оттуда Настю, покрыть ее позором? Только для чего это, если Гнат все равно не любит ее, Александру, — она это твердо знает, — и в хате, хоть и в своей, снова будет ад, не меньший, чем в чужой!.. Эх, накажи их бог! Да разве только и света, что в окне?.. Найти бы какую-нибудь службу да прожить жизнь в работницах... А пока не слияли брови, пока не подурнела лицом, — любить красивых хлопцев, закружить горе в лихом танце под бубен и скрипку, утопить горе на дне стакана!..

Александра задела ветку. Холодные хлопья упали на горячее лицо и немного его освежили. Вечер надвигался на землю. Уже было совсем темно, когда Александра пришла к знакомой женщине проситься на ночлег.

Через несколько дней Александра поступила работницей к арендатору.

А время шло. Крепли морозы, завывала метель, царил холод. Прешло холодное рождество,

Работая у арендатора, Александра начала пить. И прежде неряшливая, она теперь совсем опустилась. Люди сторонились ее, но Александра была ко всему равнодушна. В голове всегда шумела сивуха; но Александра попрежнему подмигивала хлопцам. Она уже потеряла счет любовникам. Лишь изредка в ней пробуждалось сознание своего положения, и тогда сердце наполнялось обидой на тех, из-за кого она загубила свою молодую жизнь. И Александру охватывало одно желание: пойти к Гнату, выгнать Настю и, поселившись там, у себя дома, снова стать хозяйкой, какой она была, когда еще жила с Гнатом...

## VI

Звезды тихо сверкали на темном небе. В темноте ночи сиял голубым светом твердый, как сахар, снег. Хата Гната смотрела в темноту тремя красноватыми окнами; в хате было светло. Встав до рассвета, Настя топила печь. Сидя возле каганца на трехногом табурете, Гнат чинил упряжь. Сухие дрова весело пылали в печи и потрескивали. Красное пламя вырывалось из черной пасти, огромными языками лезло в трубу, озаряло противоположную стену. Настя, освещенная розовым светом, стояла у печи. Полные, немного бледные щеки вспыхнули румянцем, в тихих глазах светились покой и счастье. Залитая красными лучами, свежая и красивая, она казалась прекрасным цветком. Гнат ладил шлею и временами смотрел на Настю. Он чувствовал себя хорошо. На душе было так легко и радостно, как бывает легко и радостно малому ребенку в хорошее светлое утро. Гнату хотелось петь, и он начал совсем тихо:

Ой, з-за гори буйний вітер віз.  
Там удівонька та пшениченьку сіє...

— Ну что ты! В пятницу, да еще на рассвете, петь, — с укором сказала Настя.

Гнат умолк. Он и забыл, что нынче пятница. Но от замечания Насти радостное настроение не развеялось. Какие-то сладкие, дорогие воспоминания и мысли убаюкивали его сердце: в сердце сама собой звенела песня. Гнат был счастлив. С той поры как Настя переступила



порог его дома, в доме было тихо и весело, словно пролетел ангел и наваял покой. Даже хозяйство пошло на лад: раньше за что бы Гнат ни брался — всюду его преследовала неудача, словно все было заговорено; а теперь он и корову приобрел, и лошадок купил, и овцы блеют в хлеву. Гнат стал на ноги, стал настоящим хозяином. Откуда-то пришло желание работать, где-то новые силы взялись, появилась энергия. Кажется, горы перевернул бы и усталости не узнал бы: хоть кровавый пот на лбу, но мир в сердце. Да, Гнат был счастлив. Одно только — Александра... Мысль о ней нагоняла черную тучу на лицо Гната; он пугался этой мысли, как призрака, пытался отделаться от нее; и действительно, грозная, созданная его воображением тень Александры исчезала куда-то, словно туман под лучами солнца. Гнат боялся думать об Александре, чтобы не замутить свое тихое счастье...

Разгоралось пышное январское утро. Золотой луч солнца протянулся с востока на запад, и края синих туч вспыхнули красным огнем. Огромное, как бадня, красное солнце выплывало из-за края земли и окутывалось сверкающими облачками, которые вспыхнули от солнечного луча, как солома от огня. Деревья, одетые в легкие одежды из серебристого инея, потонули в мягком розовом свете. На фоне синих тяжелых туч, опоясавших запад, они казались нежными розовыми тенями. А на востоке между голубым небом и белым снегом, словно блестящая розовая кисея, повисла розоватая мгла. По твердому скрипящему снегу стелились длинные тени деревьев, хат, плетней. Ясный солнечный луч серебряной дорожкой ложился на снегу среди длинных теней. Синие дымки струйками поднимались из труб и сливались вверху с розовой мглой... Утро дышало морозом.

Гнат осмотрел привезенные вчера из лесу дрова и принялся их рубить. Стук топора далеко разносился в розовом морозном воздухе.

Вымыв посуду и прибрав в хате, Настя села под окном на скамью и, накинув на шею красные и черные нитки, стала вышивать рубаху. Белая ткань закрыла колени. Принявшись за работу, Настя еще раз оглядела хату. В хате было чисто и красиво, как в цветнике. С белых стен смотрели красивые иконы, убранные сухой

зеленю, обвешанные полотенцами. Опрятная печь сияла белизной. Пол был гладок и желтел, как воск. Веселый утренний луч играл на глазури мисок, расставленных стройными рядами на посудной полке. Настя любила свою веселую, теплую хату. В этом маленьком доме она познала счастье. Гнат любил ее, берег, как ребенка, не позволял ей делать тяжелую работу. Насте вначале даже было как-то странно, что о ней так заботятся. И мать, и первый Настин муж не очень уж обращали внимание, тяжело или не тяжело ей. А Гнат — то воды наберет в бочку, то дров нанесет в хату, то так просто в чем-нибудь да поможет. А вернется с ярмарки — непременно принесет подарки: платок или серьги, а то и монисто. Настя совсем забыла о том, что такое ссора; никогда не слышала Настя от Гната пренебрежительного обидного слова. И все-таки сердце, точно паутиной, оплела тревога. Настя думала об Александре и боялась ее пуще смерти. С тех пор как Мотря сказала, что Александра похваляется за косы вытащить соперницу из хаты, робкая Настя при одной мысли об этом дрожала. Временами Насте казалось, что Александра непременно придет, и тогда... Настя боялась подумать о том, что тогда случится, и лишь трепетала, как осина на ветру.

И теперь — Настя вышивала, а думала об Александре. Вот придет Александра, выгонит ее из хаты, на всю жизнь опозорит, и кончится счастье, как хороший сон, и погубит ее злой рок, как мороз губит цветы. Настя склонила голову над красивой вышивкой, и сердце наполнилось невыразимой печалью, словно родник водой.

Под окнами мелькнула чья-то высокая фигура; заскрипели двери в сенях, потом распахнулись двери в хату и на пороге появилась... Александра. Увидев Александру, Настя так и приросла к скамье. Насте показалось, что это сама смерть пришла; сердце перестало биться в груди, голос словно ушел глубоко-глубоко внутрь, так глубоко, что сил не было его добыть оттуда и крикнуть. Настя как бы застыла, вся замерла и лишь смотрела на Александру большими, широко раскрытыми испуганными глазами. А Александра стояла высокая, изжелта-бледная, черные глаза светились непримиримым враждебным огнем.

— Что же ты не здороваешься, не приглашаешь сесть, Настуся? — зашипела Александра.

Насте показалось, — это змея зашипела, обвилась вокруг сердца.

— Или ты уже так заважничала, разлучница злая, забравшись в мою хату, что сидишь, будто княгиня, и губы надула? Ты думала, дрянь, что я к тебе не приду, что ты будешь хозяйкой в моей хате, а я буду пропадать в наймах?!. Не дожدهшься ты этого! — закричала Александра, подступая к Насте.

Настя неподвижно сидела на скамье, белая, как раскинутое на коленях шитье. Ей казалось, что каждое слово Александры бежит по мельничному лотку, шумит под колесами и падает на голову тяжелым, обжигающим водопадом.

Александра рассвирепела. Ее раздражало молчание Насти.

— Ты думала, ведьма, что околдовала моего мужа, что так тебе это пройдет? Ты думала, я тебе прощу это?.. Нет, довольно! К самому горлу подступило!.. Сейчас же собирай свои монатки и вон из моей хаты, по мне хоть головой в омут, или я тебя за косы через все село тащить буду, как последнюю тварь! Слышишь? — крикнула Александра высоким голосом и дернула Настю за рукав.

Настя сорвалась со скамьи. Кровь бросилась в лицо, залила его по самый платок.

— Вон отсюда, сатана! Не то как дам... — закричала Настя.

— Кто? Ты меня бить будешь? Ты, слюнявая дрянь? А ну, ударь! ударь! — Александра, как черная туча, грозно надвигалась на Настю.

Красная, трепещущая, с поднятой рукой стояла Настя.

— Ну, бей! бей! — и Александра подступила еще ближе, подошла совсем вплотную. Настя ударила ее кулаком.

— Вот тебе за это!.. — Александра сбила с Насти платок и очипок и потащила ее за косы к порогу.

Настя закричала не своим голосом, вцепилась в Александру, разорвала на ней монисто. Бусинки затарахтели, как горох, и рассыпались по всему полу.

— Вот это тебе за чары, вот это тебе за чужих мужей, разлучница! — кричала Александра и тащила Настю к порогу. Старенькие двери распахнулись под напором плеч Александры...

— Спасите! — крикнула Настя в сенях. — Спасите! — закричала она еще громче во дворе и, упираясь, упала в снег.

Гнат в эту минуту услышал крик Насти. И, как был, с топором в руках, метнулся к дому. Сцена, которую он увидел, словно мороз, остановила кровь в жилах. Но это длилось только одно мгновение. Тотчас же Гнат, как раненый медведь, бросился на Александру и схватил ее за плечи.

— Отпусти! — отчаянно заревел он, потряхнув Александрой, как грушу.

— Не отпущу, нет! — взвизгнула Александра; глаза ее запылали, как у голодной волчицы.

— Отпусти, не то зарублю! — крикнул Гнат и замахнулся на нее топором.

— Зарубишь — в Сибирь пойдешь со своей любовницей, — захрипела Александра и снова рванула Настю за косы.

Настя застонала.

Гнат, придя в иступление от этого стога, поднял топор над головой Александры.

— Ой! — дико вскрикнула Александра и подняла руки, чтоб защититься от удара... но не успела... Сверкающий топор, словно молния, упал ей на голову и расколол череп. Александра рухнула на землю. Из глубокой раны хлынула кровь и окрасила белый снег.

Настя поднялась и, бледная, растрепанная, дрожа как в лихорадке, уставилась на труп Александры.

Гнат тяжело дышал, словно запыхался от долгого бега. На белом, как бумага, лице застыли гнев и невыразимая боль. Широко раскрытые, ничего не видящие глаза остановились на красных пятнах, заливших снег.

На крик сбежались соседи. Со всех сторон было слышно: «Ох, господи! Муж зарубил жену!.. Ой, несчастье, ведь это Александра!.. Боже мой, боже мой! Да бегите кто-нибудь за старостой!..»

Многие женщины плакали. Никто не решался подойти к хате, толпа собралась у ворот и шумела, как летом проливной дождь.

А Гнат все стоял на одном месте и сосредоточенно полой свитки вытирал окровавленный топор. Гнат еще не сознавал, что произошло.

В голове у Насти упрямо шевелилась одна мысль: раскрыты двери в хату, надо их прикрыть, иначе хату выстудишь. Мысль эта не оставляла Настю, однако Настя все стояла, словно заколдованная, на одном месте, и даже не чувствовала холода, не замечала, что была в одной рубашке, с непокрытой головой.

— Староста идет, — зашумела толпа, — староста...

Староста, высокий, нестарый человек, вошел во двор. Следом за старостой шли десятские и сотский. За десятскими двинулась во двор и толпа.

Староста осмотрел Александру: она была мертва.

— Эй, возьмите его, свяжите, — указал староста на Гната. — Нужно его в волость доставить...

— Не надо вязать, он и сам пойдет, — отозвался кто-то из толпы.

— Связать! — крикнул староста. — Теперь и отцу родному нельзя верить!..

Десятские обступили Гната. Они отняли у него топор, скрутили за спину руки. Гнат не сопротивлялся. Он стоял, как покорный ребенок, или, вернее, как дерево, с которым можно все сделать.

Когда десятские уже собрались двинуться, раздался страшный, душераздирающий крик: «Ой!.. О-ой, что это! Господи, что же это такое!» Это Настя пришла в себя; ломая руки, страшная, растрепанная, кинулась к Гнату.

Она припала к Гнату, обняла его, замерла на его груди. Этот крик, этот горький плач словно пробудил Гната. Он посмотрел вокруг себя и словно сразу все понял — и то, что произошло, и то, что произойдет. Гнат пошевелился; связанные руки еще яснее говорили о случившемся. Он застонал, стараясь освободиться.

— Ой, пустите меня!.. Что я наделал!.. Ой, и пропал я навсегда... Пустите меня, люди добрые, пустите... — умолял Гнат, и на его побелевшем лице отражалась безмерная мука.

Настя припала к нему и голосила.

Народ стоял молча, был глубоко потрясен. Кто-то просил развязать Гнату руки, но староста не позволил. Прибежала Мотря с Семеном; кое-как оторвали они Настю от Гната. Гната увели. Мотря взяла Настю к себе. Труп Александры положили в Гнатовой хате, поставили караульных и дали знать Максиму.

\* \* \*

Солнце начало вставать раньше, начало внимательнее оберегать землю. Ринулись вешние воды, зажурчали ручейки, зашумели в балках, разлились широким половодьем. Из-под снега выглянула трава и развеселила жаворонка. Поднялся жаворонок высоко к чистому, обновленному небу и запел о том, что мертвая земля ожила вновь, что солнце, обрадовавшись счастью земли, стало теплым, ласковым, ярким, что повеяли ветерки и принесли на своих крыльях неведомые до сих пор запахи, что зазвенела в весеннем воздухе мошकारа и набухли на деревьях почки, готовясь зеленым листом убрать леса и рощи... Жаворонок пел, и эхо звучало в голубом небе, а в лесу к этому пению прислушивался подснежник и поднял вверх, словно руки, два зеленых листочка и склонил белую головку, как бы благодаря золотое солнышко, что ему первому оно дало возможность увидеть веселый праздник весны...

Ранней весной Настя слегла: у нее родился мальчик.

Старая Явдоха ходила за больной дочерью, а сама была такая, будто ее с креста сняли. Тяжелое несчастье источило, изъело ее, точно ржавчина железо. Явдоха верила, что это бог наказал ее дочь, которая жила на веру; старуха все думала о том, куда бы пойти на богомолье, чтоб отмолить и свои и Настины грехи. Настя тоже исхудала, она стала молчаливой, грустной-грустной и часто плакала. Когда родился сын, Настя умыла его горячими слезами. Окрестила ребенка Ивасиком. На сороковой день пришла с ним в церковь. А когда просхла земля, направилась с ребенком в город, чтобы повидать Гната, который, в ожидании суда, сидел в тюрьме.

Впервые в жизни Настя пришла в тюрьму. Тяжелый воздух, высокие черные камеры с окнами, закрытыми

решетками, арестангы в широких серых халатах — все это тяжело ее поразило. Настя услышала звон кандалов, и ей стало страшно.

Гнат обрадовался, увидев Настю с сыном, и заплакал. До этого времени он не знал, что у него есть сын. И Настя плакала. Оба они тихо плакали от невыразимой печали и обиды. Настя глядела на Гната и не узнавала его: обритый, бледный до желтизны, в широком арестантском халате, он не был похож на того, преждего, Гната, каким она его видела дома.

Гнат взял на руки сына и долго смотрел на него; слеза набежала на глаза и горячей каплей упала на лицо ребенка. Ребенок заплакал.

— Спаси меня, Настя!.. Пойди к адвокату, уплати ему, сколько бы ни сказал, передай тетке Мотре, пусть продаст все мое добро и вызволит меня из тюрьмы...

Настя пошла к адвокату. Адвокат расспросил ее, просмотрел дело, покачал головой. Он сказал — дело потому плохо, что народ еще задолго до убийства слышал слова Гната, который грозился прикончить Александру, и все-таки адвокат обещал защищать Гната в суде, если ему теперь дадут половину условленной суммы, а вторую часть перед судом. Настя передала тетке Мотре, что Гнат умоляет спасти его. Мотря продала лошадей и овец Гната и отнесла деньги адвокату. Все ждали суда, который должен был, по словам адвоката, состояться осенью.

За работой на огороде, за уборкой хлеба пробежало лето, как один день. Холодная осень окутала землю седыми туманами, залила мелким дождем. Наступил день, когда должны были судить Гната.

Гната привезли из тюрьмы в суд. И большая зала с высокими окнами, и толпа господ и судей в мундирах с золотыми воротниками — все казалось ему чужим, необычным, безучастным к его горю, к его доле. Белый как мел, стоял Гнат за решеткой, беспокойно наблюдая за каждым движением судей, и внимательно ловил каждое слово. Вот читают, как он зарубил Александру, какой ширины была рана на голове, что на следствии говорил Гнат... Вызывают свидетелей. Свидетели подтверждают, что Гнат ссорился с женой, выгнал ее из хаты,

обещал убить. Вот встает из-за стола пан с золотым воротником и начинает рассказывать о том, какой Гнат преступник, как долго он готовился к убийству, как он избивал Александру, калечил, издевался, словно зверь, над бедной жертвой. Гната то обдаёт жаром, то холодом. Все это неправда!.. Он не преступник... Он не хотел ее смерти... это как-то получилось... Несколько раз Гнат порывается сказать, что пан ошибается, что пан не знает, как все произошло, но Гнату не дают говорить... Затем говорит защитник Гната. Он рассказывает, как Гнат любил Настю, как он разошелся с женой, как вспыхнуло его сердце, когда он увидел, что Александра избивает его любимую, как, ослепленный гневом и обидой, не помня себя и не сознавая, что делает, Гнат зарубил Александру... Защитник говорил долго и хорошо, а Гнат всем своим существом отвечал на его слова: «да, да...» Луч надежды осветил сердце Гната. Гнат верил, что вот теперь поняли судьбу, где правда... Гнат переживает долгие минуты-годы, ожидая, что скажет суд. Но вот читают приговор, и Гнат узнает, что его приговорили к ссылке в Сибирь...

Свет гаснет у Гната в глазах, в ушах шумит, Гнат шатается, едва не падает... конвоиры берут его под руки и снова куда-то ведут... наверно, в тюрьму...

Настя все слышала, все видела. Ей казалось, что вот-вот сердце у нее разорвется от горя, что она умрет... Перепуганная, растерянная, горько плача, она вышла из здания суда и не знала, что с собой делать.

На следующий день Настя была у Гната в тюрьме. Он казался теперь более спокойным, мало говорил.

— Пойдешь ли со мной, Настя, в далекую дорогу? — спросил он при прощании.

Настя ничего не ответила, но подумала: «Пойду! Какая мне без него жизнь?»

Настя сказала матери, что хочет идти за Гнатом. Явдоха — в плач. Как! У нее одна дочь, и та ее, старуху, покинет, пойдет куда-то в чужую, далекую сторону, чтоб уже никогда оттуда не возвратиться! А кто присмотрит за старухой, кто глаза ей закроет, кто ее похоронит? А если уже не жаль старую мать, пусть хотя дитя малое пожалеет: где там пускаться в такую даль, на зиму глядя, в холод и стужу, с малым ребенком!..



Настя до этого времени о ребенке не думала. Ей стало жаль маленького Ивасика. Нежное сердце матери затрепетало от боли при одной мысли о том, как в далекой холодной дороге дитя зябло бы, а может быть, и совсем замерзло. Чувство, с которым Настя думала о том, как отправится в ссылку за Гнатом, немного остыло. Но Настя все еще колебалась и не знала, как поступить.

Глядя на материнские слезы, прислушиваясь к тому, как все убеждали ее не уходить из дому, Настя незаметно привыкла к мысли, что идти за Гнатом в далекую Сибирь невозможно. Она Гната любила, жалела его, по нем плакала и... все же осталась в Мовчанах.

\* \* \*

Прошло два года. К Насте послал сватов вдовец из другой деревни. Сваты обменялись хлебами. Отпраздновали свадьбу. С веселым гиком и песнями промчалась свадебная процессия мимо кладбища, на котором среди могил затерялась зеленая могила Александры.

*15 ноября 1891 г.*  
с. Лопатицы.

## ЕЛОЧКА

### Рассказ

#### I

Настал сочельник.

В хате Якима кипела работа. В печи трещал огонь и шипел борщ. Олена, мать Василька, готовила голубцы к ужину. Василько сидел и тер мак для кутьи. Васильку было лет двенадцать. Он был старшим в семье. Василько тер мак и все посматривал то на двух сестренок, игравших с котом, то на отца, что сидел на лавке, опустив голову.

«Что это отец грустит? — думал он. — То ли болеет, то ли нет денег выкупить у сапожника мамины сапоги?»

Скрипнула дверь. В хату вошел какой-то человек.

— Здравствуйте, — обратился он к Якиму. — Не продадите ли, добрый человек, елочку, что растет в вашем саду? Паны послали меня найти для детей елку к сочельнику; я уже второй день ищу и не могу найти подходящую...

Яким помолчал...

— А сколько бы вы дали? — спросил он после паузы.

— Да уж торговаться не будем... Назовите цену.

— Три рубля дадите, — ответил Яким.

— Папа, — отозвался Василько, — так это же моя

елочка, вы мне подарили ее еще тогда, когда меня похвалил учитель.

На голубые глаза белокурого Василька набежали слезы. Ему стало жаль зеленой стройной елочки, которая одна оживляла садик зимою. Отец взглянул на сына. Василько замолк, прочитав в этом взгляде невыразимую грусть.

— Хорошо, я дам три рубля,— сказал человек, — но вы должны доставить елку сегодня, потому что паны хотят еще нарядить ее к вечеру.

— А как ее доставить, если я болен, а паренек еще мал?

Человек посмотрел на Василька.

— Ваш паренек не такой уж маленький... Да и ехать-то недалеко, какой-нибудь часок... Засветло дозвезет, засветло и вернется...

Яким подумал и махнул рукой.

— Пускай так... местечко не за горами.

Человек дал задаток, рассказал, куда отвезти елку, и ушел.

Яким немного повеселел: за три рубля можно будет выкупить у сапожника сапоги жены. Слава богу, не придется Олене ходить на праздник в рваных.

Он оделся, взял топор и пошел в садик. За отцом побегал и Василько.

В саду лежал глубокий снег. Ноги Якима, обутые в громадные сапоги, глубоко проваливались в снег и оставляли за собой целый ряд ямок. Василько то попадал в эти ямки, то разгребал ногами пушистый снег. Черные голые деревья стояли в садике, раскинув замерзшие ветки, словно омертвевшие, и не шевелились от ветра. Под деревьями, на белом, как сахар, снегу, сеткою легла тень. Но вот издали замелькала зеленой хвоей елка. Василько с отцом подошли к ней.

Им обоим стало жаль молодого деревца. Стройное, зеленое, веселое, оно сверкало иголочками, словно радовалось гостям...

Яким подошел ближе, замахнулся топором и ударил по стволу. Елка задрожала от низа до верхушки, словно испугалась неожиданного горя, и несколько зеленых игл упало на снег. Яким рубил, а елочка дрожала, как в лихорадке. Васильку казалось, что она вот-вот застнет.

Но тут подрубленное деревцо наклонилось, хрустнуло и упало на снег. Василько чуть не плакал от жалости. Он видел, как отец взял елочку за ствол, положил на плечо и понес. Герушка ее волочила за отцом и оставляла на снегу длинную, как тропинка, полоску.

Василько посмотрел на свежий пенек, и две слезинки скатились по его щекам. Он не мог смотреть на пенек, на то место, где только что стояла его елочка, и стал засыпать пенек снегом.

Ескоре из-под снежной груды его не стало видно.

— Василько, э-эй! Иди-ка сюда! — крикнул со двора отец. Василько побежал к отцу.

— Готовь, сынок, сани, отвезешь елку. Да поторопись, сынок: уже за полдень, а надо засветло вернуться. Хоть бы снег не пошел, — сказал Яким, всматриваясь в небо, — будто туча надвигается. Не мешкай, Василько, уже поздно...

На старых санях уже лежала елочка. Василько стал собираться в дорогу. Он запряг лошадей, надел тулуп и выехал со двора.

## II

Дул холодный ветер. Из-за горизонта надвигались молочно-белые тучи. Недружно бежали серые лошаденки. Дорога была разъезжена, и сани раскатывались. По обеим сторонам дороги, насколько мог охватить глаз, расстилалось поле, укрытое снегом, как белой скатертью. Твердый синеватый снег переливался на солнце самоцветами. Черное воронье стаями садилось на снег и вновь снималось с места. Ветер усиливался. Надвинулись снеговые тучи и окутали небо. Солнце спряталось за тучи. Пошел снежок. Василько крикнул на лошадей, и они побежали рысью, приближаясь к лесу, который черной стеной стоял перед ним. До леса как раз половина дороги. Еще полчаса надо было ехать лесом. Василько въехал в лес. Громадные корявые дубы грозно стояли в снежных сугробах; им было безразлично, что дул холодный ветер и шел снег. Мокрый снег бил Васильку в лицо, засыпал глаза, забирался за воротник... Серые лошади совсем побелели от снега. Василько спрятал ру-

ки в рукава, надвинул на глаза шапку и склонил голову, чтобы хоть немного укрыться от холодного ветра и снега. Он не заметил, как лошади свернули с дороги и пошли направо. Вдруг сани раскатились и ударились в бугорок. Тресь!.. Что-то треснуло в санях, и Василько вывалился в снег. Лошади стали. Василько поднялся, отряхиваясь от снега, и подбежал к саням. Старые, прогнившие столбики сломались, полозья лежали отдельно от кузова санок. Василько обошел вокруг саней, осмотрел их и чуть не заплакал. Горю нельзя было помочь. «Подожду, может, кто-нибудь подъедет и поможет мне», — подумал он, посматривая на дорогу, которую все больше заметал снег, закрывая даль белую сеткой...

Василько сделал несколько шагов вперед и остановился, широко раскрыв глаза от испуга и неожиданности. Перед ним появился овраг, которого не должно было быть на его дороге. Василько понял, что сбился с дороги. Что тут делать? Не оставить ли сани с елочкой в лесу, а самому вернуться домой? Василько выпряг лошадей, сел верхом и поехал назад по дороге.

В лесу стемнело. Настал вечер. Василько ехал по лесу, лошади глубоко проваливались в снег и едва передвигали ноги. Василько вскоре заметил, что он едет не по дороге, а лесом, наугад. Он остановился.

«Неприменно нужно найти дорогу,— подумал Василько.— Вернусь обратно к саням и оттуда поеду напрямик по дороге».

Он повернул лошадей и поехал обратно. Долго ехал Василько против ветра и снега, а саней не было.

«Я где-то, наверное, слишком взял вправо, а надо немного левей», — подумал он и повернул налево.

В лесу совсем стемнело. На земле и в воздухе белел снег и виднелись крепкие замерзшие стволы деревьев, занесенных снегом.

Василько ехал, а саней не было. Лошади, проваливаясь, брели по сугробам и буграм, выбились из сил и остановились. Василько заблудился. Ему было холодно и страшно. Он заплакал. Вокруг завывала вьюга, дул холодный ветер, засыпая снегом, и Василько вспомнил теплую светлую отцовскую хату. Весело горит в хате каганец. На столе стоит кутя. Отец и две сестренки сидят

за столом, мать подает ужин. Все такие веселые, разговаривают, радуются празднику. Парни и дивчата приносят ужин, поздравляют, спрашивают про Василька. А может быть, не счастье, не радость в хате. Может быть, мать плачет, что с ними нет Василька, а отец печалится, грустный-грустный сидит у стола и не ужинает. Ох, хоть бы выехать из этого мертвого леса и увидеть дорогую хату!.. Василько тронул лошадей, они сдвинулись с места и медленно побрели по глубокому снегу. Но что это?.. Василько ясно увидел свою хату. Ему показалось, что в маленьких окнах блеснул огонь. Василько обрадовался и повернул к хате. Но то был куст, обсыпанный снегом, издали похожий на хату. У Василька опустились руки. Что же делать?.. Он огляделся: громадные дубы стояли в лесу, как чудовища, и отовсюду протягивали к нему крепкие черные ветви. Васильку показалось, что это мертвецы, закутанные в белые саваны, протягивают к нему руки. Ему стало страшно. Вдруг что-то сорвало шапку Василька с головы, холодный снег посыпался ему на голову... Это ветка зацепила шапку и сшибла ее в снег. Только Василько отважился слезть с лошади за шапкой, как где-то вдали послышалось: «Ау-у-у!» — и эхом понеслось по лесу. «Ау-у-у!» — откликнулось с другой стороны и долго не стихало.

Василько похолодел от ужаса. Волосы встали дыбом, сердце перестало биться. Мысль о волках промелькнула в его голове. Он, не помня себя, ударил по лошадям и скрылся среди деревьев.

Василько выехал на опушку. За лесом было поле. У самой опушки стоял крест. Василько увидел крест и обрадовался. «Так я же на дороге... Эта дорога в деревню, где живет мой дядько... Деревня близко». Василько выехал на дорогу... Но что это за огоньки мелькают в лесу? Что это черное шевелится в снегу?.. Вдруг лошади испугались и шархнулись в сторону... «Волки», — подумал Василько. Он изо всей силы ударил по лошадям и схватился за гриву... Перепуганный, без шапки, занесенный снегом, мчался Василько по дороге навстречу холодному ветру. За ним гнались два волка, выгибая серые спины... А выюга выла, крутила и заметала следы.

### III

Отправив Василька, Яким легко вздохнул, он продал елку за хорошие деньги, а деньги были дозарезу нужны: и на сапоги жене, и для покупок на Новый год... Якиму стало немного жаль Василька, который очень любил елочку. Да что поделаешь, коли нужда: не во что одеться, нечего есть...

Олена возилась возле печи, торопясь приготовить вовремя ужин.

Никто не заметил, что на дворе шел снег.

Вдруг девочки, играя у окна, радостно вскрикнули:

— Снежок, снежок! Пустите нас во двор, мама!

Олена и Яким одновременно поглядели в окно.

— Ой, горе! Как же это бедняга Василько доберется домой в такую непогоду? — вскричала Олена.

Яким вышел во двор. Небо заволоклось снежными гучами, порывистый ветер захватывал дыхание. Яким встревожился. «Как бы с мальчиком не случилось несчастья», — подумал он.

— Ну, что? — спросила Олена, когда он вошел в хату.

— Метель... да, может, утихнет... Василько должен был бы уж вернуться.

А метель не утихала. Олена все заглядывала в окно, выбегала во двор, вздыхала и волновалась.

Уже стемнело, а Василька все не было.

Олена плакала. И зачем было посылать ребенка на ночь глядя? Будто не обошлись бы без этих трех рублей? К чему деньги, если из-за них можно потерять старшего ребенка? Олена страдала и представляла, как Василько сбился с дороги, как на него напали волки и рвут на части ее любимого ребенка... Сердце ее обливалось кровью, слезы заливали глаза. Яким молчал, но тревожился не меньше Олены. Он ежеминутно выбегал на двор, вглядывался в темноту, прислушивался, как воев вьюга, напрасно надеясь увидеть Василька, услышать его голос...

Люди уже давно ужинали, а в хате у Якима забыли даже, какой сегодня день. Девочки заснули в ожидании ужина: родители тревожились, еда не шла на ум. Соседский паренек принес ужин.

— Просили вас поужинать батько и мама, и я прошу. Будьте здоровы, поздравляю с сочельником! — сказал он звонким голосом, подавая миску, завернутую в платок.— А где же Василько? — спросил он.

Олена зарыдала. Господи! Люди радуются, весело, как бог велел, встречают большой праздник. Только ее наказала злая судьба, оторвала от нее любимого сына, бросила его в метель, на съедение серым волкам. Всю ночь горе царило в хате, рвало за сердце бедных людей и не давало им спать...

#### IV

Утром выплыло ясное солнышко на безоблачное небо посмотреть, что случилось на земле за ночь. Ветер стих, и чистый свежий снег серебром сверкал под голубым сводом неба. Земля словно приделась к рождеству в белую сорочку.

Едва рассвело, Яким отправился к соседу просить лошадей. Он хотел ехать на поиски сына. Олена собралась с ним.

Весело скрипели сани по снегу, весело бежали лошади, хоть дорога и была немного занесена. Но невесело было на сердце у Якима и Олены. Они глядели во все стороны, боясь увидеть какой-либо след Василька. Но везде было гладко, бело; снег блестел так, что было больно глядеть на него. Они въехали в лес. Олена пристально смотрела в просвет между деревьями; ей все казалось, что она видит то сани, то свитку Василька, то лошадиные ноги...

— Хоть бы ехал кто-нибудь! — сказал Яким.— Расспросили бы, не видел ли чего-нибудь в лесу.

Встретили какого-то человека на одноконных санях. Яким рассказал ему о своем горе и начал расспрашивать.

— Я видел сломанные сани, а на них елочку,— ответил тот.— Поезжайте лесом вправо.

— Ой, нет уже моего Василька, нет моего деточки! — заголосила Олена.

Этот крик болезненным эхом отозвался в сердце Якима.



Еще издалека, издалека показались на дороге поломанные сани, зазеленела присыпанная снегом елочка. Яким подъехал к саням. Олена первая соскочила, начала припадать к саням и голосить на весь лес. Яким стоял, печально опустив голову. «Так,— думал он.— Василька съели волки...» Вдруг кто-то подъехал. Яким обернулся и не хотел верить своим глазам. Перед ним стояли его лошади, а на санях сидел Петро, работник брата.

— Откуда ты взялся? — крикнул Яким.

— Да хозяин послал меня за вашими санями. Еще велели и эту елочку отвезти к пану... У Василька вчера сломались сани, он сбился с дороги и едва добрался к нам ночью.

— Так Василько жив! — крикнули вместе Яким и Олена.

— Конечно, живой. Только что с нашим Омельком поехал домой.

— А ты не врешь?!

— За мной это не водится,— обиделся Петро.

— Слава тебе, господи! — обрадовались бедняги. — Слава тебе, господи, что он жив!

Петро взял елочку на свои сани, а сломанные сани примостили на Якимовых. Яким покрикивал на лошадей, торопясь домой.

Василько уже был дома. Яким и Олена плакали от радости и обнимали Василька.

— Мы уже думали, что не увидим тебя, — говорили они.

А Василько весело щебетал, рассказывая о своих приключениях в лесу.

*21 ноября 1891 г.*

с. Лопатицы.

## ПЯТИЗЛОТНИК

### Рассказ

*Посвящается моей дорогой матери.*

Смеркалось. На западе розовая полоса неба мягким сиянием озаряла морозный воздух; последний свет померкшего дня, проникавший сквозь окна в хату, едва-едва боролся с сумерками, и в хате уже сильно потемнело.

Хима, сидя на скамеечке, подкладывала солому в печь. Веселое пламя живо перебегало по соломе, озаряло старое морщинистое лицо Химы, скакало по стене золотым зайчиком. В хате было тихо, только в печи трещала солома и под полом стрекотал сверчок.

— Старик!

Тишина.

— Хома! — громче позвала Хима.

— Ну?

За печкой послышалась возня.

— Я вот сижу, — начала Хима, — да и думаю, что у нас мука вышла. Хлеба у нас только, что на полке...

— И я тоже об этом думаю... что ж тут сделаешь, коли не уродилось... Придется покупать... Взять у лавочника пуд, так надо выложить рубль сорок... А где такие деньги?..

Хима тихонько вздохнула.

И снова в хате стихло. Старики хоть врозь, но думали об одном: свой хлеб кончился, а купить не на что.

«Подходит...— думал Хома.— Вот и подходит то время, когда нехватает хлеба, нет и заработков»,— горькое время, когда человек бы хотел, как муха, согнуться на зиму, чтобы как-нибудь перенести тяжелую пору...

Каждый год трудно Хоме, каждый год нехватает своего хлеба, а в этом году и совсем плохо... И не удивительно — в этом году неурожай. Земли, известно, мало: полоска под озимые, полоска под яровые, полоска под выгон — вот и обчелся. Еще если уродится, то хлеба кое-как хватает до весны, но в этом году рожь уродилась редкая, а яровые град побил... Смолотил Хома рожь, смерил, да и затужил, тяжело ему стало и страшно: ржи было всего девять мер... Если бы эти девять мер себе смолоть, все же хватило бы хлеба на какое-то время, а то и на семена надо оставить, и в магазюю долг отдать... Уж так над этим хлебом дрожали, так берегли, чтоб и крошка зря не пропала, а все ж нехватило... Вот лежит на полке последняя буханка хлеба, а в кадке, где была мука, осталось немножко пыли на дне; может, старуха соберет на галушки.

Без своего хлеба не так страшно, если бы заработок нашелся! Эх, вот бы заработок! А тут как на беду и заработать негде. Позвали его как-то в усадьбу дрова пилить, дали за целый день тяжелой работы сорок копеек — и за то спасибо, если бы чаще звали... А хлеб теперь, не дай бог, какой дорогой: не знаешь, есть или глядеть на него...

— Иди ужинать, старик! — перебила Хима горькие мысли Хома и поставила на шесток горшок с горячей нечищенной картошкой. Белый пар облачком поднялся над горшком, а старики, близко подсев к горшку, руками вытаскивали горячий картофель, макали в соль и ели... Запив ужин холодной водой из кружки, Хима и Хома повернулись к образам и начали громко шептать молитву и тяжело вздыхать, благодаря бога за хлеб насущный...

На другой день был праздник — Введение. Хима надела красивый платок, заколола его большими булавами с красными головками, обулась в красные сапожки и пошла с Хомою в церковь.

Золото на иконах и на ризах у батюшки, горящие сечи, синий дым от ладана, наполнявший алтарь и

облачком паривший по церкви, пение, молитвенный шотот вокруг — все это производит чудесное впечатление на Химу; она чувствует, как смягчается ее сердце, тает, словно воск горящей свечи... старушечьи губы незаметно шевелятся, из переполненного сердца то и дело вырываются глубокие вздохи...

Выходит батюшка и читает проповедь. Хима не понимает толком, что говорят, но она знает, что читают о святом, и это ей кажется таким благодетельным, таким трогательным, что переполненное сердце Химы выходит из берегов, лицо жалобно морщится и слезы невольно катятся по бороздам, которые вспахало на ее лице многолетнее горе... Хима вынимает из-за пазухи платочек, громко сморкается... И удивительное дело: словно по какому-то знаку, во всех углах церкви бабы начинают громко сморкаться, выражая этим сердечную тоску и скорбь из-за своих тяжких грехов.

Наплакавшись вдоволь, Хима понемногу начинает разбирать, о чем говорит батюшка... Про неурожай говорит. Где ж это? у нас? Нет, в каких-то чужих краях... И там люди голодают... Господи! всюду горе душит, а там уж настоящее лихолетье — голод! Хорошо тому, кто может помочь чем-нибудь, а нам хоть бы самим с голоду не пропасть.

Грустные вернулись Хима и Хома из церкви, потому что в судьбе голодающих, о которых говорили в церкви, они увидели свою участь, а воображение им рисовало целые деревни голодных людей, лишенных крошки хлеба; ведь и им придется так же круто, если не раздобудут где-нибудь хлеба.

После обеда Хома взялся за псалтырь, а Хима открыла сундук и стала разбирать вещи. Она осмотрела свертки полотна, мотки пряжи, которую спряла этой осенью, разложила и снова спрятала лоскуты и платье, припасенное на случай смерти... Потом достала с самого дна какую-то тряпочку, завязанную узелком, и положила на колени. Счастливая улыбка озарила лицо старухи; она ощупала узелок, осторожно развязала и вынула оттуда старый белый пятизлотник. Долго рассматривала Хима монету, повертывая ее во все стороны, сдувая с нее пыль. Давно-давно, когда она еще выходила замуж, ее бабка бросила ей на счастье этот пятизлотник

в приданое; с той поры «белая монетка» пережила не один тяжелый год, но Хима так и не рассталась с ней, припрятав как драгоценность. Она знает, зачем хранит эти деньги. Вот как даст бог ребенка их дочери, недавно вышедшей замуж, да еще девочку,— бабка и подарит пятизлотник внучке, потому что, бог знает, доживет ли она, чтоб бросить монетку ей в приданое. Останется у внучки память, что была у нее бабка... Долго вынашивала эту мечту Хима и так свыклась с нею, что даже не представляла себе, как можно иначе расстаться с пятизлотником. Хима повертела монету, нежно погладила ее, как любимого ребенка, улыбаясь, завернула в тряпочку и спрятала на самое дно сундука, в уголок.

А Хома недолго читал псалтырь. Горькие мысли и заботы не давали ему покоя: он закрыл книжку и задумался. Где же достать деньги на хлеб? Заработать нелегко, займы никто не даст, а без хлеба нельзя жить. Ко всему человек может привыкнуть, без всего обойтись, но не без хлеба... Эта мысль терзала его сердце, преследовала его, словно тень, разъедала, как ржавчина железо... Хома весь день ходил будто прибитый, не находя себе места.

И Химу точила та же мысль, но она горевала так же тайком, словно не знала, почему Хоме опротивел белый свет...

Легли старики спать, но им не спалось; кусок хлеба на полке торчал перед глазами, вертелся во все стороны и будто приговаривал: «Поглядите на меня, как я мал, тут и жевать нечего, да к тому же я последний...» Пустая кадка из-под муки переворачивалась вверх дном, но оттуда не сыпалась даже пыль.

Не выдержал Хома.

— Хима, ты спишь? — спросил он с печи.

— Не сплю... А что?

— Да видишь, я думаю, не взять ли нам хоть пуд муки у Берка.

— А на что возьмешь? Лавочник в долг не даст.

— В долг не даст... но я думаю... зачем ты хранишь этот пятизлотник? Добавить немного нужно, лавочник, может, и подождет бы с остальными, вот тебе и пуд муки...

Хима соскочила на пол как ошпаренная.

— Не дам!.. и из головы выбрось... Ни за что не дам!.. С голоду умирать буду, на картошке иссохну, а пятизлотник не отдам!.. Не для того я его прятала тридцать лет, чтобы теперь лавочнику отдать!..

— Прячь, старуха, прячь! Прячешь чорт знает для чего! А тут даже кожа на голове болит от дум!.. Прячь!.. не давай!..

Хома разозлился, долго ворочался на печи и все ворчал что-то сердитым голосом.

Химу ударило в пот, она задыхалась от одной мысли, что ее добро, ее пятизлотник, который она так долго хранила, который мечтала отдать только любимой внучке, мог перейти в руки торгоша.

И уже мысль не о хлебе, а о пятизлотнике мешала Химе уснуть. Не спал и Хома из-за «белой монетки».

Хлеба не стало: доели последний кусочек. Уже несколько дней старики питались вареным и печеным картофелем, ослабели без хлеба. Хома ходил мрачнее ночи, не говоря ни слова Химе; молчала и Хима, хоть их мысли вращались вокруг одного и того же, сталкивались между собой и, казалось, вступали в беседу... Хима знала, почему тужит старик, что у него на уме... А Хоме хорошо было известно, что делается в душе у старухи, словно он заглядывал туда. И не мудрено: прожив вместе тридцать лет, они стали похожи один на другого, понимали друг друга, как самих себя.

«Господи,— думал Хома,— хоть бы кто заглянул к нам в хату, может, мне бы немного легче стало, если бы услышал человеческое слово, а то такая тоска, хоть в петлю полезай!..»

Но эта мысль тут же испугала его; самим есть нечего, а сохрани боже, придет гость, принимай его, как хочешь, еще и стыда наберешься... Но, как видно, капризная судьба подслушала желание Хома и не дала ему долго раздумывать о том, хорошо ли будет, если придет гость, или нет: дверь заскрипела, и гость появился на пороге.

— Здорово, сват!

— Здравствуйте! Какими судьбами? — удивился Хома.

— Привез солому резать... а ваша Зинка и говорит: зайдите там, тато, к старикам, передайте, что я, слава

богу, здорова, да узнайте, как им живется?.. Вот я и заехал к вам, сват!.. а где же сватья?

Хима слезла с печи.

— А как вас бог милует, сват?.. как там сватья?.. а моя Зинка?.. Да садитесь же! — приговаривала Хима, а у самой вертелось на уме: «Бедная моя головушка! Чем же я буду угощать свата? Хоть из пальца высоси, а подай!..»

Хома разговаривал со сватом и при этом как-то странно и беспокойно поглядывал на старуху; он помнил, что сват его всегда угощал водкой и что ему надо как следует принять гостя. Хома все же не выдержал: как только Хима вышла из хаты, он бросился за нею в сени...

— Старуха,— тихо и робко начал он,— не мешало бы угостить свата чаркою...

— Ну да, не мешало бы...

Хома замолчал и только почесывал затылок.

— Может, у тебя, Хима, где-нибудь найдется хоть на полквартиры...

— Ты же знаешь, что нет... Возьми бутылку и сбегай в корчму, может, шинкарь даст в долг...

— Наверяд!.. — сказал Хома, но, взяв шапку и бутылку, пошел пробовать счастье.

Злой и обескураженный, Хома вернулся из корчмы с пустой бутылкой: шинкарь не дал в долг. Хома вызвал Химу в сени и показал ей пустую бутылку.

— Знаешь что, Хима... знаешь что, старуха...— заискивающе шептал Хома.— Свата нельзя отпустить без чарки... Поскорей принеси твой пятизлотник, я мигом принесу водку, да еще и сдачу получишь... Ты же видишь, нельзя так.

— Это смерть моя, а не человек! И что ты пристал к этому пятизлотнику? Сказала: не дам — и не дам, и конец!.. Хоть убей меня — не дам!

— Дай, говорю!

— Не дам!

— Дай!

— Не дам, не дам и не дам!..

— Тьфу, сатана!..

Хома плюнул и, хлопнув дверью, вышел во двор.

Злоба охватила Хому, он злился и на жену, и на

пятизлотник. А вернуться без водки ни в коем случае нельзя... К счастью, встретился кум и дал займы на полквартиры.

Старуха сварила картошку, и кое-как приняли свата. Пятизлотник перенес еще один тяжелый момент, должно быть для того, чтоб стать причиной размолвки между мужем и женой... Хома никак не мог понять, почему он должен голодать, когда в сундуке лежат деньги — правда, небольшие, но все-таки ими можно залатать хоть одну дырку в домашней нужде.

Хима дрожала над своим добром, над «белой монеткой», она так свыклась со своей мечтой подарить пятизлотник внучке, что настойчивые требования Хома отдать пятизлотник на что-нибудь другое выводили ее из себя и очень сердили...

На другой день Хома пошел по соседям просить хлеб займы, но никто не дал; всем в этом году было трудно; всем неурожай поубавил хлеба. Пошел Хома к лавочнику, так, без большой надежды, помня поговорку: «Нет у меня родных ни души, одни торгаши», но лавочник не дал. «Много,— говорит,— уж люди набрали у меня без денег, а никто не отдает...» Понурился старик с пустыми руками, он и не думал, что дома его ожидает горе, — сотский с десятским пришли за податью.

— Подождите, люди добрые,— упрашивал Хома,— я отдам. А теперь, ей-богу, нет у меня... кусочка хлеба нет... Сами знаете, какой тяжелый год,— нет хлеба, и негде заработать...

— Мы уже слышали, старик! Старая песня!.. Нам что! хоть из себя вынь, да положи, нам начальство велит. И так уж понаслушались за недоимки!..— заговорили деревенские обдиралы.

— Да что ж вы возьмете, когда у меня и гроша ломаного нет за душой!..

— Найдем, что взять. Давай, дед, хоть часть денег, а то заберем одежду.

— Говорю же вам, что нет! — сердито крикнул Хома.

— Нет? Ладно! Эй, бери свитку с жерди! — крикнул сотский десятскому.

Тот подпрыгнул и потянул с жерди свитку Хома.



— Не трогай! — бросился Хома на десятского и вцепился в свитку.

— Не трогай! я не дам грабить свою одежду! Эй, Хима, отдай твой пятизлотник этим нехристям, а то они и душу вытянут из человека...

Хима, до сих пор стоявшая немая и бледная, как смерть, услышав про пятизлотник, мигом бросилась к сундуку, упала на него и крепко вцепилась руками в крышку.

— Не дам! — крикнула она. — Не видать вам пятизлотника!

— Пусти,— толкнул Хома жену,— я сам достану...

Но Хима крепко, словно клещами, вцепилась руками в сундук, и Хома никак не мог оттащить ее.

— Берите свитку, порази вас гром,— кричала Хима,— а пятизлотник не отдам!..

Десятский, не долго думая, перекинул свитку через плечо и вышел с сотским из хаты.

Хима сидела на сундуке бледная, пожелтевшая, дрожащая и перепуганная; руки застыли на крышке сундука, мутные глаза растерянно смотрели на дверь.

Хома тяжело дышал, даже сопел, он постоял молча, потом надвинул шапку и вышел из хаты, хлопнув дверью.

Оставшись одна, Хима заплакала. «Господи,— думала она,— за что на нас со всех сторон только горе да несчастье? Чем мы прогневили тебя, боже, что на старости лет так мучаемся?..» Слезы катились по старому лицу, капали на сундук, на юбку, а она сидела горестная, как само горе, и забыла уже про свое добро, про пятизлотник, который еще недавно так защищала от ненасытных сборщиков...

Вечер застал ее на сундуке, мрак окутал хату, а Хима не зажигала огня,— ей было не до света.

Вечером пришел Хома — мрачный, как осеннее небо. Он молча сел на лавку и уставился в угол.

— Хома!

Тишина.

— Хома!

— Ну?..

— Вот что я надумала... пошел бы ты к пану, попросил бы денег, а потом отработаешь... Может быть,

он и дал бы. Завтра суббота, люди пойдут за расчетом, пойди и ты, попроси хорошенько, может, смилуется.

— Э, не даст...

— А ты пойди, попроси хорошенько, может, и даст.

Старики замолчали, но надежда на панскую милость еле заметным лучом осветила их сердца, живой водой окропила сердечные раны...

На другой день вечером Хома вернулся от пана.

— Ну? — встретила его на пороге Хима.

— Дал!.. Пять дал, отработаю... на свекле...

Хима перекрестилась.

Обрадованные, они решили прежде всего вернуть свитку, а на остальное купить кукурузной муки для лепешек, потому что ржаная дорога. Хоть и не хлеб, а все же будет веселей, чем сидеть на одной картошке.

Поужинав, старики легли спать.

Но им не спалось.

Все, что они пережили за эти несколько дней, вставало теперь у них перед глазами, как на ладони. Пока голод заглядывал им в глаза, они силились отвернуться от него, боялись думать о нем. Теперь, когда неожиданная помощь дала им возможность хоть на некоторое время избавиться от тяжелых забот о куске хлеба, они с любопытством всматривались в свою беду, сами заглядывали в глаза своему врагу, который и теперь еще взмахивал над ними своим черным сухим крылом.

«А что бы было, — думал Хома, — если бы и пан не дал денег? Неужто так и пропасть с голода? Что такое голод! Маленькое слово, а такое страшное! Еще мы, слава богу, не совсем погибали, а и то было так горько, так тяжело, что хоть беги на улицу и вой, как собака... А, говорят, в какой-то стране теперь голод... настоящий голод... и не деревня, и не две, а говорят — тьма людей без куска хлеба мрет с голоду...»

Хома не знал, в каких краях голодают люди, какой они веры и на каком языке говорят; он только чувствовал, что они голодны, и ему представлялось множество голодных, изможденных, мрачных людей, которые с голоду и тоски готовы завывать, как собаки, и ниоткуда им, несчастным, нет помощи.

«В церкви поставили кружку, — думал Хома, — и дал бы кто-нибудь в помощь голодным, сколько может, — так сам голоден!..»

Хима с открытыми глазами лежала за печью, и в ее голове бродили мысли. «Раздобыл, слава богу, старик немного денег, хоть на время утихомирится, а то и дышать не давал мне с этим пятизлотником. Затвердил одно: дай и дай... А что это за деньги! Не надолго их хватит, придется опять картошкой пробавляться... Хорошо еще, что есть картошка... А у этих голодающих, о которых батюшка говорил в церкви, и картошки нет?.. Вот где горе! Нас ведь только двое, а там, храни бог, еще большая семья, малые дети пищат с голода, и ни крошки, ни маковой росинки им не перепадает... Было бы это поближе, дала бы хоть меру картошки... от всего сердца помогла бы... Ох, ведь я знаю, что такое голод, а там, видать, еще похуже творится...» Перед глазами Химы вставали картины одна мрачнее другой, одна страшнее другой, и сердце ее сжималось от жалости к тем, хотя и чужим, голодным людям... «А может... — и в ее голове мелькнула мысль. — Нет, нет! — отгоняла Хима непрошенную мысль, пугавшую ее своей необычайностью... — Не дам, это не мое, это внучки... А может...» Старуха застыла, отогнав эту мысль, словно прислушивалась, что скажет сердце, как оно примирится с этой мыслью.

«Господи, — думал Хома, — чего это мне сегодня все мерещатся эти голодные? Может, это наваждение какое? И нужно было бы помочь, ведь сытый голодного не разумеет, как говорят, а с миру по нитке — голому рубашка... Подмывает меня сказать об этом жене, да боюсь... она уж и так сердится на меня за этот пятизлотник... А может, сказать?»

— Хима, — решил Хома, — ты спишь?

В тот же день поп вынимал деньги из кружки. Он очень удивился, увидев среди медяков серебряный пятизлотник.

— Смотрите! — сказал он, разглядывая старую монету, — а я и не знал, что среди моих прихожан есть такие богачи!..

## ЦЕПОВЯЗ

### *Рассказ*

Медленным шагом, едва передвигая усталые ноги по свежей пашне, шел за плугом хлопец, Семен Вóрон. Серые круторогие волы, покачивая рогатыми головами, спешили с горы в долину на отдых, потому что Семен нынче немного запоздал, допахивая панское поле. В самом деле, было поздновато. Осеннее солнце давно уже скрылось за горой, забрав с собою и лучи; только холодное небо бросало на черную землю голубое сияние, дышало холодом и сыростью.

Печальная и неприветливая картина была перед глазами Семена: справа и слева, сколько глазом охватишь, чернели свежими пластами вспаханные под зябь холмы, а овраги и ложбины были еще чернее, еще печальнее... Где-то далеко, на горизонте, поднималась седая мгла, заполняя воздух. Черными оврагами покотился белый туман, одежда покрывалась мельчайшей росой. Влажный холод пронимал до костей, кровь стыла в жилах. Вверху — темное, неприветливое небо, внизу — холодная, сырая земля, и больше ничего...

И усталость от целого дня тяжкого труда, и холод, и эта печальная картина невольно вызвали мечту о теплой хате, горячем ужине, сухой постели, а Семену как раз эту ночь надо пробить в поле, в ночном, вместе с такими же батраками, как и он сам, потому что до экономии было далеко. Так пан велел, чтобы хлопцы, случаем, не потеряли попусту какой-нибудь часок... Семен тяжело вздохнул, вспомнив это, и поспешил за волами,

которые уже спускались в долину, где парни табором расположились на ночь.

Семен распряг волов, пустил их пастись, а сам устроился возле хлопцев. Те ужинали — ели, у кого что было. Пищи не варили, костра не раскладывали — лесу поблизости не было. Семен достал из мешка хлеб, несколько яблок и нащупал на дне кусок сала, которого он туда не клал. «Домна!» — мелькнуло у него в голове, и он почувствовал, что какой-то теплый луч согрел его сердце, озарил тьму, окутавшую долину, развеял густой туман... Да, это его Домна печется о нем, сирота, батрачка, которая служит вместе с ним во дворе; его любимая Домна, которая скоро станет его верной женой. Бедная девушка! Сколько она горя натерпелась от тех самых панов, на которых работает! Сколько издевки! И почему это она должна таким тяжелым трудом добывать кусок хлеба, горький, соленый от пота и слез, а панночка, дочь помещика, живет в роскоши, ничего не делая? Почему она родилась бедной мужичкой, а не панночкой? Почему у них такая разная судьба?..

Семен забеспокоился. Он заметил, что опять с ним происходит то, чего он так боялся. «Дурные мысли», как он их называл, «глупые вопросы», на которые он не умеет дать ответа, начинают мучить его, смущать покой, терзать сердце и мозг.

— А, чтоб тебе! — сплюнул Семен и решил отделаться от дурных мыслей. Он взглянул на вспаханное поле и почти насильно направил свои мысли на повседневную работу. «Сколько еще придется вспахать панской земли? Успеем ли за два дня?.. И сколько же полей, сколько земли у одного человека? Отчего это так: у пана земли — конца-краю нет, а мне не дал бог и клочка земли? — неприметно для себя свернул Семен на ту же тропку. — Вот теперь, — думал Семен, — сидит пан за столом в хорошей, теплой комнате, и Домна подает ему ужин, горячие вкусные кушанья, а я вот натрудился за целый день в поле, намаялся так, что ног не пошевеливать, и должен зябнуть на сырой земле, как собака. Где же правда?.. Боже! — спохватился Семен. — И что это мне такие мысли в голову лезут? Ведь умные, грамотные люди (вот хотя бы и брат мой Роман, на что грамотей, даже писарем в селе служит) говорят, что так

и должно быть, что по-иному и не будет... А паны? Ведь они смотрят в писание и знают, что грешно, как на свете жить по правде, не то, что я, темный — смотрю и не вижу, как заяц, который лежит, вытаращив глаза, а ничего не видит. Только... только... Ведь бог человека сотворил одного, а не двоих: пана и мужика? Почему же теперь это так? Почему?..»

Семен лежал на спине, обращаясь со своими вопросами к небу, а оно, холодное, темное, равнодушно блистало звездочками в ответ на эти горячие вопросы бедного батрака.

И тут вспомнились Семену его детские годы. Ясно и отчетливо, как перед глазами, встал в его памяти случай, пробудивший сознание десятилетнего мальчика, бросивший в его сердце зерна новых, недетских желаний.

Это было летом, в самую жатву. Семен пас скотину. Волы и телята разбрелись по выгону, а он лежал в тени под копной, наигрывая на сопелке какую-то печальную песенку.

Песенка оборвалась на тихой, жалобной ноте, сопелка выскользнула из рук, и Семен закрыл глаза, убаюканный той чудесной тишиной, которая бывает наполнена всякими звуками: и звонкой песней жаворонка, и тонким гуденьем полевых мух, и тихим мелодичным шелестом спелой ржи, подрезанной серпами.

Вдруг за копами, во ржи, послышался разговор. Семен открыл глаза, поднялся и насторожил уши.

— Нет ли там, доченька, хоть кусочка хлеба? — отчетливо послышался старческий голос.

— Нету, мама... Еще вчера все съели, — донесся звонкий, но грустный-прегрустный голос.

Затихло.

— Нет, я так не могу... сил моих нету... Который уж день с голоду чахнем... а нынче крохотки во рту не было, у сердца прямо жжет, худо мне... А тут жни... Господи! Жалко, что ли, тебе хлеба куска для нас, бедных? Вот жизнь! И... где... смерть моя... где запропастилась?.. — послышалось громкое всхлипывание, и боль и муки голода звучали в этом плаче...

— Полно, дочка, полно... не сетуй на бога... Пере-терпим.

Семена охватило любопытство и вместе с тем какой-то испуг. Он тихонько обошел копну, подошел к ржи и взглянул, что делается на ниве. Картина, которую он увидел, глубоко поразила его. На стерне, под копной, сидели две женщины. Молодица с бледным, поблекшим лицом с нервной торопливостью утирала рукавом свои заплаканные глаза; старая сидела недвижимо, уронив поседевшую голову, и обильные слезы орошали ее сморщенное лицо.

Семен почувствовал, что у него что-то сжало сердце. Он никогда не видел, чтобы взрослые плакали от голода, и своим детским, чутким сердцем постиг всю трагичность этой картины. Рука его невольно потянулась к мешку с хлебом, висевшему на спине. Мешок давил его, он это сразу почувствовал. Ему стало больно и даже стыдно, что у него есть хлеб... Торопливо, рывком, сбросил он мешок с хлебом и, покрасневший, застенчивый, приблизился к женщинам.

— Тетя! Не плачьте, тетя... вот хлеб...

Семену показалось, что кто-то другой произнес эти слова, — таким странным, не своим голосом сказал он это.

Молодица удивленно взглянула на Семена красными от слез глазами и ничего не ответила. Старуха еще сильнее заплакала. Семен стоял в недоумении, держа в руках мешок, не зная, оставаться ему здесь или бежать. Кровь прилила ему в голову, в ушах зашумело... Он опустил на землю мешок, а сам бросился назад... Он бежал стернею, будто спасаясь от преследования, и почему-то испытывал стыд, и в сердце его поднималась злость, а против кого — он и сам не знал. Ему хотелось сорвать эту злость на чем-нибудь, и он швырнул палку в корову, которая паслась на меже.

— Ах ты, чортова животи́на, чтоб тебя волки задрали... Куда!..

Палка просвистела в воздухе, корова шарахнулась и побежала прочь, а Семен и не видел этого: он опрометью влетел на межу и притаился среди высокой ржи. Сначала он чувствовал только, как колотилось его сердце, а потом, немного успокоившись, стал припоминать картину, которую минуту назад увидел. Тщетно детский мозг работал над вопросом, почему это одни имеют еду, а

другие плачут от голода? Ответа не было. Вскоре его размышления сменились мечтами...

«Вот если бы я стал паном, — мечтал Семен, — у меня было бы много денег, хлеба, всего... Я непременно разузнал бы, кто голодает, и давал бы им хлеба, еды, одежды, чтобы не было на селе голодных и бедных... Разве же так трудно панам это сделать? Надо только такую книжку прочесть. Вот Романко наш читает такую книжку, говорит, что хочет паном стать. «Буду ездить, говорит, в такой хате на колесах, с большущими стеклами, в какой иной раз наш пан ездит». Вот он какой, наш Романко... Непременно буду учиться. Попрошу Романка, он мне покажет...»

И так вдруг захотелось Семену учиться, что бедный хлопец не мог дожидаться, когда солнышко закатится за горизонт, и погнал скотину с поля раньше обычного.

Романко сперва рассмеялся, услышав о желании Семена учиться, но, немного подумав, согласился.

— А что дашь за учење? — спросил он брата.

— Что же тебе дать?

— Сопелку дашь?

— Дам, — решил Семен, хотя ему очень жаль было сопелки.

— А плетенку на бриль дашь? Ты же себе наготовил!

— Дам! — согласился Семен и на это.

Романко отыскал на полке старую, засаленную азбуку, и хлопцы двинулись на гумно. Началось учење. С почтением и трепетом, словно к первой исповеди, приступил Семен к азбуке и старался таким же голосом, как у Романка, повторять за ним: аз, буки, веди... Урок окончился, но в голове у Семена все звучали странные слова, которых он не понимал. Ночью ему приснились закорючки, и крестики, и бублики, называемые буквами, и Семен лучше выучил их во сне, чем наяву. На другой день Семен знал всю азбуку. Начались склады. Бра, вра, мра — пошло труднее. Семен никак не мог сложить вместе буквы, а двенадцатилетнего учителя разбирало нетерпенье, и он дергал ученика за вихры, крутил ему ухо. Семен все терпел, но путал и путал, стараясь сложить, как полагается. «Вот, — думал он, уморившись



на уроке, — пока станешь паном, приходится говорить по-птичьи. Кра-кра! — вспоминал он склады. — Совсем, как ворона. Или — ку-ку! — будто кукушка кукует...» Ему даже почудилось, что над головой застрекотала сорока: «че-че-че!» Зачирикал воробей: «чи-рик, чирик!» Неужели и это было нынче в книге? Нет, не было, это, видать, завтра будет», — думал сонный мальчуган, засыпая на лавке.

Ученье подвигалось медленно, но все же подвигалось. Однако, невзирая на то, что Семен одолел первые трудности складов и мог уже кое-как читать печатное, у него, незаметно для него самого, пропадала охота к ученью, к книге. Семен не понимал того, что стояло в книжке, а Романко, сам ли не понимал, или не хотел разъяснить толком, только каждый раз презрительно дергал плечами, ругал «мужиком неотесанным» и «бестолковым», а то и вовсе бросал заниматься. Потом Семен не раз замечал, как девушки и парни насмеяются над теми, кто вернулся из солдат и старается говорить «по-пански», да и сам он, бывало, смеялся, услышав какое-нибудь забавное словцо. Ему порой странно было слышать, как Романко похвалялся перед хлопцами своей «панской» речью и плел уже что-то несуразное. И Семен стеснялся выскочить с каким-нибудь «панским» словом, — ему казалось, что оно еще хуже прозвучит, чем из уст Романко.

Романко ходил в школу, приносил какие-то книжки от учителя и частенько вслух мечтал о том, что будет, когда он выучится и станет большим паном. А будет вот что. Прежде всего, поставит он себе дом такой высочкий, как колокольня, а то и повыше, сам будет сидеть в комнате на стульчике да посматривать в окно, как «мужики», проходя мимо дома, станут снимать шапки и кланяться пану... да издалека, он не разрешит слугам пускать их в дом, а то в комнатах будет пахнуть «мужиком неотесанным». Потом купит две пары добрых коней и карету со стеклами, поедет в местечко и купит у еврея лавку со всем добром... Нет, лучше он обдурит еврея, скажет ему: «приди завтра за деньгами», а когда тот придет, он затравит его собаками и денег не отдаст... А чтобы денег не убывало, он возьмет мужиков «в шоры». Что такое «взять мужиков в шоры», Романко сам

не знал. Он слышал это выражение от отца, бывшего эконома панского, и похвалялся им, как чем-то хорошим.

Семену казалось неплохо иметь дом высокий, как колокольня, и ездить цугом на добрых конях, но он лелеял иные мечты в детском сердце и однажды, смущаясь, поверил их Романку — рассказал, что хочет стать богатым паном, чтобы помогать бедным.

Романко рассмеялся сначала, потом обругал его «недотепой» и заявил наотрез, что таких глупых панов нет и не может быть... Семен считал брата очень умным, и хотя не совсем ему поверил, однако мечта о панстве немного поблекла, а охота учиться и вовсе остыла. Один случай положил конец учению.

Семен очень любил свою мать, старую Наумиху, как ее звали на селе. Он знал, что никто, кроме матери, не заступится за него перед отцом, что она справедлива и никогда не закричит на безвинного, хотя никогда не простит и вины... Не так, как отец, которого Семен не любил и боялся: отец все тянется к Романку, своему любимчику. Потому-то Семен и привык больше верить матери, чем отцу, больше почитать ее, чем отца.

Наумиха слыла женщиной старых правил. И в самом деле она была решительным врагом того, кто калечил родной язык, ломал прадедовские обычаи или лез в паны, стараясь стать выше крестьянина. Наумиха всех таких называла «адесскими шарлатанами» и, грозно размахивая рукой, проклинала измену старине. С болью в сердце она смотрела, как ее Романко ходит в школу, слушала, как он пренебрежительно относится к родному языку, больно было ей оттого, что он отбивается от хлебопашества, и старуха не раз ссорилась с мужем, который решил довести дело до конца, вывести сына «в люди», то есть в писаря при волости или в приказчики при экономии.

Видела Наумиха, что ничего не поделает с мужем, и поклялась не допустить Семена до гибели, не отдать его в жертву странным отцовским затеям. Наумиха еще не знала, что Семен учится грамоте, потому что мальчишки, не желая мешать в хате, уходили на гумно, или в сад, или еще куда-нибудь. Но однажды во дворе было холодно, и они расположились с книжками в хате.

Наумиха просто вскипела, услышав, как ее Семенка вычитывал по складам из ненавистой книжки.

— Это еще что такое? — крикнула она на всю хату; мальчики даже вздрогнули от неожиданности. — Это еще что за выдумки? Этого еще не хватало, чтобы ты паном стал, от матери-мужички отрекся?! Так не дождешься ты этого, такой-сякой сын!.. — И Наумиха мгновенно, схватив азбуку, швырнула ее в печь. Несчастливая азбука почернела, задымилась, а потом вспыхнула ярким пламенем, и в хате стало светлее.

Хлопцы испуганно поглядывали то на пылавшую книжку, то на грозную фигуру сердитой матери и не знали, что предпринять. А Наумиха разошлась:

— Это все старик выделывает... с ума спятил на старости... Ишь, чего придумал: детей учить, в паны выводить! Мало я натерпелась от панов, мало они мне сала за шкуру залили на панщине?! Так чтобы теперь дети мои повыврастали на горе людям?.. Да никогда в жизни этому не бывать!!

Долго еще кричала Наумиха на мужа и задвигала горшки в печь так энергично, что не раз борщ, выплеснувшись на огонь, клокотал и, как змея, шипел, гневаясь на хозяйкину небрежность.

А в голове Семена проносились мысли: «Неужели паны такие плохие, как о них все говорят, и мать, и Романко? Неужели я тоже должен отречься от родной матери, когда стану паном, потому что она мужичка? Бог с ними, с панами! Бог с ним, с этим панством и книгами! Не хочу учиться. Опротивело мне это ученье».

И Семен решил навсегда забросить книжку, хотя чувствовал, что словно потерял что-то, чего-то у него не стало.

Наумиху жалость одолела, что накричала на своего любимчика; она позвала вечером Семена, приголубила его и долго забавляла, рассказывая чудесную сказку о «Правде и кривде», пока Семен не заснул у нее на коленях, позабыв во сне свои детские заботы.

Настала осень. Начали подумывать о школе. Наум рассчитывал отдать Семена, но Наумиха стала поперек, поклялась, что не отпустит. Наум не очень настаивал, довольствуясь одним Романком, однако позвал

Семена, чтобы от него самого услышать, есть ли у него охота учиться.

— Ну, сынок, если есть охота, я тебя в школу отдам.

Семен молчал, опустив глаза долу, а потом решил:

— Нет, не хочу...

— Отчего ж ты не хочешь?

— Так, не хочу...

— Вот еще... цеповяз! Родился мужиком — мужиком и помрешь! — сказал Наум, махнув рукой.

С той поры и прозвали Семена цеповязом.

А Наум хвастался перед людьми:

— Двое сынов у меня, да... вот вы говорили: из одного дерева и крест и лопата... Этот Романко у меня хитер: кого хочешь обойдет!.. И грамоту хорошо знает, письменный. Ведь еще мал, а куда хочешь прошение напишет. Эти прошения его и в волости, и у мирового, и где хотите. Одно даже в Крестьянское присутствие подал! И приняли! А как же!.. Я еще выведу его в люди, если бог веку даст. Ну, а младший, Семен — у того одно: за плугом ходить, сено косить, цепом махать... Правое слово — цеповяз!..

Росли братья, подрастали, но не были друзьями. Семен это хорошо помнил. Характером были не схожи. Простодушный и щедрый Семен никак не мог поладить с лукавым и завистливым на чужое добро Романко. Чего бы ни попросил, о чем бы ни спросил Семен старшего брата, на все был один ответ: «А что дашь?» Не раз случалось, что Романко сбанивал Семена, обычно в мелочах. Выманит у него что-нибудь и хохочет, когда тот возмущается хитростью брата.

Все это отталкивало Семена от брата, и он жил одиноко, не было у него приятелей и среди хлопцев. Сопелка и мысли были ему друзьями и поборниками. А мысли проносились в его голове одна за другой, как облака по небу, когда их гонит вольный ветер. «Почему?», «зачем?», «отчего?» — не давали ему покоя, и только одна буйная фантазия подростка давала порой удивительные ответы на эти вопросы... Романко отдали в экономию в писаря, и он очень чванился своим новым званием и новой жилеткой, которую отец впервые справил ему. Семен остался помогать отцу в хозяйстве.

Пролетело несколько лет. Семен начинал уже двадцатый год, когда умер старый Наум, оставив земли — шесть шнуров — сыновьям. Романа тогда прогнали из экономии, где он был приказчиком; он женился, взял половину наследства — три шнура земли — и поставил себе хату на краю села, там, где начиналось его поле. Остальные три шнура взяла Наумиха.

Семен вынужден был идти в батраки, потому что на своей земле нечего было делать.

Батрак! Он знал, что такое батрак... «Босый да голый и харч голодный: утром — водица, в полдень — напиток, а вечером — хоть удавиться» — как говорится в шутке-приказке. Много печальной правды в этих шутках.

Одно только скрашивало его невеселую жизнь: надежда на лучшее, тлевшая в его сердце. За четыре года службы в экономии накопил он сто пятьдесят рублей; на эти деньги он купит землю, которую за три сотни продает пан Янковский тут же, в их селе («катеньку», может, даст взаймы Роман, а пятьдесят пан подождет), женится на Домне и как-нибудь, — бог милостлив, — встанет на ноги!..

Эта мысль так подбодрила Семена, что он вскочил и очулся от своих мыслей.

Вокруг чернело вспаханное поле, а сверху полная луна лила холодное голубое сияние, и оно окутывало мокрую землю, переливалось на смоченных росой плугах, блестело на лемехах и мокрых рогах волов, которые лежали поодаль и медленно пережевывали жвачку. Лишь овраги да ложбины, полные тьмы, тумана и холода, грозно чернели вокруг, словно луна боялась пролить свой свет в эти темные уголки...

Семен помолился на небо, завернулся в свитку и заснул крепким сном измученного работника.

\* \* \*

В первое воскресенье после этого Семен отпросился у пана проведать брата. Он застал у Романа гостей: старосту и дьячка, которые по-приятельски беседовали за рюмкой. С той поры, как Романа поставили сельским писарем, он еще больше стал чураться «мужицкой

компаний» и общался с дьячком, фельдшером и приказчиками из экономии.

Скоро гости ушли. Роман обернулся к Семену, поглядывая на него хитрыми глазами. Эти глаза и презрительная черточка около рта производили неприятное впечатление, портили довольно красивое, чистое лицо Романа, волосы которого были подстрижены «под польку».

— Как там, все вспахали? — равнодушно обратился Роман к Семену.

— Нет еще... покамест еще хватит. А я это к тебе, Роман, за помощью...

— А что такое? — вскинул брови Роман.

— Да, видишь ли... скопил я на работе малость денег... есть сто пятьдесят... Не вековать же мне, думаю, в наймах, надо бы хоть клочок своего поля завести... А тут случай подвернулся: пан Янковский продает три морга, те...

— Что рядом с моим полем! — вскрикнул Роман.

— Эге.

Роман уже не слушал. Как! Эти три морга плодородной земли, словно нарочно расположенной у его поля, станут не его собственностью, хотя он, собирая деньги на эту землю, два года вынашивал в своем сердце надежду купить ее?.. И кто же? Этот цеповяз хочет вырвать у него из-под носа эту землю? Никогда! Лучше он себе здоровый зуб вырвет, чем допустит, чтобы кто-то другой купил ее!

Мысли колесом завертелись в голове Романа; он почувствовал, что его начинает трясти, как в лихорадке.

— Ну и что? — нервно вскрикнул Роман, оборачиваясь к брату.

— А я, вишь, и пришел попросить, не одолжишь ли ты мне катеринку?.. Я не даром прошу... Пятьдесят пан обещал обождать: в год, может, справлюсь, отдам...

— Не дам!.. Нет у меня!.. Что я тебе — банк какой, что ты идешь ко мне за деньгами? — кричал раздраженный Роман, а мысли разные так и сновали в его голове, опережая слова.

— Да чего ты кричишь?.. Опомнись, человек! Не дашь, так обойдется и без кулича на рождество!.. Евреи дадут!

— Тем и лучше!.. Иди к евреям, иди... Занимай!..

Семен, злой и взволнованный, вышел из хаты.

А Роман крикнул жене, чтобы достала из сундука деньги. Да все, какие есть! Катеринка... десятка, другая, третья... сто тридцать! мало!.. Однако надо что-то придумать! Роман чуть не опрометью кинулся к пану Янковскому. Так или иначе, а земля должна принадлежать ему, Роману.

Через несколько минут он оказался у пана Янковского. Но там его встретила неожиданность. Пан уперся, что не продаст землю никому, кроме Семена, потому что уговорился с Семеном и тот задаток дал, а паны Янковские не привыкли изменять своему слову. Напрасно Роман давал большую цену, напрасно уверял пана, что у Семена нет денег, что он плут и т. п. Пан не сдавался. Роман, злой, бешеный, проклиная брата, выбежал от пана Янковского и не заметил, как сами ноги занесли его на поле, которое, как здоровый зуб изо рта, вырвал у него Семен.

«Вот и купил, вот тебе и поле! — думал Роман, бродя вдоль и поперек по полю. — И как это могла получиться такая незадача?.. Со мной, который любого обманет и любого проведет... И это я с моим умом ловил ворон, когда вот такой, что не умеет до четырех сосчитать — цеповяз, из зубов вырвал у меня землю!..»

И вдруг представилось ему, что Семен пашет эту землю, его плуг блестящим лемехом режет поле на пласты. «Нет, он не землю режет, он сердце мое кромсает», — думал Роман. И на мгновение он почувствовал в руках такую силу, что одной рукой схватил бы и плуг, и коней, и Семена и швырнул бы их далеко, туда, за чужие полосы!.. Потом перед его глазами встала другая картина: его поле и панское — одно Романово поле; и на этом поле растет-цветет, как мята, зеленая буйная пшеница и волнуется на ветру молодым колосом по просторному полю... А сердце у Романа растет от надежды, и в кармане словно уже звенят денежки милые... «Нет, не моя нива, не моя! Того... чтоб ему пусто было!.. Пускай покупает, пускай покупает!.. — бесится Роман. — Пускай!.. И денег дам! А как же, дам!» В то же время в голове снуют какие-то мысли, на лбу — то

собираются морщины, то разглаживаются. «Пускай покупает!..»

Роман ходит по полю и не знает, ноги ли его несут или мысли, летающие в голове, своими крылышками помогают ему. Наконец останавливается, решительно бьет себя по карману и говорит, как-то подозрительно усмехаясь: «Дам!»

Роман тотчас поспешил к Наумихе. Он застал и Семена. Наумиха возилась у печи, готовя ужин.

Роман немного успокоился уже и хитро поглядывал то на мать, то на брата. Видно было, что есть у него что-то на уме, но не хочет он этого открывать. Семен и Наумиха удивились, увидав Романа после такого резкого отказа брату. Но Роман сказал, что он поразмыслил, посоветовался с женой и вот пришел узнать, правда ли, что Семен покупает землю, а если покупает, то сколько ему потребуется денег. Семен обрадовался и попросил брата сесть, но Наумиха отчего-то была сердита и двигала бедными горшками так, что они шипели.

Роман поиграл длинной серебряной цепочкой от часов, потом полез в карман и достал кожаный бумажник.

— Деньги есть, — сказал он, тотчас запрятав бумажник обратно, — да вот плохо, что из кармана они воробушком выпорхнут, а назад их и волом не затащишь!.. Теперь так: сделай кому-нибудь одолжение, а тебе забота... Теперь, если тебе деньги надобны, побегаешь не день, не два, высунув язык, пока получишь у еврея. Да процент дай, и такой процент, что аж в голове засвербит от такого процента. Я... почему же? Я для брата родного на все готов. Я деньги дам, только не даром, а то ведь и себя пожалеть надо... Теперь так на свете, что и на волосок нет дармовщинки!.. Теперь коммерция!

— Свет такой! — сердито отозвалась Наумиха от печи. — Свет-то все такой же, да люди другие стали... Что свой, что чужой — одна цена!..

— Бросьте, мама!.. Он правду говорит: без процента нигде не займешь. Лучше уж ему заплатить, чем ростовщику. Может, он мне и уступит малость. Скажи, Роман, по-божески, что возьмешь за сотню на год? — обратился Семен к брату.

— Ну, что тебе сказать?.. Теперь все дешево, только



деньги дороги. Ну, только для тебя, возьму за сто — сто двадцать.

— Ну что, не говорила я?! — сердито бросила Наумиха, задвинув горшок в печь.

Семен почесал в затылке. Много, очень много! А он-то думал, что брат не запросит столько.

— По мне — что, занимайте деньги у еврея, я не запрещаю. Может, еврей и даром даст.

Роман поднялся с лавки и сделал такое движение, словно глубже запихнул деньги в карман. Разве он набивается с деньгами? Не хотят — и не надо! Баба с воза — коням легче... Ого! деньги такой товар, что, куда ни сунься, везде на них лакомых полно. Они и полежать могут: ни есть, ни пить не просят. Хотел брату полезное дело сделать, за спасибо больше, как говорят... А тут на тебе: процент велик!.. Поищите, где меньше!

Роман ощупью нашел шапку и собрался итти. Семен испугался: еще в самом деле брат рассердится и не одолжит денег, а у еврея за такой процент не найдешь. Он бросился к брату.

— Да будет тебе, будет! Зачем серчаешь? — унимал он Романа. — Я только сказал: кабы поменьше, а если нельзя, пусть будет, как хочешь. Куда там мне еще бегать, искать!..

Роман успокоился.

— Я только для тебя, Семен, это делаю, желая тебе пользы от той земли, что покупаешь, — сказал Роман, глядя в сторону хитрыми глазами, в которых промелькнула какая-то тайная мысль. — Я другому ни за что не одолжил бы!

Позвали свидетелей, принесли могарыч, за столом поднялась беседа. Только старая Наумиха стояла невеселая у печи, не откликаясь ни словом. Почему-то ей было грустно, печально. Словно сердце предвещало какую-то беду неожиданную.

«Взаправду свет иной становится, — думала старуха, — брат с брата ни за что деньги тянет, не стыдится ни людей, ни бога. Как бы еще не захлестнул Семена этот долг, как петля на шею... Что-то мне эта катеринка, как уголь горячий, пальцы жжет, — думала она, заворачивая в платок деньги, которые дал ей спрятать Семен. — Не мое это дитя, не мое! — сказала старуха

про себя, следя глазами за Романом, который, подозрительно усмехаясь, скрылся за дверью. — Нет у меня веры ему, неправдой он дышит».

А Роман шел и размышлял о чем-то; мысли сновали в его голове, как челнок по основе. Он останавливался среди дороги, что-то бормотал себе под нос, что-то соображал... «А земля-таки моей станет!» — закончил он решительно и пошел дальше.

Семен рад был, что все кончилось, как ему хотелось. Через две недели он женился на Домне, бросил работу в экономии и, поселившись в отцовской хате вместе с матерью, не раз с благодарностью вспоминал Романа, который не только помог купить землю, но и на свадьбу одолжил тридцать рублей.

\* \* \*

В хате тепло: от печи идет хлебный дух, расходится по всем уголкам. Каганец, потрескивая, лениво мерцает на шестке, бросая неровный свет. Любо и хорошо в такой полутьме, устроившись поближе к печи, вести задушевную беседу долгим зимним вечером. Воспоминания сами всплывают в памяти, слова сами льются. Вот и Наумиха с невесткой, сидя за пряжей, поверяли друг другу свое прошлое... Черный кот сладко спал на шестке возле каганца: ему было безразлично, что холодная зима заглядывала сквозь окна белым морозом. Тишина и покой гостили в хате.

Но почему же этот покой и тишина не вольются в сердце Семена? Почему его сердце не хочет удовлетвориться своим близким счастьем, почему оно быстрее бьется от одной мечты о счастье других, чужих людей, счастье, которое, может быть, и не придется Семену увидеть?.. Да разве он знает, почему это так?!

На какое-то время после того, как он женился, «дурные мысли», которые еще сызмальства мучили его, исчезли. Убаюканный семейным счастьем с любимой женой, Семен позабыл свои прежние заботы. Но вот теперь, бог знает откуда, опять появились эти мысли, одолевали его, требовали ответа.

«Мне еще хорошо, — думал Семен, сидя на лавке в уголке, — мне еще хорошо: у меня хата, у меня поле,

да и немного нам двоим надо... А сколько, боже мой, я видел таких, у которых лишь бороздка земли, а семья большая. Ну, что мне от того? Что мне чужая беда?.. Как что? Это вот только коту, что лежит на шестке, все равно, а я человек... И странные люди: бедствует, горюет, с голоду пропадает и ничем не поможет себе, не борется с бедой... Да, правду сказать, что тут поде-лаешь? Как? Откуда мне знать? Эх, кабы знать, я бы, кажется, на верную смерть пошел, я бы, кажется, вырвал, выгрыз бы землю, потому что без земли плохо лю-дям на свете, в печали живут-прозябают, в тоске бедуют без надежды на лучшее... А мне что? Лишь бы мне хо-рошо, а другие — как хотят?.. Опять одолели меня дур-ные мысли... И что мне делать с ними, на что они мне?»

Семен взял шапку и вышел во двор, желая развеять свои мысли где-нибудь не в душевной хате.

Жадно, полной грудью вдыхая морозный воздух, пошел Семен дорогою за село. Твердый снег скрипит под ногами Семена, легко дышать ему на этом холодном раз-долье. Вот миновал он последнюю хату. Вот раскину-лось, до самого горизонта распростерлось покрытое снегом поле и спит под сверкающим тысячами искорок покровом, ожидая, пока не разбудит его весна... Широкое раздольное поле, но не людям принадлежит оно, а пану. У мужиков нет полей, у них полоски. На что одному столько земли? Разве для роскошества... А ведь этого поля хватило бы человек на сто... Один роскошествует, другой слезы глотает. Где же правда на божьем свете... Поток мыслей Семена снова направился в ту сторону, куда обычно обращался, едва он начинал думать о зем-ле. «Сумасшедший я, что ли? — остановился, наконец, Семен. — Тьфу, отвяжись, сатана! На что ни гляну, о чем ни подумаю, все сведу к одному... Хоть бы поскорее уже весна приходила, может, за работой не лезла бы в голову всякая чушь!» — думал Семен, возвращаясь до-мой.

Весна не замешкалась. Пригрело солнышко, обсохла земля, потянула пахаря в поле. Пошел и Семен с плу-гом на свою полоску. Рядом на своем поле пахал Ро-ман. Семену было хорошо. Черная пашня ровно, пласт за пластом ложилась из-под нового плуга, молодые

волы тянули бодро, не ленились. Семен щепочкой счищал с лемеха налипшую землю и, усердно налегая на рукоятки, шел за плугом. Он упивался весенним воздухом и теми запахами черной влажной земли, которые были для него лучше всех ароматов. Он любил землю, как птица воздух, рыба воду. Что крестьянин без земли? Все равно, что птица без воздуха, рыба без воды. А земли с каждым годом все меньше. Не то, чтобы ее меньше становилось на свете, а делят ее межами, чуть не на гряды, потому что на селе становится все люднее... И что же это будет, когда люди вот так пораскроют всю землю? Откуда они будут тогда хлеб добывать? Плохое дело. Нужна земля — и непременно нужна. А где ее взять? Вот просторы раскинулись вдаль по холмам и долинам, сколько глазом охватишь!.. Но это панская... Ну и что? Разве та земля, которую пашу я, Роман, все люди, не была когда-то панской? Была панская, а теперь мужицкая. Нашелся такой, что дал волю и дал землю. Да как же так? Притти — отдай землю, которой владеешь, а то мне мало?! Так нельзя, не по правде. А это по правде, что у одного столько земли, что и за день не объедешь, а у другого — только три аршина на кладбище? Даром не надо, можно на выплату, как и ту землю, что у нас... Пусть панам деньги, а нам земля. Земля тому, кто ее холит... И это можно сделать. Можно!..

Семен вспотел от этих мыслей. Он обтер мокрый лоб рукавом свитки и поглядел на небо, где клином пролетели журавли, курлыча в голубой вышине.

— Гей, цоб, сивый, цоб, рыжий! Цоб! — подбадривал он волов, усердно налегая на плуг.

«Это можно сделать... Общество — большая сила... великая, да, как говорят про Федору: велика, да дура. Почему до сих пор ничего не делают, не заботятся о детях собственных?.. А что один мужик сделает? Куда его пустят?.. Куда? Хоть я и мужик, хоть я и неграмотный, темный, а пошел бы бог знает куда, в самую столицу, упал бы на колени и сказал бы: царь мой пресветлый, так и так, мол, поля у нас нехватает, выгона нет, без леса бедствуем... Если не хочешь, чтобы мы погибли, дай нам земли... Мы никого не хотим обидеть, мы не хотим даром, выплатим все до копейки... Спаси, а то пропа-

даем... А там — пускай хоть голову с меня снимают... Послужил бы я обществу, коли никто не хочет!.. Эх, глупый, глупый, и что это я придумал!.. Тьфу!»

— Гей, цоб, сивый, цоб, чтоб вас!.. Тпру!..

Семен дошел до тропинки. Он вытащил плуг и опрокинул его набок.

— Фу-у, — вздохнул Семен, снимая шапку и отирая вспотевший лоб. Его больше измучили «дурные мысли», чем пахота. Весь мокрый, дрожа и сердясь на себя, он сел у дорожки, думая одно: «Господи, какой я глупый и чудной!..»

А вокруг него так хорошо, как бывает весной в поле. Солнце играет лучами, весеннее дыхание гонит по небесной лазури легкие, как пух, белые облачка, в воздухе гудят мухи, чирикают воробьи, пахнет свежим черноземом, травами, фиалками, пахнет весной! Сердце раскрывает объятия и этим просторным полям, которые, порвав оковы, пробудились к новой жизни, и этим вольным воздушным созданиям — птицам, которые из дальних краев прилетели к нам в гости, и этому кустику фиалок, который, укрывшись среди травы, тихо цветет, вливая свой аромат в чудесные запахи весны.

А в это время Роман, управляясь на своей полоске, искоса поглядывал на брата злым глазом. Непокойно у него на сердце. Терзает его сердце это поле цеповяза. Хорошее поле, да чужое! Его оскорбляет самая мысль о том, что младший брат, которого он и божьим созданием не считал, сокрушил все его планы, два года лелеянные в сердце, сокровеннейшие мечты!.. И кто же его провел? Семен провел его, умного, хитрого, бывалого... Ну, ничего, ничего!.. В жизни как на большой ниве: всякое бывает. Бывает, например, и так, что кто-то одолжит другому денег, а тому нечем заплатить в срок, ну и продают землю. И эта земля переходит таким образом к тому, кто одолжил... Бывает и так... Теперь так на свете: глупый упустил из рук — умный поднял; глупый дает — умный берет. Теперь только умный да хитрый одолеет жизнь, а глупые все до последнего пропадут... И почему бы, к примеру, тому же Семену не послужить еще годик в экономии, зачем смолоду лезть в хозяева? А?.. Обидно глядеть на это поле, которое Семен пашет: так оно подошло к его, Романа, полю, так пришлось, словно

столяр пригнал... Ну, ничего, можно и обождать: глупый упустит — умный поднимет...

Заготовали дикие гуси высоко в бескрайнем небе, устремляя свой полет вдаль, запел над полем жаворонок, зашумел ветер, пробегая по синему лесу, а Роману во всех этих весенних звуках слышалось одно: «Глупый упустит — умный поднимет...»

Семен ходил печальный, задумчивый. Наумиха заметила это. Домна приставала к мужу, расспрашивая:

— Что с тобой, Семен? Отчего тоскуешь? Не скрывай от меня плохого!

— Ничего, ничего... Голова немного болит...

Домна была уверена, что Семена сглазили, а Семен все прикидывал, как ему поверить свои мысли обществу, как подбить общество, чтобы оно что-то сделало, не ожидало сложа руки лихолетья.

Вскоре должен был собраться сход. Семен, насилу дождавшись того дня, пошел на площадь, где уже толпились люди. Старики с длинными седыми бородами, положив руки на палки, сидят на завалинке у правления и о чем-то рассуждают. Те, что помоложе, стоят группами, разговаривают, кричат, размахивают руками. Вот какой-то дядька, подкрепляя свою речь энергичными движениями, то передвигает высокую шапку с левого уха на правое, то надвигает ее на самые глаза, то опять откидывает на затылок, так, что шапка едва держится на макушке и вот-вот упадет на землю. Очевидно, эта шапка находится в полном согласии со всеми чувствами этой подвижной натуры и, словно чуткий барометр, показывает все оттенки настроения своего владельца... А вот и староста, нацепивший на грудь медаль, оперся на длинную палку и кивает Роману, сельскому писарю.

Семен вначале не решается заговорить о том, что его мучает, но, услышав, как кто-то посетовал, что некуда скот выгнать, нет пастбища, бросает собравшимся:

— Говорите: нет пастбища? И не будет!..

Некоторые оборачиваются к нему. Ну, понятно, этого пальцем не выковырнешь!

— И поля не будет!

— Вот так придумал! Да разве его кто отбирает? И так у нас земли мало...

— Мало! А разве ее больше будет, если поделите

детям на грядочки? Что же тогда получится?.. А деньги вытягивай из себя, как жилы: подати отдай, мирские дай, туда-сюда дай, а поля у иного — одна бороздка, у другого вовсе ничего нет, выгона нет, лес дорогой!.. Хоть ложись да помирай и «караул» не кричи!

— Это правда!.. Так оно и есть!.. — зашумели мужики, как ливень. — Ой, дрожь пробирает, как подумаешь, к чему все это клонится... уж и теперь тяжело, уже и нынче трудно...

— Землю можно получить!.. Были мы панские, теперь вольные... Дали нам волю, дали и землю... Мало теперь земли — дадут еще, — говорил Семен расплясь.

— Эх, кабы дал господь милосердный, кабы дал!.. И ведь слышно в народе, что будут отбирать панские земли и давать людям... Вот бы!..

— То-то, «вот бы»! Сказать «вот бы» не трудно... Тут надо что-то делать, а не лясы точить... Надо подать прошение прямо самому царю. Так и так, написать, обидно нам, несправедливо, пропадаем, земли нам нужно и детям нашим!.. И чтобы к тому прошению все руки приложили, все до одного, все общество, потому что общество — великая сила... А то еще лучше: выбрать от общества человека или двоих, пускай идут в столицу, к самому царю, пускай расскажут ему про нашу беду, про все наши нужды...

Люди столпились вокруг Семена, окружили его. Поднялась сумятица. Одни кричали, порываясь что-то сказать, другие прикрикивали на них: тише, тише, пускай он говорит!

— Я сам, — продолжал Семен, его лицо и глаза горели огнем, — я сам пойду, если ваша воля! Я ничего не боюсь!.. Я пойду, куда следует, я на колени упаду, я вымолю и добуду вам землю!..

Сход гудел, как рой. Каждому хотелось что-то сказать, что-то крикнуть...

Роман стоял поодаль и то и дело менялся в лице. Он странно усмехался в усы, слушая горячую речь Семена. Но, услышав о посылке в столицу ходока от общества, Роман вдруг встрепенулся, пришел в себя. Перед глазами у него промелькнули деньги, словно зашелестели в руках.

«Он не так глуп, как я считал, — подумал Роман. — Землю купил, а теперь, вишь ты, хочет странствовать на народные деньги. Знаем мы эти странствия на чужой счет. Ей-богу, Семен поумнее, чем я думал!.. Только ничего из этого не выйдет! Куда такому недотепе браться за это дело! Уж если итти в столицу, так кому же, как не сельскому писарю, человеку, который и грамоту знает, и обзести любого сумеет. Погоди, братец, не туда свой нос суешь».

Роман протискался в середину.

— Погодите, люди хорошие! — крикнул он. — Тут дело не простое. Ходили головы и поумней, чем Семен, и то вернулись ни с чем. Да ведь там, в столице, увидав такое чудище, сразу прогонят к чортовой матери: «Цыц, неумытый, в деревню, твое дело — цеп!» Некого выбирать, так цеповязал..

— А что же, тебя послать? — крикнул кто-то из толпы.

— Разве я говорю про себя? Разве не из кого выбрать? Э-эх, если бы я пошел, я бы уж знал, как там управиться, я бы знал, что к чему!.. А то — цеповяз!.. Ха-ха-ха!..

Семен хотел что-то сказать, но люди так загалдели, засуетились, что никто никого не слушал, ничего не было слышно. К молодым присоединились и старики, зашамкали.

Оно, конечно, хорошо бы сделать, как советует Семен, только дело это не простое, не то, что орех раскусил и вылушил ядрышко. Тут еще надо покумекать, умом пораскинуть... Выйдет ли что из него, из этого дела, или нет, а деньги давай... Деньги давай! Эге! Не больно-то легко нынче с деньгами: вынул — и на тебе!..

Сход пошумел, пошумел и разошелся.

Семен, злой и сердитый, торопливо шагал с площади.

«Стадо... бараны! — раздраженно думал он, — а не общество. — То-сё, то-сё, а как до дела дойдет, разбредутся, расползутся, как кучка червяков на солнце... Тьфу!.. Ну, да все равно! Я один это сделаю, один! Не надо мне никого!.. Обойдусь!»



На еврейском постоялом дворе, в маленькой комнатке, освещенной неверным светом свечи, сидят близко друг к другу Семен и ходатай-еврей. Лысый еврей, с глазами на выкате, подняв на лоб здоровенные очки и заткнув перо за ухо, угодливо наклонился к Семену и спрашивал:

— Вам прошение написать в суд, пан хозяин? Можно... Верно, подрались с кем-нибудь в корчме? Ну что ж, почему и не подрасться, на то бог дал праздник и водку.

— Нет!

— А может, к мировому: может, судитесь с кем из-за земли?..

— Да нет!.. Напиши мне, Мордка, к самому царю...

Мордка в ужасе откинулся назад, сдвинул очки на самую лысину и выпучил белки на Семена.

— Вы не пьяны ли, часом, пан хозяин, дай вам бог доброго здоровья? — спросил он растерянно.

— Нет, не пьян... Напишешь, что скажу. Только говори, сколько тебе дать за прошение? Без запросу, как с родного отца!

Мордка, сложив руки на животе, завертел большими пальцами и поднял глаза на потолок. Он что-то обдумывал.

— Вот что, пан хозяин, — ответил он наконец, — когда я пишу в суд — беру рубль, когда пишу к мировому — полтора, а если к царю, так разве много будет — синенькую?

— Гм... А меньше не будет?

— Нет.

— Побойся ты бога, спусти хоть малость.

— Не могу.

— Ну, пиши...

Мордка быстрым движением сбросил на нос очки, поплевал на пальцы, оправил свечу и приготовился писать.

— Пиши так, — начал Семен, придвинувшись еще ближе к Мордке. — Пиши так: «Пресветлый наш царь и отец! Мы все твои дети — и паны, и мужики. Мужик дает рекрута, мужик платит подать...»

— Ай-ай-ай, пан хозяин! Побойся бога, могу ли я писать царю по-мужицки? — воскликнул пораженный еврей.

— Пиши, как говорю. Ведь не даром пишешь.

Мордка пожал плечами, усмехнулся и принялся писать. Семен диктовал ему. Его мысли, родившиеся в сердце и созревшие в голове, текли свободно, как прозрачные воды в зеленых берегах, и укладывались ровными строками на бумаге. Еще не было на свете челобитной, написанной в такой душевной, неизощренной форме и полной такого чистого чувства, такой глубокой веры в свою правду, такой надежды на победу этой правды.

Свеча в фонаре истекала растопленным салом, потрескивала и чадила черным фитилем, а Семен горящими глазами напряженно следил за Мордкой, выводившим на бумаге строку за строкой и порой незаметно усмехавшимся.

Когда Семен отнес на почту и отправил свое прошение, ему стало легче на сердце, словно он сбросил с него какое-то бремя. Теперь все пойдет хорошо, лучшая доля — не за горами. Когда-нибудь скажут ему спасибо за его хлопоты. Не отцы, так дети скажут спасибо. Он будет уже старый, немощный, и так приятно будет слышать, как со всех сторон будут благодарить его: «Спасибо, дедушка, спасибо, что спасли нас»: Хорошо было Семену, но он ждал лучшего.

Прошел месяц и второй, а из столицы ответа что-то не шлют. Но все равно, скоро должны прислать. Прошли и жнива. Семен продал немного хлеба и отдал пану Янковскому пятьдесят рублей долга. Роману нечем было выплатить хотя бы часть, и это немного угнетало Семена, тем более, что брат уже намекал ему об уплате.

Настала и осень, а из столицы — ни гу-гу. «Что за притча? Чего там так долго раскачиваются? Верно, долго, но разве там одно дело? Там, может, работы — сила!» — успокаивал себя Семен, хотя и чувствовал, что давит ему что-то на сердце. Порой точит сердце, как червяк... Через кого пришлют ответ? Почтой ли прямо на Семена, через волость, или через станowego? Эта мысль волновала Семена, его сердце начинало сильнее биться, едва до ушей долетало позвякивание колокольцев или когда он встречался с сотским. Семен частенько

наведывался на почту, расспрашивал, нет ли ему письма из столицы. Ответ не поступал, хотя время шло и принесло земле снежные покровы.

Семен ждал, не теряя надежды. Но постепенно беспокойство овладело Семеном. Он стал обидчивым, нетерпеливым. Его раздражало каждое жалостливое слово Домны, которая знала, что творится с мужем, и каждый вопрос матери. Он вздрагивал и вскакивал с лавки, когда кто-нибудь входил в хату. Порой во сне ему представлялось, как сотский приносит ему долгожданную бумагу, и Семен просыпался и стремительно выбегал во двор. А то померещится ему, что скоро или вот сейчас должны позвать его к становому. Он усядется тогда на лавку и ждет. И достаточно в то время кому-нибудь стукнуть дверью в сенях, чтобы сердце Семена замерло, а похуевшее лицо мгновенно побелело. Семена съедала горячка, он был почти болен. Крестины сына, которого Домна родила осенью, не смогли отвлечь опечаленного Семена, не развеяли его горьких дум, его тоски...

Прошло рождество, отпраздновали и крещение, а из столицы нет вестей.

«Не отправили, — думал Семен о своем прощении, — не дошло».

Эта мысль немного успокоила Семена. Не дошло — значит, нечего ожидать ответа. Но призрак надвигающегося безземелья, исчезнувший на некоторое время, опять возник и стоял перед ним, во всем своем грозном обличье. Прежние думы снова волнуют Семена, снова точат его, как шашель дерево, и нет у него сил избавиться от непрощенных гостей... Мысли одна за другой, мечты, сменяя друг друга, катятся в бедной голове цеповяза, как волны на бескрайнем раздолье моря, которые не в состоянии больше спорить с беспрестанными порывами могучего ветра.

Разгоряченное воображение Семена переносит его в грядущие времена, в те времена, когда людям станет тесно на своей земле, когда, обнищавшие, голодные, они разом полной грудью воскликнут: «Смерти нам или земли!» Но земли нет, смерть не приходит, и голодные, возмущенные толпы, полные отчаяния, изверившиеся, ринутся на богатых, на тех, у которых земли немерянные и которые не знали ни голода, ни холода. Рушится

все, проливается море крови народной... И не остановить тогда смуты, как не остановить метелицы, как не остановить ливня, затопляющего землю, несущегося бурными ручьями, сокрушающего на своем пути все преграды...

Семену становится жутко. Не захворал ли он, случаем? Что это ему мерещится, представляется? И он силится развеять эти вздорные видения здоровыми мыслями. Может ли то случиться, что ему привиделось? Земля вся делится на клочки, людей становится все больше, а земли не прибывает. Уже и теперь немало бобылей, а дальше больше будет, — это каждый видит и знает. Дальше. Голодный волк среди бела дня, не боясь смерти, хватает овцу из стада, а голодный человек немногим лучше волка. И это очевидно. Ну, а если так... если так, то все это может случиться... Семен чувствует, что его видение вырастает в идею, в которую он верит и которая в то же время приводит его в ужас... «Как же это могло быть, что до таких простых вещей не додумались еще? — дрожа, как в лихорадке, думал Семен. — Неужели до этого никто еще не дошел своим умом? Видать, что нет, потому и не борются со злом... Это уже меня так бог надоумил, снял бельма с глаз, чтобы я других, что поумнее и посильнее меня, наставил на путь... И я открою, я должен открыть свою мысль, но только одному царю и больше никому... Нечего посылать прошения, все одно не пропустят... Надо непременно самому, на словах... — Семен соображает, что на дорогу в столицу нужны деньги, а у него пока еще одни долги, но вскоре он успокаивается: — Все равно! Не сейчас, так через час, а своего добьюсь!..»

Надежда опять согревает больное сердце Семена, цеповязу опять есть чем жить.

И у Романа есть своя идея, да еще и хорошая идея, такая хорошая, что даже при одном воспоминании о ней улыбка освещает его лицо. Роман утвердился в мысли, что те три морга земли, которые недавно купил Семен и которые словно сам бог пристроил к его, Романа, полоске, не нужны Семену. Конечно, не нужны, он не умеет их ценить. Не будет пользы брату от этой земли, потому что попусту тратит свои силы, разбрасывает их на глупости.

Вот недавно Мордка хвастался, что взял с него пять рублей за какое-то там прошение... И что от этого прошения? Если бы польза какая, а то — беды, что ли, не видел?.. Ну, поел бы на эти деньги получше, пропил бы их — все бы с пользой, а то всяким пройдохам сует их! Нет, не нужна такому земля, все одно без пользы. А это грешно. Вот и батюшка в церкви говорит: «Всякому имущему дастся, а от неимущего и то, что имеет, отыметя...»

А кто же отнимет? Роман никому не даст отнять, он сам отнимет эту землю... Только как же это сделать? Взыскать через суд долг, — так Семен еще мало занимал, еще не время... Вопрос этот клином засел в голове Романа, но он в конце концов успокоил себя. «Как-нибудь обойдется! Не тыква же у меня на плечах, а голова, да еще и не какая-нибудь!»

Промелькнула мотыльком весна, пробежало, словно один день, лето. Принялись люди серпы точить, готовясь к жнивью. У Семена рожь уродилась на диво. Густая, высокая, она клонила долу тяжелый колос, словно тянулась к колосьям нивы Романа, которые торчали вверх, редкие и мелкие. Это зрелище невыразимо раздражало Романа.

— Взбеситься можно! С ума сойду, если не отберу этого поля! — говорил он, стискивая зубы. — Я его подожду... Ей-богу, подожду... Пускай пропадает... Нет, не пропадет, бездельник, дам денег на хату, еще раз одолжу, а будет земля моя! Как сказал — так и будет!

И Роман с угрозой поглядывал на младшего брата, который уже начал жать поспевшую на краю поля рожь. А Семен не знал, не ведал ничего и не чувствовал даже врага. Он жал, озабоченный собственными мыслями. Пошел слух, что в Межибож, где собралось много войска, должен вскоре прибыть кто-то из царской фамилии. Этот случай был наруку Семену. До Межибожа не так уж далеко, можно туда поехать, вот только бы сжать да вывезти хлеб. Уж он непременно подаст прошение, вымолит согласие и денег на дорогу, поедет в столицу и откроет свою тайну царю...

Люди кончили жать. Заскрипели возы, замотали головами круторогие, спускаясь под гору с высокими, как хата, возами золотых снопов. Семен перевез свой хлеб

раньше всех и сложил в клуню. Он спешил двинуться в путь.

Было чудесное августовское утро. Солнце встало ясное, веселое, умытое и тут же заиграло в золотистых стогах ржи и пшеницы, которые красовались в каждом дворе. Воробьи с чириканьем хлопотали возле стогов, где было немало осыпавшегося зерна. В селе было пусто и тихо, люди еще не все закончили в поле. Двери в хатах повсюду были на запоре. В хате Наумихи тоже не было никого, потому что Семен, решивший вечером ехать в Межибож, хотел заготовить жене дров и отправился в лес, а женщины копали картошку в поле.

Роман шел улицей ему понадобилось к тестю. Он еще издалека увидел стожки и клуню брата, которая стояла, полная снопов, у дороги. Романа так и кольнуло в сердце.

«Какого хлеба наворил! — подумал он с завистью, почти с ненавистью. — Продаст и принесет мне долг... хоть не весь, часть... и не видать мне этой земли, как своего носа. Есть у него хлеб... есть! А если бы того... — Роман поправил табак в трубке, — хватило бы огоньком — и нет его... Только куча пеплу лежит вместо хлеба. Что ему станется? Одолжил бы я ему на хату... Зато и полоску заполучил бы! И чего, глупый, испугался? — произнес Роман, озираясь вокруг; зубы у него стучали, как в лихорадке. — Ни живой души нет... не увидят... Вот взять эдак, — Роман достал из кармана трут: — сделать так, — он поджег трут огнем из трубки, — а потом так... и все, — Роман бросил тлеющий трут на скирду соломы, лежавшую возле риги, и собрался бежать. Ой, беда! Что же это такое? Ноги словно приросли к месту, силы вдруг пропали, он не в состоянии двинуться, и в то же время соображал, до боли в мозгу понимал, что не может, не должен стоять... И все же он стоял, чувствуя, как вся кровь его сбежалась к сердцу, и не мог отвести широко раскрытых глаз от трута, который разгорался в соломе на ветру.

Роман напряг все свои силы, всю волю и, обливаясь холодным потом, неуверенным шагом почти побежал прочь.

А над тихим, мертвым селом уже понеслось с колокольни тревожное: бам, бам, бам... Это кто-то, увидев

сноп черного дыма, взвившегося под самое небо, бьет в набат. Все, кто только оставался в селе — одни складывали стожки, другие копались на огородах, — все высыпали на улицу, смотрели по сторонам в поисках неумолимого деревенского врага в летнюю сушь. Кто горит? Где?.. Кажись, Иван Галузка?.. Нет, Яков Коваль!.. Наумихина хата!.. Наумиха горит! — кричит кто-то с крыши, куда залез, чтобы лучше видеть... И все понеслись туда, где тучей вьется черный дым, перемежаясь с волнами пламени.

Вот слышно, как шлепает кто-то босыми ногами по улице. Это десятский, без шапки, нараспашку грудь. Он кричит, тяжело сопя и покашливая:

— Пожа-ар!.. Кхе, кхе! Пожа-ар!.. Кхе, кхе!..

Десятский уже исчез, его выкрик «пожа-ар» тихо доносится из-за хат, но это шлепанье босых ног, тяжелое дыханье взволнованных, бегущих людей, неумолкающий звон колокола, чад и дым, разносимый ветром, наполняют воздух невыразимой тревогой, и тревога охватывает всех.

Вот перепуганные люди бегут с поля прямо на черное облако дыма.

— Ой, матушки, никак наша хата... Ой! Ой!..

— Да это же в нашей стороне! Около Наумихи!..

Пыль взвивается из-под стремительных от страха ног, узкие подола женщин шуршат, хлещутся о сапоги.

Возле Наумихиной хаты — содом. Огонь охватил клуню, стога и перекинулся на хату. На дворе жарко, как в аду. С раскрасневшимися лицами, обливающиеся потом, измазанные грязью, люди суетятся около огня, пытаются погасить его.

— Хлеб спасайте! Хлеб! Разбирайте клуню!..

— Не ломайте, не надо! Тушите так!..

— Разбирайте, говорю!

Пылающие стропила рухнули под дружным напором, выстрелив кверху ясными искрами, а из середины клуни вырвалось внезапно пламя и затрещало.

— Воды!..

Несколько ведер воды выплеснули в огонь; огонь зашипел, притаился, дынул чадом и черным дымом, а потом снова вырвался, еще более сильный, мощный, как неодолимый победитель.

— Тащите снопы!.. Гасите снопы!..

Но пользы от этой работы мало: колосья уже обожжены, продымались, и снопы только чадили, политые водой.

Из хаты выносили одежду, всякую мелочь и складывали в груду. Люди столпились вокруг хаты, желая спасти хоть ее. Но тщетно: огонь взвихривался, бесился, как лютый зверь, бросался на все, что могло гореть, вырывался там, где и не ожидали. Он словно глумился над своим противником — водой, которая оказывалась бессильной в этой схватке.

Хата уже почти догорала, когда прибежали с поля Наумиха с Домной. Как увидела Наумиха, что тут творится, так и руки заломила.

— Ой, добро мое, добро трудовое!..

Она кинулась к хате, но там только головешки рдели, да кое-где прыгали языки пламени. Наумиха метнулась к стожкам, а они стояли одни черные, испепеленные, другие тлели еще, как жар в печи...

Наумиха подняла руки к небу.

— Боже мой, боже!.. Что с нами будет!.. Люди добрые, — молила она, протягивая руки к людям: — спасите мое добро, спасите!..

Но спасать было уже нечего.

Домна плакала навзрыд, прижимая ребенка к груди, почти теряя сознание.

— Сын мой, сыночек, настигла нас злая беда... Пропали мы, горемычные, погибли...

Молодицы обступили Домну, успокаивали ее, уговаривали.

— Бог знает, откуда и отчего занялось... Может, дети с огнем баловались, а может — жар в печи остался, бывает...

Но вот верхом прискакал из лесу Семен. Он, как слез с лошади, как встал у пожарища, молча, сложив руки, так и застыл. Он сам не знал, что с ним творится. Словно глупый камень, оторвавшись от высокой-высокой горы, упал ему на голову.

Роман тоже заявился на пожар. На лице его отражалось беспокойство, — ну что ж, на то он и брат, чтобы переживать беду Семена. Он все спрашивал людей: откуда начало гореть — с хаты или с клуни, и какая



могла быть причина пожара: не подожжено ли, или, может, сами неосторожны были с огнем? Но никто ничего не знал, у каждого была своя догадка.

Роман подошел к матери и стал уговаривать старуху, отводя в сторону свои беспокойные глаза.

Полно убиваться... Так уж, видать, суждено... Как-нибудь все устроится: он, Роман, не даст им погибнуть, пособит и лесу купить, и хату поставить... Вот он поговорит с Семеном, может, вдвоем что и надумают...

Наумиха слушала и только безнадежно качала головой. Она, словно улитка в раковинку, ушла в свое горе и не ожидала уже лучших дней...

Семен едва пришел в себя. Он подходил к обгорелым снопам, разбросанным всюду по двору и дымившимся, переворачивал их, разглядывал. Вот лежит его труд, его кровь, его надежда: черная, мокрая, дымная. Вот смотрят на него черные обожженные развалины хаты, раскидано по залитой водой земле всякое добро, ломает руки жена, как смерть ходит мать...

Но странное дело: Семен смотрит на все это, как на чужое, в его сердце нет той острой боли, той жалости, какие должны быть. Семен это и сам замечает, ему даже странно... Он чувствует, что ноги сами, помимо его воли, несут его по двору, руки сами поднимают всякое тряпье, складывают в сарай, каким-то чудом уцелевший от огня. Он словно равнодушен ко всему. Как будто и в самом деле камень, упавший на голову, придавил мозг и в нем не пошевеливается ничто.

Пожар потушили, люди разошлись. Только три фигуры хозяев бродили по пожарищу, как тени. Так застала их ночь. Никто и не думал спать, об ужине тоже не было и в мыслях. Они сошлись в садике, около хаты. Наумиха, покрытая черным платком, стояла, опершись об угол безверхой хаты, сложив руки на груди, и грела босые ноги на теплой еще земле. Домна с распухшим от слез лицом сидела на завалинке и кормила ребенка. Семен пристроился поодаль под обгоревшим деревом. Они молчали, и мысли их черными воронами летали по пожарищу, бились среди этих черных стен.

«Уплыло мое добро, — думала Наумиха, — как с пеной по воде унеслось и не вернется... Не одну ночь я не спала, не один день горько работала, здоровья

лишилась, а теперь — где оно все? Пеплом покрылось... В этой хате выросла я, век прожила, добро и зло видела... Я же ее сама и белила и приглаживала, пылинку сдувала, как за ребенком присматривала. Умру, думала я, в своей хате, где каждый уголок видел мое счастье и горе. И вот не пришлось... Что ж, с богом не поспоришь, на все его воля».

Ребенок завозился на руках у Домны, захныкал, проснувшись, а Домна так и залилась слезами.

— Не плачь, дочка, — сказала Наумиха, — слезами горю не поможешь... На свете больше земли бугристой, чем ровной, человек больше обязан горя принять, чем радости.

Наумиха не плакала. Горе засухой легло на ее глаза, осушило слезы.

А Семен сидел и бездумно смотрел на звездный горизонт, светившийся среди деревьев. Собственно, в его голове мелькали обрывки мыслей, проносились неясные образы, но он никак не мог уловить их, связать воедино. В конце концов он почувствовал, что по телу его словно мурашки поползли. Семен запахнул свитку, но его пробирала дрожь. Он решил подняться с места, обернулся в сторону хаты и взглянул на черные, ободранные стены. И тотчас ясно и отчетливо ударила ему в голову мысль: «Сгорела хата, сгорел и хлеб...» Семен почувствовал, что сердце его внезапно оборвалось и упало... в груди сжалось, в голове колесом, колесом завертели мысли. Потом колесо завертелось медленнее, тише и с каждым движением открывало действительнее... мозг Семена стал вбирать в себя все мельчайшие подробности этой действительности, и из этих подробностей составлялась невеселая картина его положения, вырисовывалось безотрадное будущее.

Семен стал ходить вдоль обгорелых стен.

— Сынок, — обратилась к нему Наумиха; — не кручинься, не тоскуй... С богом не поспоришь... Надо что-то делать, а не тосковать.

— Знаю, что надо, — отозвался Семен, — а что мне делать-то, к чему руки приложить?

— Кажись, Роман, когда был на пожаре, говорил, что поможет. Лесу, говорил, куплю или еще что... Уж и не упомяну... Пошел бы ты к нему, посоветовался...

— Ладно, мама, пойду.

— Ведь он, Роман-то, не такой уж и плохой, как я думала, — словно сама с собой говорила Наумиха, но Семен ее не слушал: он обдумывал, с чего начать.

А на востоке уже порозовело. Налетел шаловливый ветерок, предвестник рассвета, разбудил птиц, деревья, нарушил ночную тишь, спугнув сладкую дремоту и наполнив ее предрассветными голосами.

Почуяли и кони Семена, что светает, и заржали, голодные, в сарае.

Семен встрепенулся: это ржанье напомнило ему, что он собирался вчера в дорогу: «А я позабыл! — усмехнулся он огорченно. — Неужели мне теперь и не ехать?.. Как! Чтобы я упустил такую оказию?.. Никогда! Поеду, сегодня же поеду, и все тут!»

Эта мысль подбодрила Семена, и он даже заснул на минутку, примостившись на траве под деревом.

Утром Семен пошел к Роману. Роман одолжил денег на хату и пообещал еще дать телегу, съездить в лес за материалом. Семен немного успокоился. Он решил непременно ехать сегодня в Межибож, чтобы не опоздать. Сказав жене и матери, что он поедет в лес поглядеть, где есть получше материал и задержится, может, денька на два, Семен отправился в путь с заблаговременно приготовленным прошением.

\* \* \*

Со спокойным сердцем, полным надежды на счастливое окончание его дела, возвращался Семен из Межибожа домой. Правда, не все так сложилось, как хотелось. Из царской фамилии никого не было в лагерях, и Семен подал свое прошение самому старшему генералу, который весь так и сиял от крестов и золота. Генерал, спасибо ему, человечный такой, ни крохотки не сердитый, взял прошение, отдал спрятать... Уж он, видать, верный царский слуга, уж он бы не должен обмануть...

Бодро, с юношеской энергией принялся Семен ставить хату. Он навозил материала, поправил обгорелые стены, поднял кровлю. Бабы обмазывали стены. Семен крыл хату соломой. Работа кипела, горела в руках. Не успели оглянуться, а хата уже стояла, и еще выше и

прямее старой. Спасенные от огня снопы обмолотили, собрали немного зерна, пригорелого, правда, но, смешав его с занятым в магазее, можно было есть. Просо стояло еще в поле, кукурузу Наумиха еще тоже не ломала, — была надежда на приварок. Как-нибудь обойдется. Зимой можно извозом заработать рубль — другой, бабы возьмут у пана, а потом отработают на бураках, телушку можно продать... Надо умом пораскинуть... Что ж, жив человек, живет и вперед загадывает.

В хлопотах и труде Семен даже забыл о своем прощении. Но вот — под воздвиженье — прибежал сотский звать Семена к становому. У Семена екнуло сердце.

«Это, может, ответ из столицы пришел», — подумал он, торопливо шагая по селу. Ему было и радостно, и боязно в то же время, тревога поднималась в сердце, всякие догадки проносились в голове. Семен чуть не помешался от нетерпения, ожидая, когда становой пообедает. Наконец его позвали в канцелярию. Становой стоял посреди канцелярии с бумагой в руках.

— Ты подавал прошение на царское имя? — спросил он Семена.

— Я.

Становой положил бумагу на стол и взглянул на Семена.

— Ну, теперь скажи мне, что ты хотел сказать царю.

— Этого я никому не открою, ваше благородие, кроте царя.

— И мне не скажешь?

— Нет.

— А если я тебе велю?

— И тогда не скажу.

— Как? Что? Меня не слушаться! — загрохотал становой на всю комнату, топнув ногой.

— Чего топаете?.. Я никого не боюсь, ведь я ничего...

— А теперь скажешь? — заскрипел становой зубами и ударил Семена по лицу.

У Семена посыпались искры из глаз. Какая-то сила бросила его вперед, но он сдержался.

— Нет, — сказал он сквозь зубы.

— И теперь не скажешь? — и новая оплеуха по другой щеке.

— Сашенька, разве можно так после обеда? — вскочила в канцелярию жена станового. — Это ж тебе вредно... Вон! — крикнула она на Семена, видя, что становой снова собирается наброситься на него.

— Сашенька, оставь... побереги себя...

Семен метнулся к двери.

— Попробуй у меня еще раз написать такое прошение, — крикнул становой Семену вдогонку, — я тебя... я тебя разорву!..

Семен выскочил из комнаты и скорым шагом, с шапкой в руках, ничего не видя, пошел по дороге... Он шел быстро, не замечая, что идет не домой, а неизвестно куда. Он не чувствовал, что у него болят щеки после «беседы» со становым, он чувствовал, как что-то жжет его глубоко... там, под сердцем. Семен остановился.

— Только и всего? — сказал он вслух. — Только и всего из моих хлопот?! — и слезы у него набежали на глаза. — А! Пропави он пропадом! — крикнул Семен в отчаянии и хлопнул шапкой оземь. Он сел у дороги и закрыл лицо руками. Еще никогда ему не было так тяжело, так горько, еще никогда не щемило так сердце, как теперь... Чего он ждал, чего надеялся!

Это были дым, мгла, которые рассеялись от дуновения действительности, и по мере того как таяла эта мгла, в голове у него становилось яснее, а на сердце ложилось бремя безнадежности...

Эта безнадежность причиняла Семену боль, сильнее самой тяжелой раны.

Уже в сумерках пришел Семен в себя и, разбитый, изверившийся во всем, поплелся домой.

А дома его ждала новая беда. Наумиха встретила его с повесткой из суда, которую принес десятник. Роман взыскивал с Семена деньги, которые ему одолжил. Семен даже руками всплеснул.

— Вот тебе нá! Это еще что за диво!

Он побежал к брату.

«Разбойник! Людоед!.. Он хочет моей гибели! — волновался он дорогой. — Задушу его, как гадину!..»

Но душить было некого. Семен не застал брата дома, он куда-то уехал.

Не было его и на второй и на третий день. Даже на

суд Роман не явился, а прислал вместо себя лысого Мордку.

Деньги, конечно, с Семена присудили, а так как Семену нечем было уплатить, то продали три морга тучной земли, купленной им у пана Янковского. Эту землю купил не кто иной, как его родной брат.

— «Глупый упустит — умный поднимет», — приговаривал Роман.

\* \* \*

И опять перед Семеном черное, вспаханное поле с оврагами и ложбинами, еще более черными, более печальными. И опять Семен — батрак, пашет панскую землю, покрикивает на чужих волов.

Осеннее солнце садится за горой, на горизонте становится красно, как в горне. Белый туман катится по оврагам и ложбинкам...

Семену безразлично, что садится солнце, что из оврагов надвигается ночь, неся отдых всем труженикам. Он, как и утром, усердно налегает на плуг, ровно режет черную землю борозда за бороздой.

— Не кручинься, Семен! — кричит ему погонщик. — Ишь, как солнышко ради нас, батраков, спешит на отдых... вон, только макушечка рдеет... вот точка... еще миг — и конец работе!..

*28 января 1893 г.*

## МАЛЕНЬКИЙ ГРЕШНИК

### Рассказ

#### I

Дмитрик, восьмилетний хлопчик, выскочил из душевой низенькой хаты, ушедшей по самые окна в землю. На улице было лучше, чем в хате. Солнышко поднялось уже высоко и пригревало. Снег так сверкал, что трудно было на него смотреть, и Дмитрик щурил глаза. Была оттепель, с крыш капало, с пригорка бежали, словно весной, ручейки талой воды, весело чирикали воробьи, еврейские козы бродили по площади, отыскивая, не остался ли клочок сена после вчерашнего базара. Эта теплынь, этот совсем весенний день среди зимы манили Дмитрика, влекли вдаль, на волю, вон туда, в город, где подымается в голубое небо остроконечный купол перкви, где зеленеют и краснеют крыши каменных зданий. Однако Ярина, мать Дмитрика, уходя с ведрами на поденщину, приказала ему сидеть дома. Вот почему Дмитрик был такой грустный. Он следил глазами за матерью, которая, согнувшись под тяжелыми полными ведрами, переходила улицу, — и видел, как в грязных хатках вдоль улицы открывались двери, как высывались из них еврейки и окликали его маму:

— Ярина! Скорей несите воду, кадка порожняя!

Дмитрику на минуту жаль стало матери, больна — не больна, все равно весь день она должна таскать воду, зарабатывать на хлеб. Да не такая была погода, чтобы грусть долго владела его сердцем. Все вокруг было такое радостное, веселое, что из головы Дмитрика вылете-

ли неведомо куда и мать, и наказ сидеть дома; он и не заметил, как ноги, обутые в большие заскорузлые сапоги, сами собой вынесли его на улицу. По дороге Дмитрик дернул за хвост козу и весело засмеялся, когда коза смешно завертела рогатой и бородатой головой. Потом прицепился к задку панских саней, доехал до моста, откуда, шаркая большими сапогами, а иногда с разбегу скользя, помчался по льду в город.

На Дмитрике была старая материнская кофта, вата ключьями вылезала из дыр изорванной одежки, слишком длинные рукава болтались и мешали на ходу. Русую головку едва прикрывал старенький картузик с оторванным козырьком. Но, не стесняясь своего далеко не щегольского наряда, Дмитрик весело смотрел на мир божий большими серыми глазами, весело бежал вприпрыжку по людным улицам.

Вдруг он остановился, сделал жалобное лицо, протянул руку к какому-то господину, проходившему по улице.

— Подайте копейку!.. Мама больна!.. хлеба нет...

Господин взглянул на бледное личико мальчика, на его разорванную одежку и полез в карман.

Дмитрик, зажав в руке монету, побежал дальше. Это Гаврилка его научил. О, этот Гаврилка умный и сильный, страх какой сильный... Но где же он, этот Гаврилка?

— Дмитрик, сюда!..

Дмитрик, услышав знакомый голос, остановился.

— Ну, как? — поздоровался Гаврилка, подходя к Дмитрику.

— А вот посмотри, что у меня! — похвастался тот, показывая выпрошенный у пана гривенник.

— Мало! — решил Гаврилка. — Что на него купишь? Проси еще, да не ленись, побольше кривляйся, да пожалостней приговаривай: «Подайте, пан милостивый, подайте... мама умирают... есть хочется!» И не отставай, хватай за полы, пока не даст.

Митька усмехнулся.

— Разве я не знаю? Сам же меня учил... А ты почему не просишь? — спросил он товарища.

— Тоже выдумал! Недаром говорят: малое — глупое. Мне никто не подаст, ведь я большой, мне уже десять лет, да и свитка на мне целая, не то, что твоя кофта... Не лови ворон! — вдруг толкнул он Дмитрика в бок.



Дмитрик понял и, протягивая руку, побежал за каким-то господином.

— Подайте, пан милостивый... хоть копеечку подайте... мама умирают... два дня без хлеба сидим.

— Проси еще! — сказал Гаврилка, отбирая выпрошенные деньги. — Беги за той пани, у которой на голове перышко болтается.

Дмитрик побежал и принес еще малость.

— А где же Марийка? — спросил он.

— На улице где-то с еврейскими ребятами играет... Марийка! Э-э-эй!

Минуту спустя прибежала Марийка, до того закутанная в большой платок, что на свет божий выглядывал только остренький красный носик, словно разнюхивая, нет ли чего любопытного.

— Знаете что? — собрал совет Гаврилка. — У нас есть немного денег... А я сегодня утром в пекарне видел медовые пряники... Ну, таких еще никогда не видел... Это тебе коржик, а на коржике вроде как сметана, сладкая-пресладкая... Сверху помаслено да присыпано красным маком... — Гаврилка сплюнул — у него был полон рот слюны. — А сверху, знаете... вишня! Такая... словно ее только что с дерева сорвали.

— Ого! — вскрикнули разом Марийка и Дмитрик.

— Ей-богу... Пойдем, купим!

— Пойдем!

— А на три копейки возьмем папирос, — добавил Гаврилка.

— И спичек!

И дети, как стайка воробьев, поднялись с места и помчались вдоль улицы.

— Берегись! — слышался окрик. Позади что-то загремело, и добрые кони пронеслись мимо детей.

— Догоняй!.. Догоняй его! — крикнул Гаврилка, и все трое кинулись вдогонку за санями.

Дмитрик с Гаврилкой повисли на задке саней и притаились. Но, оглянувшись на Марийку, громко расхохотались. Да и было чего: Марийка, догоняя сани, поскользнулась и шлепнулась прямо в лужу. Грязная вода стекает с мокрой юбки, а Марийка стоит да еще растопырила испачканные пальцы. На беду услышал этот хохот возница, обернулся и хлестнул назад кнутом.

Дмитрик и Гаврилка с криком попадали на дорогу. Мальчики подбежали к Марийке.

— Мария, откуда ветер дует? — стал дразнить ее Гаврилка, дернув за кончик платка.

— Мария, откуда ветер дует? — дернул с другой стороны Дмитрик.

— Не трогайте, а то, ей-богу, маме скажу! — захныкала Марийка, утирая красный нос.

Мальчики еще немного пошалили, а потом вместе с успокоившейся Марийкой махнули на базар.

Гаврилка купил пряников, папирос и спичек. Расположились втроем под чьим-то забором и разделили сладости. Гаврилке, как всегда, досталось больше. Полакомившись, он извлек из кармана папиросы и протянул одну Дмитрику.

— Дай и мне! — попросила Марийка.

— Н<sup>а</sup>, коли хочешь!

Дмитрик затянулся и весь покраснел от едкого дыма, даже слезы на глазах выступили. Однако не бросил папиросы, боясь насмешек Гаврилки.

Марийка закашлялась.

— Ну их! Такое горькое да нехорошее курят, — сказала она, бросая папиросу.

— Вот баба! — пренебрежительно сплюнул Гаврилка, хотя его и самого тошнило.

— А теперь пошли бить того еврейского мальчишку, что нас задевал вчера! — распорядился Гаврилка.

Все поднялись и двинулись в еврейский квартал.

Мальчишку не нашли, а просто прошлялись в городе до вечера.

— Смотри ж, Дмитрик, выходи завтра! — приказывал Гаврилка.

— А если мамка не пустят?

— Тогда убеги!

Дмитрик бежал по льду, шаркая большими сапогами, и с ужасом думал, как отчитает его мамка за непослушание.

А мамка ничего не сказала: она лежала на нарах и стонала. Подняв, наконец, глаза на Дмитрика, Ярина выговорила:

— И где тебя носит, бродягу? Возьми там кашу в печке да поужинай!

Дмитрик поел каши из горшка, лег около матери и сразу же заснул.

Ему снились воробьи, козы, лакомства и другие радости бедных детей.

## II

Наутро Ярина едва поднялась и, когда взялась за ведро, чтобы пойти на работу, почувствовала, что не хватает сил.

— Что-то я, Дмитрик, занедужила, — сказала Ярина, — сил нет... Малость полежу, а ты побегни в город да купи хлеба... Вот тебе деньги... Да не мешкай...

Грустно было Дмитрику, жалко больной мамы, но только до порога. За порогом он забыл и маму и свою тревогу. Солнышко пекло, как и вчера, небо синело в вышине — чистое, безоблачное, ручейки о чем-то шептались друг с другом, по снегу прыгали овсянки и снегири. Весело! Дмитрик с радостным сердцем, рысцой бежал по льду, сжимая в руке данные ему на хлеб деньги.

Как нарочно, у самого города появился Гаврилка с санками, а в санках сидела Марийка.

— Садись, подвезу! — крикнул он Дмитрику.

Дмитрик с разбега вскочил на санки, чуть было не опрокинув Марийки, а Гаврилка повез их и, изображая лошадь, ржал и мотал головой.

— Тпру! Давай, Гаврилка, я повезу!

Дмитрик соскочил с санок и взялся за веревку.

— А что у тебя в руке? — схватил его за руку Гаврилка.

— Деньги... мамка на хлеб дали.

— Дай сюда!

— Как бы не так, нельзя — мамка бить будут.

— Дурак! Скажешь: потерял, и не побьет. Давай!

Дмитрик нерешительно отдал деньги.

— Вот, что я вам скажу, — начал Гаврилка. — Я тому еврейчику, который каждый раз нас задевает, все-таки надрал вчера пейсы. Но он грозился: соберу, говорит, наших ребят — и тогда не попадайтесь к нам в руки. А мы, знаете, что сделаем? Мы купим себе ножики: пусть только посмеют подойти, когда мы им покажем ножи.

Мысль обзавестись ножами всем очень понравилась. Дети устремились в лавку и купили три ножа. Осталась копейка, не знали, что на нее еще купить...

— А я есть хочу! — сказал Гаврилка.

— И я! И я!.. — крикнули в один голос Дмитрик и Марийка.

— Айда, Дмитрик, просить! — приказал Гаврилка.

Но, как на беду, сегодня не везло, хотя Дмитрик и корчил жалобные гримасы и плакался, что он сирота:

— Подайте сироте копеечку... смилуйтесь над голодным!..

Никто ничего не давал, а есть хотелось.

— Э, да что твое клянчанье! Вот слепой дед, что сидит возле моста, другое дело, у того полная торба всякого добра: там тебе и бублики, и яблоки, и пряники!.. — облизнулась при одном только воспоминании Марийка.

В голове у Гаврилки промелькнула мысль.

— Знаете что: эта торба будет наша! — решил он.

— Как бы не так, так тебе дед ее и даст: ты за торбу, а он тебя клюкой! — возразила Марийка.

— Не бойся! Сделаем так: ты, Марийка, купишь за копейку булку и подашь ее деду, а когда дед будет прятать булку в торбу, мы с Дмитриком, — я с одной стороны, он с другой, — чирк ножом по веревке... Марийка дернет торбу и наутек, а мы за ней... Хорошо, Дмитрик?

— Да, «хорошо»! А если дед запустит клюкой?

— Не бойся, не попадет! Пошли!

Слепой дед пел божественное и не предвидел беды. Пряча булку в мешок и обещая Марийке «спасение «душеньки», он вдруг почувствовал, что торба куда-то ускользает, что ее уже нет!

— Караул! Грабят! — завопил старик, но в ответ на его крики послышался только топот беглецов.

А Гаврилка уже делит добычу в еврейском дворе, притаившись со своей шайкой за поленицей.

Дмитрик чувствует детским сердцем, что так поступать дурно, но боится даже намекнуть на это: ведь Гаврилка изведет его своими насмешками.

Вот уж и вечер. Дмитрик знает, что ему пора уже домой, но боится показаться матери на глаза без хлеба и денег. Ведь мать накажет его!.. Эта мысль до того гложет Дмитрика, что он поверяет ее Марийке.

— Ночуй у нас! — решает Марийка. — А до завтра мать забудет, так все и пройдет.

И Дмитрик в первый раз в жизни ночует под чужой кровлей, вдали от матери.

На следующий день опять игры, смех, лакомства. Но к вечеру Дмитрик замечает, что у него тяжело на сердце. Почему-то хочется домой к матери. Пусть уж отколотят его, лишь бы дома быть, лишь бы услышать голос матери. Дмитрик не выдерживает больше. Бросает своих товарищей и бежит домой. Ему хочется прижаться к матери, попросить у нее прощения, поцеловать руку, которая не раз нежно гладила его по голове. Дома ли теперь мамочка или еще носит воду? Вот идет навстречу женщина, у которой они снимают комнату, она, должно быть, знает...

— Тетя, мамка уже дома или еще носят воду? — подбегает к ней Дмитрик.

Женщина останавливается и грустно качает головой.

— Относила, детка, она свое!.. Уж больше не будет носить! — отвечает она со слезами на глазах.

Дмитрик не понимает как следует смысла этих слов, но сердце почему-то сжимается. Он видит слезы на глазах у женщины, и тревога охватывает его.

— Сиротка ты — несчастный!.. Твоя мать уже где-то с богом беседует, — женщина внезапно начинает рыдать, она хочет приголубить Дмитрика.

Но Дмитрик вырывается из объятий и бросается дальше. Он все понял, и страшная безнадежность обняла его душу.

— Мамочка моя!.. — кричит он. — Мамочка! — слезы текут по лицу, маленькое сердце разрывается от жалости, а он бежит все дальше и ничего не видит перед собой. Он давно уже потерял свой картузик, несколько раз падал на скользкой дороге, полы рыжей кофты, точно крылья, развеваются от быстрого бега, а он все бежит и плачет навзрыд:

— Мамочка моя!.. Мамочка родненькая!

Однако, что это? Чей гроб везут на санях!

«Это мою мамку везут хоронить», — думает Дмитрик и изо всех сил кидается вперед. Он не видит, что за ним несутся лошади, не слышит, как кричат: «Берегись!»

А лошади уже близко, они дышат горячим паром над головой Дмитрика, вот уже над ним, рвутся вперед... и Дмитрик падает под конские копыта.

### III

Дмитрик лежит в больнице. Его сломанная нога — в лубке, она уже не так болит, как болела сначала, и Дмитрик может приподняться на постели. Он окидывает взглядом просторную комнату, где лежат больные, смотрит на сестру милосердия, склонившуюся над больным, и замечает, наконец, свой столик. Там между всякими пузырьками краснеет черенок ножа. Ох, этот ножик! Он вызывает в Дмитрике столько грусти, столько горечи, что Дмитрик поневоле отворачивается от него.

«Может, мать были голодны, а я покупал ножики... может, мать так, голодные, и умерли, не дождавшись хлеба... Не скажут маменька, не признаются, ведь их уже нет на свете... и никого у меня нет... сирота я безродный... Простят ли мамочка все, что я натворил? — думает Дмитрик, не вытирая катящихся по лицу слез. — Это, должно быть, бог наказал меня: зачем было обманывать людей и просить для больной матери? Зачем было говорить, что я сирота?.. Вот теперь бог и сделал так... А все этот Гаврилка: нехороший он хлопец, это он меня подстрекал... Нет, это я нехороший, зачем слушался Гаврилку... Не простит меня бог, не простит...»

И Дмитрик косится на угол, откуда из черной рамы уставилось на него суровое лицо бога-отца, и кажется Дмитрику, что не заслуживает он прощения, что никто не отпустит ему вины...

«Что со мной будет? — снуют в детской голове беспокойные мысли. — Куда я денусь?.. Кто накормит, кто оденет меня, ненужного калеку?.. Побираться?.. Нет, не буду и видеть не хочу этого Гаврилку, который научил меня руку протягивать. Буду что-нибудь делать, на хлеб зарабатывать. Люди добрые помогут... Но где же эти добрые люди? Э, я знаю, такие есть! Ведь недаром мамочка говорили, что свет не без добрых людей!..»

*2 февраля 1893 г.*

Винница.

## О Т О М С Т И Л

### Очерк

«Тихо, тихо Дунай воду несет...», а еще тише, еще спокойнее над пышным Дунаем. Южный воздух вобрал в себя, как губка воду, все лучи солнца и склонился трепещущей грудью над чудесным пейзажем, тысячами ослепительных искр осыпая широкую реку, которая едва заметно для глаза колышет свою желтую воду между песчаными берегами... А на румынской стороне, за тихим Дунаем, зеленые волны кудрявой рощи — это вербы стоят на страже между рекой и остроконечными горами, которые голубыми тенями легли на голубое небо и приковывают к себе взоры и манят в свою мгlistую даль...

Всчерело. Огромное пылающее солнце повисло над Галацом, над несметными мачтами, острия которых чуть виднеются в голубом тумане, над широкими плавнями, зеленеющими вдали высоким камышом.

По эту сторону Дуная, где раскинулся город Рени, у самой реки сидели двое. Котомки с привязанными к ним котелками лежали в стороне на песочке, запыленные сапоги и одежда свидетельствовали о том, что это были путники. Одному из них, одетому в широкие синие шаровары и молдаванский «капаран»<sup>1</sup>, было не больше двадцати пяти лет. Белая, надвинутая почти на брови качула<sup>2</sup> отчетливо оттеняла его смуглое энергичное ли-

---

<sup>1</sup> Кафтан.

<sup>2</sup> Шапка.

цо, орлиный нос, толстоватые губы под черными усами, карие глаза, печально и задумчиво глядевшие из-под густых бровей.

Что касается второго путника — человека лет сорока, то прежде всего бросались в глаза его буйные рыжие волосы, длинные растрепанные усищи, небритый подбородок, на котором щеткой торчала рыжая щетина, одутловатое лицо было испещрено мелкими морщинками и мутные серые глаза почти не оживляли его.

Путники только что выкупались, рыжий расправлял мокрые усы, с которых капала вода, и застегивал неопределенного цвета пиджачок, составлявший вместе с такими же изодранными штанами, заскорузлыми от грязи опорками на босу ногу да засаленной фуражкой весь его убогий наряд.

— А-а! Хорошо! — кряхтел рыжий. — А глянь-ко, Свирид, как вода прибывает!.. — обратился он к товарищу

— Где-то в горах дожди прошли, — ответил Свирид. — Трудно нам будет, Лука, через Прут переправляться в Молдавию, ведь и Прут, верно, разлился, как весной...

— Не горюй, казак! Пускай те горюют, у кого деньги водятся... Одно скверно: вода прибывает, а в горле сухо, но мы сейчас этому делу поможем, — сказал Лука, придвигая к себе изрядную бутылку с вином и приветливо ей улыбаясь. — Три ока «джина»<sup>1</sup> — заметь себе... — Лука приложил бутылку ко рту и с блаженной улыбкой начал жадно тянуть из нее. — А-а! «бун джин»<sup>2</sup>. Хорошее вино!.. Нá, пей!.. Хорошее, говорю, вино... а бывало, когда-то, братец мой, я на такое вино и не глядел бы... Венгерское, благородное шампанское, портвейн, бордо — вот, что я пил. Был когда-то его благородие, поручик Лука Иванович, помещик подольский, а теперь... босяк, владелец городских свалок, бродяга — «рыболов»... Дай-ка, братец, еще «джину»... Вот так! Ты почему не пьешь? Пей, закусывай: вот тебе брынза, перец... Ешь, пока есть что! Эх, было когда-то.. А знаешь, кого я встретил здесь, в Рени?... Нет, сроду не угадаешь... да и

<sup>1</sup> Вина.

<sup>2</sup> Хорошее вино.



как тебе угадать, когда ты ее и в глаза не видел, а я... кажись, месяца два прошло, как встретил на матуле<sup>1</sup>... Иду я себе за «джинном» в кабак, вдруг вижу: стоит на пороге молодуха... Как глянул — так и узнал сразу. Она! Полюбовница моя бывшая!.. Подурнела чуть, похудела, но осталась все та же талия гибкая, все те же глаза глубокие, которые, кажется, все видят, что ты прячешь в сердце даже от самого себя... Взглянула на меня, и хоть бы что, должно быть — не узнала!.. Совестно было мне с нею заговорить, видишь ли... такое было между нами: лет пять тому назад, братец мой, не пил я, как сейчас, из бутылки и не с бродягами пьянствовал, а в благородной дворянской компании разливал дорогие вина, словно эту вот воду... Потому была, братец мой, и земля, и усадьба, челяди полно... одно словцо — покочик... Было да сплыло, кто знает куда — вот как: фью-ю! и нет... Так что я хотел сказать?.. Да, о девушке. Как раз за год до того, как евреи за долги забрали мое добро, поступила к маменьке моей в горничные девушка одна... Та самая, которую я встретил в Рени... Красивая была девка, такая красивая да свежая, что бывало, как взгляну на нее, в сердце так и запечет. А гордая, строгая — не подступись!.. Как-то раз сунулся я было к ней, а она как толканет меня в грудь!.. Меня — дворянина!.. Расчет потребовала, да мать не отпустила. Подожди, — думаю, — ты заупрямилась, заупрямлюсь и я... Рассердился сначала... Такой злой да сердитый, не подходи... Только ору на девку. А потом, братец мой, потихоньку, помаленьку начал приручать ее... То слово ласковое скажу, то гостинца привезу... Вот моя девица и перестала брыкаться... Крутил я, вертел, словно рыбу на крючке водил, пока не добился своего... И жил я вот этак, братец ты мой, словно в раю с полгода... Тут тебе, что ни день, пирушка, компания отличная, вино льется рекой, карты, всякая там роскошь... а тут девушка обнимает, душу выворачивает глазами глубокими да синими, как море в ясную погоду...

Дай-ка, братец, «джину»!.. Х-хе! «бун джин»!.. Недолго я блаженствовал так. Приметила покойная маменька, что с девкой дело неладно, посоветовались мы и

<sup>1</sup> М а т у л а — по-молдавски: большой бредень.

отправили ее. А тут вскоре пошло с молотка мое добро, маменька умерла, товарищи отвернулись, и остался я один, как перст, без денег, без приюта... Э, что я вру — без приюта!.. Приют был: от кабака к кабаку, от Сруля к Мошке — всюду свой дом, всюду свои люди... Напьюсь хорошенько, выплюсь еще лучше: канава под бок, камень под голову, небом укроюсь — сплю, обходите стороной его сиятельство, господина бродягу, владельца городских свалок!.. Приезжай, Свирид, в гости: приму тебя в собственном имени, и не будешь знать, как и благодарить!.. А ты чего сидишь грустный да, как сын, насупился? Пей, не горюй! Пусть горюют те, у кого две рубашки, а у кого одна — страхни с себя горе, да пей, пока последнюю не спустишь!

— Отчего я горюю, спрашиваешь? — отозвался Свирид. — Так, что-то грустно сегодня!.. Сговорились мы с тобой в Молдавию податься, поискать счастья за границей... Но кажется мне, не утопим мы горя, реку переплывая, и не отделаемся от него, в плавнях скрываясь... Всюду нам, бобылям, одинаково... Четыре года бурлачу по Бессарабии, думаю уйти от горя, оставленного на Украине, да никак не удается... Я от злой судьбы — она за мной. Пойду тише — беда меня нагоняет! Пойду быстрее — сам беду догоню... Что с того, что я скитаюсь, тяжело работаю? Что я получаю за это?.. Голь перекатная, да и только!.. У других хоть семья есть, утеха какая-то в жизни, а я сирота перекасти-поле: ветер сорвал и гонит по степи... Входило когда-то и для меня солнышко, да завидно стало другим — встали между мной и солнцем...

— Чудной ты человек, Свирид! — перебил Лука. — Ищешь счастья по всему свету широкому, а оно вот здесь, в этой пузатой бутылки на дне отдыхает...

— Заглядывал я туда, на самое дно, да не нашел счастья, не утопил там и горя своего... Когда-то и я был счастлив, когда-то и мне счастье улыбалось... — говорил Свирид словно самому себе, подпирая голову ладонями. — Как сейчас вижу я счастье свое: стан девичий гибкий, синие, даже черные порой очи... за брови весь мир бы отдал, будь он мой, — такие веселые да хорошие... Ласточкой кружилась вокруг меня девушка... Я ли не любил ее... бывало, даже сердце тоска гложет, если

день ее не увижу. Кто его знает, то ли ее в шалфее купали сызмальства, то ли в любистке... Только денег ей, видно, в купель не бросали, выросла такой же бедной, как я... Полюбили мы друг друга — взять бы да и пожениться. Ан нет! Не поставишь, говорят, хаты из лебеды, а другой нет!.. Примаком бы к ним войти, да семья велика, сыновья подрастают, мужа старшей дочки в дом уже приняли... Поговорили мы с девушкой, посоветовались и порешили на том, что она пойдет внаймы, накопит за год сколько-нибудь денег, а я тоже отправлюсь в Бессарабию на заработки... Чтобы хоть хату было на что поставить, да кое-каким хозяйством разжиться... А там, как бог даст. Ой, и не хотелось мне в эту Бессарабию — так не хотелось, как живому в могилу... словно сердце чужало... Да не послушался, пошел... Так, после масленицы, после заговенья, в первый день поста и отправился. Еще никогда не оставлял родного села, впервые собрался так далеко, и на сердце было беспокойно, страшно чего-то, грустно... Что там ждет, в чужой стороне? С чем и как вернуться?.. Помню — было хмурое утро: туман окутывал землю, моросило, ноги грузли в талом снегу, грязная вода стекала в долину... Скверно было, как и у меня на сердце... Вышел я на гору, стал под придорожным крестом и оглянулся в последний раз на деревню: над деревней еще лежал туман, более густой в долине, чем на горе. Вдруг из-за распятыя кто-то тихо меня окликнул: «Свирид!» Я даже испугался, задрожал весь... Оглядываюсь, а это за распятым она, Мария моя, слезы вытирает...

— Вот здорово! — перебил Лука. — Твоя Мария и моя Мария. Этих Марий на свете, как маковых росинок. Ну, выпьем же за обеих Марий! А-а! «бун джин!»..

— Жалко мне стало ее... Глупое сердце словно в тисках кто-то сжал, — продолжал Свирид, не обращая внимания на здравицу за Марий. — Стал ее утешать, уверять, как искренне люблю... «Видишь, — сказала она, — как снег тает? Гляди же, чтобы любовь твоя вот так не растаяла на чужой стороне, вдали от меня...» Наворожила, да не мне, а себе наворожила.. Вот я и пошел, братец мой, степями да пошел полями в тот край, о котором слышал только от людей бывалых... Идешь-идешь, над головой — небо, под ногами — земля...

А чья она земля эта — кто его знает... Чужбина. И не сешь на эту чужбину свою сиротскую долю, до которой никому дела нет, да еще силу молодую, чтоб кулакам-богатеям прибыль была. Нанялся на весну и лето к болгарину. Плата ничего — лучше, чем в наших краях, а работа — хорошему волю впору... Да, ничего!.. Лишь бы меня люди не жалели, а я себя не пожалею... Поначалу за работой ничего не замечал я... Гей да соб! Соб да гей! — известное дело — батрак: от рассвета до сумерек в работе.. А потом, когда привык уже, освоился, осмотрелся — и завелся в сердце шашель... Выйду в степь — нет, не наши степи, и точит шашель... Взгляну на людей — нет, не наши люди, и снова шашель в сердце шевелится... Не так птички щебечут, не тот мне ветер песни поет... Заскучал я. Больше всего — по Марии. Пожалел я о тех тихих ночках, что видели нашу любовь, что слышали наши ласковые речи... Пожалел и о деревне родной, где вырос, хоть с малолетства и не знал я счастья. Кто его знает, что со мной стало: тянет будто крючком, тянет на родину; рвется сердце назад в деревню; гадкой, противной и ненавистой становится чужая сторона... И не выдержал бы, бросил все, воротился домой, если бы не Мария... Ради нее, ради собственного счастья остался, решил себя пересилить... И она, бедная, — подумал я, — мучается где-то внаймах, и у нее жизнь не мед... Прошла вот так весна, прошло и лето. Получил я от хозяина шестьдесят рублей, как одну копейку, и отправился... не домой, а в Николаев, где, как советовали люди, можно найти работу на осень и на зиму. Пришлось итти туда, — что мог бы я сделать с шестью десятирублевками?..

Всю осень мешки таскал на пароходы, а на зиму к хозяину нанялся извозчиком. Некогда как будто думать о девушке, и все-таки, чуть вырвутся мысли на волю, так и полетят в родную деревню к любимой девушке... На улице метелица, снег глаза слепит, а я сижу в санях — и мерещится мне теплый вечер с весенними запахами, с майскими жуками, с вишняком, белым от густого цвета, у перелаза стоит опершись Мария и глазами меня манит... Бывало даже вздрогну, когда крикнет кто-нибудь на улице: «Извозчик!», а вьюга так в глаза и хлестнет... Писем ей не писал, — не знал, где она ра-

ботаает. От нее тоже весточки не было, сама писать не умела, а другого просить — стыдно девке... Ну, да все равно: весной увидимся. Собрал я за зиму еще полсотни и так вот на крестопоклонной неделе отправился домой... Иду теми же степями, теми же полями широкими, как в прошлом году в начале весны, и не чужие они мне, не пугают, а словно улыбаются приветливо... Журчит талая вода по дороге да напоминает о том, что сказала Мария в прошлом году у распятыя, а я только улыбаюсь своим воспоминаниям... Хорошо мне... Весело мне... жаворонок будто свадебное поет... Да зачем спешил? Если бы знать... то-то и оно! Если бы знать! Да кто же его знал, что будет, — как поют в песне: «Любилися, да не венчались, — только с горем-бедой повстречались».

Свирид умолк.

А солнце уже садилось. Высоко-высоко в небе вечером потянулись длинным караваном дикие гуси в плавни на ночь и наполнили воздух странными звуками, которые, точно отголосок далекого дождя, пронеслись над тихим Дунаем. Небо над Галацем рдело, как раскаленное железо; на западе широкая река окрасилась огненным цветом, потом зарозовела, засияла лазурью и, наконец, блеснула серым отливом холодной стали... Вербы на том берегу окутались темнотой, почернели, голубые горы стали синими, нарядными... По тихим водам Дуная, словно лебедь, проплыл пароход, отчетливо вырисовываясь на пылающем горизонте черными, словно вылитыми из чугуна, мачтами. Заволновалась вода, будто рожь от ветра, валы покатались к берегу, приблизились и ударились с глухим стоном о песок, разлетаясь тысячами белых брызг... И снова все стихло; только потревоженная река, волнуясь в берегах, мелодичным плеском жаловалась желтому песочку на докучливых гостей...

Зачарованные путники сидели и молчали. Вот сбегала на берег девушка, быстро зачерпнула в медные кувшины желтой воды и снова направилась на крутой берег. Вот статный мокан<sup>1</sup> в своей живописной белой одежде пришел к реке коня напоить. Конь фыркает, громко втягивает в себя воду и, напившись, плетется назад,

---

<sup>1</sup> Хозяин.

лениво переступая с ноги на ногу. И снова все тихо. Пограничная стража разложила на том берегу костер, багровые отблески которого освещают нижние веточки черных верб, придавая еще большую прелесть прекрасной картине придунайского вечера...

— Посмотри, — потревожил тишину хриплым голосом Лука, — вода все прибывает... Чуть не до ног моих поднялась, а где была, когда мы купались!..

— Прибывает... вот так мои мысли, как эта вода... — продолжал Свирид, будто ждал какого-то толчка. — Как сегодня помню, уже смеркалось, когда, возвратившись из Бессарабии, я увидел свою деревню. И не радостно, а тревожно забилось мое сердце, лишь только увидел я дым над хатами... Что там? Как там? Где моя Мария? — только об этом и думаю. Иду улицей, встречают меня, узнают, расспрашивают, где был, удачно ли, а меня так и подмывает расспросить про Марию, так и вертится на языке ее имя, да неловко расспрашивать... Свернул я в ту улицу, где хата ее стариков. В хате свет, каганец мигает. Я под окно, да так и припал к нему. Старуха мотки ниток из сундука вынимает, старик сапог разглядывает да ковыряет шилом, а зять с женой о чем-то советуется у печки... Марии нет. Может, пошла к девушкам... А может быть... я точно к земле прирос, ужаснувшись от неожиданной мысли. Да нет, любила она меня крепко, дождалась бы, не пошла б замуж...

— Свирид, голубчик мой... — перебил пьяным голосом Лука, — подай мне бутыл... Ты не будешь пить, так я за тебя остаток выпью... А-а! «таре бун джин»<sup>1</sup>. Это единственная утеха... всех бродяг — и простых и знатных... Ну, говори, говори... слушаю...

— Вхожу я в хату, — продолжал Свирид, — поздоровался, заговорил. «Что-то вы похудели, — говорю старухе. — Все ли у вас живы-здоровы? — спрашиваю. — Все, благодаря богу, — отвечает. — А где ж Мария, — отважился я, — почему ее в хате нету?..» Едва я это вымолвил, старуха как заголосит, как забьется головой о сундук, даже старик выскочил из-за стола. Я так и онемел. Словно раскаленным железом пронзило мне мозг: нет ее... умерла... утопилась... Хочу спросить —

<sup>1</sup> Очень хорошее вино.

где она, что с ней, а язык не слушается. Наконец, как подскачу к старухе, как крикну: «Где Мария?..» — все разом смолкли и с перепугу уставились на меня... «Где Мария? — кричу: — Куда вы ее дели? говорите!» — да так стучу кулаком по столу, что даже старик взял меня за руку и спрашивает: «Что с тобой, парень?» А мне ни до чего другого дела нет, только слушаю, как старуха голосит и приговаривает: «Погубили дитя наше, погубили... пошла внаймы, как и все... да этот проклятый пан из Бобрिका... погубил ее... упрятал куда-то, что и дороги к ней не найдешь». Я уже и не слушал дальше... Как сумасшедший выскочил я из хаты, мерзким стал мне каждый человек... На сердце, на голову, на все тело навалилось бременем горе, давило, я чувствовал, что мне тесно и на просторе. Помню только жажду мести, охватившую все страдающее сердце... помню, как я поклялся: отомщу, жестоко отомщу... обоим отомщу... Я забыл в эту минуту и что ноги мои устали, и что на дворе уже ночь; бросился я в Бобриск. Бегу... тело горит, пылает, не освежает его зимний ветер, дующий прямо в лицо... И сейчас не пойму, как пробежал я пятнадцать верст, не обращая внимания на свои натруженные ноги, не чувствуя усталости... В Бобриске уже спали, нигде не было света... Остановился на краю деревни и словно в себя пришел. Как же я отомщу?.. В усадьбе снят, не пустят меня к пану, свяжут еще, как вора какого-нибудь... Присел я и тут только почувствовал, что у меня болят ноги... Сижусь, опустив голову на грудь... И вдруг стало мне все безразлично, будто не меня обидели, будто то, что произошло, не мое горе, а чужое, далекое... Бог с ним, с паном, с местью и со всем на свете... чего-то жалко мне стало, и стало печально так, тоскливо... Перед глазами туман поднялся, отгородил меня от всего света. Все равно!.. Мало-помалу в тумане том ясно представилась мне Мария, такая же, какой я видел ее у распятия, взглянула на меня глубокими глазами и прожгла этим взглядом... До самого сердца прожгла... Вскочил я, рванулся в сторону деревни и сжал кулаки. «Отомщу и вас погублю, и сам погибну!.. Будь что будет!» — думал я, бродя по полю под самой деревней в ожидании рассвета... И ночной холод не охладил меня, а придал смелости... Совсем уже рассвело, когда я направился в

усадыбу. Там было полно каких-то судейских. Говорили, будто приехали продавать усадыбу за долги. Я к слугам: «Покажите мне пана Гаевского, помещика вашего», — а сам сжимаю нож в руке, даже пальцы одеревенели.. «Нету, — говорят, — уехал куда-то...»

— Это ты был у меня в Бобрике? — пролепетал Лука. — Это моя Мария была твоей невестой?.. А я и не знал... и не ведал.

— Как? — вскочил Свирид. — Ты пан Гаевский?

— Был им когда-то... был им когда-то, братец мой, поручик Лука Иванович Гаевский, деревней владел, а теперь — его сиятельство господин бродяга, помещик городских свалок! Смир-н-но! — взвизгнул он вдруг пьяным голосом и, поворачиваясь на бок, ударил ногой по воде.

Какая-то сила подхватила Свирида. Воспоминания о случившемся четыре года тому назад, о прошлом, полном горечи и страданий, принесли с собой отзвуки былой жажды мести за искалеченное счастье, мести, властно завладевшей сердцем обиженного... Какая-то сила подхватила Свирида. Но, взглянув на пьяного врага, который, засыпая, только туловищем лежал на берегу, а ногами в воде, он с омерзением отвернулся и почти бежал на крутой берег.

— Пусть святая вода отомстит за мою обиду!.. Пусть она тебя унесет, — сказал про себя Свирид, тяжело переводя дух.

Он хотел бежать дальше, но остановился. Почти над самым его ухом раздался пронзительный свист, и, грохоча и мелькая освещенными окнами, промчался поезд, преградив Свириду дорогу.

Именно в эту минуту в душе Свирида произошла борьба. Его сердце то неудержимо требовало мести, то не решалось погубить жизнь человеческую, стать виновником смерти человека. Борьба длилась только минуту; видимо, одно из этих чувств взяло верх, победило, так как Свирид вернулся к Дунаю, где по колена в воде лежал пьяный, посапывающий носом Лука. Свирид с превеликим трудом вытащил Луку из воды, хотя тот сопротивлялся и лепетал что-то сквозь сон, поднял и почти понес. Проходя мимо одной хаты, Свирид весь задрожал и чуть не выпустил Луку из рук: на пороге,



озаренная светом из хаты, стояла какая-то молодица, и ему показалось, что это Мария. Свирид поволок товарища в кабак. Увидав знакомую обстановку, Лука немало пришел в себя. Покачиваясь на нетвердых ногах, он стукнул кулаком по столу и крикнул на весь кабак:

— Око «джину» его сиятельству господину босяку... «Диграбе!» — и он выругался грубой молдаванской бранью.

Свирид выскочил из кабака, крайне взволнованный происшествиями, и вернулся к той хате, на пороге которой увидел женщину. Женщина стояла все там же. Свирид подошел, заглянул ей в лицо и узнал Марию.

— Мария! — сказал он дрожащим голосом и порывисто сорвал с головы шапку.

Женщина вздрогнула, подошла к Свириду и впилась в него глазами.

— Свирид!.. — прошептала она отступая.

— Мария... — И вдруг сильным движением разодрал он свою шапку пополам и кинул ее под ноги Марии. — Вот так с моим сердцем! — добавил он.

Минуту оба стояли неподвижно: она — с опущенными в землю глазами, он — бледный и дрожащий.

— Мария! — Свирид придвинулся к ней и взял ее руку. — Скажи мне, что с тобой было?..

Мария подняла на него глаза, и слезы покатались крупными горошинами. Она плакала жалобно, всхлипывая, как ребенок.

Свирид отвел ее в сторону, к забору.

Обливаясь слезами, Мария рассказала ему о том, как ее опозорили, о том, как, боясь вернуться с малым ребенком домой, бедствуя, мыкалась она, как, наконец, умер ее ребенок, как какая-то пани завезла ее в Рени, где она стала батрачкой у грека, содержавшего кабак... А Свирид слушал молча, не произнося ни слова, не рассказывая о муках, которые она причинила ему, ни о мысли отомстить ей за измену.

— Прости меня, Свирид! — закончила мольбой Мария.

— Бог простит... Слушай, что скажу... Нет у меня волов круторогих, нет и червонцев в поясе... Есть только руки — вот эти жилистые да работающие, они не испугаются никакой работы. Кормили они меня до сих

пор, будут кормить и семью... Если я тебе не противен, будь моей женой, и отправимся мы в Молдавию, чтобы ничто не напоминало нам нашего горя...

Мария хотела броситься ему на шею, но не посмела и только ответила задушевым голосом:

— Спасибо тебе...

\* \* \*

А на следующее утро, рано, когда «владелец городских свалок» еще сладко спал где-то на улице, прикрывшись небом, Свирид и Мария двинулись в путь. Они направились на Джурджулешти, под самую Слободзею, где, как говорят, легче переправиться через узкий Прут, легче избежать встречи с пограничной стражей... Из плавней поднялся белый туман, седыми облаками покотился по тихому Дунаю, застилая голубые горы, заслоняя солнечный свет... Эта мгла, однако, предвещала прекрасный день... Так и в сердце путников светилась надежда на счастье, которое развеет когда-нибудь даже воспоминания о печальном прошлом.

*20 февраля 1898 г.*

## Х О

### Сказка

*Посвящается В. Боровикову.*

#### І

Лес еще дремлет в предрассветной тишине... Недвижимо стоят деревья, окутанные дымкою и обильно осыпанные брызгами росы. Тихо вокруг, мертво. Лишь то там, то тут проснется пташка, неуверенный голос подает из своего укромного уголка. Лес еще дремлет, но с синим небом уже что-то творится: оно то побледнеет, словно от ужаса, то вспыхнет сиянием, будто от радости. Небо изменчиво, небо играет разными красками, бледным сиянием касается верхушек темного леса... Встрепнулся, наконец, лес и тоже заиграл... зашептали пробудившиеся листочки, рассказывая сны свои, засуетились в травке букашки, разнеслось по лесной чаще громкое щебетанье и полилось высоко — туда, где небо изменчиво, где небо играет разными красками...

На лужайку выскакивает из чащи серна и, замороженная чудесным концертом, останавливается, обращает любопытную мордочку к кровавой полосе горизонта, краснеющей за опушкой меж деревьями, и слушает.

Пугливый заяц, притаившись под кустом, пригибает уши, тарашит глаза и словно погружается весь в море лесных звуков...

Но вот хлынули с востока светлые лучи; будто руки, протянулись к лесу, обняли его, осыпали самоцветами, золотыми полосами упали на синюю от росы траву, и

среди лужайки четко на фоне золотого света выделяется стройная фигура серны.

В эту величественную минуту тихо раздвигаются кусты и на лужайку выходит Хо. Седая, словно туман, борода его мягкими волнами спадает до самых ног, цепляется за росистую траву. Из-под белых косматых бровей выглядывают глубоко запавшие, добрые с хитройцей глаза.

Вышел Хо на лужайку, оперся о суковатую палку, повел длинной бородой — и пошел от нее тихий ветерок, холодной струей ударил по деревьям. И сразу затрепетали молодые листья, зашелестели, стряхнули с себя дождь самоцветов. Испугалась серна и исчезла в чаще, оставив зеленые следы на синей от росы траве. Страх охватил зайца, прибавил еще больше прыти его ногам... Переполошились птички и в тот же миг замолкли. Тихо стало в лесу, страх как тихо. Только бородатый дед Хо, по-стариковски посмеиваясь в бороду, стоит на полянке.

— Хе-хе-хе! И кого пугаются, глупые? — шамкает он беззубым ртом. — Деда Хо, которого весь свет прозвал страхом? А дед вовсе и не страшен. Вот, взгляните!.. Да ведь в том-то и беда, что вы не решитесь поднять глаза на деда, потому он и представляется вам страхом... Хе-хе! И всегда так... и все так... Нет, не ври, старик, не все. На твоей долгой тысячетлетней ниве житейской не одно попадалось существо, смело поднимавшее глаза, отважно глядевшее тебе в лицо, и тогда... О, тогда хорошо было обоим нам, потому что смельчак, уверившись, что пугался попусту, набирался еще большей отваги, а ты, старик, чувствовал, что, может, скоро дашь покой натруженным костям... Пугаются, а не знают, что страх только и существует на свете из-за пугливости других, что в прах рассыпался бы старый Хо, если бы все живущее хоть раз отважилось взглянуть ему в глаза... Хе-хе! Глупые, глупые... Только старым ногам моим достается из-за глупцов. Ох, как устал!.. Э-эх!..

Хо в самом деле с большим усилием передвигает ноги, кричит и, опираясь одной рукой на посох, а другой оглаживая длинную седую бороду, садится на траву отдохнуть.

Хо сидит на поляне, а вокруг него царит полная,

мертвая тишина. Все живое, затаив дыхание, не запоет, не вскрикнет, не шевельнется. От медведя до муравья — все парализовано страхом. Растения боятся даже пить соки земли, пить холодную росу, расправить свернутые листочки, развернуть спавшие цветы. Шаловливые лучи солнца замирают в зеленой чаше и лишь издали приглядываются к седой, как туман, бороде Хо и не решаются приблизиться, несмотря на неодолимое желание поиграть с этой бородой.

Хо сидит на росистой траве, а старая память его вызывает перед ним образы минувшего, образы, в которых свежими, яркими красками отражены дела духа человеческого. Вот те высокие дела, до которых может подняться свободная мысль человека, а вот и те пропасти, где на самом дне, скованный как раб, ползает он в пыли и мраке... Вот через силу плетутся люди, веками влачащие оковы, забитые, напуганные люди, и не осмеливаются поднять глаза на Хо, взглянуть страху в лицо... Хо знает, что лишь одиночки отваживаются на это и, отважившись, находят в себе силу разбить оковы... Эх, хоть бы таких одиночек было побольше, может, не пришлось бы старику маяться так, блуждая по свету, может, сложил бы он свои косточки в могилу, — давно уже эти косточки просят на покой... Эх, если бы... а тем временем страх властно царит на земле, соперничает с дружбой, с честными порывами, с сознанием долга, ломает жизнь, бессильными делает не только отдельных людей, но и целые народы. Страх! Привитый в детстве, возросший в ненормальных общественных условиях, он становится прилипчивой заразой, делается силой, задерживающей вечное движение всего живущего... Страх!.. Хо — страх! Но какой из него страх, когда он ясно чувствует себя прахом, немощной развалиной, которую только пугливость человеческая гонит из конца в конец по миру, наперекор его воле, делает Хо злым гением человечества... Эх, судьба, судьба неудачная! Шляйся, как Марко по аду... Вот и сейчас: хорошо во-круг, отдохнуть бы, а пора за работу... за работу! Э-хе-хе! Ну, вставай, дед, пора!

Хо еще раз взглянул на молчаливую природу, поднялся, окутался, как туманом, седой бородой и поплелся тропинкою из леса на дорогу.

А лес еще с минутку стоял недвижимый, как мертвый. Потом деревья встрепенулись, зашевелились, развернули листочки... Луч прыгнул на полянку, прямо к спящим цветам, птички запели, муравьи засуетились, лес зашумел, природа снова ожила...

## II

Вечер. Дети уже напились чаю и играют; старший мальчик лет шести сидит у шкафа и старательно строит из чурочек дом. Меньшую — девочку, ей миновала вторая весна, забавляет нянька, показывая, как сорока варила детям кашу. За столом, поближе к лампе, сквозь молочный колпак, разливающий мягкий свет по комнате, сидит за шитьем мать. Она рада, что дети утомнились. Ох, эти дети! Двое их, а такой крик поднимают, что голова кругом идет. А теперь тихо. Слышно только, как мурлычет на диване кот да нянька тихо напевает: «Со-ро-ка, во-ро-на деткам кашу ва-ри-ла, на пороге сту-ди-ла!..» Ребенок, радостно улыбаясь, растопыривает маленькие пальчики пухлой ручонки, требуя, чтобы нянька показала, которому сорока дала каши, а которому головку свернула. Наконец эта игра наскучила, ребенок завозился на руках у няньки, потянулся к коту: — Киса!

Но «киса» хорошо помнит причиняющие боль ласки маленького деспота и дипломатично моргает, не двигаясь с места. Вот нетерпеливая ручонка дотянулась до кота, хватая его за ухо и тянет к себе. Глаза у кота сужаются, он жалобно мяукает... Потом, будто пронизанный электрическим током, вырывается и бежит под комод, оставив на руке мучительницы красный след острых когтей. Поднимается визг...

— Что там такое, Марина? — бросает работу мать.

— Да это проклятый кот цапнул ребенка...

— У тебя всегда что-нибудь случится... Займи ее! Слышишь, как зашлась...

Начинается укачивание. «Ну, тише, не плачь, гоп-гоп, а-а!.. Вот дрянная киса! Мы ей зададим!.. Тс-с, тс-с!.. Гоп-гоп! Тю-у, тю-у!»

Но тщетно. Ребенок заливается плачем.

— Ну, тс-с, тс-с! Не хочешь сидеть тихо, так я тебя сейчас отдам бабушке Хо! — сердится нянька и подносит ребенка к окну. — Вон, видишь, стоит дед Хо с мешком за плечами. Как закричишь — сразу кину тебя в мешок... На тебе ее, бабушка Хо, возьми!..

Ребенок всматривается во тьму, чернеющую за окном, и затихает. В глазах, еще мокрых от слез, вырисовывается ужас... Да, эти глаза видят в таинственной тьме страшилище детей — Хо, страшного, бородатого старика, с огромным мешком за плечами, полным непослушных детей. Какой-то холод касается нежного детского тела, что-то пробегает по спине, страшно, плакать хочется, а нельзя... Ребенок насилу отрывает глаза от окна и прячет голову на груди у няньки.

И снова тихо в комнате.

— Мама! — нарушает тишину мальчик, оставляя свою игрушку. — Мама! А где теперь солнце?

— Солнце?.. Солнце теперь спит.

— А где его дом?

— Вон там, за горой, где оно садится...

— Там, где живет лесник Панас?

— Ага... Но тебе спать пора, дитя.

Ребенок между тем словно не слышит замечания матери. Он подбегает к ней, опирается на ее колени.

— Мама! А у солнца есть дети?

— Есть.

— А где же они?

— Где? А на небе... звездочки, что ночью сияют, и есть дети солнца.

— А почему же они теперь не спят?

— Они за день выспались и теперь играют.

Пауза.

— Мама! Я хочу к Петрику!..

Петрик — это сын кухарки, который иногда играет с паничем.

— Нельзя, Петрик болен.

— А я ему отнесу яблоко.

— Нельзя, сказано!

— Ма-а-ма! Я хо-о-чу к Пе-е-три-ку-у!

— Ох, господи! Один кончил, другой начинает. За-молчи сейчас же! Не пойдешь!

— Ма-а-ма! К Пе-е-три-ку-у!

— Замолчишь ли ты у меня? Марина, позови-ка деда Хо!..

Марина подходит к окну и стучит по стеклу.

— Дедушка!.. Дедушка Хо! Иди-ка сюда, возьми с собой непослушного панича!.. — Сейчас! — отвечает она, поддельваясь под стариковский бас, и отходит от окна.

Мальчик хорошо понимает уловку Марины; он не верит, что это Хо произносит «сейчас» таким неумелым басом, однако ему становится страшно. Он отходит к дивану, как можно дальше от окна, и начинает играть бумажкой, складывая из нее лодочку. А тем временем фантазия мальчика упорно работает над образом Хо. Какие у него глаза? Наверное, красные, как у кролика. А нос, наверное, такой же длинный и острый, как у кухарки... или еще длиннее... Борода белая и длинная, до самых пяток... Руки... Мальчику тотчас представляются железные вилы-тройчатки, стоящие в риге, — такие руки у Хо... конечно, такие... Ему становится еще страшнее, он боится пошевелинуться, боится встретиться глазами с таинственной темнотой, хотя что-то так и тянет его взглянуть в окно, так и тянет, словно шепчет: «Ну, посмотри! ну, посмотри!» Мальчик не может противиться желанию взглянуть в окно, поднимает глаза... и весь холодеет... Там, на черном фоне стекол, что-то белеет... Это Хо... Безумный ужас охватывает ребенка, расширяет зрачки, поднимает волосы на голове, хватая за горло...

— Дети, спать! Пора уже!.. Марина, укладывай детей спать! — раздается голос матери и пробуждает мальчика, как от сна.

Марина заставляет мальчика молиться.

— «Отче наш, иже еси на небеси...» — бессознательно произносит он вслед за нянькой, а сам смотрит в сторону на окно. — «Да будет воля твоя, яко...» Ой, там что-то руками машет, по стеклу царапает! — дрожит мальчик. — «...хлеб наш насущный...» Няня, там кто-то смотрит в окно... я боюсь.

— Выдумывай, выдумывай, вот Хо и возьмет тебя в мешок... Ну, повтори: «Хлеб наш насущный, даждь нам днесь...»

Но мальчик уже не слушает няньку, он не может оторвать глаз от окна. Это окно притягивает его внима-



ние, захватывает все мысли, овладевает всем существом ребенка. В окно глядит черная, таинственная темнота, полная фантастических существ, всяких див, полная страшилищ... И все это толпится у окна, заглядывает в комнату, вот-вот пролезет сквозь щелку в разбитом стекле или с треском откроет окно, кинется к нему, наполняя комнату диким хохотом...

Но вот и кровать. Мальчик раздет, он кутается в одеяло. Нянька поправляет еще что-то и гасит свет.

— Марина, посиди со мной, я боюсь.

— Вот выдумал! Спи, мне некогда с тобой сидеть.

В комнате становится темно и тихо. Мальчик широко раскрывает глаза, всматривается в темноту, напрягает слух, боясь пропустить какой-нибудь неверный звук. Тихо. Так тихо, что даже биение сердца кажется глухим стуком молота по чему-то мягкому. Вдруг... трр! Что это? Внимание мальчика напрягается выше всяких пределов... Кровь приливает к его сердцу, и сердце начинает неистово биться... Вот снова что-то зашуршало, заскреблось. Это — Хо. Вот в черной, как чернила, тьме отчетливо белеет его борода... вот протягивается длинная костлявая рука, тянется к плечу, простирает над ним свои сухие пальцы. Охваченный невыразимым ужасом, мальчик засовывает голову под подушку, съеживается под одеялом, инстинктивно стараясь стать маленьким-маленьким, стать как можно меньше, чтобы Хо не заметил его. Он лежит, затаив дыхание, боясь проявить признаки жизни, боясь выдать свое присутствие в комнате...

А тем временем он чувствует, что возле его кровати стоит Хо и простирает над ним свои длинные, как железные вилы-тройчатки, руки и задевает сухими острыми пальцами его плечи.

Холодный пот с головы до пяток обливает ребенка, безумный страх расширяет зрачки, отнимает голос, леденит тело... И долго лежит так бедный мальчуган, стараясь не двигаться, дрожа от ужаса, мокрый от пота, пока тревожный сон не успокоит, наконец, измученную жертву пугливости.

— Хе-хе-хе! — смеется Хо у окна комнаты, где лежит перепуганный мальчик. — Хе-хе-хе! И жалость берет, и от смеха не удержаться! Смешно, когда причина страха — только разгоряченное воображение, а жаль, —

ведь кто раз познает это чувство страха, не скоро сможет отделаться от него... Вырастет ребенок, возмужает и много сил, достойных лучшего применения, растратит на борьбу со страхом да еще хорошо, если одолеет!.. Жаль сил, жаль времени! А кто виноват? Э-эх! — покачивает головой Хо, укутывается в свою длинную бороду и отправляется в дальнейший путь.

### III

Близится полдень, июньский полдень, полный зноя и света. Волнами льется свет с неба, наполняет воздух, жадно пожирает тени на земле, загоняет их под деревья и кусты, в чащу. На что уж бывают укромные уголки, а и туда хоть тоненькой струйкой проберется он и смеется, довольный, что нашел и там своего врага — темноту. Только в ту беседку, что под старым грецким орехом в садике, не пускает его дикий виноград, свившийся крепко в сплошную зеленую стену. И что только ни делает свет — и зайчиком прыгает возле беседки, пробившись сквозь листву ореха, золотой сеткой падает на землю, и мерцает, и переливается, стремясь поближе подобраться к темному уголку, — да куда там! Никак не может. Пробравшись на порог беседки, заглядывает туда, а войти — шалишь! Однако он замечает, что беседка не пуста. На зеленой скамье, обложенной дерном, опустив голову на руки, сидит белокурая панночка. Лицо ее печально. Бедная! Всюду так весело, ясно, свет божий походит на рай, а она грустит. Позабавить бы ее, приласкать, да никак не войти, потому что темнота расселась в беседке, словно пани какая, и не пускает. К счастью, панночка нервным движением срывает виноградный лист, и в зеленой стене образуется маленькая щелка. Обрадованный шалун прыгает лучом в щелочку и попадает прямо на стол, на какую-то бумагу. Это еще что за диковина? Он приглядывается к ней и читает сбоку: «Инспектор народных школ». Шалун слегка оробел, прочитав титул такой важной особы, и чувствует себя провинившимся школяром, но вскоре набирается смелости и пробегает содержание бумаги. В бумаге сказано, что панна Ярина Дольская назначается учительницей в село С. Учитель-

ница! Ведь учительница имеет право выговор дать! И луч кидает на девушку виноватый, умоляющий взгляд. Однако в лице девушки, бледном и нежном, отражающем печаль и внутреннюю борьбу, нет ничего грозного, и это успокаивает шалуна, и он смеется настолько, что начинает играть с толстой золотистой косой девушки, целовать ее полные губы, брови, заглядывать в большие серые глаза. А панне Ярине не до этой ласки. Она отодвигается от докучливого луча и склоняется над бумагой, чтобы прочитать ее, может быть, в сотый раз. Да, эта бумага дорого ей стоит! Чтобы добыть ее, она должна была прежде всего выдержать борьбу с самой собой, со своими привычками, взглядами, традициями; должна была поссориться и с отцом, которого так любит, довести до слез и упреков мать. Но это была только прелюдия, и пока она длилась, девушка чувствовала в себе силу бороться и побеждать. Теперь же, с получением этой бумажки, должна начаться деятельность, столь нетерпеливо ожидаемая деятельность... И странная вещь! Панна Ярина в эту решительную и важную минуту чувствует, что силы у нее убывают, она слабеет, она уже неспособна бороться. Неужели у нее хватило энергии только на прелюдию?

Панна Ярина складывает руки на столе и бессильно опускает на них свою русую головку.

Давно ли она была счастливым ребенком? Любимая, единственная дочь богатого помещика. Одета в бархат и шелк, уверенная, что малейшие ее капризы будут удовлетворены, окруженная роем услужливых бонн и горничных, она весело порхала по большим комнатам дворца, по тенистым аллеям отцовского парка. Незабвенное время!

Одно только раздражало Ярину и причиняло ей даже огорчение — это запрет играть с крестьянскими дивчатами и хлопцами... «Фи! Хлопские дети! Какие у них манеры, какой грубый язык, какие нравы! Ведь это «быдло», скот, а не люди!» — слышала она постоянно. Однако маленькая Яриночка под влиянием среды, мало-помалу свыклась с такими взглядами да и сама стала так же относиться к «быдлу», как ее мать и отец. Она вскоре усвоила, что мужики созданы лишь для того, чтобы пахать поле ее отца, служить кучерами, поварами,

работниками. Даже больше того: она сердечней относилась к настоящему скоту, чем к людям «низшей расы». Когда для развлечения панночки к крыльцу приводили маленького теленка или кучер приносил щенят, Яриночка обнимала их, целовала, ласкала, находила «чудесными», тогда, как на девочку, дочь батрачки, не обращала ни малейшего внимания, словно это был не человек, а столб на привычном месте. Словом, Яриночка стала панночкой, как и ее подружки, соседки из других имений.

Шли годы, выростала стена, стоявшая между помещичьим двором и деревней. С одной стороны были паны, с другой — «быдло». Выросла Яриночка, стала панной Яриной, и пришлось ей позабыть о том, что все окружающее принадлежит ее отцу или, может быть, куплено отцом за деньги. Ярина знала уже, что родители ее беднеют, и хотя не показывают этого перед людьми, даже не меняют образа жизни, но все же понимают необходимость неотложной перемены, чтобы обеспечить себя хотя бы куском черного хлеба.

К тому времени досуг (а этого добра у панны Ярины было предостаточно) вкупе с пытливым умом направили внимание девушки на книги. Пожирая бессистемно сотни книг, Ярина смогла все же собрать в голове лучи мысли, разбросанные там, откликнуться сердцем на честные и высокие порывы. Прирожденная сердечность и здесь пригодилась. Правда, каждая новая мысль, не совпадавшая с ее нынешним мировоззрением, вызывала бурю в молодой, неокрепшей еще душе, но стена, отделявшая ее от деревни, разрушалась, и за нею открывалось не «быдло», а настоящие люди, с человеческими интересами, страданиями и радостями. Ярину потянуло в это неведомое ей «мужицкое царство». Она стала приглядываться к нему, насколько это было для нее возможно, и испугалась темноты и убожества, господствовавших там. Боже! Рядом живут люди, ее братья, прозябают в нищете и темноте, в то время как она пользуется трудами их рук! И можно ли после этого называть себя человеком? Нет, довольно! Разорвать путы, вечно сковывающие белые, не знающие труда руки, сбросить повязку с глаз, и честно и смело вернуть обиженным то, что им принадлежит. Довольно быть куклой! Если ты человек, то и будь человеком, докажи это делом, а не словом.

Девушка загорелась жаждой труда, деятельности, решила посвятить свою жизнь тем, кто до сих пор работал на нее.

Этого требует справедливость. Она будет учительницей, она понесет свет во тьму, утешение — горю, помощь — нищете. А что дома ее ожидает буря, так что же! Разве она не вынесла уже бури в самой себе, когда новые мысли и новые чувства встретились с ее прежними взглядами?

Дома в самом деле начался разлад. На планы Ярины старики сначала смотрели, как на странный каприз избалованного ребенка, но, увидев, что это не шутка, растерялись. Слезы, мольбы, истерики, упреки поколебали упорство девушки, но она преодолела и это, поставила на своем. Умолкли родители, затаив печаль в сердце, однако они не потеряли надежды на то, что какая-нибудь случайность вернет им ребенка, прижмут они ее снова к любящему родительскому сердцу. Случай, на который рассчитывали старики, подвернулся, ухудшив и без того тяжелое положение. К Ярине посватался богатый сосед-помещик. Ярина вначале и слушать не хотела о свадьбе, но затем покорились родительской воле и мольбам влюбленного соседа, выпросив себе три дня, чтобы взвесить все и обдумать, прежде чем дать окончательный ответ. И именно на другой день после этого пришла от инспектора долгожданная бумага; пришла и, вместо успокоения, снова нарушила, смутила ее покой, со дна души подняла сомнения, подорвала веру. И вот теперь сидит Ярина над этой бумагой, бессильно опустив на руки русую головку...

Она не рада этой бумаге. Да, не рада... Еще недавно, еще позавчера, как чуда с неба, она ждала ее, а сегодня не рада... Нечего и говорить, что она не отречется от своих намерений... Она сломает все и пойдет туда, где ей следует быть. И не то, чтобы она была рада, а так, не подготовилась еще к новой жизни, не привыкла еще к мысли, что завтра покинет родительский кров... Покинет ро-ди-тель-ский кров!.. Брр!.. Ну и чего тут дрожать? Ох, уж эти нервы... Надо взять себя в руки, потому что нервы не нужны тем, кто идет на борьбу. Ведь сколько девушек пошло уже по этому пути, который открывается перед нею... Правда, большинству этих

девушек легче было начать новую жизнь, потому что они вышли из семей бедных, таких, где каждый еще с молоком матери впитывает потребность в труде ради куска хлеба. Там все трудятся, все зарабатывают... Там нет традиций, которые грязью стараются облить все, что вырывается из заколдованного круга эгоизма и кастовых интересов.

— Заколдованный круг... Ох, этот заколдованный круг!..— шепчут бледные губы девушки.— Хватит ли у меня силы, хватит ли решимости разорвать его, выйти в широкий мир, на борьбу с тем, что мешает жить? Хорошо, я разорву этот круг, я выйду оттуда. Но выдержу ли я, проклятая семьей, осмеянная подругами, одна среди неведомого мне широкого мира?.. Где мне взять силы для борьбы? Где та закалка, которая помогла бы мне победить? Я — тепличное растение... выросла в искусственном тепле, в душной атмосфере теплицы. Первая же буря сломает меня, вырвет с корнем. И вместо пользы, которую я мечтаю принести, живым укором встанут передо мной окровавленные сердца семьи и моя собственная разбитая, исковерканная жизнь... Боже! Что со мной? Откуда такое малодушие? Чего стоит моя жизнь перед безграничным морем человеческого страдания? Нет, довольно... Идти туда, куда сердце зовет и долг. С силой, какую я чувствую в себе, с силой любви, — можно много сделать. Только не пугаться, только не терять надежды и... все будет хорошо. Что тут долго думать? Ведь давно уже я решила начать новую жизнь. И начну, конечно, и нечего думать, не над чем размышлять... Корабли сожжены... И отчего я вся дрожу? Почему? Обманываю себя своей решимостью, когда чувствую, что силы мои слабеют, что я малодушное, никчемное создание?

Ярина полным отчаяния движением заламывает руки и откидывает назад, на зеленую стену винограда, свою головку, и по лицу ее пробегают тени мучительной внутренней борьбы.

А в трепещущих тенях орехового дерева стоит Хо и заглядывает в темную беседку, и покачивает старой головой, и от его бороды веет холодом.

— Э-эх! — шепчут его старческие уста. — Столько силы молодой у тебя, и вся жизнь впереди — и ты не

отваживаешься вступить в борьбу со стариком, с гнилушкой, которая не сегодня завтра рассыплется! Хе-хе!.. Да взгляни-ка, посмотри!.. Посмотри, ведь на мне нет той мантии традиций, в которую ты облачила меня... Куда там! Не хочет. Не осмелится и глаз поднять на деда. Э-эх-эх!..

— Ну и судьба! — ворчит Хо раздраженно. — Каждый представляет себе меня, как хочет. У одного я — с мешком для детей, с розгой в руках; другой облачает меня в одежды традиций, суеверий, дурной молвы; третий трепещет передо мной, как осина на ветру; четвертый... и все плохо и неумно! Когда же кончатся муки мои, когда же я усну навеки и похоронит меня смелость человеческая?.. Ну и судьба, ну и люди! Меня даже злость разбирает! — бормочет старик себе в бороду, мягкими, седыми волнами сливающуюся с легоньким паром, подымающимся с влажной, теплой земли под лучами солнца.

— Погоди же, — говорит он, — хоть на тебе отыграюсь, пугливое создание, хоть попугаю тебя... Ты хочешь встать на борьбу с сильным врагом — с бедностью и темнотой? Хорошо! А есть ли у тебя силы для этой борьбы? Ты — беспомощная женщина! Взгляни-ка на свою жизнь, панна, что ты оттуда вынесла? Ну, посмотри!..

Ах, эта жизнь... Беззаботная, в достатке, роскоши — она только изнежила ее, ослабила волю. Оттуда вынесла она свою беспомощность, непрактичность. Нет, та жизнь ничего больше не дала, не в ней надо искать источника силы...

— И с такими средствами ты думаешь бороться, — шепчет Хо. — Да знаешь ли ты, неразумная девушка, что от тебя отречется твоя семья, как только ты пойдешь наперекор ей, что все, с кем ты жила до сих пор, забросят тебя грязью, как изменницу их кастовым традициям? И к кому ты вернешься, когда сломленная в борьбе, станешь искать утешения и покоя? Кто поддержит тебя, разбитую, потерявшую доверие?

— Правда... правда. Никто! Одна... Нет души родной, которая искренним словом сочувствия залечила бы раны сердца, успокоила, поддержала бы. Отрезана, как ломоть от хлеба, одинока, как крест на распутье... Пустыня вокруг, холод.

— А знаешь ли ты, — добавляет Хо, — что такое недостатки, бедность, ты, выросшая в роскоши, не трудившаяся ради куска хлеба? Не страшно тебе растратить в неравной борьбе и преждевременно сложить в могилу молодую жизнь?

Боже! Всё против нее: и люди, и положение женщины, и бедность. Всё словно сговорилось, чтобы бросить ее в огонь, обжечь ей крылья, когда она рвется только к свету. И Ярина видит уже свои белые нежные руки худыми, черными от работы, видит красоту свою подурневшей, увядшей, чувствует в груди больное, разбитое сердце, а за плечами смерть... Смерть... а она еще и жизни не видела, счастья не знала, долга своего не выполнила. О!..

— Эх, лучше бросить все эти мечты, — искушает Хо, — да взять от жизни все, что она может дать для личного счастья, воспользоваться молодостью, а то, как говорится, «не вернется весна...» А что кто-то там стонет, кто-то погибает, — закрыть глаза, зажать уши, как делает большинство, — и моя хата с краю...

— Боже, какая мука стоять вот так на распутье и не знать, куда идти! Что делать, как поступить?.. Боже! — Ярина в отчаянии заламывает руки и впадает в тяжкое раздумье.

Вдруг ее будят звонкие голоса. То дивчата-работницы идут по саду на полдник.

— Слышали, дивчата, нашу панну сватают! Такой красивый панич сватает, что не нагладишься, — чернявый-чернявый, а глазами так и играет... Я видела, как он приезжал дня три тому назад.

— Да ну? Сватается? Побожись, Одарка.

— Ей-богу! А она, слышь, не хочет за него.

— Слушайте, бояре, как князь брешет! А ты откуда знаешь? Может, тот панич и тебе глазки строил, вот-вот сватов зашлет.

— Вот горюшко, вот заботушка! Да что бы я с таким человеком стала делать, который к работе неспособен?

— Вот так сказала! Одарка скоро своего заполучит, такого, что, как говорится, и носом играет, не только глазами.



— А что ж? Э-э, не печальтесь, дивчата, каждая дождется! Найдется сорви-голова, а сумеи-головы не будет, нет!..

— Ха-ха-ха! Ну и придумала, турок ты незамирений!..

Со смехом и шутками веселая компания девушек прошла мимо беседки, где сидела Ярина, — ее вспугнули голоса, но мысли поплыли уже в ином направлении.

Ее сватают. Да, перед нею открывается возможность личного счастья, семейных радостей, достатка, жизнь беззаботная. Правда, она не любит, но ей нравится сосед, брюнет, она ничего не имела бы против его намерений, если бы не сознание иного долга, если бы не иной путь, расстилающийся перед нею. Но она стоит перед этим путем и мучается сомнениями, ищет выхода... Выход есть. Одно слово — и судьба ее соединится навеки с судьбой другого существа, которое любит Ярину без памяти. Ёйти замуж? Кто это сказал? Нет, прочь всякие искушения, уловки, она верна своей идее!

И в ту же самую минуту в дверях беседки мелькнула тень, и молодой человек, брюнет, снимая шляпу, спросил приятным баритоном:

— Позвольте спугнуть ваши мечты, панна?

Ярина пугается, бледнеет, чтобы тотчас залиться малиновой краской.

Он пришел за последним словом.

Она не успела опомниться, как он, взяв ее руку в свою, тихо говорит ей дрожащим голосом:

— Панна! Я не имею еще права раскрыть вам, как я мучился, ожидая слова, которое произнесет сердце ваше в ответ на мои чувства и намерения. Я и сейчас еще в сомнении трепещу за судьбу свою... и решаюсь еще раз умолять вас, панна Ярина, не отнимайте у меня руки вашей, пусть она будет залогом нашего будущего счастья...

Ярина сидит бледная, недвижимая, со следами испуга и борьбы на лице, но не отнимает руки от счастливого юноши.

Хо нечего больше здесь делать. Покачивая седой головой и кряхтя, плетется старик дальше, в поисках отдыха усталой душе и натруженному телу.

Макар Иванович Литко, должно быть, встал с постели левой ногой, оттого сегодня ему как-то не по себе, все его раздражает, все волнует. Ночью, правда, измучил его плохой сон. Приснилось ему, что у него был обыск и при обыске том найдено несколько экземпляров тоненького сборника произведений украинского поэта-самородка Рябоклячки, — сборника, допущенного, *по́та bene*<sup>1</sup>, цензурой, но изданного на его средства, и под большим секретом, надо добавить. Непрошенные гости грозно допрашивали Макара Ивановича, откуда он взял такие страшные брошюры, для какой цели держит их, а Макар Иванович, напуганный, обливавшийся цыганским потом, сочинял, что купил их только из-за их дешевизны, на завертку завтраков своим детям-школьникам, что он и не знает, о чем пишется в этих книжках, и не умеет даже читать по-украински, и вообще ничего общего с так называемыми «малороссами» не имеет и не хочет иметь... Ему, однако, не поверили, потащили его из дома, пугали тюрьмой, карами, высылкой... Макар Иванович оправдывался, просил, чуть не плакал, наконец стал упираться и... проснулся. Проснулся и плюнул. Еще бы, приснится же такое, измучает, заставит дрожать... Тут и так трепещешь весь день покоя не знаешь, так еще сны стали морочить! Тьфу!.. А все из-за этого вчерашнего вечера у «молодых» украинцев... Уж как не хотелось ему итти туда, а надо было. Приглашали старших, неудобно не пойти. Ну и наслышался же он там! Это... это просто сумасшедшие люди, эти «молодые». Это — кандидаты на виселицу, в самом лучшем случае! Давай им немедленно все — и сознательную украинскую интеллигенцию, и народное просвещение с благосостоянием, и родную культуру, и героев, и патристов, и груши на вербе, и звезду с неба!.. Нет, он не мог дальше слушать, не мог оставаться дольше в обществе безумцев, добровольно идущих под нож... Он просто убежал с вечера, зажав уши, озираясь, не заметил ли его кто поблизости около дома, где происходило собрание.

Да, конечно, и он украинец, и он патриот, это доказано уже не раз и не два. Кто, как не он, еще во

<sup>1</sup> Заметьте.

времена студенчества отсидел восемь месяцев в тюрьме?.. Правда, не в украинофильстве следует искать причин этого заключения, но как-то приятно теперь, когда беда уже давно миновала, считать, что эти восемь месяцев он страдал как настоящий патриот.

Дальше — кто, как не он, поддерживает молодые таланты, так нужные «Малороссии»? Ведь он не пожалел ста рублей на издание произведений самородка Рябоклячки, а когда оказалось, что произведений этих никто не покупает, на собственные деньги приобрел сотню экземпляров, чтобы разослать своим по селам, и таким образом доказать, что, верный демократическим принципам, он не порывает связей с народом, помнит о его духовных запросах. Едь все знают, что уже десяток лет он собирается написать научное исследование на украинском языке, хотя этот язык ужасно беден, непригоден для научных трудов... Он согласен, что не знает языка... как-то нехватало времени изучить его, и что он говорит по-русски, сбиваясь иногда на макаронические фразы, но всем также известно, что он собирается подзаняться немного украинским языком. А на юбилеях и вечерах, кто так патриотично (без шуток) пьет водку, так, от всей души, запекает песни, откалывает трепака?.. А сколько страху испытать приходится, сколько трепету, сколько осторожности надо проявить, чтобы не спавать перед врагом! Это ли не патриотизм? Разве мало этого? А они патриотов ищут!..

Макар Иванович пожал плечами и стал ходить по комнате взад и вперед. Видимо, все эти размышления не успокоили его. Что-то еще волновало его, пронимало до самого сердца, мурашки бегали по спине. Макар Иванович был встревожен. А ну, как, сохрани бог, кто-нибудь проследил, как он входил или выходил с собрания «молодых»? Что тогда будет? Плохо дело... Чорт его понес туда к этим сумасшедшим. Не лучше ли было пойти на винт к соседу? Эх!.. А тут еще сон такой, словно предвещает что-то. Плохо... Э, что там в конце концов сон — глупости. Даже как-то не пристало человеку с высшим образованием, с солидным положением видного чиновника верить снам, как верит в них темная, неграмотная баба на селе. А впрочем, на сердце словно мыши скребутся...

Макар Иванович остановился перед зеркалом, откуда на него выглянуло красивое, но помятое уже лицо с седоватой бородкой, с длинным носом, хитрыми серыми глазами и холеными волосами, будто крымской мерлушкой покрывавшими его голову. Привычным кокетливым движением он поправил бороду и волосы, улыбаясь при мысли, что не понизился еще его курс у женщин. Но и это не помогло. Сон и вчерашний вечер не выходили из головы, взвинчивали нервы. Он все ожидал чего-то плохого.

Вдруг — звонок.

Макар Иванович так и передернулся, так и задрожал весь. Беспokoйным взглядом окинул комнату, словно желая увериться, что в ней нет ничего опасного, и сам поспешил открыть дверь.

— Фу-у! — с облегчением вздохнул Макар Иванович, возвращаясь в комнату с пачкой корреспонденций в руках. Почтальон.

Нервным движением отбросил он в сторону «Свет», «Киевскую старину», «Зорю» и взялся за письма.

Открытка. От кого бы это? А-а, от брата, бурсака.

Едва прочитав первые слова, Макар Иванович покраснел, топнул ногой и, возмущенный, швырнул открытку на стол.

— Это... Это... Это чорт знает что! — вскрикнул он. — Это просто безобразие! Писать мне по-украински на открытке, компрометировать меня! Открытку каждый может прочитать, каждый может увидеть... Я не позволю себя компрометировать... Я ему прочитаю «патерностер»<sup>1</sup>.

Макар Иванович бежал по комнате в сильном возбуждении, словно от открытки этой поднялся рой ос и искусал его. Наконец, немного успокоившись, он взял открытку в руки, чтобы дочитать.

— Ну, что тут особенного? «Я здоров, коханий брате... Як твое здоров'я. На святки може приїду...» Вот и все. Ну, взял бы и написал по-русски, а то... — Макар Иванович пожал плечами и сердито разорвал открытку на мелкие клочки.

<sup>1</sup> «Отче наш» — молитва.

Второе письмо, уже в конверте, вызвало только улыбку на губах Макара Ивановича. Одна весьма почтенная особа, обращаясь к его патриотизму, просила помочь молодому украинскому писателю, которому пришлось очень круто; особа эта оставалась в надежде, что Макар Иванович даст ее протеже место в своей канцелярии, потому что еще недавно намекал, что ему потребуется помощник. Макар Иванович усмехнулся. Дураков нет! На этот крючок его не поймашь! Чтобы он принимал к себе в канцелярию «молодых»? Зачем? Чтобы скомпрометировать себя, чтобы обречь себя на беспокойство, а то и — кто знает — на большие заботы? Разве он не знает этих сорви-голов?

— Нет, покорно благодарю! — разводит он руками с поклоном, словно перед ним сидит особа, написавшая письмо. — Обращается к патриотизму? Согласен. Даю пять... ну, десять рублей на помощь голодному, но всунуть палец между дверьми... покорно благодарю... Может, кто другой пожелает...

Улыбаясь, Макар Иванович тотчас же написал сладкий ответ, подчеркивая огорчение, какое причинила ему невозможность дать место упомянутому лицу ввиду отсутствия вакансий, и заверяя одновременно, что почитает своим долгом сделать все возможное для украинского писателя.

Удовлетворенный своим дипломатичным маневром, Макар Иванович заклеивал письмо, когда из другой комнаты, как бомба, влетел его четырехлетний сын.

— Папа! Папа! — закричал он. — Мама сказала, чтобы ты послал по водку!

— За водкой... за водкой, а не по водку! Сколько уже раз я замечал тебе, мужичонок ты этакий!

И раздраженный украинский патриот, позабыв на минутку о своем патриотизме, подходит к двери в другую комнату и окликает жену:

— Маша! Маша! Прошу тебя обратить внимание учительницы на то, как разговаривают наши дети. Ведь они страшно калечат русский язык! Это бог знает что такое! Это ни на что не похоже!

Макар Иванович волнуется, бегаёт по комнате.

Всё словно сговорилось сегодня раздражать его: и письма, и дети, и воспоминания о вчерашнем вечере...

Ох, эти вечера! Недаром говорят, что, когда бог хочет наказать, он отнимает разум. Надо же было совершить такую капитальную глупость — пойти на вечер... Быть не может, чтобы не разнюхали, кто там был, о чем говорили... И тогда... прощай, Макар Иванович! Простись с должностью, с семьей и в двадцать четыре часа... Вот влип, вот попался!..

Буйная фантазия толкает бедного Макара Ивановича по наклонной плоскости в какую-то черную бездну, откуда нет путей наверх. Страх охватывает его такой, какого он не испытывал даже в детстве. Несомненно, что стыд победил бы этот страх, если бы наш патриот мог со стороны взглянуть на свое гражданское мужество, или, вернее, на отсутствие его. Но разве до стыда тут, когда шкура в опасности? Шкура, поймите вы, шкура!!!

Макар Иванович так упорно бегал по комнате и так морщился, что дед Хо, уже давненько через окно поглядывавший на эту сцену, не может удержаться от смеха. Старик знает, что опасность не возмутит лойяльной жизни почтенного Литка, и весело смеется.

— Хе-хе! Вот еще пуганый человек! Хе-хе! Мне бы нечего тут и стоять, но забавно посмотреть, как взрослый человек, деятель, будто заяц, боится всего. Подожду еще минутку, позабавлюсь, нет ничего отраднее, чем такой трус — «фил».

Ох, снова звонок!..

Макар Иванович даже пошатнулся, звонок резко ударил по его напряженным нервам. Что за несчастье, звонят и звонят!

— Марийка, Варя! Не слышите, что ли? Поскорее откройте!.. — Макар Иванович, желая узнать, кто пришел, заглянул в переднюю через отворенную дверь комнаты... заглянул и похолодел. Ой, господи! Офицер... с серебряными погонами. У Макара Ивановича в глазах потемнело, холод пробежал до самых пяток... Вот и оправдалось его предчувствие. Вот она — беда!.. Бледный, перепуганный, Макар Иванович подбежал к столу, окинул его глазами, схватил бедную, ни в чем неповинную «Зорю» и, невзирая на протестующее «Д.Ц.»<sup>1</sup>, забросил ее под стол, в корзинку. Уверившись, что в комнате

---

<sup>1</sup> «Д. Ц.» — дозволено цензурой.

больше нет ничего «опасного», он собрал всю силу воли, чтобы придать своему лицу спокойное выражение.

И во-время: в комнату вошел гость... военный врач, знакомый Макара Ивановича.

Фу-у! Как же он напугал его!!

Макар Иванович едва перевел дух. Дрожащий, бледный, он поздоровался с доктором, предложил ему сесть.

«И чего он ходит ко мне, этот бунтовщик? — мелькнула мысль. — Ведь я уже раз «не узнал» его на улице».

— Начну, если позволите, прямо с дела, которое привело меня к вам, — начал гость, садясь на стул против хозяина. — Вчера вы так скоро покинули наш кружок, что...

— Голова у меня разболелась так, что верите, едва до кровати добрался, — поморщился Макар Иванович.

— Вот и мы тоже подумали, что вы как будто захворали... Как вам известно, — продолжал доктор, — послезавтра в городе Луцке состоятся похороны нашего известного писателя, умершего на-днях. Воздавая должное заслугам его в области украинской литературы, а также исходя из того, что нам нужны между прочим и манифестации, которые свидетельствовали бы о нашем существовании, показывали бы широкой публике, что мы живы, наше общество постановило принять участие в этих похоронах депутацией и венком на могилу покойного. Венок уже заказан, и деньги на него понемногу собираются, но...

«Чего это он хочет от меня? Не денег ли?» — размышлял Макар Иванович и перебил, доставая расписной кожаный кошелек:

— Прошу не забывать, что и с меня причитается доля на веноч...

— Благодарим, — отозвался доктор, пряча желтую бумажку. — Собственно, здесь дело не в деньгах, а в депутатии. Мы постановили избрать троих: двух молодых и одного из старших. Общество наше, преклоняясь перед вашим патриотизмом и заслугами, поручило мне просить вас поехать депутатом на похороны и возложить веноч. Это поручение я и выполняю теперь с удовлетворением...

Макар Иванович сразу перепугался.

Может быть, это небезопасно?.. Однако такое почетное приглашение приятно пощекотало его спесь. Да!

Не ошиблось общество, называя его патриотом... Он так любит Украину и добрый украинский народ! Бедная, бедная Украина, чего бы он не сделал для нее...

Макар Иванович совершенно раскис. Он благодарил за честь, уверял в своем патриотизме, сетовал на малочисленность украинской интеллигенции и под конец пообещал, договорившись о своей роли в депутатии, выехать завтра в город Луцк с утренним поездом.

— А кто поедет из молодых? — остановил он уходившего доктора.

— Семен Пилипчук и Андрий Гавриленко.

«Скверная компания», — подумал Макар Иванович.

Доктор попрощался и ушел, пообещав через два часа прислать венок, а Макар Иванович остался один в комнате.

Нет, не один, потому что Хо протиснулся вслед за доктором и притаился в уголку, откуда удобнее наблюдать за каждым движением и за самочувствием Макара Ивановича.

Макар Иванович прошелся по комнате, потирая руки. Он доволен. Он всегда был уверен, что заслуги его, как патриота, не пропадут понапрасну. Золото — всюду золото. Он даже и не удивляется, что из значительного круга членов общества его избрали депутатом на похороны. На такую честь он имеет право... Только... к чему те двое, молодых? Они какие-то... ненадежные... Ведь можно было бы попросить кого-нибудь из старших — правда, не таких известных патриотов, как Макар Иванович, потому что не все же познакомились с тюрьмой, не все издавали сочинения Рябоклячки, не все собирались писать научное исследование, — но все же людей надежных, солидных, с положением... А то — Семен Пилипчук... Андрий Гавриленко... Постойте. Какой это Андрий Гавриленко? Не тот ли, случаем, что недавно состоял под надзором полиции?.. Как же он, Макар Иванович, чиновник, вполне лойяльный, публично выступит с ним вместе и по такому поводу, который уже сам по себе немножко... как бы это сказать?.. Ну, немножко опасен! Нет, это бог знает что такое! Это... это... просто невозможно! Теперь такое время, такая обстановка, что — раз плюнуть — попадешь в категорию украинофилов, сепаратистов, политически неблагонадежных



et cet.<sup>1</sup>. И ради чего? Да, между нами говоря, к чему нам сейчас эти манифестации, для чего такие пышные похороны, с венками, речами, с комедиями? Умер человек — похоронить его тихонько, сойтись потом в кружочке, вспомнить покойника, помянуть слезой («пьяной», — шепнул внутренний голос Макару Ивановичу, но он не обратил на это внимания), погрустить, что у бедной Украины нашей судьба ее куцая отбирает лучших ее сынов, — и разойтись тихонько по домам, не дрожа за собственную шкуру...

Макар Иванович задумался. Напрасно, совершенно напрасно поторопился он с обещанием поехать на эти похороны. Что у него две головы на плечах, чтобы так рисковать, или слава убережет его от «всевидящего ока»? Лучше было бы отказаться, лучше не ехать. Как можно быть таким неосторожным? Всю жизнь быть осторожным — и вдруг так опростоволоситься? Эх!

— Что же мне делать, как поступить? Ведь я согласился, обещал! — бегает по комнате взволнованный Макар Иванович. — Теперь как-то неудобно отступить... А ехать не могу... И не поеду, ни за что не поеду... Но что мне сделать, как вывернуться?.. Господи!

Макар Иванович бегает по комнате, как безумный, а Хо не в состоянии уже дольше сдерживаться в своем углу. Его разбирает такой смех, что колики начались.

— Ха-ха-ха! — хохочет старик, взявшись за бока. — Ха-ха-ха! Видал ли кто более комичную фигуру? Вот так «фил», чистой, мол, воды!.. Ха-ха-ха!

Белая борода Хо расходилась волнами от смеха, даже холодный ветер от нее идет, а наш патриот бьется, как в лихорадке, представляя своей буйной фантазией все последствия своего неосмотрительного обещания. Тут и компрометация, и потеря места, и допросы, и такие пугала, которые и малым детям не снятся.

— Не поеду! — решает он наконец. — Не поеду!

— Барин! — вбегает прислуга. — Там принесли из магазина серебряный венок, так и сияет на солнце...

— Дура! — кричит на нее раздраженный Макар Иванович и садится за стол.

«Что же делать? — думает он. — Написать разве, что

И так далее.

неожиданно захворал и потому не могу ехать... Придется денька два не выходить на улицу, посидеть дома, но что поделаешь! Все лучше, чем компрометация...»

И Макар Иванович гладенькими фразами изливает на бумаге сожаление, что неожиданная болезнь вынуждает его отказаться от высокой обязанности и чести в роли депутата выразить свою неизгладимую печаль над свежей могилой украинского писателя и потому отсылает венок в надежде, что он попадет не в худшие руки...

Одно можно прибавить: Макар Иванович не солгал, он действительно заболел... со страха.

## V

Хо направляется в огромный дом, лезет, кряхтя, по лестнице высоко, под самое небо, и пробирается в маленькую комнату, в самый темный ее уголок. В комнате — как в улье: громкое гуденье молодых голосов звенит всеми тонами радости и печали. За столом при свете лампы собралась молодежь, перед тем как разойтись разными путями, может быть в последний раз поделиться впечатлениями пережитого и надеждами на будущее:

Видит Хо перед собой людей полных силы, энергии, веры, связанных теплыми, почти братскими отношениями. И не удивительно: все они грелись у одного костра, каждый пользовался его светом и теплом. Костер этот — любовь к родине своей, к своему народу; свет — это идея, давшая содержание жизни, сознание своего долга; тепло — вера в победу добра над злом, правды над кривдой, света над тьмой...

— Братья мои! — начинает речь один, — расходимся мы разными дорогами, расстаемся. Расстаемся навеки, соединенные одной идеей... идеей национально-культурного возрождения родины нашей... Перед нами жизнь, перед нами работа... Разойдемся мы солнечными лучами, понесем свет в темные закоулки... Разольемся глубокими реками, напоим родную землю, и, «как девичьи венки, зацветут наши нивы...» Мы не боимся огромной работы, не страшимся тяжкого пути. В идее нашей, в нашем труде, в нашей смелости — сила наша. Пью за смелость!

— За смелость! — раздаются голоса, вторя звону рюмок.

— Хе-хе-хе! За смелость... — с издевкой шепчет Хо. — Разойдемся лучами... разольемся реками... Хе-хе-хе! Ой, как поднимутся туманы и окутают эти лучи, как грянут морозы да скуют реки, — увидим тогда, куда денется ваша смелость! Хе-хе!.. А про деда Хо вы позабыли? Запомнили чудодейственную силу его бороды? Ась? А этого не хотите? — и Хо трясет бородой, наполняя комнату холодным ветром.

Но молодежь с улыбкой слушает старика. Пугай, дед!..

— Нам скажут, что мысли наши не новы, — отзывается другой, — что и раньше не одно чистое сердце согревалось этими идеями... Да то-то и оно, что только тогда идея приобретает значение, когда обрывает плоть, воплощается в жизнь. Преимущество наше я вижу, главным образом, в том, что мы поставили себе целью осуществить наши идеи, и уверены, что сделаем все, что в наших силах и возможностях... Будем везде украинцами — в своем ли доме, или в чужом, в своей стране или на чужбине. Пусть язык наш не будет языком, на котором обращаются лишь к челяди... Пусть он звучит и разносится в семье нашей, в наших отношениях товарищеских, общественных в литературе — всюду, где нам не зажмут рта... Не поступимся этим даже в мелочах. Понесем знамя дела нашего в крепких руках; будем последовательными, пусть слово наше будет неразлучным с делом... Не будем страшиться того, что дело это так огромно, так трудно. Сделаем, что сможем: на какую бы дорогу ни ступили — пойдем смело, помня, что все дороги ведут в Рим... А пока что нам нужна работа, работа, работа. У меня, как вы знаете уже, есть клочок собственной земли, и я пойду в деревню хозяйствовать. Присмотревшись поближе к жизни деревни, я убедился, что даже один интеллигентный человек может много там сделать, если сумеет обеспечить себе уважение и влияние. Была бы охота, найдется и возможность приложить руки к просвещению и улучшению экономического и нравственного состояния нашего народа...

— А враждебные силы? А кроты, которые будут подрыывать дом твой? А шинкарь? А мироеды всякие? — даже

подскакивает на месте Хо, трясая бородой. — Не думаешь ли ты, что это шутки?

— Знаю, — продолжает будущий хлебороб, словно отвечая на вопрос Хо, — что придется мне считаться с немалыми трудностями, встретить много препятствий, но велика моя вера в идею, много силы молодой, много энергии вложу я в свой труд! Пью за труд на пользу стране нашей!

Выпили за труд.

— Принимая этот тост, — говорит третий, — добавлю несколько слов. Вспомните, друзья, сказку про крестьянина, который, умирая, показал сыновьям на пучке прутьев, какую силу имеет единение. Вот этого единения, которое превращало бы нас из слабых и одиночек в несгибаемую силу, мы будем добиваться! Тяжелый труд, препятствия, которые неминуемо встанут на нашем пути, все злое в состоянии сломить любую силу, любую энергию; и горе человеку, который в таких условиях почувствует себя одиноким, оторванным листком. Нам нужен цемент, который бы наравне с идеей связывал нас вместе, а таким цементом я считаю искренние, чисто братские отношения между нами, взаимную помощь, советы. Помимо двух тостов — за смелость и труд — пью еще и за третий: за единство!

— За единство! — чокнулись все.

В маленькой комнате становилось все шумней. В атмосфере жарких речей, смелых порывов, надежд, энергии, безграничной веры в идею и в собственные силы, согретой юношеским пылом, прекрасно чувствует себя молодежь. Горя мало ей, что Хо изо всех сил пытается напугать ее: то бородой махает и ветром холодным в дрожь бросает, то, откинув завесу, показывает соблазны и опасности, которые маячат на житейском пути... Горя мало! Пылкая молодежь живыми глазами смеется над старым, подшучивает над его усилиями, называет его трупом.

У Хо есть основание радоваться: ведь кто, как не он, сетовал на пугливость, которая держит его на свете, не дает спокойно сложить кости в могилу? Но Хо не нынешний, он стар, как мир, его так просто не обойдешь. Ох, много видел он на своем веку! Видел он и таких, что, полные молодецкой отваги, вызывали на поединок

все силы зла, а как дошло до дела — первые же пятки показывали. Представляется львом, а гибнет, как муха. Видел Хо и таких, ох, видел, и теперь... не верит. Просто не верит, чтобы эта горячая молодежь, которой скоро предстоит столкнуться с подлинной жизнью, выдержала бы борьбу с его чудодейственной силой, не покорилась бы ей. Ведь и у таких, как Макар Иванович, были свои минуты решимости, а теперь что с ними стало? Смилуйся, господи!..

— Слова, фразы! — шепчет Хо. — Это кто угодно может! А вот делом доказать свою отвагу — и не безрасудную, а такую отвагу, которая давала бы победу в повседневных трудах, это я понимаю! Не могу, правда, сказать наперед, что вы неспособны на это, но не поверю, пока жизнью своей не покажете вашей правоты... А тогда... О, тогда чудищу Хо легче станет, потому что ближе будет он к могиле...

Хо слушает молодого врача, его планы врачебной и просветительной деятельности в деревне, где он намерен поселиться. Он поведет борьбу с темнотой, с суевериями, с враждебным отношением крестьянина к интеллигенции, организует медицинскую помощь... Слышит Хо сельского учителя, обещающего ловко и мудро править среди подводных камней современных порядков, чтобы приплыть туда, куда надо, достичь своей цели. А вот начинающий писатель обещает по-настоящему взяться за дело, за серьезные темы, понятно излагать свои идеи и работать не только в будни, но и в праздник... И Хо никак не может его запугать — ни цензурными условиями, ни злым роком украинского писателя, обреченного писать *gratis*<sup>1</sup> или за «бог подаст».

Долго еще, как улей, гудела маленькая комната под крышей, долго еще ждал Хо, когда прощальные братские поцелуи закончат этот памятный вечер.

— Не полегчало мне от того, что взглянули сегодня мне в глаза, — прошептал Хо и поплелся за последним из гостей. — И не полегчает, пока не увижу, что не пустые слова раздавались там, в комнате, что время и жизнь не сломят отваги вашей... Пожожу еще... Пожожу...

---

<sup>1</sup> Бесплатно.

Проходит несколько лет.

Измученный вечными скитаниями, истомленный пугливостью всего живущего на земле и неблагоприятной ролью страха, ковыляет по пыльной дороге Хо, опираясь на длинный посох.

— Скучно на свете, тоскливо на свете... Всюду полно трусов, — бормочет старик в раздражении, — а ты таскайся по свету, не видя конца-края своим странствиям. Ох, тяжело, тяжело, на покой бы мне... — вздыхает он.

— А что это маячит слева? — любопытствовал Хо, из-под руки вглядываясь в даль, багровую в лучах заходящего солнца.— Село? Не пойду туда, осточертели мне жилища людей... Э, нет, стой, найду, ведь здесь живет тот хлебороб-интеллигент, который собирался завести в деревне новые порядки. Посмотрим!

Солнце уже садилось, когда Хо входил в село. Прежде всего, как пристало истинному путнику, направился к корчме. Но что за чудо? Корчму кто-то огородил, приколотил новую вывеску над дверью и, видать, повыгонял оттуда всех пьяниц, потому что там тихо, как в церкви... Хо подошел, глянул на вывеску и прочитал: «Школа». Э-ге-ге! Вон оно что! Недавно была корчма, а теперь школа. Где же корчма? — Хо обошел всю деревню, но корчмы не нашел. Чудеса, да и только! А что поделявает пан-помещик, любопытно поглядеть? Хо направился к красивому дому, глядевшему на него освещенными окнами. Старик подошел к окну, заглянул и увидел: в комнате за столом сидят гости: учитель и крестьяне. Все они, вместе с хозяином, что-то пишут, подсчитывают, обсуждают. В уголку двое детей играют, декламируя басню Глибова «Волк и ягненок».

— Что они там подсчитывают? — шепчет Хо, прислушиваясь.— Эге, вон оно что: кассу взаимопомощи устроили. Ишь ты! А это еще что? Говорят о какой-то земле, которую общество хочет купить у соседнего помещика. Эге, он-таки вспахивает свои перелогы, этот хлебороб! Что же еще нового у них? — Хо, однако, вынужден отвлечься от этих людей, потому что в комнату вошла жена хозяина и обратилась к детям на чистом, неломаном языке:

— А йдѣть, дѣточки, гратися в другу хату, бо ви тут заважаєте...

Через минуту хозяйка опять входит и приглашает всех поужинать. Удивленный Хо видит, как все вместе садятся за стол, и говорит про себя: «Гляди-ка, словно здесь нет пана и мужика, одни люди...»

После ужина гости устраиваются, где кому удобнее, а хозяин достает последний номер «Зори», и начинается чтение.

Тут уже Хо не выдерживает. Его охватывает неодолимое желание вызвать отважного хозяина на последнюю борьбу. Хо собирает всю свою силу: пронизывающим холодом веет его борода; чудодейственная сила, как тучи, создает страшные картины перед глазами чтеца, но тот и не замечает этого. Однако, почувствовав, наконец, присутствие страха, он отрывается от книжки, оборачивается к Хо и смотрит ему в глаза долгим серьезным взглядом...

И тотчас Хо замечает, что от взгляда этого совершаются с ним необычайные вещи: от бороды его уже не несет студеным холодом, она теряет свою волшебную силу, тело его уменьшается, становится легче, словно часть его в пар обратилась или в прах рассыпалась. Хо чувствует, что на душе у него становится легче, отраднее, побольше бы таких смелых взглядов — и окончится его вековечное странствование, и уйдет он на покой, сложит свои старые, натруженные кости.

Хо отступает от окна, низко склоняет седую голову и, отдавая поклон новому рыцарю, шепчет:

— Спасибо...

Обрадованный Хо спешит дальше. Его тянет повидать всех тех, которые в памятный вечер в комнате под самой крышей объявили войну страху, пили за смелость. Все ли они выдержали, как этот хлебоборб? Все ли они, как подарком дорогим, порадуют его смелым взглядом? Эх, если бы все было так!..

Несмотря на глухую ночь, Хо идет дальше, не чувствуя усталости. Вот и небо улыбнулось перед рассветом, вот и солнышко землю плодородную с добрым днем поздравило, а Хо шагает, спеша в деревню, где молодой врач, верный своей идее, хотел развернуть врачебную и просветительскую деятельность. Вот и деревня. Хо подо-

шел к первой хатѣ, что попалась на глаза. Это была больница. Маленькая, нарядная хатка в саду — больница, место страданий и вместе с тем и борьбы со страданием. Хо встал на пороге, заглянул внутрь. Что там? Нет ли врача? Есть, он на своем месте, возле больных. Только он не замечает Хо, который всеми силами старается обратить на себя его внимание. Врачу просто некогда. Вот нового больного привезли, вот он делает операцию, а затем надо и лекарства самому приготовить. Работы много. Долго подстерегает Хо минуту, когда врач будет посвободнее... Едва дождался. Врач идет домой, обедает, а после обеда запирается в своей комнате, чтобы никто не мешал ему писать популярный очерк о гигиене для крестьян, конечно по-украински... Вот эту-то минуту и выбрал Хо, как подходящую для своей попытки. Он донимает труженика холодом, он рисует перед ним картины недостатков, нищеты. Что же иное даст ему сельская практика? Он показывает ему все приемы темной силы, воюющей со светом и честным трудом. Тщетно! Не пугается врач, поднимает на Хо глаза и пронизывает его светлым, смелым взглядом честного человека...

И снова Хо чувствует, что сила его слабеет, что сам он становится меньше, и, сердечно благодарный, полный уважения, низко кланяется врачу и шепчет:

— Спасибо...

А как там учитель?

И летит Хо в другую деревню и вынужден поклониться учителю, потому что тот смело плывет среди камней к цели, ни на минуту не забывая своих обещаний, своего долга.

— Эге-ге! Посчастливилось мне! — радуется старик. — На хорошую дорожку ступил я, пойду и дальше по ней.

И вот перед ним маленькая комната, а в комнате той, согнувшись над столом, худой, бледный, осунувшийся, работает украинский писатель, и великая душа его смотрит из больших его глаз. Едва узнает в нем Хо того юношу, с полным румяным лицом, который рвался к живому слову в тот памятный вечер. И не удивительно: жизнь шла, и были в той жизни и кандалы, и голод, и холод, и все, что приходится познать певцу подневольного народа...



— Долго не протянет,— определяет Хо, поглядывая на писателя.— Оставь, а то помрешь,— пугает он хозяина комнатки.— Видишь, какой холод идет от бороды моей, а есть края, где еще холоднее.

— Оставить? — отзывается тихий голос.— Нет, не оставлю! Умереть я могу, но что сделаю, будет сделано. Холодом же не пугай меня, потому что, пока тлеет огонь в сердце моем, мне будет тепло и хорошо...

И Хо встречается глазами с осунувшимся, несчастным человеком и не выдерживает его взгляда, полного веры, полного любви к стране своей...

И еще раз склоняется Хо перед силой, которая выше и сильнее силы страха.

Свободнее вздохнул старик Страх, и радостно и легко стало на сердце у него. Ему захотелось уединения, потому что пугливые и робкие люди, встречавшиеся на дороге, стали противны ему. Всеми силами стремился Хо поскорее удалиться от людских жилищ и направился по полям прямо в лес. Здесь, на знакомой поляне, он сел, окутался седой, как туман, бородой и задумался.

Сидит Хо и не замечает, что все живое в лесу от страха затаило дыхание, перестало жить, что вокруг него воцарилась полная, мертвая тишина. Птички умолкли, зверье притаилось, малые букашки замерли в траве. Растения боялись даже пить соки земли, пить холодную росу, расправить свернутые листочки, раскрыть спавшие цветы. Шаловливые лучи солнца замерли в зеленой чаще и лишь издали поглядывали на седую, как туман, бороду Хо, боясь подойти к ней... Тихо было, мертво... Но Хо не замечал этого; он сидел, задумавшись, с радостной улыбкой на губах, с надеждой в сердце, с надеждой на те времена, когда смелость возьмет верх над страхом и Хо уйдет на покой, сложит свои старые, наболевшие кости...

*18 января 1894 г.*

## НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ

*Листок из дневника*

...Знакомо ли вам то острое, до физической боли острое чувство тоски по родному краю, каким томится сердце от долгого пребывания на чужбине? Знакомо ли вам такое душевное состояние, когда за один родной звук, за один образ родной готов заплатить годами жизни?..

Именно в таком состоянии блуждал я как-то весенним днем вдоль Прута, в южной Бессарабии. И не тешили мой взор ни широкие, яркозеленые, прорезанные голубыми озерками и гирлами плавни, раскинувшиеся за рекой, в Румынии, ни желтые, залитые волной виноградников склоны остроконечных гор, теснящихся вдоль Прута с этой стороны...

С запада надвигалась черная туча, душный ветер с силой бился о горы, колыхал камыш в плавнях, обрывал виноградные листья и гнал их по черной, взбудораженной, словно вспаханной волнами, реке... Собиралась буря. Но я равнодушно смотрел на грозные силы природы, моего сердца как-то не трогала дикая красота южной грозы. Растравляемый тоской, погруженный в раздумье, я плелся тихим шагом по берегу реки, даже не замечая, как черная туча затягивала небосклон, медленно ползла вверх... уже нависала над моей головой... И только первые капли крупного дождя, внезапно упавшие с глухим шумом на землю в наступившей тишине, вынудили меня осмотреться вокруг, поискать надежного убежища от ливня. Но не успел я как следует оглядеться, как по

Моем напряженным нервам ударила волна близких, родных мне звуков. Я отчетливо услышал печально величавую мелодию украинской песни. Что это? В этом глухом уголке Бессарабии песня моей родины? Не обман ли это, не болезненное ли мое воображение вызвало галлюцинацию слуха? Я даже немного смутился. Но нет, это не воображение: я слышу, как песня крепнет, уносится ввысь, разливается могучим раскатом и замирает тихим аккордом в плеске проливного дождя. Да, это поют, но где и кто? Я стал прислушиваться и присматриваться и вскоре заметил, что голоса раздавались из молдаванской «колыбы» — остроконечного тростникового шалаша, какой обычно ставят для сторожа в виноградниках. «Это, должно быть, батраки, — подумал я, — которых дождь загнал в колыбу», — и решил пойти туда, чтобы вместе с ними переждать дождь.

В колыбе было темно; с трудом, напрягая зрение, я разглядел своих товарищей по несчастью: их было человек десять. На мое приветствие они ответили хором и подвинулись, чтобы дать мне место на колоде у дверей. Песня замолкла. Сперва возникла какая-то неловкость: посторонний, видимо, немного испортил настроение. Кто-то обмолвился словом о дожде, ему ответили шуткой, смехом... Но мелодия, завладев душой, войдя в нее, исчезает нескоро... Она наполняет грудь, рвется ввысь и, облачаясь в поэтический наряд слова, свободная, как птица, ищет простора...

Потому-то и мои певцы замолкли не надолго. Кто-то тихо затянул песню, его поддержал другой голос, а через минуту подхватили и остальные... Пели чумацкую песню.

Не знаю, со всеми ли это бывает, или только со мной, жаждавшим всего родного, столь далекого от меня, но звуки песни, касавшиеся моего слуха, расстилались перед глазами красками, рисовали передо мной с чудесной яркостью целые образы. Я уносился на крыльях песни в давно минувшее, я жил в минувшем, я видел, слышал; с замиранием сердца чувствовал горе, радость и все оттенки этих чувств...

Ясно, ясно сонечко сходить,  
А хмарнесенько заходить...  
Смутен, смутен чумацький отаман,  
Він по табору ходить...

И видится мне степь. Широкая, необъятная, нетронутая степь. Предрассветный ветер слегка колышет ковыль. Бледное небо мигает звездами в голубизне, окутавшей степной простор. В синеватом тумане виднеются курганы. Лозы чернеют вдали. Между небом и землей какой-то таинственный сговор. Уж не колдуют ли они вдвоем, или делают еще что-нибудь, но какой-то тайной веет от них, веет какими-то чарами от необъятного синего простора...

У дороги, в долине, догорает костер. Белый дымок вьется вверх над чумацким табором, который чернеется во тьме огромными мажарами, словно какое-то невиданное чудовище. Табор еще спит. Степная тишина жадно подхватывает все звуки... Вот слышно, как сопят сытые волы, жуя росистую траву... Где-то за камышами в озере квакают лягушки, гудит выпь... Табор еще спит. Только что-то не спит чумацкий атаман... не спит, по табору ходит. От буйного ветра, от ясного солнца исхудало это лицо, подернутое пеленой задумчивости и печали. И кто знает, какую думу думает чумацкий атаман в степи, среди ночи, отчего ему словно тоскливо, тяжело на сердце. Оттого ли, что здесь чужая далекая сторона, оттого ли, что вспомнились близкие родные, верная жена, оттого ли, что сердце вещает какую-то беду в этой широкой, необъятной степи? Кто знает... А тем временем сон убегает от глаз, и ходит атаман по сонному табору, поглядывая на своих товарищей, спящих вокруг костра, и на далекие контуры степи, чуть проступающие сквозь синюю мглу. Но постепенно синяя мгла редет, проясняется, восточный край неба озаряется широкой улыбкой рассвета, утренняя звезда бледнеет и дрожит, догорая... Начинается день.

Табор проснулся, но сон еще не успел оставить-ночлега, еще бросает на него свою тень. Таинственность раннего утра окутала и чумаков своими чарами.

Вот кашевар пристроил таган, повесил котел и, багрово освещенный пылающим огнем, нагнулся над чумацким завтраком...

Выстроились чумаки, повернулись к востоку и тихо произносят молитву. Золотистый горизонт глядит в дышащие верой лица, тихий ветер на легких крыльях своих разносит по степи горячие мольбы...

А через минуту звякают ложки о котёл, усатые чумаки приветливо улыбаются при виде горячей пищи. Ясное солнце выплывает на небо, срывает с земли темный покров мрака, открывает бескрайнюю даль степи, поросшей росистым ковылем, золотит высокие курганы, бросает затейливые тени от чумацких мажар, приветствует живописно разбросанный табор.

Пора! пора двигаться!

Гей, ви, хлопці, ви добрі молодці,  
Уставайте, вози мажте,  
Вози мажте, ярма наривайте,  
Сиві воли запрягайте...

И вмиг, по слову атамана —

Хлопці встали, вози підмазали,  
Нові ярма понаривали,  
Сиві воли позапрягали.

Готово!

Гей, соб, волики, соб, сиві...

Тронулись!

Старой, запыленной дорогой тихо движется обоз. Словно уж-гигант ползет по степи. Голова погрузилась в придорожный терновник, а хвост утопает далеко-далеко в густых тучах пыли. Сверху, из лазурной вышины, упадет серебром на землю песня жаворонка, донесется орлиный клекот, а широкая степь откликнется на эти звуки тихим шелестом ковыля. Дикая коза быстроногая мелькнет где-то далеко-далеко и мгновенно исчезнет в густых травах. Пылающее солнце висит над степью, недвижимый воздух пышет жаром... Душно так, томительно... Хоть бы легкий порыв низового ветра принес на своих крыльях прохладу и влил бы струйку жизни в эту духоту, в эту степную мертвенность... А обоз движется.

Степом ідуть — нові вози риплять,  
Сиві воли ремигають...

Ленивым, тихим шагом тащатся круторогие, широкобедрые волы, мотают лобастыми головами, безудержно жуют жвачку... Бренчат разукрашенные ярма с терновыми шипами, поскрипывают новые чумацкие мажары, покрытые шкурами, запыленные в дальней дороге.

У воев иду чумаки, опираясь на кнутовище. Это все высокие, здоровенные люди в черных, как смола, рубахах и штанах, в запыленных соломенных шляпах или в высоких шапках. Гордо смотрят они вокруг, уверенные в своих силах, равнодушные ко всяким житейским невзгодам. Не волнует их мысль о том, что некому присмотреть за ними в далекой дороге, в чужой сторонке... Некому выстирать белье, помыть головушку... Мелкие дожди вымоют чумацкую головушку, а расчесут густые терны, а высушит ясное солнце, а растреплет буйный ветер... Воля чумаку, воля всего милее... А разве не волею веет от этого простора широкого, от степи волнистой, безбрежной, как море... Разве не самой волею веет этот свежий ветер, собравший все степные запахи, бросающий их в загорелые лица чумаков и треплющий их длинные усы? Разве это не воля синеет вон там, далеко, за теми высокими и славными курганами, что едва виднеются на горизонте... Эй вы, степи-поля, красота моя!..

Тихо, тихо, шаг за шагом плывет обоз по изъезженной дороге, в безлюдной пустыне. Точно корабль на море в безветреную погоду. Тихо, степенно шествуют чумаки за своими волами. Не слышно голосов, словно душа говорит со степною тишиной...

Попереду чумацкий атаман  
На соплочку грає.  
Що він грає. грає-виграє—  
Він пригодоньку знає. :

О, немало горюшка знает он — этот крепкий, словно отлитый из стали, бывалый атаман! Грустная песня вырывается из свирели и не утешает тоскливого сердца, говорит о невеселом... Говорит она ему, что не раз и не два на этой широкой, слезами омытой дороге встречается чумаку горе. То волы его выбьются из сил или заболели, и тогда чумаку потеряет время, а то нехватит корма для скота, ревет волы голодные, за сердце хватая чумака этой невыразимой жалобой. А почерневшая спаленная засухой степь, а буйный ветер своим раздражающим сердцем воем еще усиливают грусть чумака, еще добавляют тоску... И от тоски и горя запьет чумаку, загуляет, оставит добро свое у шинкарки Настуси, опохмелится на последнюю вагу...

Напоминает песня и о диких разбойниках, которые нападают на обоз из придорожных зарослей, из непролазного камыша, готовят в глухой степи кровавое дело...

Но нет большего несчастья, чем болезнь в дороге. Вот на заднем возу лежит, как вяленая рыба, больной чумак, на вагу склонился. Обоз движется тихо, медленно, чтобы не беспокоить больного. Молча идут чумаки у воев, не переговариваются, даже не понукают волов. Грустно... А больной широко раскрытыми глазами, может быть в последний раз, глядит на этот свет прекрасный, на эту степь широкую, похожую на ковер, усеянный цветами... Хотелось бы пожить еще, наглядеться на божью красоту, посмотреть хоть раз на родное село, на семью, а приходится умирать. Ох, умрет он, умрет на чужбине, в этой дивной, но чужой степи, умрет неизбежно! Недаром филин кричал на опушке, недаром волю его не хотят пасть, не пьют воду и только жалобно ревет, словно чуют близкую смерть хозяина... Жаль оставлять этих с малолетства выкормленных воликов, этих верных товарищей дорожных, которые так понимают печаль и радость хозяина... Кому-то достанутся они, кто-то будет их погонять, когда его не станет? А кто расскажет отцу-матери про смерть их сына, кто утешит бедную жену, малых деток? Кто похоронит его на чужой сторонке, где чужие люди? Нет, не чужие: это все товарищи, его милые братья, они уж помогут ему... и просит он своих товарищей, когда будут возвращаться в край родной, поклониться от него отцу-матери и верной жене... И просит он посмотреть за его любимыми воликами, чтобы они ни в чем не знали недостатка, пока не придут домой. И еще молит выкопать ему хоть притыками глубокую могилу, хотя бы из рогожи сделать гроб и похоронить в степи у дороги, насыпав высокий курган, чтобы с этого кургана была видна его родная Украина... А на кургане пусть посадят красную калину, пусть она напоминает ему его милую далекую сторонку... И стоят чумаки, верные братья, вокруг умирающего, опустив печально головы, и обещают они выполнить его завещание... Соленая слеза повисла не на одном длинном усе...

Исполнили чумаки волю товарища. Вон там, в долинке, под белыми березами, копают уже глубокую могилу, вечную хату чумаку. Идя к могиле, заревели оси-

ротевшие волны, заплакали по своему хозяину, двигались и чумаки за телегой — отдать последний долг верному товарищу... Низко склонились обнаженные головы, степной ветер играет длинными губами и усами.

Приняла чумака вольная степь в свои недра... Безоблачное небо равнодушно глядит с высоты, а буйный ветер шепчется о чем-то с огромным степным чертополохом.

Чернеет вдалеке свежий курган, а над ним склонились белые березы, словно сестры-плакальщицы над могилкой брата...

О да, много горя видел чумацкий атаман, и не про одно это поет ему звонкая свирель.

А обоз движется. Скрипят возы, поскрипывают ярма, туча пыли купается в багряно-золотистом свете заходящего солнца.

Пора уже остановиться на ночлег.

Ой ви, хлопці, ви, добрі молодці,  
А де будемо ночувати? —

обращается атаман к чумакам.

Ой, ми будем, будем ночувати  
В чистім полі, край байраку;  
Недалеко від зеленого гаю  
Будем вогонь розкладати, —

решают чумаки.

Свернули.

Речерней прохладой встречает буерак гостей... Лес улыбается им последним лучом заходящего солнца, которое еще не успело выпутаться из курчавой сетки древесных верхушек. Где-то весело журчит ручеек, в косом луче солнца вьется рой мошкар, до чуткого уха долетает какой-то шопот, какие-то вечерние лесные звуки... Густые лозы, высокий камыш, покрывающие долину, тѣинственно чернеют, окутанные серебристым туманом. Смеркается... вот и ночь уже спустилась в долину с тьмой, влажностью, глубоким звездным небом.

Дозорные распрягли волов, пустили их пастись. Стоят телеги, торчат ярма, а между телегами под явором пылает костер, освещая все листочки, все веточки развесистого дерева. Разместились чумаки вокруг огня, ждут



ужина. Шум голосов стоит в таборе, шутки с веселым смехом разносятся по долине, беззаботность охватила веселую компанию.

А немного поодаль, на вагу склонившись, среди возов одиноко лежит парубок, наигрывает на свирели... Тихий и задушевный напев вызывает перед ним образ милой дивчиноньки... Что-то она теперь делает, думает ли о нем? Ох, верно, тоскует по молодому казаку, верно, припадает к его следу... Она уже, должно быть, потоптала черевички, на дорогу выбегая, выплакала карие очи, чумака поджидая... А может... может, полюбил он дивчиноньку не себе на радость, а людям; может, заставили ее пойти за другого, и горюет она, жалуясь на свою судьбу... Все может быть. И так грустно, так тяжело становится на сердце у чумака, и думает он невеселую думу... Думает он, что у каждого на свете есть своя радость, что каждый находит себе пару... Шука-рыба в море — и та не одна, а у молоденького чумака нет подружки... Эх, прочь, тоскливые думы, не суши мне, печаль, сердце до поры, до времени!.. Вот дал бы бог в Крыму соли набрать и любимую в девушках застать!..

И мечтает молодой чумака о мирной семейной жизни с любимой женой, и веселое напевает свирель — его отрада, его единственное развлечение в далекой дороге.

А от костра доносится звучный хохот веселой гурьбы, слышатся шуточные припевы к пляске, плеск ладоней, звон подковок. Лихо ударили чумаки о землю, затрещали каблуки...

Никому и в голову не приходит, что надвигается несчастье, что беда уже близко, что

Із-за того зеленого гаю  
Разбійнички виглядають...

Это грабители, одичалые в диких зарослях, ободранные, голодные, подстерегают чумацкое добро, выжидают подходящее время, чтобы в один миг по приказу вожака броситься на табор.

Що найстарший та й разбійничок  
На воронім коні грає.  
Що він грає, грає-виграє,  
До табору привертає...

Вожак подал знак рукой — и разбойники окружили табор.

Ужаснулись чумаки, вскочили со своих мест. Мысль о волах, о своем добре, да и о жизни молнией пронеслась в голове у каждого. Что делать? как поступить? где атаман? Ужас охватил чумаков. Одни стоят ошеломленные, другие мечутся на месте, словно ищут спасения. Где же атаман? А вожак разбойников еще издевается, видя такой переполох.

Ой ви, хлопці, ви, добрі молодці,  
А де ж ваш отаман? —

смеясь, спрашивает он у чумаков.

Наш отаман ходить між возами,  
Умивається сльозами.  
Що він ходить, ходить між новими,  
Умивається дрібними:—

с тревогой думают чумаки.

Но недолго грустит атаман. Его загорелое, мужественное лицо уже дышит отвагой, металлически-резким голосом отдает он встревоженному табору приказание так, что эхо разносится по лесу:

Ой, ви, хлопці, ви, добрі молодці!  
Ой, беріте дрюки в руки...  
Гей, та й бийте, бийте, не жалійте...

Встрепенулись чумаки... Бросились к возам за кольями и приготовились к бою...

И вот при свете догорающего костра, в глухом степном буреке, в мертвой тишине сонного леса начался бой. Удары кольев, крики, стоны, проклятья, мольбы о помощи, хрип умирающих, дикие голоса встревоженных птиц, хлопанье их крыльев — все это сливалось в один невыразимый шум, в одну волну диких звуков... Катится эта волна по лесу, затем стихает, а потом тонет в широком степном просторе, под темным звездным небом. Вот налегли разбойники, тесным кольцом сжали чумаков. Помахивают ножами и булавами. Крепко держится кучка стойких чумаков — видно, решила бороться до конца на жизнь и на смерть... Еще минута — и сразу, как один человек, кинулась она на разбойников, прорвала их

живое кольцо, смяла, бросилась в одну, другую сторону, всюду неся ужас и смерть... Дрогнули обитатели камышей, увидев перебитых товарищей, и бросились наутек, подставляя спины под чумацкие кольца.

Долго шла погоня, пока дикие заросли и камыши не укрыли уцелевших в своей чаще.

— Довольно! — кричит атаман. — Поджечь камыши!

И вот по слову атамана чумаки высекли огонь и подожгли с берега камыш. Поднялась черная туча дыма, лизнул огненный язык раз, другой и вот охватил широкий простор, загудело пламя, вздымая к небу огненные руки, озаря кругом черную степь, буерак и недавнее место боя, где в большом беспорядке, облитые собственной кровью, лежат мертвые разбойники — где двое, где четверо...

А в таборе, окруженный чумаками, стоит атаман и полусхута приказывает собрать убитых разбойников и положить на телеги:

На нові вози кладіте,  
Та й повезем у город Полтаву,  
Та зробимо собі славу:  
Що їх сорок, сорок і чотири  
Нас десяти не побили...

Песня замолкла...

Но я все еще был в степи, видел багровое зарево пожара, видел чумацкий табор с черными мажарами, с кровавым побоищем, с чумаками, гордыми своей победой, и до моего уха словно долетал рев волов, испуганных ночным побоищем...

14 января 1895 г.

Винница

## ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

### *Рассказ*

#### 1. ПЕРВЫЙ ГРОМ

Замфир Нерон, стройный тридцатилетний молдаванин, допил из глиняного кувшинчика оставшееся вино и поднялся из-за стола. Довольный праздничным обедом, с улыбкой на красном, согретом едой и вином лице, он обратился к жене:

— Управляйся скорей, Мариора, а я запрягу лошадей, поедем на виноградник.

— Хорошо, — ответила молодница, поправляя широкий медный браслет, который расстегнулся на ее смуглой, точно бронзовой руке.

Но не успела она застегнуть браслет, как почувствовала, что круглый, в пол-аршина вышиной стол — мас — повалился ей на колени, а посуда с дребезжанием раскатилась по сениям, где летом обычно обедают молдаване, покидая душную хату.

— Легче, чертенята! — вскрикнула испуганно Мариора, поддерживая стол рукой.

Винювники этой катастрофы — два мальчика лет семи-восьми и пятилетняя девочка — словно и не слышали сердитого окрика матери. С искорками радости в черных глазенках, с веселыми криками: «Едем, едем на виноградник, едем!» — они выскочили из-за стола и побежали за отцом на конюшню, размахивая недоеденными кусками мамалыги.

— Наказанье божье эти дети! — вырвалось у Мариоры, подбирающей раскиданную по сеням посуду.

— Вы не едите, мош Дима?<sup>1</sup> — неожиданно обратилась она к седому, почти белому старику, отцу мужа, сидевшему за столом, бессмысленно усмехавшемуся серыми, мутными глазами.

— Нет, спасибо, я наелся, — тихо ответил мош Дима, подымая с пола сброшенный кувшин.

Молодица засуетилась, собрала посуду, внесла в хату оставшуюся мамалыгу, вытерла трехногий мас и поставила его боком к стене.

Ее медленные движения, землистого цвета лицо, опущенные уголки рта свидетельствовали о переутомлении, а согнутый, словно под тяжелым грузом, стан делал эту двадцатипятилетнюю женщину старухой. Только черные, с поволокой, восточные глаза под тонкими сросшимися бровями горели огнем и говорили об огромном богатстве скрытой энергии.

Прибрав хату, Мариора одернула перед зеркалом широкие ровные рукава тонкой сорочки, которая при каждом движении открывала ее бронзовые руки с медными и стеклянными браслетами, поправила на шее большую золотую монету и взглянула на свою коротенькую корсетку со шнурками, словно соображая, не захватить ли в дорогу что-либо более теплое. Но июньское солнце, ударив целым снопом в зарешеченное окно, напомнило ей, что на дворе жара и что, верно, на этой жаре ждет ее муж с запряженными лошадьми. Мариора вышла из хаты.

На завалинке, среди кур и уток, сидел мош Дима и с бессмысленной усмешкой слабоумного пригоршней сыпал на землю накрошенную мамалыгу, на которую с шумом набрасывались его пернатые друзья.

Мариора из-под ладони посмотрела в сторону сарая. Через минуту затарахтели колеса, и Замфир, едва сдерживая горячих лошадей, подъехал к хате на новой, с железными осями, расписной телеге — каруце. Из повозки выглядывали счастливые лица детворы.

Мариора села, и лошади, выгнув под натянутыми вожжами шеи, помчались по улице, вздымая целые обла-

---

<sup>1</sup> Мош Дима — дед Дима.

ка пыли. Собаки стаями выбегали из дворов, с неистовым лаем бежали за каруцей, бросались лошадям под ноги. Расфранченные по-воскресному молдаване всматривались из-под ладоней на телегу Замфира, причмокивая от удовольствия.

И правда, приятно взглянуть на стройную фигуру Замфира с гордой, как у римского патриция, осанкой, с мощной грудью, тесно схваченной золотым узорчатым «иликом», открывающим широкие рукава белой сорочки, из-под которой виднеются крепкие руки с вздувшимися от напряжения жилами.

Сверкающие черные глаза Замфира и его продолговатое полное лицо, обрамленное коротко подстриженной черной бородой, так и светятся удовлетворенностью, так и сияют гордостью, словно вещают миру, что Замфир теперь настоящий хозяин, не хуже других. Вот этими самыми руками, которые натягивают теперь ременные вожжи, он заработал все свое состояние, все то, что сравняло его с первыми хозяевами, чему теперь завидуют многие. Потому-то так гордо и посматривает он на встречаемых, так весело посвистывает на своих сытых, в ременной сбруе, вороных, которые, круто выгнув шеи, легко, как перышко, несут большую каруцу меж камышовых плетней узкой улицы.

Миновали село. Замфир шагом поехал берегом Прута. Здесь взглянул на него из-за реки широкий простор зеленых плавней, неясно встали вдальке селения за границей. На румынском берегу три пары волов тащили на канате против течения большое красное судно. Белый флаг на мачте трепетал в воздухе, блестя на солнце. Высокий загорелый кормчий в красной феске налегал на руль. Около него сидел белый мохнатый пес и смотрел на берег. Выше, на отдаленном изгибе реки, под ветвистыми вербами, медленно двигались по течению плоты, словно ряд черных островков на голубой поверхности реки. Ветер доносил оттуда отрывки веселой песенки, которой развлекались плотовщики-галичане на чужбине.

Дети заметили на судне собаку и высунулись из возки.

— Мама, мама! Да посмотрите же, какой хороший песик! На, цю-цю, на!

— На место! — оборвал отец, обернувшись к детям.

Из-за горы выехала телега, переполненная женщинами и детьми, и нагнала Замфира. Молдаване обменялись взглядами и вмиг, как бы поняв друг друга, пристали, распустили вожжи и гикнули на лошадей... Лошади, почуввав свободу, рванулись, вытянулись и полетели стрелой наперегонки и вскоре исчезли в густом облаке пыли.

Лишь иногда, когда более сильный порыв ветра относил в сторону пыль, виднелись вдалеке две каруцы, одна ближе, другая дальше, которые от неистовой гонки качались, как пьяные, с боку на бок.

Детвора вцепилась ручонками в повозку. Черные глаза блестят счастьем... Ах, как хорошо, захватывает дух, кажется, летишь куда-то далеко, оторвавшись от земли... Вербы, сады, горы словно улетают назад в село, словно кружатся, захваченные каким-то шальным водоворотом. Мать смеется от удовольствия, отец — этот добрый «татыка» — то и дело подпрыгивает, взмахивая рукой, и белый рукав сорочки полощется, как парус. Лошади вытянулись змеями, покрылись пеной, но не дают себя опередить, хотя задняя телега уже близко, вот-вот заденет... Нет, все-таки наша взяла, все-таки мы опередили. Те уже отстали далеко, придерживают лошадей.

Замфир натянул вожжи, лошади уменьшили бег и в конце концов стали. Замфир вытер рукавом потный лоб, соскочил с каруцы и с выражением гордости на возбужденном от гонки лице потрепал горячих лошадок по шее.

Приехали.

Через минуту, опережая мать, дети шумно вбежали в виноградник. Замфир распряг лошадей и пустил их пастись около сада.

Сразу за дорогой, огороженной камышовым плетнем, начинался виноградник Замфира. Роскошные ветвистые кусты с буйною лозою, облепленные лапчатыми листьями, покрыв подножье горы, карабкались вверх, свисали гирляндами над желтым обрывом, который, как глубокая морщина на лбу, разделял гряды гор. Тоненькие, искусно сплетенные камышовые тыны отделяли виноградник Замфира от соседних, а буйная лоза, как бы наперекор всем границам, переползала через плетни, сплетаясь усиками с соседними лозами, по-братски сливалась в одно зеленое море виноградников. Казалось,

какая-то могучая зеленая волна залила подножье остроконечных гор, подымалась вверх к тем желтым зубцам, что смотрят со своей высоты далеко за Прут, на плавни, на озера, на гирла, в дальний простор, овеянный сизой мглой.

Зеленое море листьев играло над землей всеми оттенками цветов, начиная с темнозеленого до желто-зеленоватого, а с гор вторила этой мелодии красок простая гармония медных колокольцев отары, которая паслась по горам, и жалобная дудочка пастуха.

Замфир очень любил свой виноградник. Вот эта десятина земли, густо засаженная роскошными кустами, отделенная от горы столетними волошскими орехами, нежными абрикосами и серолистой айвой, досталась ему еще от отца. Это был дедовский, а может быть, прадедовский надел. С этим виноградником связано так много воспоминаний. Еще ребенком бегал он здесь, с жадностью поедая сладкий виноград, заглядывая под каждый куст, в каждый уголок. Тут все знакомо, все свое. Там, под орехами, встречался он в праздник со стройной, черноглазой Мариорой, тогда еще девушкой, там посадил, на счастье, какой-то особый сорт винограда, — вот как роскошно разросся он теперь! — а здесь уже хозяином завел молодые побеги.

Замфир нагибается к кусту, осторожно, с любовью разбирает листья, то нежные, светлозеленые, покрытые снизу белым пушком, то темные, блестящие, словно подернутые глазурью. Там, под листьями, целые сокровища, целые купы роскошных кистей так и облепили куст, склоняют лозу непомерной своей тяжестью. Эх, уродил господь! Радостно бьется сердце Замфира, а глаза улыбаются большим гроздьям.

— Татыка, татыка! Да идите же сюда, — зовет старший паренек. — Сколько тут помы (винограда) — ужас!

— Сюда, сюда, татыка! — кричит с другой стороны девочка, — у меня больше, даже листьев не видно!

Замфир сияет. Не станут заглядывать дети за чужие плетни, смотреть в чужие руки. Будет своя пома — будет и вино. Тут приволье для винограда, отсюда получается вино, как спирт. О, все знают, какое вино у Замфира Нерона, потому-то он и не возит его на базар. Сами купцы приезжают с наличными деньгами, было бы



только что продавать. А придется продать бóльшую часть. Ну, оно и понятно, на то и ходишь за виноградом, на то и работаешь, чтобы иметь прибыль... Даст бог, будет что продать, хватит и для себя. Ведь молдаванину не оставаться без вина — сызмальства к нему привык.

Замфир ходит меж кустов, где тростниковую подпорку поправит, где лишний лист оборвет, где ветку подвяжет. Правда, сегодня воскресенье, не следовало бы работать, но на винограднике работать не грех. Это святой труд, это дар божий... Вот тут какая густота, солнца не пропускает, надо немного пооборвать листья. А здесь лишняя ветка, только попусту тянет сок из бедного куста. Удалить ее... вот так... А вот склонилась ветка под тяжестью гроздей. Лежат они, бедные, на земле, надо поднять их, потому что это убыток, потому что это труд человеческий.

Ох, труд! Сколько труда и хлопот потребовал этот клочок земли! Еще отцы, а может быть, и деды оставили здесь свои силы, взгляни — какие большие и роскошные кусты выходили. А он сам — разве он мало потратил здоровья?

И рисуется Замфиру, как осенью он должен будет собирать жерди, подчищать лозу, закапывать ее в землю. Высоко взлетает большая мотыга, и на месте кустов вырастают холмики. Спит зимою виноградная лоза под маленькими холмиками, а весной надо вызволить ее на свет, вывести из-под земли, обчистить, к жердям привязать. А начнут кусты сорной травой обрастать, снова работает мотыга, снова мозоли на руках. И так не раз, не два... Виноград любит уход — и заботишься о нем, как о родном детище, и ухаживаешь, зато привыкнешь к нему, как к близкому, с жизнью которого связаны собственная жизнь, заработок, довольство. И таким дорогим становится тебе это гибкое растение, умеющее отблагодарить за тяжелый труд, за твердые мозоли...

А время сбора винограда? — приходит на ум Замфиру. Ну, это уж легкая, праздничная работа. Вся семья принимает участие в ней. Приятно тогда взглянуть на зрелую, прозрачную ягоду, которая едва сдерживает сладкий сок тонкой кожицей. Взрослые с песнями собирают спелые кисти в ведра, сносят к чану, а веселая, перепачканная сладким соком детвора рыщет под кус-

тами, выискивая пропущенные грозди. Рекой льется сладкий «муст», начиная играть, и тогда село — от малых детей до столетних дедов — навеселе...

Вот если б помог бог собрать виноград и продать вино. Надо взять у пана «фальчу»<sup>1</sup> земли, потому что без поля тоже плохо в хозяйстве. Что Мариора скажет на это? Но где же она? Замфир взглядом окинул виноградник.

Мариора стояла с задумчивым лицом между кустами, словно в зеленой раме, подпирая голову рукой.

— Мариора, отчего же ты затосковала? Видишь, бог послал нам урожай. Такого урожая я не видел у наших соседей.

— Слава богу, — вздохнула молодлица. — Да, видишь, я думаю... люди толкуют...

— О чем толкуют люди? — подошел к ней Замфир.

— Говорят, будто бы ездят по деревням какие-то доктора, которые портят виноградники. Говорят, болезнь, что ли, какая-то завелась в винограднике, поэтому они рубят кусты и жгут их да еще землю поят отравой.

— Что? Виноград рубят? — вздрогнул Замфир. Он сам слышал об этом, когда ездил на ярмарку в Рени. Жгут, говорит она, землю отравляют? Может быть, и его добро, его наследство, его хлеб могут уничтожить какие-то доктора?

Никогда не будет этого. Может, где-нибудь и болеет виноград, но здесь, в их селе, все виноградники, слава богу, здоровы, добрая земля родит хорошо. Это просто глупость. Да и народ у них не такой, чтобы пустить докторов на свои виноградники. Ого! Осмелился бы кто вступить в его виноградник. Он бы первого застрелил, как собаку. Разве только через труп его вошли бы в сад, но пока он жив, он не пустит туда. Эх, глупости! Мало ли что люди болтают.

Замфир махнул рукой.

Однако, несмотря на этот жест пренебрежения, облачко беспокойства легло на чело Замфира. Не надолго, правда. Ясность веселого июньского дня, широкое зеленое море, скрывающее волнами листьев богатство урожая, беззаботное щебетание детворы, шумно бежавшей

---

<sup>1</sup> Ключок.

к отцу, обвешанной виноградными лозами, вернули Замфиру его веселое настроение, его розовые надежды.

Солнце уже клонилось к вечеру. Мариора напомнила о возвращении домой. Мальчуганы бросились к лошадям, и вскоре телега стояла запряженной, готовой двинуться в путь.

Горячие лошади помахивали украшенными виноградным листом головами, а девочка, в венке из виноградной лозы, захватила с собой в повозку несколько срезанных отцом длинных веток с нежными лапчатыми листьями и вьющимися тоненькими усиками.

Наконец лошади тронулись, каруца покатила берегом Прута, и долго еще виднелись счастливые лица детворы да длинные зеленые ветки, которые свешивались с каруцы до самой земли и колыхались от быстрой езды, как бы прощаясь со своими подругами по винограднику.

Село было в движении. Толпы молодежи, одетой в праздничные костюмы, стояли на улицах или направлялись к площади, откуда на все село несло глухое гудение «добы»,<sup>1</sup> сопровождаемое резкими и визгливыми звуками «кавала»<sup>2</sup>.

Оригинальная восточная мелодия «булгаряски» свидетельствовала, что там, на площади, танцы в разгаре.

Кроме этого движения, замечалось еще и другое. По улицам сновали молдаване, собирались группами у ворот, у плетней, махали руками, спорили, кричали. Бабы своими визгливыми голосами производили настоящую суматоху. Очевидно, в селе что-то случилось. Когда Замфир приблизился к одной из таких групп, его остановили, обступили каруцу со всех сторон, и хотя по возбужденным лицам молдаван видно было, что их языки чешутся от желания сообщить какую-то интересную новость, однако, по старому обычаю, был исполнен вначале церемониал приветствия.

— Добрый день, Замфир.

— Спасибо вам.

— Что делаешь?

— С виноградника еду...

После этого короткого вступления, исполненного

---

<sup>1</sup> Продолговатый барабан.

<sup>2</sup> Очень длинная дудка.

обеими сторонами одинаковым тоном, поднялась со всех сторон буря голосов: — Слышал ли он, что примарь<sup>1</sup> получил бумагу? — О, он пустит их, продажная душа, лучше б ему не предстать в последний день перед судом божьим! — Нет, не пустит? — Увидите, пустит... Так село не пустит!.. — Нет, это уже конец света приходит!

Замфир ничего не понимал.

— Кто? Кого не пустит? Скажите же толком! — задал он вопросы на все стороны.

— Кого! Да докторов! Пришла в примарию бумага, что скоро должны приехать доктора, которые портят виноградники.

Замфира, словно гром, поразила эта новость. «Неужели правда? — сновала мысль в его голове. — Неужели правда?»

— Ой, вырежут нам виноградники, до корня вырежут, антихристы! — голосила какая-то баба.

— Ничего, будем привыкать жить без вина, — злобно отпустила замечание другая.

Замфир еще не верил известию. Не пустил ли кто ложный слух? Надо самому все выяснить в примарии.

— Я сейчас вернусь, только распрягу, — крикнул он в толпу, трогая лошадей.

Через минуту Замфир с пасмурным лицом уже шел в примарию. За ним последовало несколько молдаван. Примарь еще не возвращался с ярмарки; на дворе примарии встретил их пан писарь, очень недовольный, что ему помешали любоваться его новыми яркого цвета рейтузами. Он окинул Замфира кошачьим взглядом, оцетинил ровные, как у кота, усы и ответил на приветствия.

— Мы пришли к вам, домнуле писарь<sup>2</sup> узнать, правда ли, что прислана бумага о докторах, которые портят виноградники?

Пан писарь сделал рукою и затылком в яркие рейтузы ногами такое движение, будто бы хотел просить у общества прощения, что подобная никчемная бумага действительно имеется в канцелярии.

— Как же, есть... есть... За номером...

---

<sup>1</sup> Примарь — сельский староста; примария — празднество.

<sup>2</sup> Домнуле писарь — господин писарь.

— Чего же они хотят от нас, эти доктора? — глухо спросил Замфир.

Пан писарь был в замешательстве. Он и сам хорошо не знал, чего хотят доктора.

— А... а... в вине болезнь такая есть, филоксерия прозывается, — соврал он, откидывая ногу в светлых рейтузах и делая плавный жест рукой.

— Болезнь? В вине болезнь? — загудела толпа.

— Вранье! Деда, прадеды наши пили вино, а жили по сто лет. И мы пьем, и никто не слышал о каких-то болезнях. Это нас дурачат... Вйшь — болезнь нашли...

— И откуда берется эта болезнь? — спокойно, но глухо спрашивал Замфир.

— А... из воздуха! — и пан писарь, сморщившись, потянул носом воздух, будто почувствовал присутствие этой болезни в воздухе.

— Ну и что же, — расспрашивал Замфир, — станут рубить наши виноградники?

— А как же, будут рубить.

— Все?

— А как же — все...

Молдаване пришли в негодование. Кто имеет право рубить их виноградники? Да они разорвут первого, кто занесет топор над кустом. Как? Они сажали виноград, они выращивали свои сады, а кто-то придет и так, здорово живешь, начнет уничтожать их работу? По какому праву?

— Закон! — уклончиво ответил, разведя руками, пан писарь и даже глаза закрыл, будто прося извинения, что существует на свете такой закон.

Закон! Закон! Они уже слышали это слово. Как какой-нибудь грабеж или обида обществу — сейчас закон! А разве закон насадил им виноградники, что берет себе право уничтожать их? Разве закон трудился до кровавого пота на этих виноградниках? Закон, он говорит. А разве на свете есть такой закон, чтобы отбирали хлеб от их детей, обращая их в нищих! Ого! У них свой закон: заговорит он из ружей с каждым, кто хоть пальцем осмелится притронуться к их садам. Пусть тогда их судят!..

Толпа гудела, как рой раздраженных шершней, но пан писарь не слышал этого шума. С сознанием собст-

венного превосходства, с выражением крайнего презрения к этому темному мужичью, с выражением, которое так не гармонировало с его кошачьим видом, пан писарь плавно повернулся спиной к крестьянам и, бросив последний взгляд на свои новые рейтузы, скрылся в канцелярии.

Замфир оставил взволнованную толпу, не уяснив себе хорошо надвигающегося бедствия. Злость душила его, а проклятия, которые он посылал всяческим законам, не дающим бедным людям спокойно жить, не снимали тяжелого камня с сердца, не уменьшали озлобления.

Когда перепуганная жена встретила его беспокойным, вопрошающим взором, он процедил сквозь зубы:

— Не бойся, ничего нам не будет. Я еще смогу защитить себя от беды... — и взглянул исподлобья на старое турецкое ружье, висевшее на стене около шкафа.

## И. РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Однажды, около десяти часов утра, горной дорогой, над Прутом, катились две молдаванские каруцы. На задней повозке, где сидело несколько человек, спустив ноги за грядки телеги, слышны были веселые шутки, смех, песня. По грубым полотняным рубахам, по черным от работы рукам, по железным лопатам и всяким иным рабочим инструментам, видневшимся на повозке, можно было узнать, что это рабочие.

На передней, расписанной зеленой краской телеге, между дорожными пожитками, сидело трое молодых людей: двое сзади, а один напротив, спиной к вознице-молдаванину. Этот последний седок сладко дремал, свесив большую, круглую, как арбуз, голову на грудь. На его жирном круглом лице с черными закрученными усами блуждала счастливая улыбка сладкого сна, а кругленький многообещающий в будущем животик мерно колыхался под полами студенческого кителя. Рядом с короткой круглой фигурой студента товарищ его казался жалким, хрупким. Высокий, худой, с загнутым вниз ястребиным носом на продолговатом лице, обрамленном редкой темной бородкой, одетый в синюю французскую блузу, сквозь которую можно было пересчитать все его

кости, он слегка походил на Дон-Кихота. Сгорбив свою длинную фигуру и опершись худыми, костлявыми руками на ружье, Дон-Кихот (как его дразнили товарищи) жадно следил глазами за стаяй диких гусей, летевшей через Прут в плавни. Его, очевидно, раздражало, что дичь безнаказанно пролетает над головой под охраной высоты и запрещения охотиться до петрова дня.

Третий спутник, закутанный в парусиновый плащ, со значком на белом картузе, под которым его загорелое лицо с подстриженной á la Boulanger<sup>1</sup> русой бородкой казалось еще темнее, смотрел серыми задумчивыми глазами на широкий пейзаж.

Ниже горного луга, по которому они ехали, широко расстилалась зеленая низина. Серебряная ленточка Прута, изгибаясь, прорезывала зеленые берега, море волнистого камыша скрывало от человеческого взора блистающие озера и гирла, голубая мгла окутала далекие села, горы, сады. В долине волновалась на ветру пшеница, а по желтым ярам, сбегавшим к Пруту, ползли лозы кудрявого винограда. В чистом теплом небе только кое-где белели барашками облака.

Дон-Кихоту первому надоело молчанье, он слегка толкнул дремлющего студента:

— Коллега Савченко, довольно вам свистеть носом! Лучше посмотрите на эту стаю диких гусей. Даже зло берет, что нельзя их добыть.

— А? Что? Разве я спал? — проснулся студент. — А что же и делать в дороге: ни вина, ни женщин тут нет.

— Скоро приедем в село. Будет и то и другое.

— Угу... А как найдем филлоксеру, так эти мегеры и глаза нам повыцарапают. А вы все еще, коллега Рудик, словно кот, псаете глазами птичек. Плюньте на это.

Рудика передернуло.

— Лучше плюньте на своих женщин, — отрезал Рудик обиженно.

— Ха-ха! Сравнили! А что же это, — зевнул Савченко, — наше «начальство» повесило голову? На что хотите держу пари, что он как раз теперь обдумывает план антифиллоксерной кампании. Ну, признайтесь, пан Тихович, ведь я отгадал ваши мысли?

---

<sup>1</sup> На манер Буланже.

Тихович поднял глаза и посмотрел на Савченко.

— На этот раз вы не отгадали, — ответил он. — Я ничего не думал, а просто любовался видом. Но, если хотите, искренне сознаюсь: меня мучает мысль, что мы найдем филлоксеру в Лоештах.

— Вас это волнует? — засмеялся студент. — А я бы сошел с ума от этой восьмичасовой однообразной работы, если бы меня порою не спасал от этого ваш враг — филлоксера. Все-таки какие-то впечатления, движение, жизнь. Да и приятно найти, если ищешь.

— Молчали бы лучше, коллега, — прервал его Дон-Кихот, vulgo<sup>1</sup> Рудик, — и не беспокоили бы пана Тиховича своим легкомыслием. Ведь вы знаете, как он серьезно относится к своей миссии...

Студент махнул рукой и расстегнул китель.

Тихович ничего не ответил. Через несколько минут он обратился к вознице:

— Дипарте<sup>2</sup> Лоешты?

— Яка-та<sup>3</sup>, — показал кучер кнутовищем на овраг, в котором сразу исчезла дорога. Казалось, дальше некуда было ехать.

Дорога уходила, как в землю, а за оврагом, глубины которого нельзя было определить, торчали зеленые зубцы гор. Но кучер придержал лошадей и спустился с крутизны шагом. Он въехал в узкое ущелье. С одной стороны дороги подымалась желтая стена обрыва, с другой — чернела широкая бездна, дно которой, может быть, никогда не видало солнца. Зубчатые горы бросали тень на дорогу. Мрак, подымаясь из бездны, наполнял ущелье, полз по горам, достигая даже сияющих на солнце вершин. Сдерживаемые вожжами, подталкиваемые каруцой лошади извивались, как змеи, и понемногу спускали телегу по извилистой дороге, которая, казалось, ведет на тот свет. Выступы гор закрывали дорогу, и только кусок безоблачного неба синел в высоте над отвесными желтыми стенами оврага.

Сразу, как бы по мановению волшебного жезла, гряда гор разорвалась, в большом прорыве, словно в окош-

---

<sup>1</sup> Попросту.

<sup>2</sup> Далеко.

<sup>3</sup> Вот, сейчас.



ке, блеснула река, а за рекой — широкий простор зеленых плавней, весь залитый южным солнцем. Каруца нырнула в волну яркого света и покатила берегом Прута, далеко оставив за собой хмурые обрывы.

Вскоре показалось село, живописно разбросанное над рекой по горе. Белые нарядные хаты под камышовыми крышами, с широкими навесами крылец на размазанных столбах, деревянные «кошницы» для кукурузы, тростниковые хлевы, ветвистые акации и шелковицы за искусно сплетенными тынами, журавли над колодцами — все производило впечатление, говорило о мире и о достатке. Хозяев не было дома, все были на работе. Только кое-где старики грелись на солнце по завалинкам да молодичи торопливо бежали за водой, помахивая медными лужеными ведрами. Собаки, которых всегда такое множество в селениях южной Бессарабии, окружили каруцу и с лаем бежали за нею до самой примарии, где остановились наши путники.

Тихович соскочил с каруцы и, не стряхнув с себя пыли, торопливо вошел в примарию. Тут его встретили примарь, грубый, пузатый молдаванин с апатичным лицом, и знакомый нам писарь, на котором уже не было праздничных рейтуз.

Тихович назвал себя.

— Мне поручено, — добавил он, — осмотреть лоештинские виноградники, чтобы убедиться, что они не заражены филлоксерой. Вы получили мое оповещение?

Примарь апатично моргнул глазами, а писарь, ощетинив усы и выпучив кошачьи глаза, согнулся так, что стал походить на человека, у которого от страшной боли втянуло живот.

— А как же, получили... Это про «филлоксерия». О, вы, наверно, найдете ее тут, — добавил он, делая руками плавное движение.

— Почему вы так думаете? — обратился к нему заинтересованный Тихович.

— Люди мрут, — таинственно пояснил писарь, — и в воздухе...

Он не договорил, а только потянул носом воздух, как бы чувствуя в нем присутствие «филлоксерии».

Тихович слегка улыбнулся.

— Мне нужна квартира, — обратился он к примарь

рю, — для рабочих и для нас. За помещение я заплачу. Только поспешите, так как люди ждут на дороге.

— Все будет исполнено, — подхватил писарь, отступая из хаты спиной и делая странные движения ногами, на которых, к большому сожалению пана писаря, сегодня уже не красовались новые рейтузы.

Сотский и десятский, как ошалелые, бегали по хатам в поисках квартир и не могли ничего найти.

Молдаване, узнав, что приехали ненавистные им доктора, ни за что не хотели пускать врагов в хату.

Савченко с Рудиком сидели на телеге и, голодные и злые, бранили молдаван.

— Какая дикость, какое отсутствие культуры! — волновался Савченко. — Ты работаешь им же на пользу, для их же блага, а они тебя и в хату не пускают, варвары.

— С каких это пор вы начали, коллега, видеть пользу в нашей работе? Я что-то раньше не замечал этого за вами. Может, это от голода? — глумился Рудик.

— А я порядком-таки голоден, если хотите знать, — вырвалось у Савченко, — с самого утра ничего не ел, а теперь жди на жаре, пока тебя впустят в хату. Нечего сказать, милое житье расследователя филлоксерной комиссии.

— Эх, беда, — вздохнул Рудик. — Если бы можно было, убил бы я парочку гусей да поджарил бы их на масле, знаете, с яблоками.

— А-а, перестаньте дразнить...

— Или подстрелить, знаете, зайца да поджарить его со свеклой в сметане.

— Тьфу, молчите! Прямо слюнки текут...

Тихович с крыльца прислушивался к этому разговору, нахмутив лоб. Очевидно, и его беспокоило досадное положение.

В конце концов запыхавшийся сотский оповестил, что квартиры найдены. Обе каруцы двинулись, и наши путники кое-как разместились.

Когда через несколько минут работник нес из шинка графин с вином, молдаване бросали ему вслед сердитые взгляды, крича с негодованием:

— Антихристы! Смотри, сами пьют вино. Им оно не вредит, а у людей рубят виноградники, — боятся,

видишь, что мы помрем, — подохнуть бы вам самим, антихристы!

В маленькой опрятной молдаванской хате, где остановилась филлоксерная партия, шумела на столе бензинка, а на ней шипела яичница, которую мастерски умел готовить Савченко. Он сам, собственной кругленькой персоной, стоял, нагнувшись над сковородой, и с жадностью лакомки, с расширенными ноздрями наслаждался запахом вкусного кушания.

Рудик протирает стаканы для вина, резал хлеб.

— И где этот Тихович шатается? — ворчал импровизированный повар. — Яичница готова, а его где-то носит...

— Принесло уже, и, как вижу, как раз во-время, — отозвался Тихович с порога. — Надо было посмотреть, как разместились рабочие.

Савченко погасил бензинку, с видом триумфатора поставил на стол яичницу и изысканными движениями торжественно пригласил товарищей обедать.

Разговор стих, слышно было только, как работали молодые челюсти, как булькало вино, разливаемое по стаканам.

Утолив голод, Савченко наполнил стаканы, закурил папиросу и обратился к Тиховичу:

— А теперь, когда «вопросы желудка» разрешены, я должен поделиться с вами печальным наблюдением, что наша хозяйка смотрит на нас чортом. Мне, знаете, нужно было умыться после дороги. Я и обратился к хозяйке. «Где у вас вода?» — спрашиваю вежливо так. «В Пруте», — ответила мне дама. «Это мы знаем, — говорю я, — а нельзя было бы взять немного отсюда?», — да и подвинулся к бочке. Эх, как вскочит моя мегера, как выхватит у меня из-под носа кадушку, как затараторит! «Фи, — говорю, — мадам, зачем так волноваться? Это и нервам вредно, и цвет лица может испортиться, хоть оно и так напоминает у вас прошлогоднюю мамалыгу». И что же, выдумаете, ответила она на такое dictum? <sup>1</sup> Ровно ничего не ответила, а только плюнула; так-таки и плюнула, на вечный позор прекрасной половине рода человеческого...

---

<sup>1</sup> Высказывание.

Рудик смеялся.

— Ну, неужели вы не запишите себе этого факта in libris apogis? <sup>1</sup> Так разве только хозяйка наша, — добавил он, — все они, все молдаване смотрят на нас, как на своих врагов, и готовы нас утопить в ложке воды...

— И не удивительно, — отозвался Тихович, — приезжают в деревню какие-то люди, которые не знают их языка, вследствие чего не могут объясниться с ними, не спрашиваясь, идут на виноградники, рубят их, жгут... За что? Для чего? По какому праву? Неизвестно. Вот и объясни такому молдаванину, темному, необразованному, что филлоксера, этот страшный вредитель винограда, может со временем уничтожить все виноградники, хотя теперь еще и не видно разрушительной работы этого маленького, но сильного врага. Он не поверит. Объясни хозяину, у которого вырубил виноградник, что это сделано для общего блага, для предохранения соседних виноградников от заразы. Разве он удовлетворится таким объяснением? Или обещаешь другим, что мы не пустим в их сады филлоксеру, если с самого начала существования комиссии до сих пор не было еще примера, чтобы удалось совершенно очистить от филлоксеры виноградники какого-нибудь селения.

— Аминь, — перебил Савченко. — Я давно уже говорю, что наша работа, наша дурацкая работа никому не нужна. На эту лжеборьбу с филлоксерой мы, как в бочку Данаид, бросаем деньги, энергию, время.

— Простите, — перебил его быстро Тихович. — Вы не дали мне сказать, что путь к лучшим результатам прегражден нам той же самой темнотой молдаван, так как, вместо того чтобы помогать нам в этой борьбе, они вредят ей, помогая распространению филлоксеры. Я не отрицаю борьбы с филлоксерой, а только выясняю причину враждебности молдаван. Я верю, что еще не поздно бороться с врагом винограда, что мы смогли бы еще локализовать его, задушить, уничтожить и таким образом спасти бессарабские виноградники. Нам только необходимы силы и средства, огромные средства, чтобы была возможность осмотреть сразу всю Бессарабию и

---

<sup>1</sup> В книге любви.

таким способом выяснить себе размеры бедствия, с которым мы боремся.

— Блаженны верующие! А я думаю, что мы просто воду носим в решете...

— Если бы я был вашим единомышленником, я бы сейчас же оставил службу, — вмешался Рудик.

— Фью-фью-фью! — засмеялся Савченко. — Разве я дурак, чтобы бросить службу, когда мне за нее деньги платят! Знаете поговорку: дурак дает — умный берет.

— На вашу поговорку я мог бы вам кое-что ответить, но, на ваше счастье, я хочу спать, — сказал Рудик.

Он встал из-за стола и растянулся на лавке, почти касаясь длинными ногами противоположной стены. Его примеру последовали Тихович и Савченко.

Под вечер, когда вернулись с поля молдаване, известие о приезде докторов облетело все село. Молдаване толпились на улицах, везде чувствовалось раздражение. Слышны были брань и проклятия. Старики твердили что-то о грехах и последних временах; более молодые хвастались, что не пустят врагов на виноградники и перестреляют их из ружей. Рассудительные сдерживали страсти. Улица клокотала, как кипящий котел. Замфир отчитывал примаря, называя его взяточником за то, что он пустил в село комиссию. Но дело не улучшалось от этого и не становилось яснее. Молдаване не знали точно, как поступят с их виноградниками, каких размеров камень повис над их головами. В море самых диких толков и пересудов, на которые не скупилась раздраженные женщины, трудно было разобраться.

— Пойдем лучше к докторам, — крикнул в конце концов Замфир, — да узнаем, что им от нас нужно.

— Идем, идем. Это разумный совет, — согласились крестьяне, направляясь к квартире Тиховича.

Несколько молдаван вошло в хату.

— Чего вам, добрые люди, надо? — обратился к ним по-русски Тихович.

— Не понимаем по-русски! Если приехал в наш край, пусть и говорит по-молдавански! — крикнул кто-то из толпы.

Кровь ударила Тиховичу в лицо. Ему стало стыдно.

— Хорошо, я буду говорить по-молдавански, только

не знаю, поймете ли вы меня, так как я не особенно хорошо знаю ваш язык.

— Ничего, пойдем...

— Так скажите же мне для начала, что вы хотите от меня? — вторично спросил Тихович.

— Мы хотим знать, зачем вы приехали в наше село, — выступил Замфир.

— Я послан сюда, чтобы осмотреть ваши виноградники и таким образом удостовериться, что они не заражены филлоксерой.

— Филлоксера? Что такое филлоксера? Что это еще за выдумки? — гудело в толпе.

— Филлоксера — это такая же растительная вошь, как та, что водится на кукурузе, огурцах, крапиве и других растениях, только еще меньше. Она живет на виноградных корнях, тянет из них сок, и вследствие этого куст засыхает.

— Этого никто из нас не видел! У нас ее нет! Старики сколько живут, а такого не видавали. Не верьте! Это он нам зубы заговаривает. Это вранье! Новые подати хотят с нас выколачивать — вот что! Знаем их! — волновались раздраженные предшествующими толками молдаване.

— Я не говорю, что филлоксера есть и на ваших виноградниках, потому что я еще не осмотрел их. А если старики и не видали ее, как говорите, до сих пор, то только потому, что этот вредитель лишь недавно завезен в Бессарабию из-за границы на виноградных лозах и не успел еще размножиться в большом количестве. А филлоксера тем и опасна для винограда, что, размножаясь страшно быстро, переходит с куста на куст, из сада в сад. Она может быть перенесена вместе с землей на мотыге, которой окапывается куст, на ногах скота или человека, которые проходят по зараженному месту, и таким образом распространяется легко по всем виноградникам. Кроме того, в конце лета у филлоксеры вырастают крылышки, она делается мошкой, перелетает из сада в сад и кладет на кустах яички. Потому-то, если не принять мер, настанет время, когда все виноградники засохнут.

— И что же вы делаете, когда находите ее? — серьезно спросил Замфир.

— А то же, что с паршивой овцой в отаре. Даже больше: мы рубим кусты, сжигаем их, а корни в земле отравляем ядом, убиваем куст и филлоксеру и таким образом не пускаем ее дальше, на здоровые виноградники.

Толпа зашевелилась.

— Слышите — они рубят наши виноградники! Жгут их, землю святую отравляют. По какому праву? Разве они дали нам виноградники? Разве работали они на них, надрывались, как мы? Беспokoятся, видишь ли, непрощенные гости, что виноградники сохнут! Если сохнут, пусть сохнут, — божья воля. С богом не поспоришь... Ого, знаем мы вас, много вас, таких ученых, которые не привыкли зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом, да и выискивают какую-то филлоксеру или еще что там на наши головы. Ищут то, чего никто не видал, о чем никто не слыхал! Нет, чтобы кто-нибудь явился на виноградник, вырубил его, выжег, уничтожил святой труд, — а-а! Скорее им головы срубят, чем они виноградные кусты! Не пустим, не пустим врагов наших на виноградники. Пусть как угодно поступают с нами... А теперь разойдемся! А каса! А каса! <sup>1</sup>

Возбужденная, наэлектризованная собственными угрозами толпа не унималась. Возбужденные лица, гневные взгляды, пылки движения говорили о раздражении и упрямстве.

— Не советую, — отозвался бледный, взволнованный Тихович, — не советую вам так поступать, потому что если не послушаетесь моего доброго совета, так послушаетесь закона, который вас не помилует.

— Закон! Закон! Они, как черепахи панцырем, защищаются этим законом, но кулак молдаванина будет знать, что ему делать с этим панцырем.

Вдруг к столу быстро подошел Замфир. Его лицо перекосилось, глаза пылали диким огнем. Он положил руку на бумаги, лежавшие на столе, и приблизился к Тиховичу так, что тот почувствовал жар его лица.

— Домнуле доктор, — сказал он, — если вы хороший человек, заберите с собою ваши законы и уезжайте поскорей отсюда, чтобы мы не слыхали о вас.

---

<sup>1</sup> По домам! По домам!

С этими словами он принялся сгребать со стола бумаги в одну кучу.

Тихович уже не знал, как положить конец этой неприятной сцене, когда вдруг почувствовал, что толпа понемногу успокаивается и что среди резких выкриков молдаван левучий голос пана писаря берет верх над затихающей бурей.

— Что вы делаете, как вы поступаете, глупые головы! Эх вы! Действительно «кап-ди-бой»!<sup>1</sup> — уговаривал писарь. — Сам царь, сам «императ» послал их сюда, а они бунт поднимают, будто «закуции» захотелось.

Замфир отошел от стола и в дверях встретился с паном писарем, одетым на этот раз в свои прекрасные новые рейтузы. Писарь еще издали делал руками такие жесты, будто участвовал в пантомиме и просил прощения за отсутствие вежливости у этого необразованного мужичья.

Тихович искренне благодарил своего спасителя.

Через несколько минут молдаване разошлись, а пан писарь изысканными фразами оповестил Тиховича, что с недавнего времени он замечает в вине нечто, что должно быть филлоксерой. Пан писарь, опасаясь за свою жизнь, согласен навек оставить употребление этого вредного, зараженного напитка, если «доктор» найдет его вредным.

А когда Тихович успокоил его, обрадованный пан писарь попрощался, оставив его одного с невеселыми думами о только что происшедшем.

### III. НА РАБОТЕ

После беспокойной ночи Тихович с восходом солнца сразу вскочил на ноги. Заботы рабочего дня возвратили ему энергию, растраченную под впечатлением вчерашних приключений. Надо было приказать рабочим готовиться к работе, еще раз рассмотреть план виноградников, послать разбудить Савченко: доктор *in spe*<sup>2</sup> любил долго поспать. Бензинка с жестяным чайником, заме-

<sup>1</sup> Глухие головы.

<sup>2</sup> Будущий.



нявшим самовар, шипела уже на столе, а Тихович, умываясь, уславливался с низким бородатым цыганом, который, смиренно наклонив голову набок и называя себя почему-то греком, просился на работу. Тихович велел ему захватить лопату и нож, и обрадованный цыган бросился домой за инструментом. Через несколько минут подошел Рудик с заспанным Савченко, и все трое принялись за еду. Тихович наскоро ел яйца, запивая их мутным чаем. Время не ждало, было уже около пяти. Выбежав во двор и убедившись, что рабочие уже готовы и инструменты разобраны, керосину для дезинфекции достаточно, Тихович объявил, что можно отправляться. Но сразу же за воротами обнаружилось, что Рудик забыл лупу, а Тихович папку с планами, и все должны были ожидать, пока рабочий не принес и то и другое. Наконец тронулись.

Утро было чудесное. В долине над Прутом стоял еще синий туман, но небо было ясное, прозрачное, в воздухе веяло прохладой. Солнце весело играло на яркозеленых акациях, желтых камышовых плетнях, на прибитой росой дороге.

Сначала все было спокойно, но затем Тихович начал замечать, что женщины, которые встречались им, идя за водой, кидали в их сторону враждебные взгляды, отворачивались и плевали. Кое-где из ворот показывали кулаки, посылали вдогонку непередаваемые ругательства. Дети выбегали из хат с криком: «Доктор, который портит виноградники! Доктор!» — натравливали собак и швыряли комками земли. Несколько комков пролетело между Тиховичем и Савченко. Собаки окружили рабочих, кидались под ноги и подымали ужасный лай на все село.

Тихович с трудом сдерживал раздраженных рабочих, не желая стать свидетелем еще более неприятной сцены... Только один «грек» шел спокойно, но со склоненной набок головой, с видом святого, который вверил себя милости божией и, казалось, совершенно не принимал на свой счет эпитета «фараон», припаянного ему своевольной детворой.

Так шли с полчаса. Но вот окончились камышовые плетни, осталась позади последняя хата, и наш «филлоксерный отряд» остановился в долине. Влажность

воздуха, специфический запах болота и аира давали знать о том, что река близко. Узкий, глубокий Прут блеснул, наконец, из-за прибрежных верб, а под горами зазеленел роскошный ковер виноградников.

Вступили в первый с краю виноградник. Буйная листва кустов синела, обрызганная обильной росой, дышала еще ночной прохладой. Тихович расставил рабочих, указал, какие кусты осматривать, и позвал цыгана. Не выпуская изо рта трубки, цыган подбежал, смиренно склонив голову набок.

— Копай тут, под кустом, — учил его Тихович, — не так, шире нужно... Теперь киркою сбей землю с тоненьких корешков, обрежь их ножом и подай мне. Вот так... А теперь копай с другой стороны. Да смотри у меня — осторожно, чтобы куста не подрезать.

Цыган роется у куста, неуклюжими движениями стряхивая с него росу, а Тихович старательно осматривает каждый корешок, разглядывая некоторые в увеличительное стекло.

Толстый виноградный корень оброс корешками и тоненькими мочками, как бородой. Цыган отделяет их кривым «косором» и подает Тиховичу.

Много этих корешков, ужас как много. Один, два, три... десять, целая горсть, целая куча... Тонкие, темные, они переходят из-под куста в руки Тиховича, а из рук его падают на землю, как никому ненужные трупы. Работа всецело захватывает Тиховича. Он ничего не слышит, ничего не видит, кроме этих корешков, таких одинаковых, однообразных, мертвых. Зерно песка, прилипшее к корню, иногда блеснет перед глазами, напуганный муравей, как сумасшедший, замечется, ища убежища между корешками, скользкий червяк проскользнет между пальцами и упадет на разрытую землю... Но корешки чистые, здоровые, не знают еще своего смертельного врага...

— Закапывай! — командует Тихович цыгану, который попыхивает трубкой под кустом. — А теперь слушай внимательно: отсчитай в ряду по семь кустов, а восьмой подкапывай так, как этот... Штий (знаешь)?

— Штив, домнуге...

Тихович бежит вперед. Лозы, переплетенные усиками, преграждают ему дорогу, кропят росой, но ему

некогда обращать внимание на это, он уже стоит у куста. И снова тот же запах свежеразрытой земли, снова те же корешки... Куст сменяется кустом, ряд следует за рядом.

Согнутые члены начинают понемногу ныть. Напряженный взор и сосредоточенное внимание гонят всякую мысль, в голове творится что-то странное. А тут корешки, корешки и корешки... Вот мелькнуло что-то перед глазами, желтое, круглое, маленькое... Неужели филлоксеры? Внимание удваивается, зрачки расширяются, увеличительное стекло делает свое дело. Нет, это не филлоксеры, это от случайного пореза вспухла мочка. Снова корешки проходят перед глазами, падают на землю ненужными трупами.

Где-то далеко из-за зеленой стены слышен фальшивящий голос Савченко:

Коли б мені зранку  
Горілочки склянку, —

поет он,

Тютюну да люльку,  
Дівчину Ганнульку —  
Горілочку пив би,  
Люлечку куриw би,  
Дівчину Ганнульку  
До серця тулив би...

— Хорошенькие идеалы! — смеется Рудик из-за куста на другом конце виноградника.

А Тихович внимательно просматривает корешки. «Люлечку куриw би, дівчину Ганнульку до серця тулив би...» — звучит у него в ушах, а в глазах начинает рябить. Тихович, наконец, чувствует необходимость оторвать глаза от корешков; он поднимает голову и с облегчением вздыхает.

А вокруг так хорошо. Солнце поднялось уже высоко, на небе ни облачка. В прибрежных вербах щебечут птицы, зеленый камыш стоит неподвижным строем. С румынского берега часовой, опершись на винтовку, присматривается из-под широкого козырька к работе на молдавских виноградниках. По дороге за Прутом медленно двигается арба, запряженная волами, и немилосердно скрипит большими намазанными колесами.

Довольно, некогда: цыган уже подсовывает целую охапку корешков. И в то время как корешки, подобно бесконечным колонкам войск перед полководцем, проходят перед глазами Тиховича, мысли беспорядочным потоком наводняют его голову. «Кого винить в этих раздорах, в этих недоразумениях, которые возникли между нами и молдаванами? — думает Тихович. — Не лучше ли поставить дело так, чтобы молдаване впервые узнавали о филлоксере в школе, а не от нас, от людей, которые сваливаются на них, как снег на голову, для того чтобы уничтожить виноградники, озлобить крестьян и проехать дальше для новых раздоров и проклятий... Но почему у этого корешка такой нездоровый вид? Надо его внимательно осмотреть. Нет, ничего... Кто же виноват, мы — образованные, или молдаване — темные? А ну, сдери кору с этого огрубелого корня... Смотри, целый мир под корой. Паучки и грибки блаженствуют на этой гнилушке... Но филлоксеры нет. Ну, и слава богу! Уже осмотрели немало виноградников, и до сих пор все в порядке. Может быть, и не будет здесь филлоксеры. Если бы ее не было, а то слишком обидно рубить такие роскошные кусты, да еще увешанные гроздьями. Но как душно... Уже, может быть, полдень, следовало бы отдохнуть немного. Отдохнем потом, когда покончим с этим виноградником, только шея уже болит, в голове туман, думать тяжело... И для чего они еще звенят лопатами, эти рабочие! Это так бьет по нервам. А корешков... корешков! Один похож на другой, один такой же, как и другой, как будто все эти осмотренные кучи корешков были одним длинным бесконечным корнем. Нет, эти корешки просто гипнотизируют человека, притягивают взор... и не хочешь смотреть, а смотришь, не можешь глаз оторвать от них... Надо немного притти в себя, встряхнуться!

Тихович бросает последние корешки, поднимает голову, смотрит на небо и — о боже! — на небе видит целую охапку корешков, которые рассыпаются, кружатся, мелькают перед глазами, принимая разные очертания... Тихович встряхивает плечами, протирает глаза и смотрит на землю. А там уже ожидает его прилежный цыган, смиренно склонивший набок голову, с целой кучей корешков на лопате. Ах, эти корешки! Под кустом

корешки, у цыгана корешки, в руках Тиховича корешки... Нет, действительно можно сойти с ума от этого наводнения корешков, темных, желтых, белых, тонких, толстых, с землей и без земли. Шесть часов рассматривать одно и то же, да притом еще жарясь на июньском бессарабском солнце... Тихович чувствует, что ему дурно, что глаза его готовы закрыться, он собирает остаток сил, чтобы окончить виноградник.

Внезапно до слуха долетает что-то, производящее впечатление холодной воды, вылитой за воротник. Но ему это только показалось, и он снова опускает поднятую было голову. В эту же самую минуту звонким голосом Савченко кричит снова:

-- Филлоксера!

Тиховича как бы пронизывает с головы до пят горячий сок. Сон сразу отлетел от глаз, голова стала свежей. Он слегка бледнеет и, вздохнув, как будто с облегчением выговаривает только одно слово:

— Есть...

Цыган еще копался под кустом, но Тихович так гаркнул на него: «Закапывай!», что несчастный «фараон» с перепугу выронил изо рта трубку и стремглав бросился исполнять приказание.

В Тиховиче как будто проснулись воинственные инстинкты. Твердым шагом, забыв про усталость, быстро направился он в ту сторону, откуда доносился голос Савченко. Через минуту Тихович смотрел на врага, а этот враг, маленький, еще меньше, чем растительная тля, спокойно сидел желтыми кучками на корешках винограда.

— Кому она враг, а мне приятель, — шутил Савченко, показывая на филлоксеру. — Если бы не эта тварь, я давно бы заснул под кустом, так парит сегодня.

Тиховичу не до шуток. Какое-то раздражение охватывает его, все его сердит, все действует на нервы: и этот Савченко с вечными шутками, и эта ненужная филлоксера, которая влечет за собой столько раздоров, и рабочий, помогающий Савченко, которого Тихович любит, но все же не может спокойно смотреть, как медленно тот готовится к дезинфекции, обтирает кerosином лопату, отряхивает свою одежду. Чтобы не

сделать в раздраженном состоянии грубого замечания неповинному рабочему, Тихович поспешно моет подошвы в керосине, чтобы направиться дальше, но в ту же минуту Рудик кричит с другого конца виноградника:

— Сюда керосину! Филлоксера!

Тихович бежит туда, задевая ветки и жерди, что еще больше сердит его. Вот шнурочек от лупы зацепился за жердь, задержал Тиховича у куста, а вот кусты сплелись в стену, не пускают его, словно умоляют не губить их братьев, полных еще жизни и силы. Но Тихович нервным движением разрывает лозы и идет дальше.

— Зараза еще молода, — показывает ему Рудик мохнатый корень, облепленный желтыми, как лимон, пузырьками с мелкою, как мак, филлоксерой.

Оказывается, что филлоксера разбросана по всему винограднику и зараза, хоть и молода, но сильна.

— Кому принадлежит этот виноградник? — кричит своему цыгану Тихович.

Цыган видит, что тут что-то происходит, но что именно, не понимает. С вытаращенными глазами, перепуганный, бежит он на зов Тиховича.

— Кто хозяин этого виноградника? — спрашивает Тихович во второй раз.

— Замфир Нерон.

Записав фамилию хозяина, Тихович приказывает цыгану подкапывать любой куст, и первые же взмахи лопаты оголяют желтые, покрытые филлоксерою корни. На втором кусте есть, на третьем есть... Рудик кричит: «Филлоксера!», Савченко требует керосину.

На протяжении почти целой десятины филлоксера сплошь раскинула свою колонию, начала свою неспешную, но разрушительную работу и не знает, что над ней стоит существо, которое сильной рукой лишит жизни миллиарды врагов виноградника...

Но покончить сразу с их разрушительной работой — значит уничтожить и самый виноград.

Тихович стоит посреди сада и глазами опытного воина окидывает будущее поле битвы. Он уже забыл о своей усталости, о духоте воздуха, пышущего жаром, о пустом желудке, напоминающем о своих правах. Интересно было бы узнать, большое ли пространство захватила филлоксера, но уже поздно, уже второй час, а Савченко

с Рудиком даже в этот исключительный день не имеют желания поступиться своим аппетитом.

Работа прекращена.

В тени, под ветвистыми волошскими орехами, расположилась комиссия вместе с рабочими, и под веселый разговор завтракают чем бог послал.

Часок сна был бы для них очень кстати. Надо воспользоваться отдыхом, потому что через час-полтора снова работа, пока более или менее точно не обозначатся границы зараженных виноградников.

К счастью, филлоксера не распространилась далеко за виноградники Замфира. В соседнем саду обнаружено несколько кустов, а дальше пока еще все в порядке.

Под вечер, окончив работу, Тихович спросил цыгана, не нанялся ли бы он сторожить виноградник ночью. Цыган охотно согласился.

— Это больной виноградник. Ты должен его сторожить и не пускать никого, даже родного отца. Ни скот, ни человек не должны ходить по винограднику. Штий?

— Штив, домнуде...

Замфир ничего не знал о своем несчастье. Решив, как и остальные молдаване, ожидать результатов работ «филлоксерников», вконец напуганный уверениями писаря, что сам «императ» прислал этих докторов, Замфир поневоле должен был примириться с фактом. Поэтому он с утра поехал с кукурузою на мельницу и пробыл там целый день. Вернувшись вечером домой, он узнал от жены и соседей, что доктора ходили по виноградникам, осматривали корни, но кустов не рубили. Немного успокоенный такими известиями, Замфир к вечеру повел лошадей на ночлег в свой виноградник, где меж деревьями росла густая трава. Проезжая берегом Прута, Замфир пытливо присматривался к виноградникам, черневшим в сумерках под горами.

«Вот и стоят, как стояли. Никто не рубит их, — думал он. — Да и кто бы отважился лишать людей хлеба?.. А кричали: «Будут рубить! будут рубить!..» Эх, выдумки! Чего только не наплетут люди. Уж если сам «императ» прислал их осматривать наши виноград-

ники, то, наверно, ему для чего-либо надобно. Пусть осматривают — это их дело, только бы не было вреда людям».

Замфир даже повеселел от таких мыслей. Затянувши бесконечную песню, он не заметил, как доехал до сада. Привычные лошади сами остановились перед плетнем. Замфир соскочил на землю и начал отвязывать калитку. В тот же миг от тына отделилась черная фигура цыгана и преградила ему путь.

— Нельзя! — сказал цыган, кладя руку на калитку.

— Что такое? Что ты говоришь? — не понял Замфир.

— Нельзя сюда, — отозвался цыган во второй раз, не снимая руки с калитки.

Замфир засмеялся.

— Ты разве не узнал меня? Это мой виноградник, — смеялся он.

— Я знаю, что ваш... Но он больной, и доктор велел никого не пускать.

У Замфира потемнело в глазах. Сразу он как будто и не разобрал, о чем идет речь, но через миг страшная мысль пронеслась в его голове, а погасшая злоба разгорелась с новой силой.

— Что? — крикнул он, хватая цыгана за ворот. — Меня не пускать на мой виноградник?!

Несчастный цыган даже присел от страха. Склонив смиренно голову набок и вытаращив на Замфира испуганные глаза, он бессвязно бормотал:

— Это не я, я ни в чем не виноват... Доктор велел не пускать... Даже родного отца, говорит, не пускай...

Но Замфир не слушал его. Он только тряс несчастного цыгана и кричал ему прямо в лицо:

— Мне нельзя... на мой виноградник?.. Подожди, — добавил он немного погодя, — я покажу тебе и твоим докторам, как иметь дело с Замфиром Нероном.

С этими словами Замфир потащил цыгана к реке. Напрасно перепуганный насмерть цыган умолял отпустить его, упирался, кричал, — Замфир волочил его к реке. Уже на берегу Замфир приподнял цыгана так, что тот даже заболтал ногами в воздухе, встряхнул его и бросил на дорогу. Несчастный цыган покатился по земле, но, почуяв свободу, вмиг вскочил на ноги и, ощупывая себя и проклиная Замфира, побежал в село.



Замфир стреножил лошадей, пустил их пастись в сад, а сам, все еще тяжело дыша от гнева, пошел меж кустами. Полная луна выплыла из-за горы и обсыпала виноградник серебром. Замфир внимательно присматривался к кустам, стараясь заметить что-либо новое, но они были такие свежие, такие роскошные, как и прежде.

«Больной, больной виноград, — вспоминал Замфир слова цыгана. — С ума они сошли, что ли! Чтоб на этих здоровых, плодовых кустах увидеть болезнь!.. Это наглость, не что иное... Но со мной не шутите, я не позволю глумиться над собой!»

Замфир ходил по винограднику, нагибался, смотрел под кусты. «О, тут копали, — подумал он, увидя свежеразрытую землю, — и что они там нашли?» Замфир присел на корточки перед кустом. С любопытством, победившим даже гнев, он начал разгребать землю большим кривым ножом, висевшим у него на поясе, и вскоре достал обрезанные корни. Поднявшись, Замфир при свете луны стал внимательно рассматривать корни, но ничего не видел. Для большей убедительности он понюхал корешки, но они пахли, как всегда. Молдаванин был возмущен.

Как можно так лгать людям! Выдумывать то, чего никто не видел, чего даже на свете нет. Обманывать не только простых молдаван, но и самого «императа»! Правда, доктора — паны, а паны всегда живут за счет мужиков, а глупые мужики всегда терпят панскую неправду, как овцы, которых и стригут и режут. Но, довольно, Замфир не потерпит... Будь что будет, — и Замфир почувствовал новый прилив злобы, теснившей его грудь, рождавшей жажду мести.

Луна катилась все выше и выше, озаренные деревья смотрели на свои тени, через Прут перекинулась серебряная дорога в таинственные плавни, увитые серебряистой кисеей мглы.

Замфир сидел в саду, погруженный в раздумье, и не замечал ни холодного влажного дыхания плавней, ни фырканья лошадей, жевавших неподалеку траву, ни отдаленного, едва слышного шума засыпающего села.

Когда в хату Тиховича вбежал растерзанный цыган, Тихович как раз сообщал примарю о найденной филлок-

сере. Увидав не пришедшего еще в себя от испуга цыгана, Тихович был поражен.

— Почему ты оставил виноградник? Что случилось?

— Меня... меня хотел утопить этот висельник — Замфир... Рубаху порвал... Он приехал на лошадях, а я не пускаю его в виноградник... Говорю: родного отца не пущу, а он схватил меня за ворот, избил, рубаху на мне порвал... Вот, взгляните, — всхлипывал перепуганный цыган, показывая свою грязную порванную рубашку, из-под которой виднелась темная, как бронза, волосатая грудь.

Тихович понял, наконец, что случилось. По его приказу примарь послал десятских прогнать лошадей из виноградника и запретить Замфиру приходить на виноградник без разрешения.

\* \* \*

Когда десятские приблизились к саду, Замфир все еще сидел, задумавшись, под деревом.

— Замфир, Замфир, иди сюда! — кричали они издалека.

— А что вам нужно? — подошел к ним Замфир.

— Здесь нельзя пасти лошадей... примарь приказал, чтобы...

— А идите вы к чорту с вашим взяточником-примарем и с докторами! — вырвалось у Замфира. — Я тут хозяин, а не примарь.

— Да не кричи же, — успокаивали его десятские, — криком ничему не поможешь, только хлопот прибавишь. Надо каким-нибудь другим способом избавиться от беды, отделаться от этих докторов, нагрянувших на наши виноградники. С тех пор как свет стал светом, а молдаванин молдаванином, никто не слышал, чтобы рубили и жгли виноградники.

Замфир молчал насупившись.

— Хорошо, — сказал он погодя, — я выгоню из сада лошадей, но... — Замфир не договорил, а только потряс в воздухе кулаком.

Мариора еще возилась при свете восковой свечи у посудной полки, а мош Дима с бессмысленной улыбкой шептал молитву, когда Замфир вошел в хату.

— Ты уже вернулся? — удивилась Мариора.

— Да, вернулся, потому что доктора выгнали меня из виноградника, — и Замфир рассказал жене про вечернее событие.

— Что же теперь будет? — заломила руки молодница бледнея.

— Может быть, что-нибудь и будет, — глухо ответил Замфир и затем снял с гвоздя ружье, достал из сундука порох и дробь и начал старательно заряжать ружье.

— Что ты задумал, несчастный? — испугалась Мариора.

— Это уж мое дело.

— Брось сейчас же... ты хочешь, чтоб мы осиротели? — плакала молодница.

Замфир молчал.

— Брось, говорю, — и Мариора схватила ружье, стараясь вырвать его у мужа. Замфир поднял руку, чтобы оттолкнуть Мариору, но, увидя бледное, заплаканное лицо жены, отбросил ружье в угол и молча вышел из хаты, где долго еще голосила молодница и бессмысленно усмехался слабоумный мош Дима.

#### IV. ЖЕРТВА

Прошло две недели. За это время приезжали в Лоешты какие-то господа, созывали людей на виноградник Замфира, показывали им филлоксеру. Показывали и Замфиру, но он каждый раз пожимал плечами и отворачивался, добавляя, что такую глупость, как эта маленькая тля, и показывать не стоит. Господа уверяли его, что филлоксера все равно через несколько лет уничтожила бы его виноградник, соседи жалели, что такой прекрасный сад обречен на погибель, но Замфир не верил ни тем, ни другим. Он не верил, чтобы могла существовать на свете такая жестокость, такая несправедливость, которая дала бы возможность отнять у бедного молдаванина последний кусок хлеба. Иногда его сердце сжималось от предчувствия беды, и тогда что-то нашептывало Замфиру, что или он, или враги его не дождутся уничтожения принадлежащего ему хозяйства.

А между тем виноградник стоял нетронутым. Дни проходили за днями, а доктора все еще осматривали

виноградники, не уничтожая участка Замфира. Замфир видел, как возили на Прут тяжелые железные бочки. «Отрава, отрав», — перешептывались молдаване, значительно успокоенные тем, что больше не находят филлоксеры, а Замфир утешал себя, что, может быть, это не отрав, а просто какие-либо лекарства или что-нибудь в этом роде. В сердце несчастного молдаванина надежда боролась с жадной дикой мести, брало верх то одно, то другое чувство. А пока что приходилось ждать разрешения вопроса о виноградниках.

Было чудное июльское утро. Замфир налаживал каруцу около сарая. Мариора варила обед в глиняной печурке на дворе. Слабоумный мош Дима по обыкновению кормил уток и кур, а дети играли с собакой за хатой. Везде было тихо и спокойно.

Внезапно во двор вбежали два парня и, тяжело дыша, закричали одновременно:

— Дядя Замфир, дядя Замфир, ваш виноградник рубят. Бегите скорей, иначе вырубят и сожгут весь...

Мариора как держала горшок в руках, так и уронила его на землю. Всплеснувши руками, крича не своим голосом: «Валев, валев!» (Ой, ой!) — она выбежала на улицу первой. У Замфира в первую минуту потемнело в глазах, в следующую — он бежал уже с ружьем в руках на виноградник. Дети с громким воплем последовали за отцом. Мош Дима, как бы осознав семейное горе, сорвался с завалинки, но дрожащие его ноги согнулись, и он бессильно упал на завалинку, рассыпая приготовленные запасы накрошенной мамалыги. Мутные серые глаза слабоумного старика бессмысленно уставились вдаль, усмешка застыла на лице, и мош Дима все сидел без движения, не замечая даже, как птицы набросились на рассыпанную мамалыгу, как собаки начали хозяйничать у печурки.

Замфир бежал за женой. Он ничего не слышал, ничего не видел. Не слышал, как голосила жена, не видел ее кос, которые, выскользнув из-под платка от быстрого бега, гнались за ней, как большие черные змеи. В его затуманенной голове родились тысячи мыслей, сердце колотилось в груди, а эта долгая, бесконечная пыльная дорога, которую он перескочил бы, если бы мог, одним прыжком, невыразимо раздражала его.

Но вот из-за острия горы вырвался столб густого дыма, и Замфир содрогнулся. Он даже остановился на минуту, только на минуту. Дикая злоба сжала его сердце, и, крепко стиснув ружье, он побежал дальше. А черный дым рос, становился все гуще... Вот уже виднеется вдалеке виноградник, а на нем суетятся люди, высоко подымая охапки срубленной лозы.

— Застрелю, как собаку,— шепчет Замфир посиневшими губами.— О палачи! — неистовствует он и бежит дальше.

Вот уже и виноградник. Еще несколько шагов, и Замфир, наконец, решается, вскидывает ружье, взводит курок и... бросает ружье в ров далеко от себя.

В разгоряченной голове молдаванина молнией мелькнула иная мысль:

«Нет, лучше буду упрашивать. Они — люди, они сжалятся над моей бедностью, над малыми детьми... лучше буду упрашивать...»

Вот Замфир уже на винограднике. Одним взглядом охватил он страшную картину. На большом оголенном участке виноградника торчали невысокие пеньки, изрубленные и израненные безжалостным топором. Одни рабочие, более страшные для Замфира, чем сам дьявол, высоко замахивались топорами, рубили трепетавшие от страха кусты, с треском выворачивали недорубленные ветки, ломали жерди, другие охапками носили срубленные кусты, на которых покачивались большие роскошные грозды винограда, и сбрасывали их в кучу, охваченную черным дымом и пламенем.

Каждый раз, когда топор рубил виноградный корень или трещала ветка, Замфир ощущал боль в голове и сердце, словно кто-то врубался в его мозг, разрывал его сердце.

Обхватив голову руками, Замфир стонал:

— О домне, домне (о господи), что я стану делать, несчастный, что я стану делать!

Тихович, бледный, сильно взволнованный, подошел к нему.

— Домнуле доктор, — с мольбой в помутневших глазах обратился к нему Замфир.— Домнуле доктор, не рубите моего виноградника... Я бедняк, у меня маленькие дети, это весь мой хлеб... — И когда Тихович, желая что-

то ответить, покачал головой в знак несогласия, Замфир, как пьяный, шатаясь, подбежал к кусту, упал на землю и, положив голову на корни, застонал глухим голосом:

— Голову мою рубите, не виноград... голову!

Рабочие остановились. Они жалели молдаванина. Хозяйское сердце поняло весь трагизм положения. Тихович не знал, что предпринять. Он бегал от Замфира к Мариоре, уговаривал их, утешал, но ничего не помогало. Замфир лежал под кустом и рыдал навзрыд, дети подняли страшный плач, а Мариора, прижавшись к кусту, обнимала его, как ребенка, и голосила, словно по покойнику. Обильные слезы катились по ее лицу, капали на листья, на грозди.

— Что вы делаете, опомнитесь... Я ни в чем не виноват, это все от бога... — чуть не плакал Тихович. — Ваш виноградник заражен, на корнях зараза, она может распространиться на соседние виноградники... Я обязан вырвать ваш виноградник...

Мариора вскочила, как ошпаренная.

— Зараза? — вскрикнула она. — На корнях зараза?

И вмиг, как дикая кошка когтями, начала пальцами разгребать землю под кустом. Докопавшись до корней, покрытых филлоксерой, она рвала их и ела вместе с землей, приговаривая:

— Зараза, говорите? Пусть я первая умру от этой заразы, пусть я не доживу до вечера. Ох, если бы мне умереть от этой заразы!..

Глаза ее дико пылали, бледное лицо было перекошено от боли, белые зубы раздирали покрытые филлоксерой корни, которые Мариора жадно глотала, причитая:

— Пусть я умру от этой заразы...

Она была страшна в своем диком отчаянии.

Тихович не знал, как прекратить сцену, становившуюся все нестерпимее, все тяжелее для всех. Ни утешенья, ни просьбы, ни угрозы — ничто не помогало. Замфир все еще лежал под кустом, Мариора ела филлоксеру, дети плакали до иступления. Напуганные, охваченные жалостью рабочие бросили работу и стояли, как околдованные.

Напрасно Тихович уверял Мариору, что филлоксера вредна только винограду, не людям, — она не слушала.

— Эй! — закричал, наконец, Тихович, которому пришла в голову спасительная мысль.— Эта женщина ела отраву, это может повредить ей... подайте ведро с керосином, пусть она выпьет керосину...

Один из рабочих бросился к ведру, а Мариора, предупредив его движение, вскочила на ноги и блеснула в сторону Тиховича черными, полными гнева глазами.

— Собственной бы кровью вам упиться, кровопийцы! — вскрикнула она и бросилась из виноградника.

Тихович подошел к Замфиру.

— Поднимите его осторожно и уведите отсюда,— приказал он рабочим.

К большому удивлению, Замфир не сопротивлялся, он позволил вывести себя и только умолял:

— Голову мою рубите, не виноград... не лишайте меня куска хлеба, не делайте сиротой,— я погибну...

Работники вывели Замфира из виноградника и посадили под вербами, на берегу реки. Несчастный молчал, понурился головой.

А на винограднике снова закипела работа. Топоры звенели по толстым корням так, что даже листья вздрагивали на зыбких ветвях. Большие охапки срубленных кустов вырастали в громадные груды, а погасший было огонь вновь зашипел, охватывая зеленые растения.

Но Замфир не видит уже гибели своего виноградника. Мутными глазами, напоминающими теперь глаза его отца, смотрит он куда-то за сад, в пространство, куда-то на горы, а может быть, и за горы. Страшное горе придавило его: он не чувствует в сердце ни сожаления, ни гнева. Какая-то усталость, какое-то бессилие овладело им. Он чувствует себя таким слабым, беспомощным, разбитым. Замфиру кажется, что у него отнялись руки и ноги, что он брошен в какую-то глубину, на дно реки. Вода заливает ему глаза, уши, нос, вливается внутрь через горло, не дает вскрикнуть, просить о помощи, а он опускается все глубже и глубже и не может спастись, потому что нет у него ни рук, ни ног... Замфир опустился на дно, а там мертвыми лежат уже дети и жена и как бы ждут его. Вот Замфир лег неподвижно возле своей семьи, среди могильной тишины, и так безразлично ему все, что когда-то при жизни было мило, дорого, для чего он тратил силы, боролся, надеялся, жил... Теперь от всего мира

отделяет его вот этот, в несколько сажен вышиной, слой текучей желтой воды, сквозь которую смотрит на Замфира всегда равнодушное к людским мольбам, вечно спокойное небо...

Тиховичу тоже не по себе: ему не то стыдно, не то грустно. Он очень хорошо знает, что в беде, которая стряслась над семьей Замфира, он, Тихович, не виноват, но его мучает такое ощущение, как будто он... обманул кого-то, обокрал. Беспрестанные всхлипывания Мариоры раздражают его несказанно, а на несчастного, безмолвного, отчаявшегося Замфира он даже не смеет взглянуть.

Рабочие работают не спеша, медленно, но Тихович не решается прикрикнуть на них, боясь услышать собственный голос. Он ищет, на чем бы остановиться, что могло бы восстановить его нарушенное душевное равновесие; блуждающий взгляд Тиховича останавливается в конце концов на костре.

Там, из-под огромной кучи виноградной лозы, перемешанной с тростниковыми жердями, вырывается вверх густой зеленый дым. Мощный огонь трудится внизу, упорно борется с грузом, который лег ему на грудь, старается пожрать его. Еще живое, растение шипит на огне, вздрагивает нежными листьями, сворачивает тонкие усики... Вот вырвалась, наконец, из-под груды огненная рука, встряхнула ветками, осыпались свернувшиеся, почерневшие листья... Вот поднялась вторая рука, третья... Десятки огненных рук обняли со всех сторон зеленую грудку, сжали ее, а потом слились в одно большое пламя, которое со страшным гулом, как дикий зверь, набросилось на виноград, пожирая ягоды, листья, жерди, лозу...

Огонь безумствовал; бросался, изменял направление, плясал в дыму, поднимался вверх, изорванными лоскутами летел в небо, исчезая в прозрачном воздухе... Легкий пепел, подхваченный силой огня, взлетал и рассыпался вокруг. Отблески света серебристой сеткой трепетали на земле возле пожарища, а легкие тени от дыма быстро передвигались по земле, беспрестанно изменяя свои фантастические очертания.

Тихович не мог отвести глаз от этого зрелища. В шипении сырых ветвей слышались ему жалобы хозяев, терявших в огне не только хлеб насущный, но нечто большее, чего нельзя ни измерить, ни купить. В черном дыму,



который поднимался к небу, как дым жертвоприношения, рисовались ему долголетний труд, ряд тяжелых голодных дней в будущем, бессонные ночи, погибшие надежды... Тиховичу было тоскливо. Если бы была хоть уверенность, что эта жертва необходима для общего блага, что совершаешь действительно полезное дело, а не ненужную жестокость! Ах, если бы была эта уверенность!

Работа подвигалась. Последние кусты легли под топором, огонь пожирал еще уцелевшие лозы. Тихович должен был наблюдать, как засыпали землю пеньки и утрамбовали землю, приготавливая ее к дезинфицированию. Вскоре часть виноградника походила на покрытое могилками кладбище, производившее тягостное впечатление.

Тихович бродил среди пеньков, обдумывая план дезинфицирования, когда издалека, с крайних виноградников, долетел до его слуха звук выстрела.

«Может быть, Рудик не выдержал,— подумал Тихович.— Еще неприятностей себе не нажил бы,— ведь на границе нельзя стрелять».

Через полчаса подошли Рудик и Савченко, осматривавшие крайние сады.

— Пора обедать! — крикнул Савченко еще издали.

Увидев срубленный виноградник, оба коллеги остановились удивленные.

— Гладко,— развел руками Савченко,— как бритвой снял. О, и костры горят, как под Купалу.

И, весело подпрыгивая, он подбежал к костру и подгреб ногой к огню раскиданные ветки.

Рудик подскочил к Тиховичу. Лицо его сияло.

— Посмотрите,— кричал он, показывая Тиховичу окровавленного долгоногого бекаса.

— Я не выдержал, но зато и посчастливилось же мне... Вот взгляните, какой жирный,— и Рудик раздувал бекасу перышки, чтобы доказать, какой он жирный, и совал Тиховичу под нос руку, по которой стекала свежая кровь бекаса.

Тихович, никогда не охотившийся и не выносивший вида крови, отвернулся от окровавленной дичи, чем немного обидел своего коллегу-охотника.

Когда Тихович, отправляясь обедать, обернулся назад, на него взглянула из виноградника какая-то пуста, производившая впечатление выбитого зуба.

Посреди опустошенного виноградника стоял рабочий, равнодушно разгребавший палкой тлеющий жар.

А Замфир все еще сидел, как привидение, под ивами, рядом с Мариорой, уставившись затуманенными глазами в пространство.

Неспокойно спалось Тиховичу этой ночью. Снился ему всякий вздор. То ему чудилось, что он сам рубит по три куста сразу огромным топором и что рабочие побросали в огонь детей Замфира вместо лоз. А то чудится ему, что весь виноградник охвачен сильным огнем, что от него загорается даже земля, горят кусты, пылает воздух. И вот-вот вспыхнет небо от страшного жара. И из этого урагана пламени, над которым, каркая, кружится ворон («и как он себе крыльев не обожжет», — думает Тихович), из этого огненного ада долетают до его слуха жалобы Мариоры: «Ах, если бы мне умереть от этой заразы!» А ворон спускается все ниже и ниже. С каждым взмахом крыльев он растет, увеличивается, птичья голова превращается в человеческую, огромные крылья беспомощно повисают, и красная птица падает под куст, причитая голосом Замфира: «Голову мою рубите, не куст, голову!»

Тихович проснулся в холодном поту. Была еще ночь. В хате было душно, и Тихович не мог заснуть. Он оделся и вышел из хаты. Луна уже закатилась. В повитой сумерками дали едва виднелся Прут. Электрические огни над Галацем ровно мерцали вдали, как нитка чудесного жемчуга. Тихович проблуждал по селу до утра.

Никто уже не мешал работать ему. Ни одна душа не являлась из села, будто бы никто даже не интересовался тем, что вместо кустов вырастали в садах могилки.

После обеда Тихович думал отдохнуть, когда, взглянув нечаянно в окно, увидел Замфира, который проходил по двору, ведя с собой какого-то старика. У Тиховича отчего-то громче забилось сердце. Он вышел во двор. Замфир даже не поздоровался с ним.

— Домнуле доктор, — начал он, смотря на Тиховича погасшими глазами. — Вы срубили мой виноградник, отобрали у меня последний кусок хлеба... мне нечем кормить своего отца, и я привел его к вам. Кормите теперь его сами, раз вы лишили меня хлеба...

Мош Дима уставился серыми мутными глазами на Тиховича и усмехнулся, как слабоумный. От этого взгляда Тихович вздрогнул.

— Разве я виноват в вашей беде? — начал он, но Замфир не дал ему окончить, махнул рукой, повернулся и вышел со двора.

Мош Дима постоял немного, потом сел на завалинку, не спуская с Тиховича мутных глаз с выражением немого укора.

Тихович вскочил в хату.

«За что, за что я должен терпеть столько неприятностей? — думал он, бегая по хате. — Разве я хотел лишить его хлеба? Наконец, разве я не спасаю своей работой большинство от участи, постигшей вот этого слабоумного старика? Разве я не отдаю свою энергию на пользу этим молдаванам, которые платят мне за это ненавистью? Боже, за что я должен терпеть это!»

Тихович мечется по хате в нервном возбуждении. Несправедливость, жертвой которой он является, болезненно растравляет ему сердце, отравляет существование. Мало-помалу его мысли принимают другое направление.

«И доктор, — думает он, — спасая жизнь, должен иногда ампутировать пациенту ногу и сделать его навсегда калекой. И он так поступает, потому что так должен поступать, потому что поступком своим он спасает жизнь человека... Не место сентиментальным размышлениям там, где необходимо спасать... Нет, не то, не то, — работает его мысль дальше. — Никто не жалуется на доктора за помощь, никто камнем в него не бросает, а тут...»

Тихович мечется по хате и не может успокоиться. Его тянет прочь отсюда, на простор, дальше от душной хаты, бывшей свидетельницей его печальных дум, горестей его сердца, но он уже не решается переступить порог, он знает, что там тихой жалобой его встретит взгляд мутных глаз слабоумного и больно уколёт прямо в сердце. А выйдя на улицу, он не отважится вернуться в дом, чтобы вновь не почувствовать на себе укоряющий взгляд, не увидеть несчастного старика, подкинутого ему, как виновнику бедствия всей семьи.

Тихович не ужинал. Весь свой ужин он отдал мош Диме, но мош Дима подержал, подержал и выкинул его собакам, очевидно пренебрегая хлебом врага.

Настала ночь. Тихович видел, как старик растянулся на завалинке под окном и заснул, подложив под голову кулак. Тихович хотел вынести ему свою подушку, но боялся, что мош Дима не примет ее от него, как не принял ужина.

И снова беспокойная, тяжелая ночь, и снова ночные видения мучают Тиховича. Среди тихой, беззвучной ночи встают перед ним образы былого, припоминается вся жизнь. С того времени, когда он стал ясно сознавать свои мысли, свои желания, разумный, живой, полезный труд стал для него неременным условием существования.

Как хорошо грезилось на школьной скамье, сколько составлялось смелых, а подчас и невыполнимых проектов! Он старательно учился, несмотря на борьбу с тяжелыми условиями жизни, несмотря на бедность, потому что была прекрасная цель, были надежды. Промелькнули гимназические годы, пробежали и университетские,—пришло время осуществить мечту, найти эту живую, разумную работу. Но не всегда так складывается, как предполагаешь. Вместо живого, полезного дела насмешливая судьба подсунула переписку в канцелярий каких-то сухих, никому не нужных бумаг, и го лишь за нищенский кусок хлеба. Вместо живого дела — канцелярщина! Разве стоило столько учиться, столько трудиться, чтобы растратить все в четырех стенах, утопить свои способности в казенных чернилах, пропылить живую душу пылью вечных шаблонов?

Надо было оставить мысль о настоящем деле среди своих людей, в родном краю. По крайней мере оставить ее на время.

Вот тогда неожиданно представилась ему должность в филлоксерной комиссии.

Тиховичу улыбнулась перспектива живой деятельности, пусть даже в чужом краю, на пользу чужим людям. С огромным рвением взялся он за работу. Трудности, препятствия лишь увеличивали его рвение, подбодряли его, как шпоры хорошего коня. Перед ним открывалось достойное дело спасения бессарабских виноградников от

филлоксеры, и в этом достойном деле могли пригодиться его силы. Тихович верил в возможность борьбы с врагом винограда, и эта вера придавала ему еще больше силы. Но время шло, прошли годы, и каждый год что-нибудь отнимал у этой веры, у этого рвения. Филлоксера, несмотря на борьбу с ней, с каждым годом занимала все большие и большие пространства. Подведя итоги деятельности комиссии за несколько лет, Тихович увидел, что комиссия не смогла локализовать филлоксеру, не пустить ее за границу известных уже комиссии филлоксерных очагов. Мало того, даже и в этих очагах комиссии не удалось уничтожить филлоксеру до конца.

Правда, не легка была эта борьба, особенно при враждебности и темноте населения, при недостатке средств. Осмотрев, например, виноградники в каком-либо селении, где филлоксера не была найдена, Тихович не радовался, а опускал бессильно руки, ибо не был уверен, что виноградники, лежащие в десяти верстах от него на север, на юг, на восток или запад, не заражены филлоксерой. А выяснить это не было возможности. Правительство жалело денег на борьбу; их едва хватало на работы в очагах и на разведку в садах кое-каких деревень. Дело, значит, велось наощупь, как в темном доме. В одном месте на борьбу отпускались все средства, в другом — филлоксера спокойно пожирала виноградники. Одной рукой сдерживали ее в границах, другой — распускали на все четыре стороны. Понятно, такое положение вещей не могло не поколебать веры Тиховича в полезность такой борьбы. Однако Тихович гнал от себя неверие. Он утешался надеждой, что так не может долго продолжаться, что правительство поймет, наконец, бесполезность такой борьбы и отпустит средства для осмотра всех виноградников Бессарабии, чтобы узнать по крайней мере, как силен враг, и тогда уже наметить план кампании против него, искать способов борьбы с ним.

А пока что каждый срубленный Тиховичем куст увеличивал груз его сомнений. Недоставало уверенности в полезности дела, и почва заколебалась под ногами Тиховича.

Вот и теперь: для этого гадательного общего блага он насильно ускорил, правда, неминуемое для Замфира, несчастье, обидел целую семью, стал ее врагом.

Что же утешит его теперь, что станет наградой за пережитые неприятности, когда факты неукоснительно уничтожают веру в полезность работы, в необходимость жертв?

Почему же он должен расплачиваться за чужие грехи?

«Как быть со стариком? — волнуется Тихович, бегая по хате. — Его мутные, бессмысленные глаза беспрестанно смотрят на меня, отнимают покой и сон. Это последняя капля горечи в моей и без того несладкой жизни... Не сходить ли мне к примарю, может, он сделал бы что-нибудь со стариком? Нет, вот как будет лучше — схожу к священнику, он должен уладить это дело...»

Утром Тихович направился к священнику. Желтый, небеленый дом ничем не отличался от прочих молдаванских хат. Не успел Тихович войти во двор, как ему преградил дорогу гусиный выводок, который как раз высыпал с гоготаньем из ворот на улицу. За гусями с хворостиною в руках вышел пастух, рябой от оспы, высокий, бородатый, одетый в молдаванский короткий «зибун», в черной войлочной шляпе.

— Батюшка дома?

— А зачем он вам? — спросил пастух не совсем приветливо.

— У меня дело к нему.

— Это я и есть, — ответил пастух, снимая шляпу, из-под которой рассыпались по его плечам буйные длинные волосы.

Тихович удивился неожиданному превращению: таких священников он не встречал на Украине.

— Катенька, — крикнул тот басом, — выгони гусей пастись!

Из сарая выбежала молодлица. Батюшка передал ей хворостину и отвел гостя в дом.

Когда поп с гостем опустились на лавки в хате, убранный по-крестьянски, Тихович рассказал свои злоключения и просил совета.

Батюшка серьезно выслушал его.

— Хорошо, я улажу это дело, будьте спокойны, только...

Он остановился, как бы опасаясь высказать какую-то тайную мысль.

— Только что? — подхватил Тихович.

— Только не находите больше филлоксеры в наших садах. У нас немало таких хозяев, которые живут исключительно с виноградников, — добавил он, сурово смотря на Тиховича.

Тихович начал было ему объяснять суть дела. Но по тому, как батюшка в ответ цедил сквозь зубы: «Так, так... божья воля», Тихович понял, что взгляды священника и крестьян на филлоксерную кампанию одинаковы, и, не закончив беседы, попрощался с хозяином.

Когда в тот же день Тихович возвратился с работы, мош Димы уже не было. Замфир взял его к себе.

#### У. КОНЕЦ П Л И НА Ч А Л О ?

Однажды утром молдаване были свидетелями интересного шествия. По улицам катилась телега, нагруженная всякой всячиной. Главное место на телеге занимала железная бочка, к которой с одной стороны прислонился ящик с мелкими инструментами, а с другой — дырявый мешок, до того набитый деревянными колышками, что они вылезали даже сквозь дыры. Все это было обложено лопатами, ведрами, жестянками, железными цепями и другой мелочью.

Вокруг телеги выступали рабочие, кто с длинной окованной палкой на плечах, кто с жестянкой, а кто с блестящей продолговатой машинкой — «инжектором», которую смело можно было принять за меч времен крестовых походов, если бы не цилиндрический жестяной резервуар около рукоятки. Процессию эту возглавлял Тихович с высокой узкой склянкой в руках.

Процессия медленно подвигалась среди разнородных звуков. Колеса тархтели по укатанной дороге, инструменты в ящике немилосердно колотились друг о друга. Цепи бренчали, как кандалы, жестянки звенели, подпрыгивая на телеге, окованные железом палки, ударяясь друг о друга, стучали, а над всем этим по временам взлетал чистый металлический звон задетого резервуара машинки.

Молдаване, раскрыв рты, смотрели на эту странную процессию и не теряли ее из виду до тех пор, пока она

не скрылась за горой. Более любопытные направились даже по горе на Прут, откуда можно было видеть все, что делается на прибрежных виноградниках. Оттуда, с горных вершинок, присев на корточки, можно видеть зеленую ленту виноградников, порванную в том месте, где был сад Замфира, и наблюдать вытравление филлоксеры.

А поглядеть стоит, потому что картина, единственная в своем роде, достойная кисти первоклассного баталиста. Вон под вербами, возле виноградника, лежат рядком бочки с сероуглеродом. Это средство борьбы, так сказать — противофиллоксерный порошок. Из одной бочки уже перегоняют углерод в медные «бидоны», откуда он пойдет по резервуарам инжекторов. Вот на склоне горы, подвязав белый фартук, размещается со своими инструментами хирург, раскладывает их на рядне, разостланном на земле. Он должен подавать помощь раненым... инжекторам. Тихович, как командир, обозначает место боя, отмеряя цепью сто квадратных сажен. Извивается цепь по земле, звенит, тянется, и вмиг по всей ее длине уже торчат недалеко один от другого вбитые в землю деревянные колышки, снова извивается цепь, снова вытягивается, и снова на ее месте встают рядами колышки. Земля начинает щетиниться ими, как еж иглами. «Готово, в бой!» — кричит Тихович. И вот наступают колонны войск, все по два, все по два, один с инжектором, другой с палкой, и занимают позиции вдоль ряда колышков. «Начинай!» — командует Тихович. Полетели колышки, сбитые ногами, а вместо них погрузились в землю острия инжекторов, звякнули головки и началась пальба. Одновременно наступают все инжекторы, блестя резервуарами, качая головками, а за ними палки, обитые железом, старательно забивают дыры, сделанные остриями инжекторов в земле, не дают углероду уходить в воздух.

Одновременно подвигается вперед все войско, оставляя за собой голую, вытопанную землю. Только и слышно в тишине: «цок-цок!.. цок-цок!..» От железных бочек, из которых по трубке льется дымящаяся жидкость, то и дело бегают с полными бидонами носильщики, подносят инжекторам снаряды. Влажный запах сероуглерода расходится в воздухе, подымается вверх. Молдаване, сидящие на горах, непривычные к такому



зрелищу, присматриваются к впрыскиванию, поводят носами и сплевывают.

Но Тихович равнодушен. Он прислушивается к музыке инжекторов, ловит ухом фальшивые ноты.

— Эй, звенит инжектор, пустой, может! — кричит он в одну сторону.

— До конца, до конца забивай, — обращается он в другую сторону.

Наконец все в порядке.

Цок-цок!.. цок-цок!..

Падают у ног колышки, прошивают землю остриями инжекторы, стучат палки, извивается цепь, и снова вырастают линии колышков, и земля щетинится ими, как еж иглами.

Кажется, эти рабочие с инжекторами, с палками сами превратились в части какой-то огромной машины, которая хорошо пущена в ход, равномерно, неудержимо, неумолимо идет вперед, выполняя порученную работу. Действительно, идет война, хотя врагов не видеть. Они гибнут незаметно для человеческого глаза, глубоко под землей, во мраке, гибнут вместе с корнями, которые кормили их своим соком.

И невинные погибнут в этой войне. Погибнут столетние ветвистые орехи, нежные абрикосы, серолистая айва, — углерод убьет их едким дыханием. Там, где еще недавно пышно росла на солнце буйная растительность, где кипели жизнь и радость, там будет голая дикая пустыня, без тени, без травинки...

Разве не такой же след оставлял за собой Атилл?

Когда работы закончились, Замфир мог быть уверенным, что на его винограднике нет больше филлоксеры. Не стало также и роскошных кустов, с которыми связано было столько воспоминаний, которые кормили его всю жизнь. Не стало этих бочек вина, о которых он мечтал, не стало куска хлеба... Много чего не стало, погибли и деревья, насаженные дедом, прадедом, может быть... Остались только малые дети, слабоумный старик да больная, слабая, истомленная работой жена... Осталась боль в сердце и бесталанность, и больше ничего... Ах, правда, осталась еще глухая ненависть ко всем, кто носил имя пана, кто имеет отношение к школе, науке и закону...

Бедный Замфир!

Старая пословица говорит, что беда не ходит одна. Несчастье, лишившее его хлеба, привело за собой и болезнь.

Неужели эта спутница беды посетила Мариору?

В тот же день, как рубили их виноградник, она заболела.

Изнуренному тяжелой работой организму немного нужно было, чтобы притти в полный упадок. Вернувшись под вечер с виноградника, Мариора почувствовала, что ее трясет лихорадка; закутавшись в кожушок, она легла на лавку. Голова у нее горела так, что иногда ей казалось, что у нее на плечах не голова, а пылающий куст срубленного винограда. Красные от слез или горячки глаза, помимо ее воли, слипались, а в черном мраке мигали перед Мариорой какие-то огни, мелькали топоры, такие острые, блестящие; качались на срубленных ветках зеленые, густые грозди винограда. Какие-то люди мечутся перед глазами, роют землю; сачут, из обгорелых, черных делаются красными, как жар... Мариора слышит собственный голос: «Ох, если бы мне умереть от этой заразы!» Она ест корни, а они растут во рту, раздрают его, прирастают к языку, и язык делается огромным, как гора, тяжелым, как камень. Топоры, которые мелькали перед глазами, с быстротой молнии начинают кружиться над ее головой и в конце концов ударяют по голове раз, другой... Ах, как больно!

Началась горячка.

И на другой день не полегчало. Горячка пожирала молодницу. Мариора иногда срывалась с постели, чтобы бежать на виноградник, спасти кусты, и много надо было истратить сил, чтобы уложить ее и успокоить.

Замфир растерялся. Он позволял знахаркам делать с женой, что им заблагорассудится, лишь бы они поставили ее на ноги. Ворожей шептали над Мариорой, окуривали ее, поили зельем — ничто не помогало. Попрежнему горячка, попрежнему озноб, попрежнему нет покоя.

В просторной молдаванской хате, устланной разноцветными коврами, увешанной прекрасно затканными полотенцами, мигает перед образом лампадка. Его ровный красный свет как-то странно сливается с днев-

ным светом, который тоненькими полосками пробивается сквозь щели в прикрытых ставнях. Сразу со света ничего нельзя разобрать в хате. Только слышен стон больной, чьи-то тихие всхлипывания, шопот. Немного погодя из полумрака выделяется печальная фигура Замфира, кучка женщин возле постели больной и съжившиеся заплаканные дети по углам. Замфир сидит за столом, подпирая голову руками, и смотрит куда-то в пространство. Трудно узнать в нем того полного энергии, сил и жизни Замфира, каким он был еще недавно, месяц тому назад. Он осунулся, его гордая, мощная фигура как бы согнулась, сломалась, глаза потухли, на лице появилось новое выражение — выражение боли и безразличия...

Замфир сидел и думал. О чем он думал? О своей обиде, о больной жене, о маленьких детях, которые, спаси боже, осиротеют. Кто его знает, о чем он думал.

А там, за печкой, у стены, мучилась в постели Мариора. Желтое, опавшее лицо едва напоминало прежние ее черты.

Сквозь запекшиеся от горячки губы изредка прорывался тихий стон, большие черные глаза были закрыты, а когда они раскрывались, женщина, казалось, никого не узнавала.

Соседки-молодицы, столпившись над больной, о чем-то оживленно спорили, показывали на развешанную по стенам одежду, на Замфира, на детей. Иногда поили больную водой.

Дети всхлипывали по углам.

В хате было душно. Пахло сухим чебрецом, какие-то тени ходили в сумерках по стенам.

Ждали священника.

Наконец кто-то известил, что священник идет, и через минуту в дверь просунулась косматая голова с лицом, изрытым оспой, и вслед за ним длинная фигура священника.

Окончив свое дело, священник обратился к Замфиру:

— Что же вы ничем не поможете больной?

Замфир махнул рукой.

— Как ничем... Ворожей да знахарок была полная хата...

— А вы бы доктора пригласили,— посоветовал ба-  
тюшка.

Замфира передернуло.

— Доктора? — воскликнул он, и погасшие глаза его  
блеснули зловещим огнем.— Никогда на свете!.. О, до-  
статочно мне этих докторов, достаточно...

— Может умереть молодница без помощи,— уговари-  
вал его священник.

— Божья воля, божья воля... А доктора... Зачем?  
Чтоб отравил жену, как виноград?.. Никогда!

В глазах Замфира блеснуло такое упорство, что  
священник не решился более уговаривать его.

— Как знаете, — проговорил он уходя.

Посторонние разошлись. В хате остались лишь Зам-  
фир и дети.

Дети вылезли из углов и не отходили от материн-  
ского ложа.

Замфир тоже подошел к больной, обнял детей и,  
опустив голову на грудь, долго стоял так, молчаливый  
и задумчивый, живое воплощение безмерной скорби.

\* \* \*

Работы на лоешских виноградниках окончились..  
Савченко с Рудиком и рабочие осмотрели все виноград-  
ники и не нашли больше филлоксеры. Тихович закон-  
чил впрыскивание, значит, можно было отправляться из  
Лоешты в другое селение, на такую же работу, а может  
быть, и для таких же огорчений. Тихович спешил как  
можно скорее оставить село, где испытал столько не-  
приятного, где столько вытерпел, переболел душой.

Вот уже и вещи сложены, уже и телеги подъехали.  
Готово, можно выезжать!

Сгорбившийся, осунувшийся Тихович печальными  
глазами посмотрел на хаты и строения, которые остав-  
лял за собой... Скорей бы уж новые впечатления, новые  
места. Вдруг взгляд его остановился на скорбной хо-  
ругви, вставленной в плетень. Хоругвь была сшита из  
двух прикрепленных к шести платков — белого и чер-  
ного. Это означало, что в доме смерть.

— Чине омурит?<sup>1</sup> — машинально спросил Тихович  
возницу.

— Фемеля алуй Замфир Нерон<sup>2</sup>, — ответил тот сурово.

Тихович вздрогнул, взглянул на двор, и его глаза встретились с глазами слабоумного мош Димы. Обычно тихий и спокойный, как ребенок, дед на этот раз не усмехался. Уставив на Тиховича полные дикого гнева и ненависти глаза, мош Дима поднял кулак и потряс им вслед Тиховичу. Но лошади рванули, и мош Дима вместе с траурной хоругвью исчез в облаке пыли.

*16 февраля 1895 г.*

Винница

---

Кто умер?

<sup>2</sup> Жена Замфира Нерона.

## «ПЕ-КОПТЬОР»<sup>1</sup>

### *Набросок*

Ион впервые заметил Гашицу на джоке<sup>2</sup>. Переполненный поющими в ушах и в сердце ритмичными звуками «молдаванески», разогретый пляскою, от которой ноги так расходились, что и минуты не могли устоять спокойно, каждым мускулом отвечая ритму танца, с лицом, сияющим от радости и пота, Ион отделился от кучки парней, подскочил к кругу танцующих, разорвал его, ухватил за руки двух девушек... и неожиданно встретился взглядом с глазами, опалившими его из-под тонких девичьих бровей жаром молодости и юга.

«Что за наваждение! — подумал Ион, выделявая ногами фигуры и искоса поглядывая на девушку, — я ее раньше как будто не видел...»

Но раздумывать было некогда: музыка грémела, танец захватывал все внимание.

Музыканты — трое черных, загорелых цыган — сидели рядком на скамейке неподалеку от круга. Скрипач — хилый, невзрачный паренек в узких порыжевших штанах и молдаванской сорочке — склонил к самой деке скрипки голову, покрытую вместо шапки копною черных волос, и с выражением любопытства и удивления как бы прислушивался к звукам, которые извлекал смычком из

---

<sup>1</sup> «Пе-коптьор» — на печь. Коптьор — широкая молдаванская печь, на которой спят, а женщины в деревне рожают.

<sup>2</sup> Джок — танец.

своего инструмента. Его сосед — кларнетист, немолодой уже цыган, играя, дремал; закрыв глаза, он раскачивался взад и вперед своим тяжелым жирным туловищем, одетым в черный ватный пиджак. Часто, в минуточку самой сладкой дремы, кларнет выскальзывал изо рта музыканта и умолкал, но пойманный с поличным, начинал визжать, как оглашенный. Третий музыкант — трубач — работал всех старательнее. То ли от жары, то ли с натуги, он был весь мокрый. Промокшая насквозь сорочка прилипла к его могучему телу, с черного широкого лица стекали ручейки пота, а он все играл и играл, надувая щеки, как полная луна, и выпучив глаза так, что казалось, они вот-вот выскочат из орбит. «Туру-туру...та... туру-туру...та...» — гремела труба, как во времена иерихонской осады, и лишь изредка, в минуту передышки, сквозь гром ее прорывалось тонкое пиликанье скрипки или резкий визгливый голос кларнета.

— Туру-туру...та!.. Туру-туру...та!..

Сквозь тучи пыли, взлетающей из-под тяжелых, подбитых медными подковами сапог, выплывает время от времени ряд молодых лиц, мужских и девичьих, потных, красных, но серьезных. Держась за руки, взмахивая ими вверх и опуская вниз мерно, плавно и без передышки, перебирая ногами и старательно притопывая ими, как добрые кони на току, молодежь, кажется, не танцует, а делает какое-то важное дело, неспешно и добросовестно выполняет заданную работу.

— Туру-туру...та!.. Туру-туру...та!.. — пронизывает тучу пыли всепокрывающий голос трубы, катится по площади, бьется о каменные стены церквушки, а затем летит в просторы к далеким, сияющим лазурью горам, к синим лесам, сплошным массивом подпирающим небо-свод.

А круг танцует. Притопывают в такт «молдаванеске» ноги, поднимаются и опускаются соединенные руки, мелькают белые платочки в девичьих руках... Разогретые танцем лица блестят каплями пота, пыльные взгляды все чаще вырываются из-под опущенных долу ресниц, встречаются друг с другом; руки невольно крепче сжимают руки, груди дышат тяжелее... А пыль, растревоженная десятками притопывающих ног, вырвавшись из-под медных подковок, подхваченная танцем, вздымается

кверху, кружится, клубится, справляет свой джок... Вот она совсем закрыла танцующих, а вот вновь, как из тучи, показалась цепь парней и девушек и оживила картину светлыми пятнами нарядов, молодыми разгоряченными лицами...

Душно... Солнце, медленно склоняясь к западу, становится больше, словно растет, светлеет, разгорается. Воздух — сплошной свет, сплошной жар. Точно золотой сеткой окутаны площадь, круг танцующих, музыканты, пестрая толпа зрителей всех возрастов, собравшихся во круг.

Шум стоит над площадью. Слышно, как кто-то вытаскивает воду из колодца: длинный немазаный журавель немилосердно скрипит. Стоголосая толпа шумит, как летний ливень. Детские возгласы, смех молодежи, топот танцующих крепких ног, тонкое пиликанье скрипки, визгливый голос кларнета сливаются в какой-то странный, но гармоничный хор, над которым все-таки господствует труба своим «туру-туру...та», подымающимся над площадью, бьющимся о стены церкви, а затем уплывающим в просторы, пронизанные горячими солнечными лучами.

Но вот музыка оборвалась. Круг по инерции сделал еще поворот, но в тот же миг рассыпался; девушки порхнули в толпу, оставив парней. Гашица тоже метнулась, но ее задержала сильная рука. Она удивленно оглянулась на Иона, который, сияя от пота и удовольствия, играя глазами, крепко держал ее за руку.

— Пусти! — дернула девушка руку и зарделась.

— А что дашь? — шутил Ион, еще крепче сжимая ее руку.

— Зачем хватаешь, когда я тебя не знаю? — рванулась Гашица, покраснев от напряжения.

— Я — Ион, сын мош Костаки... А ты чья?..

Но в тот же миг девушка, воспользовавшись оплошностью Иона, выдернула свою руку и отскочила от него так быстро, что ее накрахмаленная юбка даже захлопала, как флаг на ветру.

— Угадай — чья!.. — крикнула она на бегу и, обернувшись к Иону, обожгла его пылким взглядом черных глаз...

Парень с досады почесал за ухом, так что даже шап-



ка сползла ему на нос, и двинулся к приятелям, которые кучкой стояли в стороне.

Приятели встретили его товарищескими шутками: один обнял его за шею и притянул к себе с такой силой, что Ион даже пошатнулся; другой так сжал ему руку, что слезы выступили у него на глазах, но он не обиделся. С веселой улыбкой на широком безусом лице, кое-где тронутом оспой, Ион поглядывал то на кучку девчат, где стояла Гашица, то на свои покупные подтяжки, которые, перекрещиваясь поверх рубашки на его могучей груди, поддерживали темнозеленого сукна широкие шаровары с красными вырезами у сапог. Подтяжки эти — новые, голубые, с серебряными пряжками, притягивали к себе завистливые взгляды парней и одобрительные — девушек, что приятно щекотало тщеславие собственника этой удивительной новомодной вещи. Итак, заложив по два пальца за голубые подтяжки и спесиво задрав кверху голову, Ион обратился к одному из парней:

— Не знаешь, фраце, чья это фата? <sup>1</sup> — и показал на Гашицу.

— Которая? Вон та дикая коза в белой юбке?

— Она, она...

— Так это же Гашица, дочка Штефанки Мицы, у которого ветряк. Разве не знаешь?

«Ну, как это он не приметил такой красивой девушки? Верно, она не часто ходит сюда на джок, потому что живет на самом краю деревни», — размышлял Ион, но вдруг звуки быстрой «булгарески» вспугнули его размышления.

Несколько парней кинулись танцевать, потянув за собой девушек. Ион отыскал взглядом, где стояла Гашица, и, разорвав в том месте круг, схватил ее сзади за пояс. С удивительной для натруженных ног легкостью начал он топать и перебирать ногами, с улыбкой поглядывая на свою соседку. Гашица чувствовала этот взгляд и, опустив глаза, покраснела.

Танец кончился. Пот струйками стекал по лицу Иона. Гашица, румяная и запыхавшаяся, развернула белый платочек, вышитый по краям цветными нитками, чтобы

---

<sup>1</sup> Фраце — брат; фата — девушка.

утереть пот, но по пути к лицу платочек подскочил, мелькнул вышитым концом и очутился в руках у Иона.

— Валев! <sup>1</sup> — вскрикнула от неожиданности девушка и мигом схватила свободный конец платка.

Ион тянул платочек к себе, Гашица к себе. Сцена эта разыгрывалась молча, с одинаковым упорством с обеих сторон, и только по лицу девушки пробегала иногда тень не то досады, не то тайного удовольствия от заигрывания парня.

Победил более сильный. Выдернув платочек, Ион бросился наутек, утирая им на бегу потное лицо. Гашица — за ним.

— Отдай! — требовала она сердитым голосом, хотя глаза ее так и улыбались парню.

Но тот ловким жестом сложил платочек наискосок, закинул себе на шею и завязал узлом под подбородком.

— Отдай!

— А что дашь? — дразнил Ион Гашицу, защищаясь от нее на всякий случай протянутой рукой.

— Отдай, говорю!..

— А губки дашь?

— Ого, с ума сошел! — недовольно поморщилась Гашица наперекор сияющим глазам. — Только мне и дела, что целоваться!.. Лучше носи платок...

— Давно бы так!.. С умом фата! — торжествовал Ион и приблизился к девушке.

Вероломная девушка, очевидно, только и подстерегала, как бы стащить платок с шеи. Но Ион был настороже. Схватив одной рукой протянутую к платку руку, он другой обнял Гашицу за талию и крепко прижал к себе.

— Убери руки! — прикрикнула она, слабо вырываясь из объятий.

Тут как раз ударили музыканты. Счастливый Ион кинулся танцевать и потащил за собой Гашицу.

Уже до самого окончания танцев Ион не отставал от Гашицы: он ухаживал по всем правилам, а дичившаяся вначале девушка становилась все покорнее, теша сердце парня пылкими взглядами.

Солнце садилось. Зрители понемногу потянулись по домам, молодежь тоже разбрелась. Площадь пустела,

---

<sup>1</sup> Валев! — Ой!

затихала. Музыканты последними звуками попрощались с угасавшим днем. Только пыль некоторое время еще кружилась в красном зареве, а потом и она стала тихо опускаться на черную тень церквушки, пересекающую всю площадь до самых хат...

Прошло несколько дней. Ион только и мечтал о Гашице. Где бы он ни был, что бы ни делал — все ему чудились пылкие, черные с синей поволокой глаза девушки, ее прямые брови, пышный стан. Он только причмокивал от удовольствия. Хороша «фата»; ничего не скажешь! Можно бы и посватать. А какая скромница, как она ему в глаза глядела, когда он увивался вокруг нее!.. И с удивительной ясностью представился парню памятный джок, зазвучала в ушах мелодия «молдаванески», припомнилась сцена с платочком. Воспоминание было так живо, так ярко, что Ион невольно схватился рукой за платочек, который и до сих пор обнимал его шею, словно боялся, что рука шаловливой девушки вот-вот неожиданно протянется к нему и стащит так легко добытый трофей.

Однажды он встретил ее возле церкви, перед службой. Девушка шла в праздничной одежде, вся накрахмаленная, важная. Белая, в красную крапинку курточка ее, слегка засаленная на талии с правой стороны, где во время танцев оставили свой след рабочие руки ее кавалеров, вернее говоря, именно это засаленное местечко на курточке вызвало у Иона рой сладких воспоминаний, воспламенило его сердце. Но на людях, перед церковью, как-то неловко было выражать свои чувства, так что Ион только поздоровался, а остальное досказал взглядом.

Другой раз... это было так.

Вечерней порой, когда солнце садилось за далеким черным лесом, он возвращался с работы на винограднике в толпе парней. Весело переговариваясь, не спеша двигались они с горы в долину, когда вдруг из толпы раздался характерный не то крик, не то гогот:

— И-го-гоо!..

— И-ги-ги-и!.. — послышался снизу тонкий визгливый отклик, и тотчас же парни увидели в долине группу девушек с огромными сапками на плечах, быстро идущих пыльной дорогой.

— И-го-го-го-ги-и!.. — не своими голосами, словно дикая орда, заревели парни, бегом спускаясь с горы наперерез девушкам.

— И-ги-ги-гууу!.. — адским хором отвечали девушки, удирая от парней.

Крик поднялся несусветный. Окрестные склоны подхватили этот крик и понесли его далеко, перебрасывая с горы на гору и пугая сонную тишину розового вечера.

Ион не успел опомниться, как с разгону наскочил на Гашицу, обнял ее за шею и крепко прижал к себе. Грудь его тяжело дышала от быстрого бега, прикосновение молодого теплого девичьего тела опьянило его, отуманило ему голову. Среди дикого визга и крика шел он, счастливый, обнимая Гашицу, и что-то говорил ей, чего ни он, ни девушка хорошенько не могли разобрать. Крик тем временем утих. Только у самого села Гашица вырвалась из объятий Иона и шмыгнула в крайнюю хату, стоявшую на холме за ветряками.

«Так вот где она живет», — подумал Ион, разглядывая старую, обыкновенной постройки молдаванскую «касу» под камышовой крышей с широким навесом, окнами в решетках и разукрашенными синькой стенами. Возле хаты был погреб, а вокруг просторного двора стояли «кошницы» для кукурузы и сарай. На улице, у самых ворот, высился над колодцем новый журавель, словно стерег вход в дом. За воротами грызлись две большие собаки, но, заметив Иона, дружно кинулись к нему, чуть не хватая за ноги, пока он не исчез за углом.

Еще у ворот услышал Ион трубный голос отца, вылетающий из открытых дверей. «Нунте ши Буковина»<sup>1</sup> — гремело излюбленное проклятье мош Костаки, вызывая улыбку на устах сына.

«Видно, отец здорово разошелся», — подумал Ион о крикливом, но не злом отце.

Запах свежей мамалыги приятно защекотал его обоняние, когда он перешагнул порог. Мать Иона, старая сухощавая Аника, как раз вынула из низкой печи — «коптьора» — котелок и вывернула из него желтый,

---

<sup>1</sup> Буквально: «свадьба и Буковина» — брань, смысла которой не понимают и сами молдаване.

душистый и дымящийся каравай мамалыги на трехногий «мас»<sup>1</sup>:

Мош Костаки, высокий дородный молдаванин, с красным, как перец, лицом и еще более красной шеей, резко подчеркнутой его белой одеждой — длинной, ниже колен, рубашкой, подпоясанной красным поясом, и белыми штанами, — сидел на лавке, энергично размахивая руками, и мотал головой, покрытой копной рыжих с проседью волос. Небранный подбородок, выставивший, словно еж иголки, седую щетину, казалось, разделял возмущение своего хозяина и готов был вместе с ним ринуться в бой с врагами.

— Нунте ши Буковина! — гремел Костаки. — Он думает, что у него есть ветряк, а у меня нет, так можно меня оскорблять перед всем честным народом!.. Га!.. «Драку!»<sup>2</sup> Мош Костаки не последний среди молдаван... Что?

— Кто? Кто такой? — спросил Ион.

— Кто? А тот Мица Штефанаки, который живет на краю села за ветряками...

Ион с интересом выслушал историю ссоры, которая произошла в корчме за четвертой вина между его отцом и отцом Гашицы.

— Но я не спущу!.. Что?.. Богатый там или небогатый, а домну дзев<sup>3</sup> для всех молдаван один... В суд его! Судом дойму чортова мельника. Что? Нунте ши Буковина! — и раздраженный мош Костаки быстро вытащил кисет с табаком, заткнутый сзади за пояс.

— Э-э! — скептически протянула Аника. — Что ты ему сделаешь? «Ла богат мержи ши драку ну колак, да ла сарак ниш бой ну траг»<sup>4</sup>.

Конец этих рассуждений донесся из сеней, куда с помощью хозяйки перебрался и мас с дымящейся мамалыгой.

— Идите-ка ужинать! — позвала Аника.

Мош Костаки заткнул кисет за пояс и занялся ужином. Отрывая куски мамалыги и вертя из них в руках

---

<sup>1</sup> Стол.

<sup>2</sup> Чорт.

<sup>3</sup> Господь бог.

<sup>4</sup> К богатому и чорт с калачом приходит, а к бедному и волю не завернут.

Шарики, он обмакивал их в похлебку из фасоли, щедро заправленную перцем, вылавливал из похлебки стручки перца и с аппетитом разгрызал их, как если б это были его враги, отчего красное лицо его пылало, как солнце на закате. Запив ужин вином из кувшина, старик обратился к Иону:

— Погонишь коней в ночное, потому что завтра чуть свет поеду в волость жаловаться.

Аника только вздохнула.

Ион быстро управился: «мантá»<sup>1</sup> уже у коня на спине, железные путы бренчат в руках. Вскочить только на коня — и айда!

Вечер мягкий, тихий. Пыль, поднятая стадом, снова улеглась на землю. На бледном, утомленном небе кое-где блеснули звездочки. Иону захотелось проехать мимо Гашициной хаты; правда, ему не по дороге, даже совсем в сторону, но молодой парень не может устоять против искушения. Вот уже и знакомая улица... вот и ветряк медленно машет крыльями, как огромная птица... а вот и журавель склоняет длинную шею в колодец, чтобы выловить оттуда ведро воды. Для кого это он так старается, даже скрипит, бедняга?

Ион поравнялся с колодцем, взглянул, и даже что-то екнуло у него в груди от неожиданности — Гашица, быстро перебирая руками, вытаскивала из колодца воду. Тонкая полотняная сорочка плотно облегла ее молодое тело, резко обрисовывая круглые плечи, сильные руки, высокую трепещущую грудь.

Ион не успел даже остановить коней; уже когда они миновали колодец, он силой задержал их, соскочил на землю и подошел к фынтыне<sup>2</sup>, таща за собой удивленных животных.

— Добрый вечер!..

— Спасибо вам...

Гашица, зардевшись, даже не взглянула на парня; взгляд ее потонул где-то в черной глубине колодца.

Молчание.

— Дай-ка воды напиться.

Гашица молча подвинула куфу<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Свитка.

<sup>2</sup> Колодец.

<sup>3</sup> Ведро.

Но вместо того чтобы пить, Ион схватил Гашицу за руку и притянул к себе.

— Тише ты! — шикнула она. — Увидят...

— Никого нет...

И Ион привлек к себе девушку. Она не противилась.

— Зачем пристаешь, если не думаешь жениться?..

— А пошла бы за меня? — спрашивал он, приближая к ней свое широкое рябоватое лицо, горячее и сияющее.

Но в эту минуту нетерпеливые кони дернули в сторону и чуть не сбили Иона с ног.

— Тпруу!.. чортова скотина!.. — вскрикнул он, потянув замотанную на руку веревку.

— Гашица, э-эй!.. — послышалось в то же время из хаты.

Гашица засуетилась, быстро схватила куфу и стремяглав кинулась в ворота.

— Я еще приду к тебе... ночью, — услышала она за собой голос Иона.

Ион вскочил на коня и со злости стегнул веревкой «чортову скотину», которая на самом интересном месте прервала его свидание.

Кони недовольно мотнули головами, рванули и понеслись по улице, подымая густую пыль.

Вот вынырнула из-за горы целая колония ветряков и обступила Иона с двух сторон. Одни — темные и спокойные, тихо стоят, растопырив черные, как у летучей мыши, крылья на фоне вечернего неба. Другие, сияя сквозь открытые двери красным светом, ровно и плавно машут крыльями, и кажется, вот-вот подымутся с места и поплывут куда-то вдаль.

Кони избежали на гору, пошли рысцой. По склонам расстилались широкие поля кукурузы, повеяло благоуханием полей. Хорошо стало у Иона на сердце.

Фрундзу верди семиногу  
Тоти тыргуле ку нороку, —

затянул он грустным голосом бесконечную песню...

Кони пошли шагом, пофыркивая иногда от пыли; железные пути тихо побрякивали; грустная песня катилась широкими полями.

Вот дорога свернула в сторону, побежала по склону вниз... Широкая, бескрайная долина зачернела меж пологих гор. Приятный влажный холодок сразу охватил Иона, кони весело заржали, подняв кверху головы... Вот меж черных камышей блеснула спокойная вода озера... Где-то далеко квакают лягушки... Белый пар тихо подымается и клубится над камышами... Небо потемнело, заискрилось звездами...

По долине бродили пасущиеся кони. Вокруг костра расположились выехавшие в ночное. Ион присоединился к ним. За беседой о девушках, вине, о рекрутском наборе — за обычной мужской беседой даже не заметил, как приблизилась полночь. Ион решил отправиться в село. Он обратился к парням с просьбой приглядеть за его конями, пообещав за это четверть вина. Любителей вина нашлось достаточно. Ион сбросил мантию и в одном жилете направился горою в село.

В селе во-всю перекликались петухи, когда Ион приблизился к ветрякам. Он убавил шаг.

Село спало. Хаты едва серели в ночной темноте, контуры расплывались. В этом было что-то напоминающее кладбище с его тишиной, таинственностью, могильными крестами.

В мертвой тишине Ион слышал, как стучало его сердце, как ступали обутые в постолы ноги по мягкому коврику пыли.

Но вот уже и журавель над колодцем... вот и забор чернеет. Ион на носках подошел к забору, перегнулся и заглянул во двор. Темно. Только на широкой завалинке что-то белеет... рядом, должно быть, под которым спит вповалку вся семья. Ион подтянулся на руках, налег грудью на забор и бесшумно перебрался на другую сторону. Тут вспомнил он о злых собаках, которые провожали его сегодня улицей, и остановился в сомнении. Но надо было на что-то решаться. Ион на носках, подавшись туловищем вперед, тихо, словно кот, двинулся к завалинке... Вот он уже на середине двора... еще немного... «Но что это там чернеет? Неужели собака? — подумал он и остановился, затаив дыхание. — Нет, это не собака, а колода, брошенная среди двора». Он двинулся дальше и чуть-чуть не наступил на собаку, которая, свернувшись калачиком, спала у хаты. Но вот уже



и завалинка. Ион остановился. На него пахнуло теплом из-под навеса, а от белых ряден донеслись сопенье и храп спящих. «Которая — Гашица? — спрашивал себя Ион, обводя взором ряд закутанных фигур... — Должно быть, эта», — решил он наконец... Рука его тихонько прошла по закутанному телу, нащупала локоть, плечо и вдруг наткнулась на шершавую колючую бороду.

— А-а-а! — раздалось сонное ворчанье.

Ион так и окаменел, так и застыл с протянутой над бородой рукою. Сердце в груди у него остановилось. Прошла минута. Снова тихо.

Ион, как тень, двинулся дальше. Чья-то маленькая ножка высунулась из-под рядна. «Нет, это тоже не Гашица...» Только на краю завалинки узнал он Гашицу по черным косам, которые выбились из-под рядна и лежали на нем, как две толстые змеи.

— Гашица!.. Гашица... — шопотом звал он ее, тихонько тормоша за плечо. Но девушка спала как убитая.

— Гашица, проснись... Это я — Ион...

Гашица беспокойно повертела головой, вдруг вскочила и села на завалинке, протирая глаза кулаками.

— Гашица, — звал Ион, — пойдем отсюда в сад или куда-нибудь...

Гашица отняла от глаз кулаки, взглянула на Иона и ужаснулась.

— Ты чего пришел! Уходи сейчас же... услышат...

— Не услышат, — шептал парень, увлекая ее за угол хаты.

— Я сказал, что приду, вот и пришел, — успокаивал он Гашицу, держа ее за руки, и рассказал ей, как наколот себе руку об отцовскую бороду.

Гашица удивлялась его смелости и смеялась.

— Знаешь что, я так пить хочу, даже сердце у меня горит... нет ли чего напиться? — сказал он.

— В сенях вода стоит...

— Э, что вода! Не осталось ли случайно в кувшине вина?

Гашица задумалась.

— Постой! — сказала она. — Я сейчас! — и побежала в хату.

Открыв потихоньку двери сеней, а потом и хаты, она полезла на полку, нащупала там тоненькую восковую

свечку и спички, потом наощупь разыскала на стене ключ от погреба и так же тихонько вернулась к Иону.

— Идем! — позвала она его и двинулась вперед.

Они прошли мимо спящих на цыпочках, друг за другом, настороженно вытянув шеи.

Когда проходили мимо собаки, та зарычала спросонок, но не проснулась.

Гашица открыла погреб. На них повеяло холодом и специфическим запахом погреба. Спустились на несколько ступенек в темноте, а потом зажгли свечку. Темнота прынула от огонька и забилась в углы.

Гашица прилепила свечу к бочке. Девять таких бочек, полных вина, раздув бока, важно разлеглись, расположившись подковой под стенами погреба. Ведра и бочонки, большие и маленькие, стояли в стороне. Погреб казался угрюмым, даже мрачным. Лишь испуганно колыхались черные тени от неровного света тонкой желтой свечечки.

— Где здесь белое? — разбудил тишину Ион.

Гашица молча взяла куфу, подставила к бочке и вытащила затычку. Прозрачная золотистая жидкость струей ударила о дно куфы и зашумела. Когда вино наполнило посудину до половины, Ион остановил Гашицу:

— Хватит!

Парень обхватил жбан руками, поднес ко рту, сдунул пену и жадно припал губами к вину.

Гашица, опершись на бочку, не спускала глаз со своего милого, словно наслаждаясь его удовольствием.

— Бун джин<sup>1</sup>, — наконец перевел дыхание Ион, утирая рот рукавом и ставя куфу на пол.

— Спасибо тебе, — прибавил он, обнимая и привлекая к себе Гашицу. Девушка не сопротивлялась. Ей так хорошо было в объятиях милого, она так сладко задрожала от прикосновения этих сильных мускулистых рук, от тепла этого молодого желанного тела. В ушах словно звенит что-то, в голове какой-то туман, она будто из-за стены слышит голос Иона, его слова.

О! она не пожалеет о том, что полюбила его... Его все парни боятся, потому что он сильный... Кто с ним сравняется силой? Никто! Вот вчера Петраки, тоже

---

<sup>1</sup> Хорошее вино,

сильный флакев<sup>1</sup>, попробовал бороться с ним, так он, Ион, как грохнул его о землю, из парня чуть дух не вышибло... А хитрый он какой!.. До всего хитрый... Его и на военной службе бить не будут, когда придется идти на месяц, потому что он и «русешти» знает... Ну, кто так сумеет: «Веруу...диноо..боа...цадер...жите — тца...небо — земля... видьма... не видьма...»

Ион даже отпустил Гашицу, так захватили его эти непонятные, чужие слова символа веры «русешти»...

Пугливый свет восковой свечки едва озарял фигуру Иона, его опущенные руки, рябоватое лицо с выражением сосредоточенного внимания, широкие губы, странно складывающиеся при произношении непонятных слов.

Ион монотонно цедил слово за словом, а Гашица, сжав руки, слушала, как зачарованная.

«Какой он умный!» — думала она, чувствуя в груди новый прилив любви.

— Бине?<sup>2</sup> — спросил Ион окончив.

— Таре бине!<sup>3</sup> — прошептала Гашица. — Только я ничего не поняла.

— А! Этого и парни не понимают, не то что девчата.— И с этими словами Ион выцедил остатки вина из ведра. Теплом разлилось вино по телу; в глазах блеснул огонек... на сердце стало легко, в голове ясно, ноги и руки приобрели силу и подвижность.

Задрав голову и заложив пальцы в карманы жилета, Ион с сознанием собственного превосходства обратился к Гашице:

— А знаешь ты, что такое присяга?

— Нет, не знаю,— грустно ответила девушка.

— Не знаешь? Присяга ест... клятуа... дан...ая пре... боо... христо... спаси... веру... правду...

— Тц... тц!.. — искренне удивлялась Гашица, качая головой. — Какое же оно трудное...

— Э, чего там трудное! — все больше расходился Ион. — Я и с ружьем всю муштру знаю. Хочешь — покажу?

---

<sup>1</sup> Парень.

<sup>2</sup> Хорошо.

<sup>3</sup> Очень хорошо.

Ион повернулся по погребу, вытащил из угла метлу с длинной палкой, стал в позицию, забавно поднял плечи, так что голова спряталась между ними, и, забывая об опасности своего положения в чужом погребе, во весь голос скомандовал:

— Руж на пле-чо! Ас-два... ас-два...

Вся фигура Иона с поднятыми кверху плечами, меж которыми торчало разгоряченное рябое лицо, с прижатой к боку метлой и ногами, которые, как у петуха, выбрасывались далеко вперед, казалась Гашице такой забавной, что она не могла удержаться от смеха, но Ион этого не замечал. Он метался по погребу, тяжело топая ногами и выкрикивая полным голосом:

— Ас-два... ас-два!.. Руж вол-но!..

Вдруг со двора послышался отчаянный лай, а через минуту низкий мужской голос:

— Кто там?

Ион так и присел на месте. Гашица, услышав отцовский оклик, кинулась к свечке и вмиг погасила ее. В погребе стало черно и тихо; лишь со двора доносились сюда собачий лай и тяжелое шлепанье ног.

— Кто там? — вторично спросил голос.

Ион сидел впотьмах и с глупым видом вглядывался в темноту. Гашица дрожала за бочкой. Но через некоторое время на дворе все стихло... собака поскулила и умолкла, шлепанье растаяло где-то в ночной тишине.

— Гашица! — шопотом окликнул Ион.

— Что?

— Где ты?

— Здесь, за бочкой...

Ион ощупью добрался до Гашицы и прижался к ней. Некоторое время они сидели молча.

— Идем отсюда, — вымолвил, наконец, Ион.

— Боюсь, лучше подождем...

Но им скоро надоело так сидеть, и они, держась друг за друга и спотыкаясь о бочки, потихоньку выбрались из погреба.

— Пойдем на виноградник, — просил Ион. И хотя Гашица гнала его домой, но не могла устоять перед пылкой мольбой милого и сама не заметила, как оказалась за хатой, на тропке, ведущей к винограднику.

Среди темных развесистых кустов выбрали они себе местечко. Ион нарвал на меже травы и устлал ею землю.

Черная мягкая земля дышала влагой, старые пышные кусты вздымали кверху, словно руки, крепкие ветви, сквозь черные разлапистые листья лишь кое-где мигали звезды. Было холодно, как-то жутко. Гашица невольно прижалась к Иону, всем существом отдаваясь горячим ласкам...

Начинало уже светать, когда они разошлись... Ион счастливый, удовлетворенный, Гашица смущенная, с опущенным в землю взором, с чувством какой-то тяжести, какой-то непоправимой беды...

Почти каждую ночь встечались парень с девушкой в винограднике.

Время шло. Весна сменялась летом — душным, сухим, палящим. Кусты винограда покрылись бледнозелеными кистями, кукуруза на полях распустила косы, ячмени начали желтеть, словно седина старости слегка тронула буйную растительность земли.

Увяла и засохла трава, которой устлал Ион свое гнездышко в винограднике... увы! со временем увяло, стало угасать в сердце Иона и чувство его к Гашице.

Все реже перепрыгивал он темной ночью через ограду знакомого виноградника, все охотнее заглядывался на других девушек. Укоры и слезы Гашицы, которая замечала перемену в Ионе, еще больше отталкивали от нее парня.

Легкость, с которой покорил он сердце Гашицы, — без борьбы получил от нее все, что может дать девушка, — скоро погасила огонь первой любви. Ласки, такие сладкие для девушки, утратили для него всю привлекательность новизны. Гашица просто надоела Иону.

Сперва Иону и на ум не приходило бросить девушку. Что ж, он соблазнил ее, он должен и жениться на ней. Что бы запели ее родители, что сказали бы люди, ох! как бы посмотрел на это отец Иона, горячий, но справедливый мош Костаки?..

Но мало-помалу, по мере того как в сердце Иона росло равнодушие к Гашице, этот же его отец, горячий мош Костаки, стал в глазах Иона его спасителем в неприятном положении. Ион вспомнил ссору своего отца

с отцом Гашицы мош Штефанаки и ухватился за эту вражду родителей, как за спасительный якорь.

Чтоб его отец да согласился взять в невестки дочь своего врага? Ни за что на свете...

Он, Ион, и рад бы посватать Гашицу, но что ж, когда отцы враждуют между собой и ни за что на это не пойдут.

Ион так уверовал в придуманное им препятствие, что ему даже жалко стало, что он не может посватать Гашицу.

А чтоб зря не причинять себе и девушке огорчений, он перестал ходить к Гашице, невзирая на ее слезы и мольбы...

Наступила жатва. По полям расселись копны, усмехались землепашцам, просились на гумно. Высокая и крепкая, как дуб, стояла на горах кукуруза, выставив напоказ толстые початки; виноград в садах желтел, наливался.

Красное, как перец, лицо мош Костаки от удовольствия краснело еще больше, когда он смотрел на эту благодать. «Нужно Иона женить осенью», — решил он, а поскольку намерение его не было тайной, Ион быстро узнал об отцовской воле и не только подчинился ей, но и целиком положился на отцовский вкус.

Поэтому-то через некоторое время в свободные часы Ион, уже с благословения отца, заглядывал в черные глаза приземистой Домники и носил на пальце медное колечко от нее — это первое из звеньев цепи подстерегающего парней Гименя...

А Гашица?

Вот лежит она на завалинке, примостившись на ночь возле матери. Отец ходит по двору, тихо вознося молитву к звездному небу. Доносятся его вздохи, отдельные слова молитвы. В ночной тишине отчетливо слышно, как квакают лягушки в долине у пруда, как шелкает длинным клювом аист на соседней крыше. Гашицу раздражает, что отец так долго молится. Хоть бы он скорей уж уснул, ведь Гашица сегодня ожидает милого, ей нужно поскорей быть на винограднике. А придет ли Ион?.. Наверно, придет... Гашице нужно, чтоб он пришел, нужно серьезно поговорить с ним. Ах, этот Ион!.. У нее сердце так изболелось из-за него, у нее голова так измучена

мыслями о нем... Она не может больше думать. Какие-то обрывки, какие-то клочки мыслей и образов мелькнут на мгновение в мозгу, заденут наболевшее сердце... и исчезнут... Вот он, взяв метлу на плечо, румяный и красивый, марширует по погребу... Вот на винограднике, среди густых кустов, ласкает он ее, говорит об их свадьбе, о совместной жизни. Изменник!.. Изменник!.. Что это люди говорят о Домнике? Неужто он променял ее на другую? Да нет, нет!.. Верно, он крадется сейчас где-нибудь улочкой к винограднику, чтобы обнять ее и сообщить, когда придет сватов... «И что там за чорт гнездится ночью на винограднике? Вот поймаю — ноги перебью...» — слышит она суровый голос отца и начинает дрожать... Ей страшно, страшно за Иона!.. Нужно бежать и предостеречь его... Девушка вскакивает, садится на завалинке... И просыпается. Темная ночь дышит влагой, далеко квакают лягушки, отец кричит и переворачивается с боку на бок на завалинке... Нужно бежать, Ион ждет. Но и бежать нельзя, отец еще не спит, заметит...

Гашица снова ложится, притворяется спящей. Сладкое изнеможение охватывает ее тело, сон так и льнет к глазам, но девушка пересиливает его, жадно прислушивается к дыханию отца, которое становится все ровнее и ровнее...

Вот теперь можно: отец уснул...

Гашица тихонько выскальзывает из-под рядна, осторожно ступает босыми ногами и, наконец, исчезает за боковой стеной...

На винограднике тишина. Черное, бескрайное море виноградных кустов волнами сбегает с горы в долину... Гашица нырнула в это море и очутилась в знакомом уголке.

Иона еще нет. Гашица садится под кустами и, обняв колени руками, решает ждать его. Из-под густых ветвей веет на нее теплым воздухом, насыщенным запахом чернозема.

Все — и этот воздух, и извивающиеся лозы, и увядшая трава — все это невольно напоминает ей счастливые минуты ее жизни. Вот Ион обнимает ее. Вот клянется, что вечно будет ее любить... А теперь?.. Она сегодня должна сказать... О! кто-то идет... Это, верно, он... Нег, это кто-то

другой прошёл тропкой в село... Она скажет ему, что хватит уже откладывать сватовство... хватит дурачить ее... Кажется, Ион идет... Какое-то движение слышно вдалеке...

Гашица высовывает голову из кустов, настораживается... Снова не он, конь на горе пасется, а ночная тишина подхватывает его тяжелый шаг...

«Ах, боже!.. когда же он придет?.. Уже поздно... А ей непременно, непременно нужно, чтоб пришел и узнал, что скоро... Ай, стыд, как она это скажет?.. А нужно ведь, тогда он, наверное, откажется от Домники и пришлет сватов.. Но почему он не идет?.. Неужто не придет?.. Что это — петухи поют?..»

Гашица вытянула шею прислушиваясь.

Где-то неподалеку хриплым голосом, отрывисто кукарекнул петух. За ним чисто и мелодично отозвался другой, а там — тишину спящего села вконец всполошило нестройное петушиное пенье.

Девушка сидела, словно окаменелая.

«Нет, не придет... Но должен... Приди... приди... приди... — упорно думала она об одном, вкладывая в эти мысли всю силу желанья... — Нет... бросил... из-за Домники бросил... Но погоди! Да что ему сделаешь?.. Женится, а я... брошенная, обесчещенная, с ребенком... Срам!.. срам!.. Навеки срам... Люди насмех подымут, как ветер солому... А отец!.. Домне, домне!..»<sup>1</sup>

Гашица заплакала. Теплые, обильные слезы, приятно щекоча лицо, струйками стекали по щекам, попадали на жалостно, по-детски выпяченные губы.

Холод поздней ночной поры охватил девушку. Она дрожала и плакала, а откуда-то из глубины, с самого дна сердца шел голос, утешая ее:

«А может, придет?.. а может, придет?..»

Уже под утро — измученная, продрогшая и изверившаяся — вернулась Гашица домой, твердо решив непременно повидаться с Ионом и поговорить с ним откровенно, до конца...

Ион, чувствуя свою вину, избегал Гашицы, но она все-таки перехватила его как-то. Ион ехал порожняком за снопами на поле и не заметил, как Гашица вскочила

---

<sup>1</sup> Боже, боже.



на телегу и притаилась сзади. Только когда они выехали уже за село и туча пыли укрыла телегу от любопытных глаз, Гашица придвинулась к Иону и тронула его рукой. Парень пришел в ужас, неожиданно увидев ее.

— Ты как тут очутилась?.. Зачем?..

— Зачем?.. Затем, что хватит уже дожидаться, пока сам придешь... Когда сватов пришлешь?

Голос Гашицы звучал резко, сурово. Но воз так тахтел, что Ион не расслышал.

— Что?

— Когда сватов пришлешь? — раздраженно крикнула Гашица в самое ухо Иону.

Ион слегка придержал коней.

— Не пришло... — решительно отрезал он.

— Ах, так?.. А за стыд мне чем заплатишь?..

— Отец не велит жениться... — изворачивался парень, глядя куда-то в сторону.

— Так теперь ты отцом мне голову морочишь?.. А тогда?.. А это что?.. — вдруг вскрикнула Гашица и схватила Иона за палец, на котором блеснуло дорогое ему, полученное от Домники, колечко. — А любить носатую Домнику отец позволяет?.. А?..

Ион обиделся:

— Эй! а ты тут при чем?.. Забралась на чужую телегу и еще ругаться? Прочь с телеги!..

— А вот не сойду, пока не скажешь, когда сватать будешь...

— Когда у меня тут волосы вырастут! — со злостью крикнул Ион, стукнув кнутовищем по ладони. — Геть!..

Гашица вцепилась в грядку телеги, но Ион сильным движением скинул ее с телеги и потарахтел дальше...

— У-у! — погрозила ему вслед кулаком Гашица, подымаясь с земли и отряхивая пыль с одежды.

Злоба, слезы душили бедную девушку. С громким плачем побежала она к селу, но скоро опомнилась, утерла слезы фартуком и направилась домой.

Другого выхода не было, как только признаться во всем матери, просить у нее помощи.

Мать так испугалась, что позабыла даже побранить дочку. Ой, позор!.. срам!.. Нужно что-то придумать...

Послали за теткой Прохирой, известной советчицей в таких случаях. Ее поймали на улице, где она, выста-

вив вперед пряслице, на ходу пряла шерстяную нитку и что-то бормотала про себя.

Когда за дверьми послышалось шлепанье башмаков, а затем в хате показалось пряслице, Гашица с матерью уже знали, что сейчас увидят тучную фигуру в ватной кофте, черном платке на голове и другом на шее, а меж этих двух платков могучий нос, который в первый момент производил впечатление не носа, а целого лица.

Тетка Прохира обстоятельно, смакуя, выспросила у Гашицы все подробности пикантной истории и авторитетно решила:

— Надо итти «пе-коптьор»... на печь...

На печь!.. Перед глазами девушки встала картина этого унижительного обычая, неизбежность тяжелого разговора с родителями Иона, врагами ее отца, дикие сцены, происходящие иногда в таких случаях... Срам!.. Срам!..

Все, что ожидало ее в ближайшие дни, казалось ей таким горьким, таким нестерпимо мучительным, что Гашице хотелось бы, чтобы земля под ней провалилась. Но что ж поделаешь! Земля не провалится, а итти нужно.

Условились, что под вечер, когда в хате у Иона все будут дома, тетка Прохира отведет туда Гашицу, а сама даст матери знать, чем кончилось дело.

Как только совсем смерклось, Прохира забежала за Гашицей и почти силой потащила ее за собой. Девушка была как в горячке. Ноги словно прилипали к земле; в сердце колело, в голове была одна мысль, одно желание, чтоб дорога эта растянулась до бесконечности...

— Не горюй, — утешала ее Прохира, — не ты первая идешь «пе-коптьор»... Прошлый год Катинка Сандина вышла-таки за Нихалаки, хотя мать его и тащила ее за косы с печи... Перепало ей от отца, да и сам Нихалаки прибавил ей на бедность... Бедняга что-то месяца два носила синяки на теле... А все-таки...

Гашица больше не слушала. Вот они уже свернули за угол... Вот уже замигали красным освещенные окна Ионовой хаты... У Гашицы задрожали колени. Она, заколебавшись, остановилась перед воротами, но Прохира втолкнула ее во двор...

— Иди, иди... а я тут подожду...

Гашица перебежала двор, быстро ухватилась за щеколду и отворила двери.

Аника как раз в это время открывала сундук, мош Костаки вынимал из печи уголек для трубки.

— Добрый вечер...

— Спасибо...

Гашица поцеловала руку сперва мош Костаки, потом Анике и, не говоря ни слова, опрометью кинулась к печи, вскочила на нее и спряталась за трубой.

Старики удивленно переглянулись, и одна и та же мысль одновременно ударила им в голову.

Аника, стукнув крышкой от сундука, и сама кинулась на печь к Гашице, которая, как зверек дрожа, прижалась в угол.

— Ты чего пришла? — сурово спросила Аника.

— А твой сын чего ко мне ходил? — огрызнулась Гашица.

— Мой сын?.. А другие не ходили?.. Знаем мы вас, теперешних девчат!.. Вон с печи!..

— Не сойду, хоть убейте... Люди знают, что никто ко мне не ходил, только Ион... Он меня в грех ввел, он говорил... посватаю... а теперь... — рыдала Гашица.

— Нунте ши Буковина!.. — загремел вдруг на всю хату мош Костаки, слышавший весь разговор... — Это что такое?.. Где Ион?..

И, открыв двери, старик крикнул так, что даже стекла задрезжали:

— Ион! э-эй!..

Не успел еще Ион переступить порог, как мош Костаки, красный и злой, схватил его за плечо и потащил к печи.

— Это что, такой-сякой сын?.. — гаркнул он в самое ухо сына и показал на печь.

Ион заглянул и похолодел, увидев Гашицу.

— Да это я... она... — бормотал парень, но отец не дал ему договорить, потащил его в сени и прикрыл дверь.

Испуганная Гашица услышала в сенях возню, какие-то звуки, как будто побоев, среди которых прорывался хриплый голос мош Костаки.

— С дочкой врага?.. Портить девушку?.. Я у тебя

выбью из головы других девчат... Нунте ши Буковина!..  
Завтра пошлешь сватов к мош Штефанаки.

Через минуту запыхавшийся мош Костаки вскочил в хату, подошел к печи и крикнул:

— Иди мне сейчас же, бесстыдница, к своему отцу и скажи ему, что завтра я, Костаки, пришлю от Иона сватов! Слышишь?.. Так и скажи...

И, громко отдуваясь, мош Костаки тяжело упал на лавку.

— Домне, домне! — стонала Аника, убитая неожиданным несчастьем, и уговаривала Гашицу уйти домой.

Но Гашица сквозь слезы заявила, что не выйдет из хаты, пока не будут посланы сваты.

Аника принуждена была уложить ее на печи, а после долгого совещания с мужем, происходившего шопотом под образами, погасила свет и сама легла рядом с Гашицей...

Ион ночевал где-то на дворе; он долго не мог заснуть, вспоминал сегодняшние события, свои погибшие мечты о Домнике и, подергивая чуб, тяжело вздыхал в одиночестве среди темной ночи...

Когда на следующий день утром Гашица шла рядом с Ионом на ток, Ион не перекинулся с ней ни словечком, будто не замечал ее...

Однако через некоторое время, покрикивая на коней, которые на привязи бегали кругом по снопам пшеницы, Ион уже искоса поглядывал на Гашицу, на ее сильные мускулистые руки, которыми она ловко трясла решето, провевая зерно и, как снегом, засыпая мякиной весь ток, и чувствовал, что в сердце его тает ожесточение, уступая место примирению со своей судьбой...

*15 апреля 1896 г.*

## ПОСОЛ ЧЕРНОГО ЦАРЯ

### *Рассказ*

Жара, наконец, спала. Солнце еще не совсем спряталось за горизонт, словно зацепилось за гору, а ночь уже стелилась по сырым и холодным долинам и ждала того мгновения, когда можно будет обнять горы, обвить широкие кукурузные поля Бессарабии.

Колокольчик земской почты, с которой я ехал, звенел монотонно — в долинах глуше, на горах звонче — и вместе с карканьем ворон разносил грусть по темнеющим просторам.

Лошади, тяжело ступая, подымались в гору; вдалеке, где долина поворачивала, чернели сады и виноградники. Ямщик кнутовищем указал мне на это черное пятно, как на признак близкого жилья, и сообщил, что скоро проедем через «руснацкое»<sup>1</sup> селение. Но я не очень доверял этому «скоро», будучи знаком с топографией средней Бессарабии, где горы, чередуясь с долинами, скрадывают расстояние. Казалось, что земля здесь в порыве гнева ошетибилась, как дикий зверь, да так и застыла. Чтобы доехать до близкого на первый взгляд пункта, нужно было без конца спускаться в долину и подыматься в гору, будто плыть по волнам разбушевавшегося моря.

Так мы проехали добрых пять верст, пока не увидели, наконец, деревню, приветствовавшую нас сияющими в темноте окнами и лаем собак.

Я попросил ямщика ехать шагом. Мне приятно было,

---

<sup>1</sup> Так в Бессарабии называют украинские колонии.

в чужой стороне, очутиться вдруг будто в уголке Украины, среди опрятных хат, густых садов, родного говора: мне не хотелось быстро расставаться с тем, что овеяло мне душу каким-то близким, родным теплом.

Проезжая мимо лавочки, я вспомнил, что мне нечем зажечь папиросу, и я слез, чтобы купить спичек.

В лавке было полно народу; высокие крепкие руснаки говорили быстро, с особым акцентом, так что непривычное ухо не могло сразу уловить суть разговора. Лавочник наклонился над кассой и что-то там искал, и потому передо мной была только копна черных волос. Но когда он поднял голову, я, не веря собственным глазам, с удивлением воскликнул:

— Солонина!.. Вы что здесь делаете?

— А, это вы!.. Торгую... это моя лавка... Посидите здесь, будьте добры, минутку, я сейчас приду...

И, открыв дверь в комнату, он позвал:

— Федька!

Федька, парень лет шестнадцати, вышел из комнаты и стал за кассой, а Солонина, пригласив руснаков, очевидно ожидавших его, направился с ними в комнату и притворил за собой дверь.

Я ничего не понимал. Я не мог представить себе, каким образом этот Солонина, которого я до сих пор привык видеть в обществе провинциальной «золотой молодежи», чванный от сознания, что на нем безукоризненно-модное платье, что он корректен и обладает аристократическими манерами, этот чиновник с блестящей будущностью и влиятельными родственными связями — очутился вдруг в деревне в роли деревенского лавочника!.. Я вспомнил, что встречался с ним и в другом обществе, где он держался крайних взглядов и выдавал себя за демократа. Он мне не нравился. Его взгляды так не вязались с пустой жизнью, его демократизм так трудно было сочетать с барскими замашками, слишком дорогим костюмом и т. п., что я просто не верил ему. Своим демократизмом, либерализмом и другими «измами» он лишь украшал себя, как чесучовым пиджаком свою статную фигуру, и так же легко, как чесучовый пиджак, мог сбросить и украшения не материального характера. Ничто не увлекало его глубоко; одной фотографии отдавался он с необыкновенным пылом, и его фотографиче-

ский аппарат, действительно дорогой и хороший, был его гордостью. Мне представилась его комната, с разбросанными ванночками, пластинками, объективами, фотографиями, наклеенными и свернутыми в трубки... Вспомнилась та лихорадочная энергия, с какой он совершал экскурсии со своим аппаратом, выискивая красивые виды, характерные лица.

И вот этот блестящий молодой человек расстался с беззаботной пустой жизнью, отказался от блестящей карьеры, чтобы стать деревенским лавочником! Что привело его к этому? Фантазия или несчастье загнали его сюда, в глушь? Я заинтересовался.

Только через добрых полчаса дверь снова открылась и вслед за крестьянами, прощавшимися с хозяином и оживленно беседовавшими, появился Солонина.

— Извините, что задержал вас... Вы куда едете?

Я сказал.

— Знаете что? — предложил Солонина. — Вам, наверно, надоело трястись на почтовой таратайке, а ночевать все равно придется где-нибудь. Отправьте своих почтовых лошадей, да и переночуйте у меня. Я так рад вас видеть...

Я согласился.

Мы вошли в бедную комнату, где стояли два топчана деревенской работы, скамьи и большой стол, один конец которого служил для писания, а другой предназначался для всяких хозяйственных надобностей.

В углу около стены лежала пачка новых книг, перевязанных шпагатом. Благодаря педантичной аккуратности, комната казалась веселой и уютной.

Пока Солонина суетился, приготавливая чай, я внимательно присматривался к нему. Совершенно невозможно было в этом бедно, хотя и чисто одетом человеку узнать бывшего салонного франта. Начать с того, что вместо сытого самодовольства и напускной важности на лице появилось новое выражение — сознание собственного достоинства и убежденность. Серые глубоко запавшие глаза светились мыслью. Он отпустил бороду, а из-под расстегнутой рубахи виднелась волосатая грудь.

Я видел в открытое окно, как он с ведром побежал к колодцу, а через минуту возился уже в сених, раздувая самовар и гремя железной трубой.

Входя за чем-нибудь в комнату, он просил у меня извинения:

— Простите, что оставляю вас в одиночестве... У меня слуг нет, я всё сам.

— Что с вами, Солонина? Я вас не узнаю.

— Разве? А и в самом деле я не прежний! — усмехался он и снова бежал в сени.

Через несколько минут самовар уже шумел на столе, а мой хозяин, уверяя, что очень рад нашей встрече, поддвигал мне стакан с чаем.

— Вы очень изменились с того времени, как мы виделись в последний раз, — начал я. — Я что-то и аппарата вашего не вижу.

— Вы помните мой аппарат? — Радостно воскликнул он, и огонек вспыхнул у него в глазах, но сразу же погас. — Хорошая была вещь... Вот этот-то аппарат и был отчасти причиной происшедшей в моей жизни перемены.

Солонина энергично помешал чай, хлебнул несколько раз и отодвинул от себя стакан.

— Вы удивляетесь?.. А оно действительно так было, — вот я вам сейчас расскажу... Вы, наверно, помните мою страсть к фотографическим экскурсиям? Вот и хорошо, помните, значит... Так вот, однажды мне пришлось проезжать через небольшую «руснацкую» деревню. Уже сама деревня мне страшно понравилась — вся в садах, над речкой, с покосившимися лачугами первых переселенцев, бежавших от барщины, и с более богатым жильем их потёмков — домиками, которые, окружив лачуги, расползались из оврага по горам. Словом, живая история роста деревни. К тому же и народ красивый, характерный: хлопцы, как молодые дубки, степенные и гордые, идут мимо пана, шапок не ломают; дивчата — стройные, как дикие козы; старики — крепкие, жилистые; молодичицы — прямо загляденье... Вот сюда бы забраться с аппаратом! Повернул я к «общественной хате»<sup>1</sup>, вызвал старосту, хвалю ему народ.

— Ничего, — говорит, — хорошая гуцулия...

— Как гуцулия?

— Да это руснаки из других деревень так дразнят

---

<sup>1</sup> В Бессарабии в каждой деревне есть общественная хата для приезжих чиновников.



нас, оттого, что деды наши убежали от помещиков, откуда-то из Буковины... «Гуцулия пьяная только и знает ест она, пьет она да в корчме гуляет», — поют о нас бездельники.

Я сказал старосте, что скоро приеду к ним с такой машинкой, которая портреты снимает, да и уехал. Через две недели пригласил еще одного любителя фотографии, положил в бричку аппарат и айда к гуцулии в гости...

Было воскресенье. День выдался чудесный, тихий, теплый, какой бывает лишь в мае. Когда мы подъезжали к деревне и я с горы глянул на пеструю толпу, заполнявшую площадь около корчмы, сердце мое — сердце страстного фотографа — быстрее забилося. Наш возница-молдаванин крикнул на лошадей и пустил их с горы во весь дух. Мы влетели в деревню и, грохоча колесами и подымая пыль, промчались мимо музыкантов, мимо корчмы и остановились под вербами у дороги. Вынул я из брички аппарат, поставил на прилаженный товарищем треножник и только что накрылся черным сукном, чтобы навести на танцующих объектив, как среди них произошло какое-то движение, поднялся какой-то шум; дивчата оставили хлопцев, сбились в груды, а затем со страшным криком бросились врассыпную... Мы видели, как они прыгали через плетни, в каком-то диком страхе неслись через огороды по грядам, выбегали за деревню на поля и там исчезали в высокой кукурузе... Музыка сразу прекратилась. Хлопцы у корчмы глухо шумели... Мы ничего не понимали. Мы только видели, что толпа движется в нашу сторону. Первыми обступили нас бабы. Они молчали, но в их взглядах, устремленных на нас, было столько злости, столько ненависти, что нам стало не по себе.

— Что случилось? почему дивчата разбежались? — спросил я.

— Вот! разве я не говорила? — подскочила к нам одна баба, размахивая кулаками. — Разве я не говорила вам, кумоньки мои. Приехали, чтоб их ударило друг о дружку, от черного царя, забрать в неволю наших дивчат, да еще спрашивают, почему дивчата убежали... Все беды и напасти вам на голову!

Бабе не дали кончить. Ее слова были каплей, переполнившей чашу. Бабье зашумело, как ливень, как рой разъяренных ос. Поднялся крик и вопль, с одной стороны

слышался плач, с другой — брань и проклятия. Тут же, позади нас, сидела какая-то простоволосая женщина и всхлипывала:

— Две недели, кумоньки мои, голосит моя Домаха... каждый день, каждый день... Цыц, глупая, говорю ей, а она: «Повешусь, утоплюсь, — говорит! — Лучше уж мне умереть, чем под черного царя итти». Цыц, глупая, говорю ей, а она...

— Ты что стал, как свинья перед тыквой? — кричала другая на мужа. — Почему не возьмешь палку и не разобьешь им ту машину, которой они людей калечат! Может, и ты под черного царя захотел?

Что за чертовщина?.. Черный царь... машина, которая людей калечит... Ничего не понимаю, хоть убей. Улавливая, однако, в невообразимом шуме отдельные слова, я понял, хотя и не совсем хорошо, что о нас, может, благодаря путаному рассказу старосты о нашем приезде, сложилась легенда: нас принимают за послов какого-то черного царя, который поручил нам «выбить портреты» с дивчат, а потом приедут другие и заберут тех дивчат, которые понравятся черному царю. Другая версия утверждала, что мы антихристы и машиной калечим людей... Злость меня разобрала. Стал я объяснять бабам, зачем я приехал и что за машина, да где там! Не верят, все свое болтают, еще больший шум подняли.

— Тьфу, глупые бабы! — рассердился я наконец. — Может, ваши мужики умнее. — Да за свой аппарат и к мужикам. Но как только сделали мы с треногим другом несколько шагов по направлению к мужчинам, молча стоявшим в стороне, тут как шарахнет от аппарата моя «гуцулия», словно от чорта...

Что тут делать? Уже я и объектив снимал и аппарат разбирал, показывал, что он не стреляет, как уверяли бабы, — ничего не помогло. Никто даже не подходил близко: все робко и недоверчиво следили за каждым моим движением, боясь какого-нибудь подвоха. А бабы всё науськивают, всё подзуживают:

— Вот это у нас отцы! Вот это у нас хлопцы хорошие! У них из-под носа хотят утащить дочек и дивчат — а они рты разинули, смотрят...

Мужики сперва лишь неприязненно глядели на нас, но потом и они начали шуметь. Какой-то старик, в лох-

мотях, растерзанный, без шапки стал бранить и проклинать панов. И господи! чего только он не желал панам, как только не проклинал их! Если бы десятая часть его пожеланий исполнилась, на земле не только бы не осталось панов, но даже память о них исчезла б навеки.

Толпа, хохоча, издеваясь, подхватила брань старика — и пошло! Я не стану повторять вам эту брань, да и не смогу. Скажу только, что бранились страшно: кроме украинских, руснаки употребляли молдаванские ругательства, которые, пройдя сквозь фильтр украинской изобретательности, стали более крепкими и выразительными; тут проклинали и матерщинили, поминая все, что угодно: крест, веру, богородицу, душу, ворота и даже свечку... Так выразительно, сочно, искусно бранятся, пожалуй, одни итальянские лаццарони.

Наше положение становилось неприятным. Толпу все более и более опьяняли собственные выдумки, они все более и более разжигали ее злобу. Я хотел обратиться к старосте, который по крайней мере знал меня, но на мою беду староста поехал в город на ярмарку.

Но вот, на наше счастье или несчастье, из толпы вышел какой-то рослый человек, смело подошел к нам, осмотрел со всех сторон аппарат, пощупал его и, поощряемый нами, попросил «выбить с него портрет».

Ну, славу богу, вздохнули мы: авось, не пропадет даром наша экскурсия.

— Знаете что, человеचे? — говорю. — Уговорите нескольких хлопцев поумней, и сфотографируем всех вместе.

— А, хорошо! — говорит, да и пошел в толпу.

Весть о нашем намерении «выбить портрет» с хлопцев молниеносно облетела площадь, занятую возбужденной толпой; всех сразу осенила одна мысль: черному царю нужны в войско хорошие хлопцы, и мы, послы этого царя, для того собственно и приехали в деревню с проклятой коробкою. К нашему мужичку подскочила жена и с воплями потащила в толпу. Бабы заголосили, как по покойнику, мужики грозно загудели. Из корчмы выбежали пьяные хлопцы, кинулись к плетням, выдернули колья и — к нам...

— Бей их!.. Лупи по голове! Ломай чортову треногую коробку. Не увидать им нас под черным царем!

Нас окружили со всех сторон, стиснули. Красные, разъяренные бабы визжали, кидались на нас с палками. Быстрый говор «гуцулии» слился в один беспорядочный гул, в одно бесконечное «май-май-май!»<sup>1</sup>. Я схватил в объятия аппарат и таким образом спас его от неизбежной гибели: большущий кол, которым метили в него, промелькнул у меня перед глазами и грохнулся на землю... Мой компаньон, перепуганный насмерть, схватил черное сукно и поднял его высоко над головой как хоругвь.

— Караул! — отчаянно кричал он. — Спасите!

Кто его знает, чем бы окончилась вся эта история, если бы наш возница-молдаванин, увидев нашу беду, не пробился с лошадьми сквозь толпу. Мы вскочили в бричку, молдаванин ударил по лошадям, но это не был еще конец. Хлопцы бросились за нами.

— Опрокидывай бричку!.. опрокидывай бричку!.. скорей, скорей! — подзадоривали их из толпы.

Несколько здоровых хлопцев подскочили к бричке, приподняли ее, и наверно перевернули б, если бы испуганные лошади не рванули и не помчали нас в гору с такой быстротой, с какой мы спускались с горы. Мы летели так, что дух захватывало, а за нами со свистом, хохотом и криком гнались хлопцы, грозя кулаками...

Солонина, передохнув, провел рукой по лбу, словно желая прогнать облако неприятных воспоминаний, и залпом выпил стакан холодного чая.

Всю дорогу я злился. Темный, дикий, глупый народ! Из-за какой-то нелепой выдумки, вздорной легенды он готов был разбить мне дорогой аппарат, искалечить или даже убить меня самого. Эта гордая, статная «гуцулия» казалась мне тогда скопищем разбойников, которым место в тюрьме, а не на свободе... Я бранился, но брань не облегчала злости, клокотавшей во мне. Только дома я немного успокоился, хотя ночь была ужасной. Страшные сны чередовались с горестными воспоминаниями, с каким-то глухим неясным чувством, подымавшимся откуда-то из глубины и волновавшим меня. На другой день мне было нехорошо. Что-то давило на сердце. Напрасно ста-

---

<sup>1</sup> Руснаки заимствовали у молдаван, между прочим, слово «май», искусно применяя его в сравнительной степени.

рался я развлечься, ходил в гости, в театр. Каким уходил, таким и возвращался — хмурым, раздраженным. Что за напасть? Неужели это несчастное приключение, которое могло кончиться гораздо хуже, так нарушило мой покой? Я сердился, называл себя размазней, мямлей — ничего не помогало. Я потерял сон, аппетит, в мою жизнь вошло нечто такое, с чем никак не могла совладать моя обычная уравновешенность. Я перестал бывать в обществе, никого не принимал, сидел запершись дома со своей тревогой, со своими мыслями. Но этот темный, дикий народ, проклинаемый мною, и тут не давал мне покоя. Память упорно рисовала недавний случай, а мысли, как разъяренные осы, кружились над моею головой... Я думал: рядом живут люди — одни беспомощные, одичавшие от темноты, другие — образованные, вооруженные знанием, и не связаны друг с другом, не общаются, будто бы бог знает какие границы разделяют их. Это меня поражало. Свет находится рядом с тьмою и не рассеивает ее. Для чего ж такой свет? Какая ему цена? Вспомнились мне лучшие люди из тех, которых я знал, вспомнилось, как на собраниях единомышленников заявляли они о своей любви к народу (Помните мои речи? Я и сейчас стыжусь их.), — и я увидел, что этим людям, часто искренним, недостает чего-то, нехватает смелости порвать с жизнью привилегированных классов и вместо громких слов делать хоть негромкое, но действительно полезное дело... Оглянулся и на собственную жизнь — сытую, беззаботную, пустую. Что она мне дала? Радовался ли я хоть одно мгновение чистой радостью, почувствовал ли хоть раз удовлетворение, выполнив лучшие обязанности человека, хотя бы пальцем, например, шевельнул для того, чтобы в той темной пропасти, которая недавно чуть не поглотила меня, хоть немного стало светлее? Все эти мысли не были новыми для меня. Сколько раз я красноречиво высказывал их на собраниях! Но никогда эти мысли не затрагивали меня глубоко, никогда я не относил их к своей собственной особе. Только теперь, под свежим впечатлением недавнего происшествия, я почувствовал, как ноет мое сердце, не находя ответа на жгучие вопросы, как мучают меня эти мысли. Все то, с чем раньше соглашался лишь рассудок, но что не принимала ослабленная воля, не допускали в сердце эгоистические

побуждения, — все это с непреодолимой силой встало предо мной и призвало совесть к ответу. Не стоит подробно рассказывать вам о борьбе, которую я вел сам с собой, с привычками, устаревшими взглядами — скучно это, да вы и так прекрасно поймете... Достаточно, что я, худой и мрачный, едва ноги таскал. Знакомые спрашивали, не болен ли я? А я и в самом деле был болен от всколыхнувшихся мыслей, проснувшейся совести, пустоты жизни. И странная вещь! С тех пор я возненавидел свой аппарат, словно он был виновником моих мук... Я собрал все фотографические принадлежности, свалил их в кучу в углу, рядом с аппаратом, и закрыл все черным сукном. Грустно, жалобно смотрел из угла мой бывший приятель, но мне было не до него...

И знаете, чем кончился первый акт моей драмы? Гомерическим пьянством!.. За два месяца я столько выпил всего, что другому хватило бы на всю жизнь... Два месяца пьяный туман разрывал мне голову, а на сердце была такая тоска... такая тоска... Нужно иметь железный организм, как у меня, чтобы выдержать два месяца подобной жизни... И вот тело выдержало, но не вынес протестующий дух... Я не залил червяка, точившего меня непрерывно, надо было искать спасения в другом.

И вот после одной бессонной ночи я решился...

Я бросил службу, продал аппарат, дорогое барское платье, сколотил кое-какую копейку и отправился в деревню, только уже послom не черного царя, а царя ясно-го, имя которому свет знания и любви.

Вас удивляет, почему я стал лавочником, а не учителем или писарем?.. Так, видите ли, удобней. Я чувствую себя свободным, независимым, не знаю над собой никакого контроля, никто не вмешивается в мою частную жизнь... Даже светлое око пана станового не останавливается на таком незначительном человеке, как деревенский лавочник, а незначительному человеку уже благодаря его незначительности легче подойти к крестьянину, легче влиять на него, делать свое дело...

— Только много ли сделает один человек? — прибавил Солонина после минутного раздумья.

Вечер незаметно прошел. В открытое окно смотрела на нас черная ночь, на свет лампы летели роем ночные бабочки и бились крыльями о стекло, самовар тихо

выводил последнюю песню, а мы еще долго, до поздней поры, беседовали в бедной комнатке среди глухой руснацкой деревни.

С убежденностью и пылкостью неопита Солонина разворачивал передо мной план своей деятельности в деревне, делился своими наблюдениями, своими радостями и горестями, а я слушал и чувствовал, как отдыхает мое сердце, как мне хочется вместе с ним верить и надеяться.

Поздно мы легли в ту ночь, а на другой день, лишь только солнце встало и туман пополз через горы, а аисты на крышах, стоя на одной ноге, дружным криком приветствовали утреннее солнце, я покидал руснацкую деревню, разбуженную для труда чудесным летним утром.

*17 января 1897 г.*

Винница

## ВЕДЬМА

### *Набросок*

«Тетка» Прохира вбежала в хату Иона Броски — соседа своего — с такой поспешностью, какой он никогда не ожидал от этой почтенной особы. По бледному лицу Прохиры, по быстрым движениям ее грузного тела, от которых большие отвислые груди заметно колыхались под тонкой городской кофтой, а черный платок сползал с головы набок, особенно же по ее голым, опухшим ногам, на которых не было, как обычно, чулок, Ион понял, что случилось что-то необычайное. Не успел Ион переглянуться со своей Марицей, хлопотавшей у печки над ужином (а он всегда это делал в сомнительных случаях), как Прохира вскрикнула: «Валев!» — и, задышавшись, в изнеможении упала на лавку.

— Что такое? — в один голос спросили хозяева.

— Валев!.. — смогла только извлечь из груди Прохира.

— Да что с вами, «матуша» Прохира? — подбежала к ней Марица, оставив свои горшки.

— Ведьму видела! — бросила бомбу «матушка».

Это известие произвело сенсацию. Длинное лицо Ионы вытянулось еще больше, в черных глазах Марицы сверкнул огонек.

— Что? Как? Когда?

Прохира переводила дух.

С беспрестанными охами, вздохами и обмираниями Прохира рассказывала. Она начала от Адама. Она с



тысячами подробностей рассказывала о том, что они уже хорошо знали от нее: описывала им свою корову, черную, с белыми пятнами на спине и морде, чистую, с большим, как ведро, выменем. Она сообщила подробные сведения о ее кормлении, нраве, удое и качестве молока и, поощряемая пристальным вниманием слушателей, пустилась рассказывать о семейных отношениях панов, которым она продавала молоко. И что же! С некоторых пор корова похудела, не дает молока, даже не подпускает к себе. Не помогла ни святая вода, ни окуривание — ничего. Когда позвала знахарку, она шепнула одно только слово: ведьма! Та-та-та! Прохира и сама это знала. Каждый вечер она замечала, как к тому хлевку, где ночует корова, что-то белое, словно тень какая, вот так: шмыг — и исчезло в хлевке. А вот сегодня...

Тут Прохира замолкла, с таинственным видом обвела глазами хату и остановила их на хозяевах.

Те сгорали от нетерпения.

Вытянутое лицо Иона, искорки любопытства в черных глазах Марицы удовлетворили ее.

— Сегодня за всякой домашней работой опоздала я доить корову. Уже солнце садится, а я только иду с подойником... Иду да еще и думаю себе: хоть вечернего молока не дала ведьме. Но только толкнула я подойником двери в хлевок, а оттуда как выскочит белая сучка, да прямо мне под ноги... Валев! Я так и обомлела. Ведьма, это же она — ведьма! Вскипело мое сердце. Вы же знаете, какое у меня сердце... Убью проклятую; либо убью, либо сама пропаду. Крепко держу подойник — и за ней. Она со двора — я за ней. Она вдоль плетня скок туда, скок сюда — я за ней. Прыгнула через канаву, в огород Митрохи — я за ней. Дух у меня спирает, башмаки потеряла, но вот-вот догоню. Летим прямо на ваш виноград. Добежала до плетня, а она хвост под себя, присела на задние ноги да как прыгнет через плетень... а я тут сверху подойником так и двинула. Ну, теперь аминь... Глянула через плетень, а ее, мои соседушки, и след простыл, сгинула. Только мой подойник висит на кусте, а около него стоит ваша Параскица...

— Наша Параскица? — вскрикнули разом хозяева.

— Да, ваша Параскица... волосы растрепанные, листья винограда в косах... вылупила на меня глаза,

даже мороз меня подрал по спине. Валев, и сейчас не опомнюсь от страха.

Прохира умолкла. Она только переводила дух.

Молчали и Ион с Марицей. Всем стало не по себе, будто над всеми нависла какая-то мысль, которой не выразишь, что-то такое, чего нельзя назвать, ибо не оно само, а лишь неясная его тень мелькнула в этот миг.

Ион смотрел растерянным взглядом, на лице Марицы блуждала загадочная улыбка.

Затем все разом заговорили. Припоминали приметы, по которым можно узнать ведьму, перебирали все средства против нее, рассказывали о приключениях своих и чужих, в которых фигурировали ведьмы и всякая нечисть, давали Прохире советы. Марица разошлась. Она воздела руки вверх и клялась, что будь она на месте Прохиры, то уж нашла бы ведьму, хоть бы довелось и голову сложить.

Прохира заметно успокоилась, говорила громко и веско, хотя подчас и видно было, что ее мучит что-то, что-то рвется наружу и, невысказанное, должно прятаться за прикушенным языком. Было уже не рано. Прохира посмотрела на свои голые, без чулок и башмаков, ноги и, обратив на них внимание хозяев, заторопилась: ей надо еще забежать к Митрохе, — на огороде у него она потеряла свои башмаки, так придется попросить, чтобы их завтра утром нашли, потому что ей уж будет некогда, надо на рассвете выезжать на ярмарку в Кишинев. Броски, она слышала, тоже собираются на ярмарку, так что до свидания.

Только Прохира вышла за двери, Марица стала перед Ионом и вперила в него пристальный взгляд. Ион оробел под взглядом жены, которой он боялся.

— Ты чего уставилась на меня?

— Чего уставилась?.. Ты поди лучше погляди, что твоя дочка делает на винограднике!.. Вот где у меня сидит этот виноградник... Только ты из хаты, и ее как не бывало. Копаются где-то на огороде или толчется день и ночь на винограднике... Всю работу домашнюю на меня свалила. А скажи ей что-нибудь, то так на тебя глянет своими глазищами, даже оторопь возьмет... Эта нелюдима когда-нибудь отравит меня, вот увидишь... наедет суд тебе в хату... С людьми и словечка не скажет, а

перед отцом язык распускает, наговаривает... Мачеха такая-сякая, вино пьет, в корчме гуляет.

— Да ничего она на тебя не наговаривает...

— Знаю, знаю, покрываешь кровь свою... Уж если б она была, как люди, то и вела б себя по-людски. А то люди в церковь, а она куда? В бурьян или на виноградник, с собаками толчется? Да видел ли ты ее когда-нибудь в церкви? Скажи, видел? А что она делает по ночам на винограднике? Скажи мне, что она делает там?

Ион молчал и моргал глазами, потому что он не знал, что делает Параскица на винограднике. Но то, что ему нечего было ответить жене, взорвало его. В его бесцветных глазах словно искорка сверкнула, когда он крикнул жене:

— Ла драку!..<sup>1</sup> Ты, а не я, должна знать, что делает по ночам девка!.. Ты хоть не родная мать, мачеха, а ты должна присматривать за ней, о суть драку<sup>2</sup>.

Тихий Ион так удивил Марицу неожиданным протестом, что она только раскрыла свои черные глаза и кричала:

— Сыпь, сыпь чертями, а то без тебя не заведется чертовщина в хате...

Ужин, ждавший в печи, напоминал о себе. Разгоряченная Марица кинулась к нему, и тут только Ион увидел, что шутки плохи. Неизвестно, кто кому поддал жару: печь ли Марице, она ли печи, но только в печи все кипело, все трещало, рушилось и полыхало, точно там не на жизнь, а на смерть бились огненные драконы.

Ион бросился вон из хаты. Тут он набил трубку, сел на завалинку и полной грудью вдохнул холодный ночной воздух.

Месяц еще только выползал из-за старого черного сарая. Грецкие орехи, акации и абрикосы отбрасывали на двор и на хату длинные черные тени, пронизанные серебряными лучами. В селе кое-где красными огоньками светились окна, а за селом, в тени зубчатых холмов, тянулись черной лентой виноградники. На улице кто-то громко разговаривал и смеялся.

---

<sup>1</sup> К чорту.

<sup>2</sup> Сто чертей.

Иону было досадно. Он дымил своей трубкой и все думал, что жена несправедлива к Параскице. Известно, мачеха. Он вспоминал свой огород и виноградник, тот порядок, который завела там Параскица собственными руками... ведь ни Марица, ни он пальцем не пошевелили, все бедная девушка сама сделала. Работящая, тихая девка. Вот только чудная какая-то... Почему она дома не сидит? Отчего всякий раз от людей прячется? Иону вдруг ясно представилась сцена, как ее описывала матушка Прохира: белая сучка скачет в его виноградник, на нее сверху летит подойник, потом все исчезает: подойник висит на кусте, а около него стоит Параскица, с виноградными листьями в косах, и дико смотрит на Прохиру.

Ион даже заерзал на завалинке. Что она там делает на винограднике? Чего людей будоражит? Он поспешно, с нетерпеливостью в движениях поднялся с завалинки, зашел за угол хаты, откуда виден был его виноградник, и, приложив ладони ко рту, чтобы не потерялся голос, позвал:

— Параскица, э-эй!

Это «э-эй» получилось особенно громким и сочным; полетев по дороге к винограднику, оно ударилось о стену грецких орехов и, отразившись, снова прилетело к Иону.

Ион постоял еще немного и, не дождавшись ни Параскицы, ни ответа от нее, махнул рукой и пошел в сени, где Марица уже поставила ужин.

Ион долго не мог заснуть, лежа с Марицей в сенях. Он все ждал чего-то, будто прислушивался, его раздражал сладкий храп и сон Марицы. Наконец уже около полуночи он услышал тихие шаги босых ног и шарканье по завалинке. Это Параскица, должно быть, ложится, вернувшись с виноградника. Тогда Ион зевнул, перекрестил рот и заснул.

На рассвете Броски собрались на ярмарку. Параскица давно уже встала и возилась у лестницы. Она явно избегала мачехи. Когда же ей пришлось встретиться с Марицей, та наградила ее взглядом, полным такой ненависти, что она даже вздрогнула и бросилась вон из хаты. Ион несколько раз порывался что-то сказать Параскице, да все у него как-то не получалось. Уже перед самым

отъездом он, попытавшись придать своему лицу самое строгое выражение, крикнул дочери:

— Смотри у меня, сиди в хате, не шатайся бог знает где по садам, не то... не то... — остальное он кончил где-то за воротами, но девушка его не слышала.

Параскица осталась одна в доме.

Она быстро управилась по хозяйству, прибрала в хате, позавтракала вчерашним малаем<sup>1</sup> и, помня об отцовском наказе, осталась дома. Проходя мимо маленького, вмазанного в стену зеркальца, Параскица не выдержала и посмотрела в него, хотя знала, что ничего, кроме горя, оно не даст ей.

Параскица была некрасива и поэтому, как она думала, несчастна. Ее низкий рост, ее стан, короткий и толстый, как бочка, вечно потрескавшиеся от черной работы руки, а особенно лицо приводили ее в отчаяние. Сколько раз заглядывала она в зеркальце, столько раз из глубины ее девического сердца поднималась жгучая обида на свое безобразие и руки поднимались невольно и разглаживали мелкие морщинки, которые, словно легкой паутинкой, опутали ее лицо. Напрасно! Кожа на лице не разглаживалась, только натертые места краснели, и из зеркальца смотрело все такое же безобразное лицо с непомерно длинным носом, кислым ртом и красными, только что проступившими пятнами. Сердце закипало от досады, и жаркие слезы капали из серых оловянных глаз, таких же оловянных, как те ложки, что лежат на полке. Бунт!.. Эта Параскица — тихая, кроткая, покорная Параскица — начинала бунтовать всем своим существом против злой судьбы, которая так обидела ее: стискивала зубы, сдвигала брови и, отчаянным движением дернув себя за косы, отбрасывала тяжелые волны их на плечи, нервно вздрагивавшие от рыданий. Ну, зачем ей эти густые соболиные брови, сросшиеся на переносье и высоко поднятые над глазами, как два орлиных крыла в вольном размахе? Сова, настоящая сова! На что ей эти роскошные длинные косы, девическая гордость и краса, мытые, чесанные, рощенные с тайными девичьими надеждами, если эти косы никак не украшают молодое, но, как старое, сморщенное лицо.

---

<sup>1</sup> Кукурузный хлеб.

Часто, обессилив от мук беспомощного отчаяния, с мокрым от слез лицом, с распущенными косами, замирала Параскица где-нибудь в углу на лавке. Потихоньку, незаметно, на место таявшей от слез обиды, прилетали сладкие, целительные мечты. Она, как царевна-лягушка в сказке, сбрасывала с себя гадкую кожу и являлась во всей молодой красе — высокая, статная, с челом белым, как сахар, с глазами ясными, как звезды, счастливая, полная противоположность действительности. В ее сердце могучими волнами билась любовь, и все для него, для самого красивого парубка на селе!.. Джок! Завистливые взгляды подруг... пожатия... тихие, темные ночи, полные чар любви, поцелуев, сладкой истомы и счастья без конца...

Параскица могла долго так просиживать, упиваясь сладкими, яркими мечтами, но довольно было взору ее упасть на маленькое, вмазанное в стену зеркальце — и все ее мечты, все счастье ее исчезало, как дым. Оттуда смотрело на нее некрасивое лицо, ее изображение, которое — она была уверена в этом — осталось там, под блестящей стеклянной поверхностью, чтоб вечно напоминать ей о ее недоле, заброшенности, одиночестве.

Две отрады были у нее в жизни, и обе отняла у нее злая доля: первая отрада — ее родная мать, такая добрая и любящая; при одном воспоминании о ее образе, неясно выплывавшем из прошлого, слезы капали из глаз Параскицы. Она умерла, и ее место заняла Марица. Другая радость... Нет, Параскица не может вспомнить о ней, потому что разрывается ее сердце, ком подкатывает к горлу и душит. Ах, как тяжело было разбить и развеять девичьи мечты, которые она так долго лелеяла и ласкала в одиноком сердце...

И зачем было ей, бедной, некрасивой, засматриваться на него, первого на селе «орликева»<sup>1</sup>, прекрасного, как молодой месяц на небе? Рыжая, мерзкая ящерица любила солнце. Да ящерица счастливее ее; она выползает на солнышко, и оно ласкает ее, обнимает своими лучами. А очи ее солнышка — Тодораки — никогда с лаской не отдохнут на ней. Всю их красу и тепло забрала эта...

---

<sup>1</sup> Красавца.

мачеха Марица. С той минуты как она увидела их вместе, кровь застыла в ее жилах, сердце стало как лед и холодное, жгуче-холодное, бьется в груди, и болит, и ноет, и не дает покоя.

С того времени она еще больше почувствовала свое одиночество на этом свете, где водятся такие змеи, как ее мачеха. Она без сожаления оставила круг девушек и парубков, где была последней из-за своего безобразия, отказалась от песен и музыки, «клак»<sup>1</sup> и развлечений, стала редко бывать даже в собственной хате, где она всякий раз чувствовала на себе мачехин взгляд; в этом взгляде было столько злорадства, презрения и нескрываемой ненависти, что Параскица замирала вся, холодела и в живом ощущении собственной вины умалаялась до размеров серой пылинки.

Единственным местом, где она чувствовала себя спокойно, был отцовский виноградник, немой свидетель ее мечтаний, мук и сожалений. Она полюбила это море кудрявой зелени под голубым шатром, с его укромными уголками, прохладой, одиночеством. Она вложила столько сил, столько труда в этот клочок земли, она собственными руками выходила эти роскошные яркозеленые кусты с тоненькими усиками и гроздьями ягод под лапчатыми листьями. Это были верные, неизменные друзья, среди которых душа ее отдыхала от всей кривды света. Там коротала она дни, там встречали и ночи ее.

И вот теперь ее отец, которого она любила за доброту и жалела за обиды, которые причиняла ему Марица, велел ей не ходить на виноградник. Почему? Параскица не понимала.

Она сидела, послушная, в хате и томилась без дела. Было уже за полдень. Солнце нестерпимо жгло сквозь окна, в хате было тихо, только мухи роем летали под потолком и докучали девушке. Она вышла во двор. С площади долетали до ее ушей звуки веселой болгарски, принаряженные девушки кучками шли по улице на «джок». Параскица забралась в сарайчик, который, вместо кукурузы, до половины наполняли кочны, и примостилась на самой верхушке. Она высунула голову в широкую щель между досками и выглянула на улицу.

---

<sup>1</sup> Нарядов.

Мимо сарайчика как раз проходило несколько знакомых девушек, которые, вместо того чтобы поздороваться с ней, шарахнулись в сторону и, показывая на нее пальцами с криком: «Она!», «она!» — побежали прочь, шелестя юбками и взметая пыль. Параскица ничего не поняла. Она даже оглянулась, думая, нет ли кого-нибудь около нее, и полагая, что эта сцена вызвана не ею, а кем-то другим... кого она не видит. Но никого, кроме нее, не было. Заинтересованная, она высунула голову на улицу и посмотрела вслед девушкам. Оттуда шла бабушка Аника со своими внучатами. Параскица обрадовалась. Эта старушка всегда выказывала ей свое расположение. Однако на этот раз, к удивлению Параскицы, она, поравнявшись с нею, странно как-то посмотрела, привлекла к себе внучат, словно защищая их, и прошла мимо, даже не поздоровавшись с нею.

Параскица ничего не понимала. Что это сегодня стало с людьми, что они так странно обращаются с нею?

Ей, чувствительной ко всякой обиде, стало так больно от этого, что она зарылась в кочны и так в горьких мыслях пролежала до вечера.

Уже солнце садилось, когда Параскица подумала, что пора готовить ужин, потому что отец с матерью скоро вернутся с ярмарки.

Броски возвращались с ярмарки рано. Слух о том, что матуша Прохира обнаружила ведьму и что ведьма эта не кто иной, как дочь Броски — Параскица, разнесся между всеми «магазаниями»<sup>1</sup> Иона. На ярмарке ходило уже несколько версий вчерашнего происшествия, — Параскица фигурировала в них как прирожденная ведьма, — и когда одна из них дошла до Иона, он так возмутился, что поругался и чуть не подрался с соседом, который по-дружески предупредил его о семейной беде. Потом, правда, выпили в корчме, но при этом Ион такого наслушался о своей дочке, что в его суеверной голове сразу возникли воспоминания о ее странном, непонятном для него поведении и обеспокоили и испугали его.

Кто его знает! Ходит ведь беда по людям... Он никогда не сомневался в существовании ведьм на свете, и

---

<sup>1</sup> Соседями.



теперь мороз пробегал у него по спине от одной мысли, что его родная дочь — ведьма.

Марица, которая все улыбалась загадочно и покачивала печально головой, из чего можно было заключить, что она давно все знает, только молчит, внушала еще большее беспокойство. Суеверный страх проснулся в нем, воображение, подстегнутое темнотой, создавало и подсовывало всякие страшные картины. Он непременно должен удостовериться, носит ли Параскица крестик на шее, потому что ведьма креста боится и не наденет его на шею. Марица соглашалась с Ионом.

Как только Броски вошли в хату, Параскица обнаружила беспокойство, и будто искала предлога, чтобы убежать. Но Иону надо было непременно успокоиться, и он велел ей остаться. Параскица не привыкла, чтобы отец обращал на нее внимание, и только уставилась на него в изумлении. Еще больше удивило ее, когда она увидела, как мачеха подошла к печи и украдкой, но так, чтобы все видели, перекрестила горшок с мамалыгой.

Ион велел Параскице расстегнуть рубашку на груди. Испуганная девушка ухватила рукой за ворот и стояла, окаменевшая, уставившись на отца огромными глазами.

Иона зло взяло. Вот она, ведьма! Почуяла беду!

— Расстегивай сейчас же, говорю! — крикнул он.

Параскица задрожала и, испуганная, начала расстегиваться... Ей никак это не удавалось, пуговица запуталась в петле, руки дрожали. Наконец рубашка кое-как расстегнулась, и из-под нее показались смугловатые груди, а между ними на черной тесемочке небольшой серебряный крестик.

Ион взял в руку крестик, подержал его, потер между пальцами и показал Марице. Та глянула, покачала головой и ничего не сказала.

У Иона точно камень с души свалился. Легче как-то стало на сердце, хоть вместе с тем и стыдно перед дочерью. Она все еще стояла на том же месте, с раскрытой грудью, удивленная, оробевшая.

— Закрой... закрой грудь! Да сиди в хате, не шатайся по ночам!

Параскица вспыхнула вся. Стыд горячей волной залил ей лицо. Она закрыла рукой голую грудь и опрометью выбежала в сени.

Ион переглянулся с женой. Та, с усвоенным в последнее время загадочным выражением, пожала плечами. Затем, неожиданно для Иона, визгливым голосом стала жаловаться на людскую молву. Девушка, может, не виновата ни в чем, а на нее такое плетут. Правда, чудная она, нелюдимая, но уж такого не может быть, что люди рассказывают. Глухая Мариора клялась и божилась, будто видела Параскицу на колодезном журавле: стояла ночью против месяца и все точно сеяла что-то. А Иордохи Карабуш жаловался, будто связало ему что-то лыком ворота и сразу же после этого лошади заболели, — уж это, говорит, не иначе, как Параскицы дело. Наслушалась она на ярмарке, сраму набралась. А все, верно, враки, наговор людской.

Насколько Иона поражало то, что Марица защищает нелюбимую падчерицу, настолько удручило его то, что люди рассказывают о Параскице. А как же крест, который он видел собственными глазами? Ведьма креста не носит. А может, то наваждение было — не крест? Ион не знал, что думать и не мог успокоиться.

Для Параскицы настала странная и вместе с тем тяжелая пора. Все изменилось в ее глазах, все стало загадочным, непонятным.

Отец явно следил за нею. Куда бы она ни повернулась, она чувствовала на себе пристальный взгляд отцовских глаз. Марица решительно переменилась в обращении с нею. Она теперь так ласково и нежно заговаривала с ней, особенно при отце, хотя при этом никогда не забывала украдкой, но так, чтобы Параскица всякий раз заметила, крестить все, за что ни бралась Параскица. Она крестила кувшин с водой, из которого девушка пила, крестила печь, когда к ней подходила Параскица, даже кур, которым она давала корм. Все это приводило Параскицу в такое смятение, что она не выдержала и снова стала пропадать на винограднике.

Однако и на винограднике не было для нее прежнего одиночества. Часто, когда она, погруженная в задумчивость, сидела под кустом, сложив руки, до слуха ее долетал чей-то шопот. Оглянувшись, она часто встречалась с горящими от любопытства глазами, глядевшими на нее из-за раздвинутых кустов. Ее подстерегали, за ней подсматривали, шептались о ней. Отчего? Она не пони-

мала. Она только вспоминала, как в последнее время все убегали от нее, нехотя отвечали на ее приветствия, а то и вовсе не отвечали, показывали на нее пальцами, искоса посматривая недобрыми глазами. Что все это значит? Чего от нее хотят, что она сделала дурного людям? Разве она мешает кому-нибудь тем, что некрасива, что бедна, что несчастлива?

Живая обида хватала девушку за сердце, обильными слезами орошала она не только лицо, но и лапчатые листья винограда, которые так нежно обнимали ее в любимом уголке на винограднике.

Наконец — свершилось. Все произошло так: ни Иона, ни Марицы не было дома. Параскица, воспользовавшись этим, ухватила ведра на коромысло и побежала за водой к колодцу. Колодец был на площади. Как только дети, игравшие на площади, увидели Параскицу, они бросились врассыпную и в одно мгновение попрятались за плетни, откуда смотрели на Параскицу их детские глазенки. У колодца скакали только воробьи, поклевывая что-то под срубом, и то, что они не разлетелись от испуга, так растрогало ее, что она достала крошек из кармана и бросила им. Ее позабавила возня, которую подняли воробьи, наперебой отнимая друг у друга крошки.

Пока воробьи дрались из-за крошек, Параскица набрала воды и вскинула коромысло на плечи. В это мгновение кто-то из-за плетня ударил ее комом в спину. Параскица вскрикнула и оглянулась. Из-за плетней посыпались на нее комья, камешки и пыль.

— Шеда бинешар! — вспыхнула Параскица и погрозила кулаком.

Детям, казалось, только этого и надо было: с криком, улюлюканьем и свистом они выскочили из своих засад и напали на Параскицу. Та сначала хотела было обороняться, но когда ее встретил град камешков и комьев, увидела, что не справится с оравой обидчиков, и пустилась бежать. Рассерженная, испуганная, она бежала, придерживая ведра, чтобы не расплескивалась вода, а за нею, как борзые за зверем, гнались дети и осыпали ее комьями и пылью.

— У-у-у... — визжал длинноногий двенадцатилетний Иокаш, сын Прохиры, который руководил нападе-

нием... — Бей ее, пусть не отбирает молоко у коров. Стригойка! <sup>1</sup>

— Стригойка!.. Стригойка!.. — хором завизжали дети и осыпали Параскицу тучей пыли.

— Стригойка!.. Стригойка!.. Молоко у коров отбирает... Стригойка!..

Параскица внезапно остановилась. Это слово, как искра, пронизало ее. В голове молнией промелькнул целый ряд воспоминаний, отдельных фактов, случившихся в последнее время, до сих пор непонятных и разом освещенных одним словом: ведьма.

Бешеная ярость охватила сердце девушки, и она со звериным рычанием бросилась на детей. Переднее ведро упало и ударило ее по ногам, а заднее, потеряв равновесие, облило ее водой, но Параскица не обратила на это внимания. Ухватив коромысло, она бросилась вдогонку за детьми, которые, испугавшись этого взрыва ярости, в ужасе бежали от своей жертвы с криком: «Валев! Валев! Стригойка!»

Параскица неслась, как буря. Глаза ее пылали, грудь тяжело дышала, косы распустились. Она так перепугала детей, что они визжали не своим голосом и бежали что было сил. Когда разъяренная Параскица наскочила с разгона на тын и оглянулась, к счастью, не было уже ни одного обидчика: все успели убежать от беды. Она выругалась и, громко всхлиывая, с плачем убежала домой. Люди оглядывались на нее, когда она бежала, мокрая, в грязи, осыпанная пылью, с распустившимися косами. Параскица вбежала на огород и, голоса, припала лицом к земле. Она теперь знала, зачем отец искал крест у нее на груди, почему мачеха крестила горшки и пороги, она поняла теперь неприязненные взгляды тех, кого случалось ей встретить. Ее жгла, терзала несправедливость людская, ее душило великое горе, которое так неожиданно, ни за что ни про что обрушилось на нее. Она — ведьма! Да ведь это неправда, ведь это выдумка, гнусная, бессмысленная выдумка. Она готова всему свету крикнуть в глаза: «Неправда! неправда!» А тем временем эта неправда жгла ее, раздирала ей сердце нестерпимой болью, которой Параскица не могла унять, как ни билась

---

<sup>1</sup> Ведьма!

она головой об землю, как ни обливалась жаркими слезами.

А тем временем по селу эхом разнеслась весть. Рассказывали, как Параскица среди бела дня колдовала у колодца. Что-то сыпала в воду и на все четыре стороны от колодца. Люди отказывались брать воду из этого колодца, кое-кто требовал, чтобы Броски за собственный счет освятил заклятый колодец. Ион отбиться не мог от надоедливых людей: они уже не стеснялись и выкладывали ему все слухи, которые разнеслись на ихнем краю о его дочери. Оказалось, не только корова Прохиры перестала доиться: больше десятка коров стали жертвой колдовства Параскицы, чем очень огорчили своих хозяек. Ион должен как-то помочь беде, что-нибудь сделать. Но что? Тслком он не знал и терзался.

Вот почему он очень обрадовался, когда матуша Прохира пришла к нему советоваться, да еще и мужа своего — Иоча Галчана — привела с собой. Ион принес графин белого вина, Марица поставила свежие плачинды<sup>1</sup>, и совет начался. Первой получила слово Прохира, женщина почтенная и опытная. Ее не удолетворяло то, что Ион видел крест на шее у Параскицы. Это может быть и наваждение. Надо вот что сделать: в воскресенье повести Параскицу в церковь. Как только начнут петь «Иже херувимы», надо примечать: если она ведьма, то не выдержит и залает, заскулит, как пес. Это уж такая верная примета, что не одну уж ведьму вывела на чистую воду.

Иоч, толстый, красный молдаванин с масляными глазами и подстриженными колючими усами, только коротко засмеялся и махнул пренебрежительно рукой.

— Э, все это глупости, бабьи выдумки. А смотрели ли вы, есть ли у нее... Ну этот...

— Что, ну?.. — окрысилась на него обиженная жена.

— Ну, что — ну?.. известно, без чего ведьма не бывает... хвост.

Ион и Марица ответили отрицательно. Нет, они не присматривались, есть ли у нее хвост.

— То-то и есть!.. А это первое дело: без хвоста ведьма не бывает, без хвоста ведьм еще никто не видел...

---

<sup>1</sup> Пирог с тыквой.

Надо непременно осмотреть ее. Если они хотят, он готов сейчас же оказать им эту услугу... Уж он не ошибется, хорошенько осмотрит все...

Но Прохира запротестовала. Она строго посмотрела на мужа, на его красное, жирное лицо, на котором играла масляная улыбка. О, она видит его насквозь, все его мысли, желания, пусть уж он сидит тихо, в бабье дело не суется.

Однако Иоча не смутил взгляд жены: он твердо настаивал на своем радикальном средстве — осмотреть: есть хвост — ведьма, нет хвоста — не ведьма.

Мнения разделились. Ион с Прохирой настаивали на первом проекте и возлагали надежды на обедню; Марица склонялась на сторону Иоча. Проект Прохиры, однако, одержал победу. Решили в воскресенье повести Параскицу в церковь: посмотреть, что из этого выйдет.

Параскица случайно узнала об этом решении: в «магале»<sup>1</sup> только и разговору было, как поведут ее в воскресенье в церковь, как она посреди «херувимской» заскулит, как пес, и тем самым обнаружит перед миром, что она ведьма.

Удивительное дело! Параскица отнеслась к подслушанной новости равнодушно, точно она ее не касалась. Последнее время она чувствовала себя такой усталой, такой апатичной, равнодушной ко всему, что она и весь мир были два полюса, которые никогда не встретятся друг с другом.

Ей все равно. Нет на свете счастья, нет удачи, хоть живой в могилу ложись...

До воскресенья оставалось три дня. Слух о том, что в воскресенье в церковь должны привести на испытание ведьму и что она там непременно выдаст себя, привлек в церковь такую уйму народа, что все любопытные не могли в ней вместиться и толпились на паперти. Девушки, одетые по-праздничному, с трудом оберегали от напора свои накрахмаленные юбки. Молодицы всё шептались друг с дружкой, выражая нетерпение по поводу того, что так долго нет Параскицы. Когда какой-нибудь любопытный протискивался сквозь толпу в церковь, все, как один, поворачивали головы к дверям. Мужики и

---

<sup>1</sup> Общество.

парни взобрались на клирос, чтобы было виднее. Матуша Прохира чувствовала себя именинницей. Она расхаживала по церкви с неменьшей важностью, чем пономарь, ставивший свечи. На ходу она таинственно шептала что-то одним, кивала головой или делала какие-то знаки другим. Иоч, который даже в церкви не мог избавиться от масленой улыбки, бросая взгляды на женскую половину, шептался со своими соседями. А Параскицы все не было. Уже и поп показался из царских врат, начиная службу, а Параскицы все нет. Народ начинал выражать нетерпение. Но вот у дверей возникло движение и волной покатилося до передних рядов у алтаря. По широкой дороге, быть может даже слишком широкой для посетителя, столь незначительного, вошла Параскица в церковь, с потупленными глазами, робкая, пристыженная, в чистом, но скромном платье. За нею с видом невинной жертвы подвигалась Марица, а позади Ион. Сотни глаз с любопытством впились в Параскицу, точно видели ее впервые. Те, кто стоял подальше, вытягивали шеи и наваливались на других, чтобы было виднее. Когда Параскица приблизилась к девушкам, чтобы занять соответствующее место, те так и шарахнулись от нее, как от волка. Вокруг Параскицы стало так просторно, что даже попадья могла бы ей позавидовать. Но этот простор только еще больше огорчил девушку, и она, чтобы не видеть людей, этих злых, недобрых людей, опустила на колени с мольбою к богу — богу доброму, милосердному, который видит всю неправду людскую, знает ее невиновность. Параскица горячо молилась, а вокруг нее волновалась любопытная, наэлектризованная толпа. Напрасно молодой черненький попик показывал всю красоту своего мягкого голоса, напрасно вкладывал столько чувства в свои возгласы: его прихожан интересовало совсем не это. Все ожидали чего-то необычайного и, если и следили за службой, то только для того, чтобы не пропустить «Иже херувимы». Тогда должно было случиться то, чего все с таким напряжением ждали, ведьма должна была выдать себя собачьим воем и лаем. В церкви было душно. Она не могла вместить столько прихожан; люди теснились, плотно приликая друг к другу, и образовалось одно огромное тело, горячее, потное, дышащее сотнями ртов. Горячее дыхание

людей, смешанное с дымом ладана и чадом свечей, серым туманом нависало над головами; казалось, эту душную наэлектризованную атмосферу вот-вот прорежет молния, ударит гром и сотрясет стены своим могучим раскатом. По мере того как время приближалось к «херувимской», глаза разгорались сильнее, беспокойство росло, шеи болели, потому что надо было смотреть через головы соседей, все это даже угнетало, становилось невыносимым. Но вот все стихло, как перед бурей, и клирос торжественно, сначала тихо, а потом все сильнее загудел: «Иже херувимы». Люди встrepенулись. В лица словно повеял прохладный ветерок. Они вытянулись, побледнели, а глаза, сотни глаз впились в Параскицу. Параскица стояла на коленях и молилась. Она сама, молясь и протестуя против людской несправедливости, — она сама бессознательно ждала момента, когда запоют «херувимскую». И вот, как только раздался тихий, но величественный хор, тяжелый горячий ком подкатился у нее к горлу и рвался наружу раздирающим криком. Ужас охватил Параскицу, холодный пот выступил у нее. Она едва сдержала этот крик. Она конвульсивным движением истово перекрестилась и упала на колени, сжимая крепко руки. Неужели правда? А люди ждали. Без движения, с затаенным дыханием, вперив пылающий взор в ведьму, лежащую ниц. Херувимская меж тем проходила, как летняя ночь. Помрачение исчезло, и сознание того, что ничего необычного так и не случилось, неприятно поразило напряженную массу. Еще мгновение люди стояли тихо, точно не веря разочарованию, точно чего-то еще ожидая. Но все было, как и за минуту до этого: Параскица крестилась и клала поклоны, а на лицах окружающих ее женщин застыло кислое выражение. Толпа зашевелилась, пробудилась ото сна, недовольная и раздраженная, точно раздосадована была на Параскицу, обманувшую ее ожидания.

Кое-кто сразу же вышел из церкви на свежий воздух. Иоч был в агитации и что-то горячо шептал своему соседу. Он посмотрел на свою жену; та, пристыженная, удивленная, возносила очи горе, словно спрашивая у бога, что же это такое случилось.

Обедня кончилась. Люди поспешно выходили из церкви. Некоторые жалели Параскицу, считая, что она



жертва наговора. Матуше Прохире было не по себе. Она же сама присоветовала, она же раззвонила по всему свету, и теперь из всего этого ничего не вышло. Зато Иоч Галчан праздновал победу. Он знал, что этим все кончится, потому что его не послушали. Он советовал и сейчас снова советует осмотреть девушку: есть хвост — ведьма, нет — не ведьма! Вот и все! Иного способа нет. Кое-кто поддакивал ему, и даже Прохира, чтобы выйти из неприятного положения, склонилась к способу Иоча, особенно в этом случае, когда ведьма хитра, злостна и опытна.

Ион шел рядом с Марицей, заметно успокоенный: очевидно, в этой истории с Параскицей больше вранья, чем чего-либо иного. Он был рад, что так кончилось, что люди успокоились и что ему не придется святить на собственный счет заколдованный будто бы Параскицей колодец. Он делился своей радостью с Марицей, хотя та относилась к этому как-то холодно. Она неприязненно посматривала на Параскицу, бледную, точно встревоженную чем-то, спешащую домой с потупленными глазами.

Звезды мерцают над Параскицей, а вокруг нее темно и тихо. Жесткие, изогнутые кусты винограда беспорядочно расплзлись по влажной земле, спутались веточками и раскинули над землей красивый шатер густых листьев и крупных, тяжелых гроздьев. Виноград уже дозревал. Весь день, под жгучим августовским солнцем, медленно шел таинственный процесс наливания ягод; сейчас дремлют среди лапчатых листьев и легких испарений земли. Их стерегут от дурного глаза и всяких бед надетые на колья овечьи, коровьи и лошадиные черепа, неясно белеющие по всему винограднику.

Параскица сидит на излюбленном месте, под большим ветвистым кустом. Она смотрит в пространство, но кустов не видит. Перед ее глазами церковь, полная народу... Поют херувимскую, а у нее ком подкатывает к горлу, рвется вон из горла, и так хочется крикнуть дико, не своим голосом. Что это такое? Откуда взялось такое странное желание? Этот вопрос уже несколько дней занимает ее, не дает покоя. С того памятного воскресенья с ней часто так бывает: она чувствует в себе что-то

доныне неизвестное ей. Начнет молиться — и не может: какая-то сила душит ей горло, рвется из груди безумным криком. А то чудится, будто она стала легкой, такой легкой, как перышко, вот-вот взвевается вверх и полетит куда-то и наделает беды. И все хочется сделать что-нибудь нехорошее, злое. Например: полететь к Прохире, сесть на ее корову и, молотя ее босыми ногами, нестись с распущенными косами в бешеном беге, пока испуганная скотина не испустит дух... Или сделать что-нибудь Марице...оборотить ее, например, в сучку... худую, паршивую, с поджатым хвостом сучку... Она в хату, к еде, голодная и холодная, а ее оттуда: «Вон!.. Пошла прочь поганая!..» Она к Тодораке, а он ее ногой в бок: «Прочь, собака!..» Она это может сделать, чувствует в себе силу. Ах, господи, да что же это она! Неужели люди говорят правду? Неужели она... ведьма? Нет... Нет, — содрогается Параскица и протирает глаза, пытаясь отогнать эти странные видения и мысли. Это она распускается, это злой «дрозку»<sup>1</sup> подступает к ней, потому что она теперь не молится, потому что она забыла бога. Параскица крестится, сосредоточивается и, поднимая глаза к звездному небу, набожно произносит: «Тати апостру, каре еша шиерши ла поминд...»<sup>2</sup>

Из-за горы выплывает месяц, словно освобождается из черной тучи, обложившей небосклон. Серебряный свет тихо подкрадывается к винограднику, забирается в кусты, падает на кисти. Звериные черепа на кольях побелели и отбросили назад длинные, рогатые тени. Виноградный лист вырезывается из тьмы и нежно трепещет вместе с тонким усиком в лунном сиянии.

Параскица не кончает молитвы. Ей почудилось, что вон тот бараний череп, белый, как снег, моргнул ей своим пустым, вытекшим глазом. Параскица напрягла зрение. Нет, ничего. Она снова подняла глаза к небу, произнося молитву, но справа что-то мигнуло. Параскица бросила взгляд вправо. Там, на длинной палке, качалась белая рогатая голова коровы и выразительно улыбалась Параскице. Параскица замерла. Коровий череп все улыбался лукаво ей, таращась своими пусты-

---

<sup>1</sup> Дьявол.

<sup>2</sup> Молитва.

ми глазницами. У Параскицы мурашки побежали по спине...

Что-то шелохнулось. Она, всполошившись, обернулась в ту сторону, но там ничего не было, только лунный луч, словно белая огромная рука, протянулся под кустами к винограду. Параскица дрожала, боялась снова встретиться глазами с развешанными по винограднику черепами; хотя ее так и тянуло взглянуть в ту сторону, где, она знала, висела лошадиная голова, однако она не решалась. Вдруг она почувствовала, что за спиной у нее кто-то стоит. Обмерев, вскочила она и, круто повернувшись, встретилась глазами с той лошадиной головой, на которую боялась взглянуть. Лошадиная голова спокойно висела на колышке, ослепительно белея на лунном свете, и вид у нее был совсем невеселый. Все же холодный страх обнял Параскицу перед тем, что, как казалось ей, вот-вот должно было произойти и угнетало ее тяжелым предчувствием.

И белые черепа, такие страшные сегодня, и черные холодные кусты с искривленными лозами, лунный свет, который, словно огромные руки белого чудища, тянулся к ним, и, наконец, неизвестный донине душевный процесс, такой странный и загадочный, — все это в ужас повергло ее, холодный, парализующий. Параскица хотела бежать — и не могла; ноги словно проросли к земле, а широко раскрытые глаза пристально всматривались в пространство, точно она вот-вот должна была увидеть нечто необычайное. Когда она перемогла себя, она неровной походкой, как пьяная, быстро убегала с виноградника, путаясь в зарослях и вздрагивая, когда мокрый от росы лист винограда неожиданно касался ее лица или шеи.

Несколько дней Параскица ходила, как в дурмане. Мысль ее упорно работала в одном направлении: она припоминала все, что слышала в детские годы о ведьмах, и все их приметы сравнивала с теми странными ощущениями, которые беспокоили ее в последние дни. Она все больше и больше уверялась, что люди не ошибаются, что она ведьма, — и от сознания этого кровь стыла у нее в жилах. Она не ходила уже по вечерам на виноградник, потому что ей казалось, что черепа смеются над нею и говорят ей: «Стригойка!»

Лежа ночью на завалинке, она долго не могла заснуть, терзаемая всякими странными мыслями, которые помимо воли лезли ей в голову.

Однажды под утро — Параскица не могла сказать, спала ли она, или нет — с ней что-то произошло: она снова почувствовала себя легкой, как соломинка. Легкий ветерок овеял ее, и что-то твердое и холодное, как гадюка, защекоotalo ее по икрам: это был хвост, длинный, твердый, с волосатым пучком на конце, как у коровы. На голове, поднимая волосы, выскочили рожки; она не видела их, но чувствовала. Бешеной злобой засветились ее глаза и зажглось ее сердце. Во мгновение ока взмыла она вверх, ринулась в вихрь, который закружил ее и понес над землей. Она летела, а вокруг нее свистел и гудел ветер, раздувая жестокое пламя в ее ведьмовском сердце.

Утром ее нашли без сознания около усадьбы Галчана. Ее привели в чувство и помогли прийти домой. Она сидела, бледная и подавленная, на завалинке, окруженная кучкой любопытных, и не отвечала на расспросы. Она боялась пошевелиться, потому что ей все казалось, что по голым ногам защекочет длинный и твердый, как гадюка, хвост.

Событие произвело в магале большую сенсацию. Магала, успокоенная испытанием, свидетелем которого она была в воскресенье в церкви, загудела снова. Способ Иоча Голчана, о котором он кричал всякому встречному, приобрел популярность и понравился переполошившимся людям. «Магала жиям!»<sup>1</sup>. Все соглашались, что только хвост составляет бесспорную приметку ведьмы и только присутствие или отсутствие его у Параскицы может положить конец делу. Иона атаковали со всех сторон: он должен дать согласие на осмотр дочери, потому что, если он не даст согласия, они и сами найдут способ, село не будет больше терпеть этой пакости!..

Измученный суеверным страхом, Ион соглашался на все: ему и самому надоела вся эта история, и он охотно положит ей конец.

В ближайшее воскресенье должен был состояться осмотр. В воскресенье, спозаранку, когда люди еще не

<sup>1</sup> Да здравствует общество!

выходили из церкви, матуша Прохира была уже в хате Бросков. Она с такой торжественностью помогала Марице прибирать на чистой половине, точно сегодня попы должны были освящать хату у соседей. Раду подстерег Параскицу во дворе и зазвал в хату. Прохира все следила за ней, чтобы не выпустить ее из хаты. Она была уверена, что девушка предчувствует, что должно произойти, и только ждет удобного случая, чтобы убежать из хаты, а тогда ищи ветра в поле. Прохира была настолько осторожна, что даже приносила из сеней воды Параскице, когда той хотелось выпить, а входную дверь заперла на засов. Она все шепталась по углам с Марицей, как будто обсуждая план кампании, и делала знаки Ионе, который с видимой тревогой то и дело выглядывал в окно. Параскице все это казалось подозрительным. Она видела, что творится что-то неладное, и с явной тревогой следила глазами за каждым движением присутствующих. Марица, пошептавшись с Прохирой, вышла из хаты и через несколько минут привела с собой глухую Мариору, здоровенную, как палач, лупоглазую бабищу с грубыми жилистыми руками. У нее была привычка все обнюхивать и через минуту не оставалось вещи в хате, запах которой ей не был бы знаком. Так она нанюхала графин белого вина, спрятанный Ионной за лежанкой, и хотя заявила, что грех употреблять этот напиток, пока не выйдут из церкви, однако налила себе стаканчик и опрокинула с видимым удовольствием.

Чем ближе к выходу из церкви, тем чаще Ион выглядывал в окно. Наконец он заметил кучку людей, направлявшихся к его хате. Вскоре со всех сторон стали подходить люди. Молодицы в праздничном наряде с торжественным настроением после церковной службы столпились у самой двери. За ними виднелась толпа мужиков — стариков и среднего возраста; только один Иоч Галчан пролез к бабам и о чем-то оживленно с ними разговаривал.

Девушки и парубки стояли в стороне, зато ребятишки, как мухи еду, облепили окна.

Когда Параскица увидела в окно толпу народа, безумный страх овладел ею. Она поняла, что это пришли за ней, что ее сейчас поведут топить или сожгут на костре, как ведьму в незапамятные времена.

Как затравленный зверек, с широко раскрытыми от ужаса глазами, заметалась она по хате, ища выхода. Но в то же мгновение Прохира с Мариорой схватили ее за руки и удержали на месте. Ион стал у двери, готовый скорее трупом лечь, чем выпустить дочь из хаты. Марица, сложив руки под фартуком, с загадочной улыбкой смотрела на эту сцену.

— Валев! — не своим голосом визжала Параскица, вырываясь из крепких рук. — Пустите меня, тетенька! Ох, тошно мне, ох, смерть моя пришла!

— Тише, не бойся,— успокаивала ее «тетенька» и тащила к кровати.

Не успела Параскица опомниться, как все ее юбки оказались у нее на голове, а сильные руки повалили ее на постель. Параскица хрипела и билась, как зверь в западне, под тяжелым телом глухой Мариоры; и только изредка, как визг недорезанного поросенка, вырывался из-под юбок отчаянный протест Параскицы.

Прохира подала знак рукой, и Ион бросился открывать входную дверь, в которую уже ломилась толпа. Волна народу хлынула было в сени, но Ион энергично воспротивился: он будет пускать по одному, по-двое.

Нетерпеливая толпа шумела; всем немедленно хотелось увидеть хвост у ведьмы; особенно вопили те, чьи коровы стали жертвой ее колдовства. Галчан порывался первый войти в хату, но молодницы не пускали его, потому что он мужчина и не след ему смотреть на девичий позор. Это приводило Иоча в ярость, оскорбляло, как автора идеи, и он с пеной у рта, ругаясь и расталкивая всех, продирался к двери.

Ион пускал только баб, по две, по три сразу. Они подходили к постели, ощупывали и осматривали видимую половину Параскицы, внимательно и добросовестно, как корову на ярмарке, и, разочарованные, уступали место другой кучке, которая уже входила из сеней. Параскица уже не билась, не кричала. Она увидела, что ее не будут топить и не будут жарить на огне. Она поняла, чего от нее хотят, и лежала молча, спокойно. А люди всё шли и шли, как на богомолье, и осматривали ее и прикасались к ней. Параскица их не видела, но по голосу или по грубому пальцу, который она чувствовала на своем теле, догадывалась, кто явился к ней с визитом.

Вот тетка Анита, которая живет около кладбища, а это бабушка Домника, мать Иордоки, самого красивого хлопца на селе. Параскице было душно, она задыхалась в юбке, сбившихся у нее на голове, но не пыталась уже сопротивляться, зная, что сильные руки обеих баб удержат ее на месте. Так, согнувшись вдвое, в крайне неудобной позе, она тихо лежала и с полной покорностью судьбе принимала гостей, которые один за другим являлись к ней, как на именины.

Тем временем во дворе поднялся шум: Иоч Галчан горячо отстаивал свои авторские права и рвался в хаг. Принимая во внимание его упорство, Ион вынужден был спросить совета у самых почтенных женщин, которые после недолгих размышлений решили допустить из мужчин только Иоча, имея в виду не последнюю роль, которую он играл в нынешнем немаловажном событии.

Иоча впустили.

Красный и взволнованный, он подошел к постели, а его масляные глазки так и забегали от груди юбок до красивых чулок Параскицы. Он постоял несколько мгновений над Параскицей с явным разочарованием, хлопнул ее легонько ладонью и авторитетно заявил:

— Нет, не ведьма!..

В ту же минуту Прохира и Мариора отпустили Параскицу. Она поспешно выпутала голову из юбки, и хотя лицо ее пылало от стыда, сердце радостно билось в груди и какой-то сладостный покой разлился по всему ее телу: она теперь твердо знала, как и все люди, что она не ведьма.

30 июня 1898 г.

Чернигов

## В СЕТЯХ ШАЙТАНА

### Очерк

Эменэ сидела на раскаленной земле своего двора. Сегодня байрам, праздник; мать ушла в комнаты переспать жару, а отец, старый хаджи Бекир-Мемет-Оглу, как и все правоверные, уже второй раз отправился в мечеть.

Вокруг тишина. Только со стороны деревни, с высокого старинного минарета, доносятся скрипучие, как от немазанного колеса, резкие звуки благочестивых призывов муллы:

— Ла алла... иль алла-а... Магомет расуль алла-а.

Эменэ опустила голову на ладони, оперлась локтями в колени и глядела.

Перед ней, почти у самых ног, сбегали вниз по каменным холмам плантации табака и винограда. Прямые линии кустов казались зелеными строками огромной, раскрытой для чтения книги; пятна табака зеленели на фоне серого камня, как громадные лишай.

Еще ниже, на песчаной линии берега, среди тенистых садов белели роскошные виллы гяуров, окаймленные рядами черных, стройных кипарисов.

А дальше было море.

Голубое, нестерпимо голубое, как крымское небо, оно млело на жаре летнего дня, подергивалось дымкой, нежными тонами сливаясь с далеким небосклоном, очаровывало и влекло в свою чистую, теплую и радостную синеву...



Справа горбатой тенью лег в море Аю-даг и, словно изнуренный жаждою зверь, припал к воде.

Эменэ равнодушно глядит на знакомый пейзаж: ей скучно. Она девушка-кыз, и не для нее это неведомое, полное чар море. Она никогда его не переплывет, как никогда не переступит хмурой Яйлы, что там, за отцовским домом, за деревней, грозно поднимает ввысь каменные хребты, отделяя край аллаха от края неверных.

В будни, когда Эменэ не покладая рук сажает табак, окучивает виноград, поливает огород, она не чувствует скуки; но в праздник, как сегодня, когда засыпает ворчливая мать, отец молится, а работа ждет будничного дня, девушка не знает, что делать с собой.

Вокруг нее, как на земле, так и в небе, мертвая тишина.

Солнце стоит высоко, раскаленная земля пышет каждым комочком, каждым камешком. Ровный, горячий дух, как из гигантской печи, идет из земли, с неба, от моря, от серых каменных громад Яйлы. Бледный, широколистный табак насыщает воздух парами наркоза. В самом воздухе разлита скука; про скуку тихо звенит по камням двора ручеек, со скуки мечется на цепи старый пес и; глухо бренча железом, хриплым голосом плачется небу: Алла-алла! Алла!..

Одинокая жаба вылезла из лужи и изредка меланхолично квакает... На темных фигах в лопатообразной листве упорно, как сотни трещоток, до одури, до самозабвенья трещат цикады. И так скучно от этих однообразных звуков.

Наконец Эменэ наскучило сидеть на горячей земле. Она потянулась ленивым движением одалиски, выпрямила гибкое молодое тело, поднялась и апатично повела вокруг глазами. Чем заняться ей, чем заполнить скуку праздника? Случайно ее взор остановился на жабе. Огромная, раздутая, она припала животом к теплой земле, подняла круглую голову и издает звуки — то печальные, полные жалобы и мелодии, то снова злые, ворчливые, будто внутри нее, в ее огромном белом животе что-то клокочет.

Эменэ тихо, на цыпочках, начала подкрадываться к жабе, одинокой, как и она. Но жаба заметила непро-

шенную гостью и плюхнулась в воду, вытянув задние ноги и подняв со дна столб муты.

Девушка стояла над лужей и глядела, как постепенно оседала муть и вода становилась прозрачной. Но это наскучило Эменэ.

Она сбросила туфли, зажала коленями красные шаровары и начала мыть ноги. Ослепительное солнце озаряло стройную фигуру татарки, играло на рыжих, только что выкрашенных косах, желтом халате и красных шароварах, а подведенные углем брови и красные, тоже накрашенные ногти на руках и ногах так и блестели на солнце, словно покрытые лаком.

Девушка плескалась в теплой воде, пока, случайно глянув на соседние селения, не замерла, согнувшись, захваченная любопытством. Ее заинтересовали три оседланые лошади у крыльца виллы, а возле них татарин-проводник, словно ожидающий кого-то. От белой стены здания отделились две женские фигуры, тонкие, высокие, как молодые кипарисы, и подошли к лошадям. Тогда Эменэ не выдержала, выскочила из воды и без туфель, мокрыми ногами перебежала двор, влезла на ограду и, полная любопытства, выглянула из-за дерева. Кольнуло в сердце: она узнала Септара, красу кучук-койской молодежи, завязанного проводника, образ которого бедная девушка давно носит в сердце, хотя и не смеет поднять глаза на свой идеал, как и должна поступать порядочная татарская кыз. Но не мешайте! Вот женщины подходят к лошадям. Септар подставляет ладонь, женщина ставит на нее ногу, слегка касается его плеча и, словно мяч, вскакивает на лошадь... Тц-тц-тц... — крутит головой Эменэ и чувствует, как горячая волна крови приливает к ее сердцу и голове.

«Алла-алла! — думает Эменэ. — Ты справедливый, но почему неверным женщинам лучше живется на свете, чем правверным...»

Грешные мысли путаются у девушки в голове. А ведь сегодня байрам, сегодня праздник! Девушке досадно, что к ней пристаёт шайтан, нашептывает грешные мысли и волнует девичью кровь... Он приковывает ее взор к тому месту, где перед этим она видела милого и свою жизнь, непохожую на ее теперешнюю, и она не может оторвать своего взора, хотя уже почти ничего

не видно, кроме опустевшего места перед крыльцом виллы...

Через несколько минут топот конских ног по твердой дороге вывел Эменэ из раздумья. Она встрепенулась, торопливо подбежала к частоколу на другом конце двора и припала лицом к щели. Сердце в груди билось, как рыба в руке, а глаза жадно охватывали клочок дороги, которая виднелась в щель. А на дороге еще пусто, нет никого. Но вот загудела земля, и показалась кавалькада: впереди женщина в сером, за ней женщина в синем, рядом с нею ехал Септар.

Эменэ так и пожирала глазами проводника. А он, лихо подбоченясь, выпятил золотом расшитую грудь и дерзким, хищным взглядом окидывал женщину в синем... На его гладко выбритом, красном, как спелый помидор, лице, которое поблескивало из-под круглой с золотым верхом шапочки, была написана самоуверенность с оттенком презрения к женщинам, говорившая о том, что он прекрасно понял вкус жизни проводника и что не одна московская «барыня его любил...», «деньга давал» и что он на те «деньга гулял». Эменэ любовалась его крепким, как огурец, телом, туго затянутым в тонкое сукно, его наглым взглядом, который принимала за признак смелости и рыцарского духа. Он казался ей ясным месяцем, отразившимся в море ее сердца и проложившим блестящий путь к счастью.

Неожиданно у калитки рванулся разбитый звонок. Эменэ вздрогнула, будто пойманная на месте преступления, и, забыв о туфлях, опрометью бросилась в сени. Звонок прохрипел еще раз. Это был знак о приближении чужого мужчины. И действительно, едва Эменэ успела укрыться, как во двор вошел ее отец, старый хаджи Бекир, в сопровождении молодого мясника Муштафы. С этим богобоязненным мясником, насквозь пропахнувшим бараньим жиром, старый хаджи вечно имел дела, в которых будущее Эменэ играло не последнюю роль.

В этот самый миг кавалькада достигла наивысшего пункта дороги, и статная фигура Септара четко обрисовалась на фоне голубого неба. Хаджи Бекир поглядел туда, и его глаза блеснули из-под чалмы. Он поднял руку и, погрозив ею вслед проводнику, буркнул

хриплым голосом: «Кепек!» (Собака!) И с отвращением плюнув вслед кавалькаде, он повел гостя на веранду, шатаясь на кривых, как у рахитика, татарских ногах и покачивая головою, обвитую белой чалмой. Эта чалма, вместе с белой длинною бородою, придавала ему вид ветхозаветного патриарха.

Эменэ подсмотрела эту сцену и близко к сердцу приняла оскорбление. «Кепек! За что «кепек»? — думала она. — За то, что он не гнушается гяуров, с ними ест, пьет, говорит?.. Ведь и гяуры верят в аллаха».

Голова, не привыкшая к мыслям, как-то плохо работала, но сердце ее чувало, что тут что-то не так, что справедливость не на стороне отца, что за Септаром нет вины, он не заслуживал презрения. Она, бедная невольница, заточенная в узкие границы своего двора, за решетки женской половины, тщательно оберегаемой от мужского взора, все же имела глаза и смотрела туда, вниз, на белые поселки среди роскошных рощ; и не могла не видеть другой, чем их, татарская, жизнь, не могла не сравнивать той жизни со своею. Она, например, видела там женщину — вольное существо, товарища — не рабыню мужчины, женщину, которой принадлежал, как и мужчине, весь свет... Она видела, как та «неверная» женщина каталась на лодке, смеялась, шутила с чужими мужчинами, как она гарцовала на коне или лазала по горам и лесам, заходила в мечеть, как в свой дом, в то время как она, правоверная дочь аллаха, не смеет переступить и порога мечети, словно какая-то нечистая тварь!..

«Кепек! кепек!» — оскорбленно вспоминает Эменэ, и в сердце поднимается сострадание к отцу. Она вздыхает, и снова шайтан нашептывает ей грешные мысли, возмущает покой.

А с веранды, через решетки окон, доносится скрипучий монотонный голос отца. Старый хаджи, должно быть в сотый раз, рассказывает о своей поездке в Мекку. Мать проснулась, звенят чашки, пахнет кофеем.

— И пришли мы в Мекку, к Эль-Хараму, — тянет, скрипит хаджи Бекир, — и запылало мое сердце огнем радости...

И сразу отчетливо, будто перед глазами, встает перед Эменэ картина, которую она видела когда-то из вино-

градника и которая так сильно ее поразила. Там, над морем, под золотыми от заходящего солнца кипарисами, танцуют гяуры. Как пестрые бабочки, порхают девушки по зеленому лужку, а молодые люди подбегают к ним, обнимают за талию, жмут руки... заглядывают в глаза и вместе вертятся, как сорванные ветром цветы... Песни, смех, веселые выкрики гуляют по рощам, и у Эменэ ширится сердце и горят глаза. Как зачарованная, глядит она вниз. «Разве гурии веселятся в раю вот так с праведными», — шепчет она и не может оторвать глаз от удивительной картины, не может насытиться ею... Чудесный образ принесла она тогда в душе под отцовскую кровлю, и этот образ то и дело оживает в ее воображении, меняется, играет красками.

— И сподобил меня милосердный аллах поклониться Каабе и очиститься от грехов своих, прикоснувшись к Эсваде... — скрипит хаджа Бекир, и в такт ему кричит богобоязненный мясник.

Но Эменэ не слушает.

Ее глаза, как и мысли, бродят по далекому бескрайнему морю.

А оно, невинное и чистое, как девушка в ослепительном голубом наряде, с жемчужным, пенным ожерельем на шее, смеется у берега, ласкается и клонится к нему, как влюбленное существо. Далеко от берега играет в море стая веселых дельфинов: черные чудовища, словно выводок чертей, вырываются из глубины, кувыркаются в воздухе, стремглав ныряют и опять появляются, чтобы снова начать веселую игру.

А еще дальше, куда только хватает глаз, не то по воде, не то по небу легкой тенью движется пароход с длинным хвостом дыма и расплывается в голубой дали и исчезает, как видение, как призрак... Море дышит; его свежее, соленое дыхание слышится в листве, ласкает лицо, успокаивает грудь.

— Эменэ! Кель мунда! (Иди сюда!) — доносится со двора визгливый голос матери.

Значит, гостя уже нет и можно выйти из дому.

Эменэ выскочила на оклик матери и чуть не сбила с ног двух европейцев, разговаривающих с ее матерью и, видимо, не понимающих друг друга. Девушки знаками что-то объясняли старухе, показывали на дом, на дерев-

ню, но напрасно: старуха не понимала, хотя кивала головой и старалась показать, что хорошо понимает, чего они хотят. Однако беседы не получалось. Гости сперва были смущены, но потом, убедившись, что все их старанья напрасны, весело рассмеялись. Татарки стали смелее. Эменэ, сперва косо поглядывавшая на чужестранок, приблизилась и начала осматривать их с головы до ног. Глаза ее разбегались, все интересовало ее у этих незнакомых существ. Сперва она слегка тронула платье у одной из девушек, потом взвесила рукой тяжелую косу и, в восторге причмокивая, сказала:

— Карош... карош урус...

Те смеялись, но не сопротивлялись.

Осмелев, Эменэ набросилась на гостей. Она гладила им руки, лица и волосы, заглядывала в глаза, хлопала по плечам, прижимала к себе, рассматривала и ощупывала каждую мелочь их туалета. Причмокивая и качая головой, она дружелюбно и быстро тараторила на непонятном им языке. Старая татарка тоже не отставала от дочери, и вскоре европейки оказались словно в плену у дикарей: они начали бояться, если не за целость боков, то за платье. Не выпуская их из рук, татарки нанесли им всяческих сладостей, угощали их кислым молоком из грязной посуды, свежим инжиром и коржиками, испеченными на овечьем жире.

— Кушай, урус... Кушай! — упрашивали они и заглядывали им в рот.

Когда гости удалились, Эменэ еще долго глядела вслед смелым девушкам, которые сами, без проводника-мужчины, пришли со стороны моря и теперь возвращаются обратно, не пряча ни перед кем своего красивого лица.

И снова одинока Эменэ, и снова ей скучно. Она бродит по двору, без цели забегает в дом, всюду ищет развлечения или какого-нибудь дела. Но дела нет, а для развлечения у татарской девушки только одно: наряды. На этом и кончилось. Эменэ расчесала и заплела в мелкие косички свои красные, как пламя, крашенные косы, набросила на себя новый халат с красивыми арабесками и подпоясалась косынкою так, что ярко раскрашенный конец закрыл ее фигуру, согласно этикету, пониже талии. Затем она надела на шею все свое богатство:

частое ожерелье-цепь, из золотых дукатов, а на голову — маленькую красную феску, всю обшитую монетами. Легкая чадра на плечах и красные туфельки дополнили ее туалет. Оставалось только наругаться и краской соединить дуги бровей. Когда она была готова, стала похожа на индийского божка; она осталась очень довольна собой.

Но во дворе, куда она, не торопясь, вышла, некому было любоваться красавицей. Бедная девушка вздохнула.

День уже угасал. Бледное, утомленное море лениво плескалось у берега. Каменные вершины Яйлы адели в небе, синий сумрак прятался в трещинах скал, а леса на склонах гор чернели, словно после пожара.

Эменэ посмотрела на верхнюю часть деревни. Прислонившись к холму, та напоминала поставленные на ребро соты. Ряды небеленых домиков с плоскими земляными кровлями так стояли один над другим, что кровля одного дома служила двором другого. Среди леса колонок, которыми поддерживались навесы, будто входы в пещеры, чернели двери и окна, а все вместе они напоминали норы ласточек на крутом берегу реки. На плоских кровлях группками сидели женщины и, словно пестрые цветы, украшали праздничными нарядами серый фон голого селения. Старая генуэзская башня, облупленная и изгрызенная зубом времени, стоя в стороне, грозно глядела с высоты на татарский муравейник, который копошился внизу.

Наконец Эменэ увидела, кого искала.

— Фатма-а-а! — крикнула она тонким пронзительным голосом.

— Эменэ-э-э! — послышался из деревни такой же визгливый ответ.

Эменэ быстро подхватила медный кувшин и направилась к «чишме» за водой.

Она бежала вверх, шлепая туфлями по каменной дороге, стройная и ловкая, как молодая козочка, и предчувствовала удовольствие от всех мелких сплетен о жизни татарской женщины, с какими у чишмы ждала ее подруга. Однако на шоссе ей пришлось задержаться: знакомая ей кавалькада галопом пронеслась мимо нее; впереди женщины, а за ними красавец Септар, прямой,

как палка, с выпяченной, расшитой золотом грудью, с нахальным, уверенным взглядом.

Уже давно промчалась кавалькада, а Эменэ все не двигалась с места и глядела ей вслед, будто ждала, не вернется ли ее счастье, что уходит на ее глазах, и не возьмет ли ее с собой в широкий свет, более свободный, чем загороженная решетками женская половина отцовского дома? «Кепек!» — вспомнилось ей презрительное слово отца и полная ненависти фигура хаджи.

Сердце у нее оборвалось, слезы набежали на глаза...

\* \* \*

В деревне темно и тихо. Закрыты лавки и базарные палатки, проводники расседлали своих лошадей, продавцы ямурта (яиц), винограда, чадры и прочего отложили свои дела на будничный день; вообще все то движение, которое рассчитывает на полные карманы гяуров, остановлено праздником. Муэдзин в последний раз прокрипел с минарета «ла алла», и правоверные засыпают. Только бессонное море гремит где-то вдалеке, будто незримый великан выдыхает дневную жару, и звезды дрожат в ночной прохладе, скрываясь по одной за черными, как тучи, вершинами Яйлы.

У стен генуэзской башни мерцает огонь. Там, в закопченной дымом расщелине, как в дупле огромного дерева, на горячих углях варится кофе. Вокруг огня, подобрав по восточному обычаю ноги, сидят в больших чалмах великие хаджи и простые мусульмане в фесках. Хаджи Бекир занимает почетное место: он сидит рядом с невзрачным турком в белом халате и зеленой чалме. Это софта<sup>1</sup> из самого Стамбула, и его мудрых и святых речей собрались послушать правоверные.

Все молчат, все серьезные.

Даже красавец Септар, который примостился поодаль, положив на кнут свои сильные, с запахом конского навоза руки, не так гордо выпячивает расшитую золотом грудь, с меньшей дерзостью посматривает вокруг.

---

<sup>1</sup> Духовное лицо.



Огонь бликами играет на красных фесках, освещает смуглые лица. Медный «имбрик»<sup>1</sup> шипит на огне, ритмично плещет далекое море...

Но вот пары кофе поднялись из маленьких чашечек в руках гостей, и софта начал.

Он говорил тихо, скрипучим, монотонным голосом, цветисто и долго. Он начал с Адама. Яркими красками изобразил он былую славу и величие татарского племени, его бои с неверными, когда стяг Магомета обошел почти половину мира. Он возвеличивал богатство и мудрость великих ханов, растрогался при упоминании благочестия правоверных и открыл сердце аллаха, полное радости и удовлетворения за верных слуг пророка. Как месяц среди звезд, как орел среди птиц, таким был мусульманин среди других народов. Он призывал в свидетели вековечные горы, которые в своей нерушимости видели былую славу великого народа, обращался к башне, под которой сидел: она помнит те времена, когда по ее камням стекала кровь гяуров, а на шпиле сиял полумесяц...

Мастерски и поэтично рассказал он всем известные и всем дорогие народные легенды, вызвал из могил тени святых и героев, положивших голову за веру и во славу аллаха и Магомета. Тексты и пророчества из корана переплетались в беседе, как в искусно сплетенной сетке, с народными сказками и чудесной завесой покрывали былое. В черных глазах софты горел огонь, а бледное лицо стало еще бледнее. Правоверные слушали, сосредоточив внимание, и в такт покачивались на подобранных под себя ногах.

А софта продолжал.

«...Ломаются старые обычаи, пропала честность, простота, исчезает страх божий... Нечестивые заразили правоверных греховными болезнями... распушенность... ракия...<sup>2</sup> даже кража... Алла-алла! Ты видишь!»

И бледный, невзрачный турок простер руки к месяцу, который в этот миг вынырнул из моря и все залил синим светом. В торжественной тишине был слышен лишь плеск моря да серебристое мелодичное стрекота-

---

<sup>1</sup> Котелок.

<sup>2</sup> Водка.

ние южного кузнечика. В далеких рощах тоненьким голосом плакал козодой: сплю-ю... сплю-ю... Черные горы стояли, как привидения, и глядели на-позолоченную месяцем дорогу на море, которая дрожала и переливалась золотой чешуей.

Софта вздохнул. В этом вздохе послышалась горькая скорбь по упадку его единоверцев.

— Но еще не все погибло. Правоверные! Старый и малый, богатый и бедный, слабый и сильный, отряхните с ног своих прах этой несчастной земли, вставайте на путь богобоязненных предков ваших, собирайте свои пожитки, своих жен и детей и выселяйтесь отсюда под мощную десницу правоверного монарха, поближе к святым мечетям, к земле, освященной стопами пророка... И да сгинет эта захваченная гяурами земля, пусть справедливый господь ниспошлет с неба огонь, спалит ее, развеет пепел по бескрайному морю! Ла-алла-иль-алла... Магомет расуль алла!

И софта поднял руки и простер над землей, будто призывая на нее гнев грозного аллаха.

У хаджи Бекира горела душа. Сверкающими глазами смотрел он на софту, он видел падающий с неба огонь, а там, за морем, в далекой перспективе, сияли перед ним мусульманские реликвии.

Наступила тишина. Угасал огонь под башней, и полная луна с вышины оглядывала собрание.

Однако правоверные сидели с опущенными глазами, и, казалось, лукавая усмешка пробегала по их смуглым лицам.

«Вот, — думали они, — гяур, гяур... А кто нас кормит, если не гяур?..»

И они вспомнили все бесчисленные способы заработка и барышей, какие предоставляли им гяуры. Припомнились все эти ямурта, виноград, молоко, подводы, проводники, квартирная плата и т. п., всякого рода бакиши<sup>1</sup>, все те богатые жатвы, которые собирает с гяуров татарин, не обрабатывая землю и не сея. Куда им переселяться? Зачем? — спрашивали они себя, и им хотелось рассмеяться прямо в глаза мудрому софте, не

---

<sup>1</sup> Часвые.

знающему истинного положения вещей. Однако они молчали.

Молчание становилось неприятным. всем было неловко. Выручил Септар. Он подошел поближе, оперся своими огромными руками на кнут и сказал:

— Ты говоришь, мудрый человек, выселяйтесь отсюда... А скажи нам, почему это от вас, из Турции, бежит к нам такое множество бедного рабочего люда и отбивает у нас заработки? Почему они идут сюда, если так хорошо там? А ты нас туда зовешь... Погляди, тропой ли правды ходят твои слова?.. Ты говоришь: гяур неверный, а у нас богатый гяур весит больше, чем двое праведных... Гяур живет и нам дает жить. У нас так: на Яйлу ходил — деньги получил, по морю поплыл — деньги получил, гяура возил — снова деньги взял... Вот и сейчас у меня пятнадцать рублей, — и Септар звякнул монетами в кармане, — а что ты нам дашь в Турции, где нет гяуров? — И, выпятив свою расшитую золотом грудь, он дерзко уставился на смущенного софту, ожидая ответа. Правверные даже причмокнули. Правда, сущая правда! Он как бы вынул из их уст те слова, какие они могли бы сказать софте в ответ.

Только сердце хаджи Бекира вспыхнуло праведным гневом, и, меча из глаз молнии, он прогремел над Септаром:

— Молчи ты, поганый наймит гяуров!

Но Септар не смолчал.

— Эх, старик, я знаю, ты завидуешь моим заработкам, каких не имеешь из-за своего упрямства...

О, это была правда, глубокая, старательно скрываемая правда, и хаджи не стерпел. Забыв о своем положении и достоинстве хаджи, он сорвался с места и все свое озлобление бросил в лицо Септару:

— Кепек! Асма кепек! (Собака, бешеная собака!)

Глаза проводника налились кровью и выкатились, как у барана. Казалось, дело плохо кончится, но Септар поборол себя.

— Эх, старик! Береги свою бороду, если посвятил ее аллаху! — погрозил он хадже и, круто повернувшись, пошел прочь, насвистывая танец.

Софта остолбенел. Его черные глаза сделались круглыми и большими, в них отражался страх. Он ожидал,

что вот-вот расступится земля и поглотит дерзкого Септара или грешник найдет себе могилу под развалинами башни, разобранной по камню разгневанным народом. Но все было по-старому: земля не расступилась, башня стояла на месте и даже правоверные спокойно сидели, словно ничего не произошло, словно они целиком разделяли взгляды Септара. И даже через минуту начали расходиться, ссылаясь на то, что уже поздно, что завтра их ждут дела...

Испуганными, непонимающими глазами смотрел софта вокруг себя; в голове у него понемногу прояснилось.

— Сети шайтана... сети шайтана... — шептал он синевшими губами, повернув бледное лицо к разъяренному хаджи Бекиру.

Но тот в бессильной злобе только плевал и рассыпал проклятия.

Последними покинули башню хаджи Бекир и софта.

Словно привидения, шли они по залитой месяцем улице, волоча за собой длинные, большеголовые тени. Печальные и разочарованные, старые фанатики делились друг с другом своими горестями, и, будто сочувствуя им, вздыхало далекое море, и тоненьким голоском плакал в роще козодой...

*28 сентября 1899 г.*

## ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

### *Рассказ*

Весенний ветер тихо веял над виноградниками и освежал разгоряченных работой батраков. Влажная земля млела в горячем золоте солнечных лучей, лишенная тени и прохлады. Голые деревья словно курились серо-зеленым дымком; как бы мечта о пышном летнем наряде окутывала их налитые соком ветви. Везде было так много света и радости, так ощутимо чувствовалось трепетное дыхание обновленной молодой земли, воздух был такой пьянящий и наполненный щебетом, что невольно хотелось двигаться, кричать, смеяться...

На работе тоже было весело. Эти несколько десятков батраков, пришедших издалека на чужбину зарабатывать хлеб насущный, под влиянием весеннего дня словно забыли о всех своих заботах и так усердно уничтожали плоды чужого труда, будто заботились о своем собственном. Вряд ли кто-нибудь из них думал, утаптывая тяжелой трамбовкой срубленный и засыпанный землей виноградник, о хозяине уничтоженного сада. Что им этот молдаванин и его филлоксера? Это не их дело, они зарабатывают.

Над виноградником стоял гомон. Больше всего шумели земляки, они всегда находили тему для разговора. Они вспоминали свою деревню, своих односельчан, словно только вчера с ними виделись, и часто какое-нибудь движение или слово, не понятное постороннему, вызывало рой воспоминаний и неудержимый хохот.

Солнце припекало. То один, то другой, ударив трамбовкой, подымал к загорелому лицу белый рукав и утирал вспотевший лоб, распрямляя согнутую спину. Этот минутный перерыв в работе был так естественен, так необходим, что я невольно обратил внимание на работника, который ни разу не воспользовался им.

Этот работник давно уже интересовал меня. Он отличался от других необычайным трудолюбием, каким-то особым упорством в работе; он с жаром отдавал свои силы, как что-то ненужное ему и враждебное. Его приходилось отрывать от работы для обеда или отдыха, он всегда последним и с видимой неохотой бросал ее. Молчаливый и угрюмый, с бледным, нервным лицом, он редко подымал глаза — черные со зловещим огоньком. Я привык его видеть в любую погоду в куцей свитке, в рыжей шапке на всклокоченных волосах, с короткой трубкой в зубах, которой он то и дело попыхивал, выпуская струйку синего дыма. Я знал, что его зовут Карпом, что он хороший работник — и только. Разговориться с ним мне не удавалось.

Я подошел к Максиму. Это была прямо противоположная натура. Высокий и белокурый, вымуштрованный на военной службе, от которой остались у него только ловкость движений и бравый вид, — он был весь порыв и откровенность.

— Вы хорошо знаете Карпа? — спросил я.

— Еще бы... Мы с ним из одной деревни, с одного конца; соседи даже... Только плетень разделяет наши дворы.

— Он что, сроду такой работающий и молчаливый?

Максим усмехнулся.

— Да он работага парень был... известное дело, не такой; как теперь, когда на него нашло...

— Как нашло? Что нашло? — заинтересовался я. — Расскажите, Максим.

Максим вспыхнул. Румянец залил его лицо, и белые усы стали словно молочными.

— Долго рассказывать, — запнулся он и тут же начал:

— Он, видите ли, образованный, грамоту знает, книжку читает. Еще парубком все, бывало, к учителю ходил. А учитель наш умный был, не гордый, да про-

штрафился и загнали его куда-то... далеко от нас... Так, вот, бывало, в воскресенье или в праздник Карпо уже и сидит у учителя в гостях. Парубки на вечерницы собираются, кличут его к дивчатам — не хочет.

— Что я, — говорит, — услышу там умного, чему научусь?.. Глупости и больше ничего...

— Уж не в монахи ли, случаем, думаешь постричься? — шутят, бывало.

— В монахи я не пойду, а скотиной ничего не смыслающей век свой прожить не желаю...

Хлопцы и обругают его, что он будто скотиною их называет, а он ничего, снова к учителю в гости...

Мы с Карпом дружили, — известно, росли вместе, вместе и воробьиные гнезда разоряли, и скот пасли, вместе и парубковали... Вот в воскресенье соберусь, бывало, на танцы, подойду к плетню и зову Карпа, чтоб веселей было среди молодежи. А он выглянет из хаты, да и тащит меня в сад.

— Идем, — говорит, — ко мне, я тебе лучше что-то расскажу.

Не хочется иной раз, да так ведь просит, так просит. Усядемся в тени, и начнет он говорить, начнет рассказывать, — о чем он мне только не расскажет. И как люди в чужих землях живут, и где какие звери водятся, и что у человека внутри делается, какое такое сердце, из чего кровь, и как она по жилам бежит. Говорит, а глаза у него так и горят, как угли... А иной раз собьется, запутается.

— Нет, — скажет, — не так, пойду спрошу у учителя.

Недолго и ходил — уехал учитель... Запечалился Карпо: не ест, не пьет, как ночь ходит... Подшучивают наши, насмех его поднимают...

— Ты что, отца родного похоронил, или коняка у тебя сдохла, что как неприкаянный слоняешься, от ветра валишься?

— Отца!.. Что мне родной отец? Пустил меня на свет темного, как табак в рожке, да и живи так весь век... а этот мне глаза открыл... свет для меня теперь не тот стал, изменился словно. Только не успел еще обо всем дознаться.

— А ты б к новой учительнице... она б тебя доучила, — советуют хлопцы и подмигивают друг другу, потому хорошо знают, что новая учительница такая, что и кочергой из школы выгонит, если к ней с чем обратиться.

Стал Карпо со скуки ко мне чаще заглядывать. Нет уже у него учителя — так он ко мне за утешением, да и изливает горе свое.

— Гляжу я, — говорит, — на нашу жизнь и прямо страх меня берет. Весь век в ярме, словно скотина какая; каждый норовит тебя запрячь, да еще и погоняет... А что ты с того имеешь! Ни отдыху, ни еды человеческой, кулеш да борщ пустой... В хатах тесно, поросята да телята вместе с детьми зимуют, грязь, дышать нечем, нездорово. А мы ведь люди, не свиньи в хлеву.

Смешно мне слушать Карпа.

— Ты что ж, до сих пор не видел этого, ты ведь рос тут, вместе с нами всеми...

— Видел, да будто и не видел, а теперь у меня словно прояснилось, пелена с глаз упала...

Да и начнет рассказывать, как живут люди в чужих землях, — не знаю, правда ли то, что в книжках пишут...

— А мы что? Живем, как кроты, в земле роемся, и дела нам нет, что светит солнце.

Вот так томился парубок с год, а потом успокоился немного, женился. Ну, как мужиком стал — тут, известно, не до книжек и не до думок. Достатки небольшие, весь день в работе. Ребенок родился... Стал он, как люди, забыл про свое. Только иной раз, когда что-нибудь очень уж его допечет, — вон когда выгон общественный присудили пану, или когда урядник разбил моему брату голову, — он, бывало, ругается на сходе:

— Эх вы, забитые, заморенные! Где вам за мир заступаться, когда у вас в жилах вода из-под картошки.

Не скажу вам, что с ним было, когда меня в солдаты взяли. Четыре года отбыл, вернулся домой, слышу — новость: у Карпа тетка померла, где-то в городе служила, старая дева, одинокая, и отписала Карпу двести рублей.

«Ого! — думаю себе. — Теперь мой соседущка разбогател, пойду проведаю его, как жив-здоров».



Только я в сени, а из хаты уже ударило мне в нос запахом жареного мяса, как на пасху. Зашел в хату — в печи огонь, хозяйка что-то стряпает, а за столом сидит красный, даже пот с него капает, Карпо и уминает что-то. Обрадовался да так с жирными губами и полез целоваться. Уселись мы. Гляжу — на столе полно мисок и с жареным, и с вареным, а на полу кости валяются.

— Ну, как тебя бог милует? Слышал я, что тебе повезло... Теперь хозяином сделаешься...

— Да, благодарение богу и тетке покойной — хоть немного отдохну и поживу по-человечески.

— Волон себе купишь или десятину земли?

— Волон! Что мне волы? Я сам до сих пор был, как вол в ярме. Нет, будет... теперь я обновлю свою кровь, наберусь силы. Вот в Неметчине или в Англии рабочий человек каждый день ест мясо. Оттого он и смелый, и умный, человеком называется... В нем кровь играет... А мы что? Жена, давай, что там нажарила...

Молодица поставила жаркое.

Меня угощают. Карпо уплетает, прямо сопит.

— И не хочется уже, — говорит, — а надо.

— Так не ешь, коли не хочется.

— Ишь! А помнишь, как урядник разбил голову твоему Ивану?

— Помню...

— И как я кинулся спасать Ивана?

— Ну?

— А я что? Разве не испугался? Нет? Вот то-то и оно.

Трезвонят по селу: сдурел Карпо, да и только. Люди в поле пахать едут, а он к попу, да не так к попу, как к поповой кухарке разузнать, что она батюшке готовит. Баба Ялычка хвалится: два раза, говорит, на неделю горшок на живот ему ставит; жрет без памяти, оно ему с непривычки и вредит.

Прошло так недели две. Не вижу я что-то Карпо да и не вижу. А наши нивы смежные, пашу я на своей — и чудно мне, что Карпова стоит заброшенная. Что бы это значило? Не болен ли случаем? Пойду проведаю. Да возвращаясь с поля, и встретился с ним.

Похудел, пожелтел, глаза ввалились, а сам невеселый.

— Что, — спрашиваю, — обновил немного свою кровь?

— Да обновляю... Сразу нельзя... Ты думаешь — легко оно нашему брату? Не с кем и посоветоваться. Спрашивал у попадьи, что она попу дает, — лапшу с яблоками, говорит, любит мой батюшка. Сварила мне жена этой лапши, тошно, душу воротит, а ем, ничего не подделаешь... Иной раз так плохо, что и на свет бы не глядел, а иной — слышу, как кровь у меня играет, смелость в себе чувствую... так, кажись, взлетел бы, как орел. Вот только не знаю, что полезнее для здоровья — чай или пиво?.. Посоветуй, Максим, ты ж в солдатах был, свет повидал, может слышал...

А мне и смех, и досада; не выдержал я, говорю ему:

— Чорт знает чем ты себе голову забиваешь, Карпо! Может, там немцы, или про кого ты рассказываешь, и живут по-человечески, а нам оно не подходит...

— Отчего же? Разве мы не люди?

— Люди, да не такие...

— А какие ж?

— Мужики.

— Ну, так что?

— А то, что не для нас все это баловство...

Взглянул на меня Карпо этак пристально, мотнул головой, как бычок, которого муха кусает, да с укором:

— Так и ты против меня? И ты, может, скажешь, что Карпо дурень, деньги переводит, вместо того чтобы купить какого-нибудь теленочка-поросеночка в хозяйство...

— И скажу...

— Ну, не ожидал я от тебя, Максим, услышать такое слово... Не ожидал Прощай, коли так!

Повернулся — и пошел.

— Подожди, — кричу ему вслед, — не сердись!

И не оглянулся.

— Прощай! — отозвался. — Эх, жаль, нет учителя!

— Не хочешь говорить — вольному воля.

Грустит Карпо. Мне из своего двора видно, что у него во дворе делается. Ходит он по двору, слоняется, то в садик пойдет, постоит под деревом, то снова во двор, будто вчерашнего дня ищет. За работу не берется, ко

мне не навевается! Жаль мне его... Товарищи, вместе росли, а теперь вроде поссорились. Черная кошка пробежала между нами. Пойду к нему в воскресенье, думаю, нечего дуться.

Довелось раньше. Тесал ось, да как-то топор зазубрил — пошел к Карпу взять. Вошел я в сени, а из хаты дверь не прикрыта, мне и слышно, как Карпо покрикивает:

— Расстегни пазуху!.. А ну, попаду?..

«Что там такое, — думаю, — итти или не итти?» Да как-то приотворил дверь и вижу: молодлица сидит под окном на лавке, расстегнула пазуху, даже грудь видна, еще и руками придерживает, а Карпо лежит на постели и стреляет жене в грудь конфетами. Кашлянул я.

— А, это ты, Максим? — обрадовался Карпо. — Заходи, заходи. Мы тут с женой лакомствами забавляемся, конфеты едим... они, видишь ли, из сахара, а сахар нужен телу, он его согревает, как дрова печь, и укрепляет... На, ешь и ты...

Сел я, беседуем. Карпо ничего, будто забыл наш последний разговор. Только замечаю я, что он что-то мнется. Говорит, говорит, да все на эти конфеты сворачивает.

— Я, — говорит, — жену работой не неволю... Пускай отдохнет. Она не скотина, не каторжная какая-нибудь, чтоб весь свой век работать. Надо ж ей отдохнуть, надо ж и развлечься чем-нибудь. Человеку по-человечески жить надо.

— А как же, а как же, — поддакиваю, чтоб уж его не сердить. Как тут вдруг: «Бом, бом, бом». Я даже испугался.

— Да это часы, — смеется Карпо, — проклятый часовщик продал мне порченые, показывают два, а бьют тринадцать.

— Пойдем-ка, я тебе еще что-то покажу.

Взял меня за руку, подвел к стене и показывает какую-то дощечку.

— Что это такое?

— Градусником называется. Посмотришь — и будешь знать, сколько тепла в хате. А вынесешь зимой во двор, покажет холод.

Чудеса!

— На что ж он тебе?

— Как на что, надо ж знать, довольно ли тепла, здорово человеку в хате или не здорово.

«Ну, думаю, это ты уже понес свое. Пойду лучше ось кончать». Взял топор — да из хаты.

А так под вечер мастерю я что-то подле гумна, слышу — у Карпа во дворе ссора. Кто-то так здорово басом ругается, и голос знакомый.

Прислушиваюсь, а это тесть Карпа, отец жены. «Из-за чего они сцепились?» — думаю, да и пошел к плетню.

— Отдай мне те деньги, что еще не промотал! — кричит тесть. — Я их припрячу, пока за ум не возьмешься.

— Что вам за дело до моей жизни и до моих денег? Не вы мне их давали! — сердится Карпо.

— Опомнись, Карпо! Что ты выдумал: по-барски жить захотел, кровь свою изменить? Да ты в уме ли? Эх, всыпать бы тебе, чтоб знал, как переводить тяжким трудом заработанное добро.

— Не по-барски, я же вам сказал, а по-человечески! Ну, да что с вами разговаривать — все равно что с пнем!

— Ты что мне сказал?

— То, что слышали.

— Та-ак?

— А так.

— Ну, так бывай здоров, зятек!

— Счастливо.

Рассердился старик, хлопнул дверью, пошел.

А Карпо тоже надулся, как индюк.

— Иди, — говорит, — ко всем чертям, надоел.

«Эге, — думаю, — поссорились, а оно нехорошо, потому тесть частенько-таки помогал Карпу. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться!»

Прошла осень. Зима у нас в тот год установилась сразу, ровная, снежная. А в деревне не забывают Карпа, у всех имя его с языка не сходит.

Одни говорят, что он уже проел деньги, которые тетка отписала, а другие божатся, что у него еще осталось порядочно. Все, говорят, возит что-то из города, в бумагу завернутое. Да и коня сторговал у Ивановского

попа, и не какого-нибудь, а за сто рублей. Полсотни уже отдал, а полсотни занимает тоже у нашего человека, зажиточного хозяина. «Ишь, — думаю, — и не расказал, даром что товарищ и сосед».

Вдруг он и вправду приводит коня. Конь красивый, породистый, играет, не удержат, сказано — жеребец.

Хвалится Карпо, доволен.

— Правда, — говорит, — дешево купил?

— Оно-то недорого, да за такие деньги другой пару купит.

— Э, я люблю хоть немного, да хорошее.

В тот самый день запряг он буланого в сани и повез жену кататься. Переглядываются люди, все село смотрит на нового богача.

На другой день зашел я за чем-то к Карпу, не застал, одна только молодлица.

— Нету, — говорит, — моего дома: повез Ивановскому попу за коня деньги.

Тонко же ты прядешь, голубчик, когда на занятые деньги таких коней покупаешь. Однако повез — так повез. Сам знаешь, что делаешь, мне-то что.

Как-то ночью спим мы, что-то в окно — стук!

Вскочил я.

— Кто там?

— Это я, Карпиха.

— Чего вам?

— Выйдите на минутку.

— Ну, что там такое? — спрашиваю с порога.

— Ой, горюшко, беда — коня украли, мужа привезли пьяного, без памяти, и деньги еще у него вытащили, пятьдесят рублей. Идите к нам, посоветуйте что-нибудь.

«Вот тебе и на», — думаю, да скорее кожушок на себя и иду. Зашел в хату — лежит Карпо на лавке пластом, как кабан зарезанный, и пальцем не шевельнет, только изредка стонет. Ободранный, без пояса, без сапог — смотреть противно. Подле него сидит человек, тоже из нашей деревни, который привез его. А молодлица, как взглянет на Карпа, так и загомосит, даже трясется бедная.

— Что ты наделал, проклятый? Пропали мы теперь на веки веков. Куда ты деньги девал, беспутный, говори, куда?..

И дергает его, и трясет за плечо.

А он только моргнет глазами и промычит.

Известно, человек не пьющий, его и разобрало.

— Обыщите его, — советую, — везде, может, где найдутся.

— Нету, — говорит, — я уже всюду смотрела, даже стельки из сапог повыкидала, так бы и его из памяти выкинуть!

— Где ж это он угостился?

Человек тот и рассказал: ехал он, говорит, к Ивановскому попу и заглянул по дороге в корчму, не знаю зачем. А там пили какие-то, — кто их разберет, — не то паничи, не то цыгане... Вот он с ними и начал про свое: и как нужно жить по-человечески, и откуда на свете неправда повелась. Договорились до того, что Карпо под стол свалился... Вижу, говорит, плохо дело, вывел его из корчмы, глянь — а коня и нет. Ну, наделал я шуму... Сюда-туда — ищи ветра в поле... Тогда я его к себе в сани и привез...

— Помогите, — просит Карпиха.

Стащили мы с Карпа свитку, уложили на постель — пускай проспится, а сами на лошадей и махнули на розыски.

Вернулись только на другой день, после полудня — ни с чем, известно.

Только я в хату — Карпо к нам, а сам похудел, почернел, как с креста снятый.

— Эге, — говорю, — вот как наши по-человечески живут...

Взглянул он на меня — да так печально, что просто за сердце схватило.

— Нет, — говорит, это уж по-свински вышло... не сумел я по-человечески жить... Не для нас это...

— А не говорил я?

Повесил голову, молчит.

А тут беда: поп требует пятьдесят рублей за коня, тот человек, что одолжил деньги, тоже насел, в суд хочет подавать, а к тестю и не подступись — такой сердитый.

— Что, — говорит, — пожил по-человечески, обновил кровь? Вот пущу ему кровь из носу, тогда погляжу, какая она у него теперь...

Пришлось телку продать и новый кожух. Разорился совсем, а с долгами не расплатился... Коняка, правда, нашлась, да искалеченная на все четыре ноги, за восемь рублей продали воду возить.

Спрашиваете, помог ли кто? Какое там! Смеются над Карпом, подшучивают:

— Есть у нас, — говорят, — заступник... Пускай у нас не кровь, а вода из-под картошки, зато у Карпа в жилах двести теткиных рублей и попова коняка!..

Даже дети из-за плетней дразнят:

— Дядька Карпо! Какая кровь от пива? Не такая, как от гороха?

Вот с той поры на Карпо и нашло. Хмурый, молчаливый стал, нелюдимый. Пока бренчали еще теткины целковые, бывало пальцем о палец не ударит — думали, навеки испортился человек, а тут так сразу взялся за работу, что прямо горит у него все в руках. Целый день — от света до темна — топчется и все трубкой пыхтит, все пыхтит, как паровик... Всю зиму то у попа, то у пана цепом махал, не нахвалятся им, такой работа, а весной пошли мы с ним на заработки... Уже он и долги выплатил, и проценты вернул, уже и корова стоит в хлеву, а он и до сих пор шатается по заработкам. И так это он усердно трудится, так горячо берется за работу, словно что печет его внутри... Вон посмотрите, — закончил Максим свой рассказ, показывая на Карпа, — как старается!..

Я взглянул на Карпа. Не разгибаясь, ударял он трамбовкой, и каждый раз, когда тяжелая колода падала на землю, из груди его вылетал короткий и резкий свист. Крупные капли пота катились из-под рыжей шапки по его лицу и горохом падали на землю. На выпуклом лбу, свидетельствуя об огромном напряжении, вздувалась жила; какая-то дикая, неукротимая энергия управляла его движениями, казалось, огонь пылает в этом человеке, пробиваясь лишь синим дымком из короткой трубки.

— Эй, Карпо, — шутливо крикнул Максим, — старайся, не ленись... Работай по-человечески...

Карпо на мгновение остановился, с укором взглянул на Максима и ничего не ответил. Он только мотнул кудлатой головой и с еще большим усердием стал

ударять трамбовкой, словно хотел забить в землю что-то досадное, ненавистное ему..

Я задумался.

А вокруг было так красиво, так радостно. В чистой и нежной, как грудь возлюбленной, лазури, в могучем разливе жизни, которая едва проявляла себя скрытым движением соков, в теплом и тихом дыхании весны было так много радости, чувствовалась такая полная гармония... И словно в лад с природой сердце мое затрепетало от жажды такой же гармонии и в человеческой жизни, от ожидания новой весны, когда доброе семя не погибнет в холодной земле, а взойдет, вырастет и даст богатый урожай, согретое животворным теплом...

«Скоро ли дождемся мы этой гармонии?» — думалось мне...

*28 апреля 1900 г.*



## КУКОЛКА

*Этюд*

Triste comme un beau jour  
pour un coeur sans espoir.

Ф. Корнее<sup>1</sup>.

Простая телега, запряженная одной лошастью, то и дело подскакивала и немилосердно трясла, не попадая в колею. У земской учительницы Раисы Левицкой, ехавшей на телеге, от тряской дороги стала болеть грудь — и это было хорошо, потому что отвлекало ее от неприятных мыслей. Она еще не остыла после истории с попом, словно осколок взорвавшейся бомбы. Перед ее глазами, как назло, вставало худое, иезуитское, перекошенное от ярости лицо попа в тот момент, когда она при всем народе выгнала его из школы. Что ж, иначе она не могла поступить: вечные его доносы на нее, поход против земской школы, натравливание крестьян и вмешательство в ее школьную работу стали нестерпимы, нервы ее не выдержали, и она устроила попу скандал при школьниках и мужиках. Поп побежал жаловаться инспектору и своему начальству, а «матушка» тем временем ворвалась с работницей в школу, перебила горшки и, сверкая зелеными, как у разъяренной кошки, глазами, захлебываясь потоком брани, бросилась с кулаками на «дерзкую учительницу» — и, наверное, избивала бы, если бы та не

---

<sup>1</sup> Печальный, как прекрасный день для сердца без надежды.  
Ф. Корнее

убежала из дому. Ну, приезжал инспектор, член земской управы, было следствие, допросы — и все кончилось тем, что ее перевели в другую школу, куда она и едет теперь. Как только кончились экзамены, она забрала свои скудные пожитки и, не желая ни дня оставаться в одном селе с сумасбродным попом, двинулась в путь. И хотя она была уже далеко от места происшествия, все же эта мерзкая история угнетала ее, как кошмар, и мучила, и поднимала в сердце злость. Вот уже второй раз на протяжении своей тринадцатилетней службы она вынуждена из-за недоразумений с попом менять школу, и кто знает, что ждет ее на новом месте, где, наверно — ох, боже! — есть поп и попадья.

Однако ее так растрясло и грудь так разломило, что трудно было сосредоточиться на горьких мыслях.

На обочине дороги, по которой катилась телега, лежал белый песок и пеленой закрывал далекую полосу черного бора. Нарядные березы, как русалки, развевали на ветру зеленые косы. Приземистые косматые вербы по обе стороны дороги крепко цеплялись обнаженными корнями за землю, словно хищная птица вонзилась когтями в добычу. Несмотря на май, было душно, как летом. По горячему небу ползли длинные и белые, как паутина, облачка, а на западе подымалось нечто страшное и росло и грозило далеким раскатом. Раиса все поглядывала туда, с тревогой думая, убегут ли они от грозы, при одном воспоминании о которой ее охватывали холод и дрожь. Возница, в ответ на ее просьбы, чмокал на клячу и бил ее кнутовищем по сухим ребрам, но это мало помогало.

Въехали в лесок. Тут было тихо и пахло смолой. На фоне яркозеленых молодых берез вырисовывались черные иглы сосен, а там, где березы вытесняли сосну и пропускали солнечные лучи, все, казалось, было залито зеленым бенгальским огнем. У дороги иной раз попадалась вся в цвету дикая груша или куст черемухи с медовым запахом белых нежных гроздьев.

За лесом широкие поля медленно и плавно опускались вниз, и телега все катилась по узкой, неужезженной дороге, бежавшей зигзагом между озимей к селу.

Но вот и село. В низине, на болоте, стояло оно, прикрыв свои убогие дворы ветвями раскидистых верб.

Издали казалось, что под вербами прячутся не хаты, а стожки почерневшей и гнилой соломы.

Телега катилась по улице, а Раиса с любопытством смотрела по сторонам. Хаты большей частью были старые, черные, с такими же черными кровлями, поросшими мхом. Во дворах стояла невылазная грязь и зеленоватые лужи. Улица тоже блестела глубокими лужами. Печать нищеты лежала на всем. И жилища, и люди, вечно роющиеся в земле, приобрели, казалось Раисе, цвет земли, стали деталями мертвой природы.

По грязной улице шел мужик, — точно корневище дуба катилось по дороге: темное, как кора дерева, лицо, жесткие, потрескавшиеся, с въевшейся землей руки, толстые, как пеньки, ноги. Вот выбежала из черной хаты молодичка, приставила ладонь к глазам и глядит на путницу. Солнце играет на ее бронзовых голых ногах, как на стволе склонившейся над плетнем вербы. На улице под хатами валялись бревна; старики сидели на них, понурив головы, и с трудом можно было отличить их от темной почерневшей массы. Перепачканные дети, вперемешку с собаками и свиньями, возились под плетнем. Худые поросята на высоких ногах, с брюхом, вываленным в грязи, бродили по улице. Отовсюду несло навозом. В долине, в озерке, молодички колотили вальками белье, подоткнув юбки, с красными, как у аистов, ногами. За выгоном виднелось другое село, густо заселенное серыми крестами, под которыми тихо почивали, обратившись в землю, труженики земли. А дальше растянулось поле — ровное, серо-зеленое, голое, и красная юбка работницы казалась на нем одиноким полевым цветком.

За поворотом, на бугре, из-за больших развесистых кленов выглянула белая церковь. У Раисы внезапно сжалось сердце, и она крепко стиснула губы. Ну, что ж, ей не в первый раз: если придется, будет воевать.

Через дорогу, напротив церкви, стояла школа, новая, высокая, крытая железом, на бугорочке, как сорока на плетне. Возница свернул и въехал в большой, заросший спорышом двор.

Оказалось, что школа заперта. Раиса обошла кругом, заглянула в окно, откуда повеяло на нее нежилым духом, подергала замок на дверях от черного хода —

ни души. Какой-то человек оперся с улицы на плетень и с любопытством следил за Раисой.

— Не знаете ли, у кого ключ от школы? Я — новая учительница, — обратилась к нему Раиса.

— Да у сторожихи, должно быть, у Татьяны... Ну-ка беги поскорей за Татьяной, она полет у мачехи на огороде.

Вслед за этими словами послышался топот босых ног и что-то белое мелькнуло на улице.

Раиса села на скамью у школы и ждала сторожиху. Вокруг было тихо и безлюдно. Белая церковь среди могучей зелени производила приятное впечатление. На большом зеленом школьном дворе паслась лошадь, уже распряженная возницей, а он сам прилег в тени под телегой.

Прошло так больше получаса. Наконец хлопнула калитка, и на дорожке показалась Татьяна. Сухая, пожилая девка, она крепко держала в измазанных свежей землей пальцах ключ, с недоверием поглядывая на Раису.

— Здравствуйте!

— Здравствуй... отопри школу... я приехала к вам в учительницы.

Татьяна опротясь, как настоящий солдат в юбке, бросилась отпирать школу, впустила Раису, а сама побежала сносить с телеги вещи.

Гулко отдались в пустых комнатах шаги Раисы, и от спертости, с сильным запахом сосновых досок, воздуха ей стало трудно дышать. Она быстро распахнула окна. Теплый зеленоватый свет наполнил комнату, и в окна глянула широкая синева неба.

Татьяна тем временем перетаскала все пожитки с телеги, принесла воды, подала учительнице умыться и, нащупав в мешке самовар, вытянула его оттуда за ушко так, что он зазвенел.

— Самовар вам ставить?

— Поставь.

Пока сторожиха возилась с самоваром, Раиса пошла осматривать школу.

Школа была просторная, новая, недавно выстроенная. В большие окна непрерывно лилось солнце и так накаляло высокие сосновые стены, что на них выступала

смола. Выкрашенные в желтый цвет парты, сдвинутые в угол, были покрыты пылью. В оконное стекло билась большая муха и жалобно жужжала. Между черным книжным шкафом и школьной доской паук плел паутину. Раиса обошла все комнаты — везде было пусто и тихо: школа напоминала пустой улей, опрокинутый перед домом на солнце. Квартира учительницы состояла из двух небольших комнаток. Особенно мала была спальня. В ней едва могли уместиться кровать, маленький столик и небольшой сундук. Когда Раиса прилегла на кровать, ей показалось, что она очутилась на дне глубокого колодца, так похожи были на колодезный сруб неоштукатуренные сосновые стены, тесно обступившие ее и высоко поднимавшиеся к потолку. Другая комната была немного больше, и из окон виднелась белая церковь среди зелени высоких деревьев.

Пока учительница подкреплялась, сторожиха стояла у дверей, внимательно, со всех сторон рассматривая ее и ее узлы. Наконец она набралась смелости, присела на краешек диванчика, и начался разговор, во время которого сторожиха старалась как можно больше выведать у Раисы и как можно больше рассказать ей.

Раиса узнала, что школа стоит пустая с самого поста, когда учительница слегла да вскоре и душу богу отдала; вон там, в той маленькой комнатке, где Раиса будет спать, там мучилась одинокая, как перст, учительница, и если б не старая матушка, некому было бы и глаза закрыть.

— Разве поп уже старый?

— Нет, поп не старый, он вдовец, у него одна девочка-подросток, а старая матушка — это мать попа... Богач, большим хозяйством орудует, а в селе панов нет, заработать негде, вот и идут люди за то, что даст, к батюшке, а больше за грехи ему отработывают... Теперь подрался с дьячком, никак не поделят приносов.

Тут Раиса узнала во всех подробностях о последней ссоре попа с дьячком, о том, что и когда поп сказал дьячку, что ответил ему дьячок, что из этого вышло, и как вся история отразилась на кривой Семенихе, муж которой приходится двоюродным братом куму дьячка... Рассказ Татьяны, как зыбь от брошенного в воду камня, все более и более широкими кругами расходился по

селу, касался множества людей, захватывал далекие углы и перепутывал такие детали разных сторон жизни, что в голове у Раисы все смешалось и она перестала слушать болтливую сторожиху.

Расположившись кое-как, на скорую руку, в своих двух комнатках, приведя в порядок свою девичью постель, Раиса рано легла спать, но заснуть не могла. Свеча мигала на столике у изголовья, а она, вытянувшись под свежим рядом, обводила глазами дощатые сосновые стены тесной комнатки. При тусклом свете стены еще теснее обступали Раису, еще больше напоминали колодезный сруб. Раиса лежала на дне колодца, а там, вверх, куда свет едва достигал, начинались мир и жизнь.

Жизнь!.. Она думала о ней. Вот ей пошел уже тридцать первый год, а много ли дала ей жизнь? Она только и жила, что в последних классах епархиального училища, когда семинаристы, называя себя ее радственниками, приносили ей «запрещенные» книги, вели с ней разговоры о любви к народу, о политике и даже о том, что нет бога... Ей было страшно и приятно; она пряталась со своим сокровищем, зачитывалась до головной боли, трепетала от новых мыслей и чувствовала такую любовь к несчастному «народу», что сначала хотела умереть за него, а потом раздумала и решила жить. Она считала себя выше своих подруг и других окружавших ее людей; в груди у нее радостно билась волна новой силы. Она рвалась из школьных стен на волю, на службу «народу». И это исполнилось. Отец, старый бедный псаломщик, взял ее домой, в деревню. Но там не было обожаемого страдальца-народа, он был где-то далеко, в России; в деревне были одни мужики, которых Раиса хорошо знала и не очень любила. Дома, в бедности, в большой семье, где не было места для лишнего рта, жилось невесело. Правда, отец из кожи лез, чтобы одеть Раису не хуже поповен и дать ей возможность ездить по свадьбам и храмовым праздникам, где можно было найти жениха-богослова. Но жених как-то не находился, потому что ни богатой, ни красивой барышня не была, горя дома не убавлялось, и спустя два года, разбив все надежды отца, Раиса должна была пойти в учительницы. Тринадцать лет учительницей! Тринадцать лет она сохла, как яблоко в сушилке! Сна-

чала утешала себя мыслью, что она не лишняя на свете, что она служит высокому делу, но эта теория с каждым годом бледнела, теряла краски и со временем вовсе пропала. Жизнь, такая однообразная, такая бесцветная, текла по узкому руслу и ничего не давала для личного счастья; вырабатывались односторонние, профессиональные интересы, вне которых она чувствовала себя, как муха осенью. Она так и называла себя: «Осенняя муха». Раиса не раз спрашивала себя, любит ли она свою школу. Да, она любила школу, любила свою работу, на которой теряла голос, хрипла, надрывала грудь и вела беспрестанную войну со школьниками, с их родителями, с попом и с начальством. Она любила все это, как любит мужик пахоту, жатву или твердую скамью, на которой отдыхает его утомленное, натруженное тело.

Однако для сердца этого было мало.

Правда, оно не раз расцветало под изменчивыми лучами счастья, цвело заброшенное, бесцветное, в тиши, но, не надеясь бросить семя в плодотворную почву, завяло, засохло, как засохли ее лицо, руки и грудь, как засохла она вся, словно полевой цветок из гербария.

И вот, заброшенная судьбою в чужое село, еще более одинокая, чем прежде, ворочается она с боку на бок на дне колодца и не может заснуть и с ужасом думает, что должна же выйти когда-нибудь из этого колодца и встретиться с действительностью, в которой центральное место на этот раз занимает такой пустяк, как отношения с попом.

Уже начало светать, когда Раиса заснула.

Разбудил ее чужой голос под окном.

— Я еще вчера видел, как кто-то подъехал к школе, да и говорю батюшке: не новая ли это учительница, а они и посылают — поди, говорят, к Татьяне, узнай — кто, откуда и что за человек...

Раиса, как ужаленная, сорвалась с постели и стала стучать в окно. Какое ему дело! Это не церковная школа, а земская!.. Она его не знает и знать не хочет, он для нее ничто, он только «законоучитель», да и то не теперь, на каникулах. «Это просто наглость», — думала Раиса и волновалась.

Через несколько дней было воскресенье. Раиса не пошла в церковь. Нарочно. Она бродила по пустым ком-

натам, перечитывала старые книги, сидела в саду под деревом или принимала школьников, которые приносили землянику, чтобы познакомиться с учительницей. Поехать на каникулы ей было некуда — отец давно умер; к родным не хотелось.

Поп ничем не давал знать о себе, и Раиса немного успокоилась.

Раиса больше всего любила сидеть у окна в своей «парадной» комнатке, откуда виднелась белая церковь среди густой зелени. Иногда, при ярком закате, церковь казалась розовой, а верхушки деревьев золотыми.

Однажды вечером, когда Раиса любовалась игрою света на церкви, перед окном появилась вдруг фигура. У Раисы встрепенулось сердце. Отскочив от окна, она бросилась к выходу, но вспомнила, что обе двери выходят во двор и она наверняка встретится с попом. Раиса пробежала через класс, открыла окно и выпрыгнула в сад. Поп подергал двери, постоял немного и, обойдя школу, застал Раису у стены.

Оба смутились.

Он снял шляпу, и румянец замешательства пополз у него даже на лысину.

Она, сгорбившись и побледнев, встретила его испуганными и сердитыми глазами.

Он пришел познакомиться. Он знал, что она приехала, и в воскресенье все смотрел, нет ли ее в церкви, но она не посетила дома божьего... Она тут человек новый, никого не знает, и, если случится какая нужда, он просит обратиться к нему, своему ближайшему соседу. Потому что хоть она и земская учительница, он думает, что церковь и школа должны идти рука об руку.

Он не заметил злого огонька в глазах Раисы, которыми она метнула в него при последних словах, и продолжал:

— Я и моя матушка будем очень рады, если вы заглянете к нам... Скоро приедет на каникулы моя дочь Тася... вам будет веселее...

Раису мучил один вопрос: позвать ли попа в комнату? Она была «из духовных», и это привило ей определенное уважение к людям не из мирского сословия, однако крайняя неприязнь к гостю победила.



«Ну его!» — решила Раиса и слушала дальше. Гостю наскучило стоять. Ища глазами, куда бы сесть, он медленно понес свою закутанную в подрясник, скорее женскую, чем мужскую, фигуру к садовой скамье.

Раиса тоже села на краешек.

За полчаса, которые о. Василий просидел на скамье в школьном саду, он успел пожаловаться на свою пьяную, ленивую и не заботящуюся о церкви паству, расспросить у Раисы, кто она и откуда, и даже слегка упрекнуть покойную учительницу за то, что не сумела привить молодому поколению дух покорности...

Раиса неохотно и коротко отвечала своему гостю, но о. Василий благодушно не замечал этого. Прощаясь, он еще раз пригласил Раису в гости.

Раиса вбежала в дом. Щеки у нее горели, в груди билось неприятное чувство неисполненного долга... «Надо было позвать в комнату... первый раз пришел!.. А ну его!.. — снова подумала она. — Обидится? Покорнейше прошу. Не надо мне с ним никакого знакомства».

Однако знакомство не прервалось.

Старая «матушка» прислала как-то ей тарелку малины, а когда Раиса прихворнула немного, Татьяна сообщила об этом «батюшке», он дал ей несколько порошков хины и после этого расспрашивал у Татьяны о здоровье учительницы.

Все же Раиса не показывалась ни в церкви, ни в доме у попа, хотя была уверена, что обижает духовное семейство. «Пусть!» — упрямо говорила она и отводила тогда глаза от окна, в которое глядела на нее белая церковь в объятиях зеленых великанов.

Прошел май, началась июньская жара. Один день выдался особенно жаркий. С самого утра Раиса ощущала какую-то тревогу в теле. «Непременно будет гроза!» — с ужасом думала она. И действительно, после невыносимой духоты и безветрия как-то быстро опустели сумерки и воцарился мрак. Небо и земля потемнели, на горизонте появилась черная полоса. Вскоре на полосе блеснуло, словно вспыхнула спичка и тут же погасла. Немного погодя сверкнуло в другом месте, а затем вспыхнуло снова на первом. Небо перемигивалось. Проблески света, сначала такие бледные и слабые, все разрастались, становились сильнее. Казалось, за черной

полосой тучи то вздымается, то падает, чтобы подняться на другом краю, волна огненного моря.

Но вот в новом месте что-то мигнуло. Свет молнии потускнел, зато раскаты ускорили темп. Черное небо беспрестанно мигало молнией, улыбалось кривою улыбкой.

Раиса волновалась все больше и больше. Тучи, конечно, могли пройти стороной, и тогда все ограничилось бы далекой молнией, однако могло случиться и иначе, а тут, как назло, она отпустила домой Татьяну и осталась одна в пустой школе. Раиса зажгла перед образами лампадку, забилась в угол, подальше от окон, и вздрагивала всякий раз, когда окна вдруг голубели от сильной молнии и мебель, застигнутая светом врасплох, словно разбегалась с какого-то тайного совета.

Ночь быстро надвигалась.

Черные тучи росли на горизонте, напоздали над черной землей. На дворе стало черно, как в трубе. Зато молния все разгоралась, рдела, становилась ослепительно белой. Когда она белой лавиной раздирала завесу ночи, на горизонте появлялся на мгновение в огненной рамке черный силуэт тополей, ветряных мельниц и хат и пропадал, как сон. Тишина вокруг была насыщена тревогой, ужасом, даже теплый воздух молчал, как испуганное дитя. Казалось, гигантское чудище-зверь надвигается на притихшую землю, раскрывает огненную пасть и скалит черные зубы. От его дыхания трепетали деревья и спряталось все живое. Зверь все приближался, шире раскрывал пасть, чаще дышал пламенем... Слышен был уже далекий рык... И вдруг случилось нечто необычайное: неподвижный воздух встрепенулся, закружился, метнулся в сторону, взлетел над землей и с безумным ужасом ринулся в бегство... Он мчался вслепую во тьме, со свистом и шипеньем испуга, разбивая грудь о заборы и стены, увлекая за собой песок, листья, деревья и все, что лежало на его пути. А вдогонку за ним мчалось так же черное чудище, нависало над землей и дышало пламенем.

Вдруг — р-р-р...

От этого рыка задрожала земля, зазвенели оконные стекла и екнуло сердце.

Раиса вскрикнула. Еще раньше, при каждом промовом раскаты, она беспокойно вздрагивала в углу, между

двумя стенами, и тихо постанывала. Ее вытаращенные глаза и побледневшее, сразу осунувшееся лицо светились в темноте, как фосфор. Она чувствовала, что волосы у нее стали жесткими, как проволока, и что-то холодное то и дело касается их. Ноги и руки были холодны, как лед, а внутри, в груди, клубком катилась тревога. Но когда началась канонада и над головой ее покатались небесные ядра, Раиса сжалась вся и забилась в угол, с немой ужасом ожидая катастрофы. Лампадка перед иконой погасла, и у Раисы не было сил встать и зажечь ее. Тем временем пальба становилась все чаще. По небу летали огненные стрелы, красные змеи, целые клубы пламени. Когда с одной стороны раздавался дружный залп, с другой в ответ ему вылетал и катился по небу такой могучий гром, что земля содрогалась, стены в школе ходили ходуном, а парты в соседней комнате в диком испуге срывались с места и с грохотом носились по пустому классу...

Канонада тянулась долго и упорно.

Но вот все стихло, притаилось, словно собиралось с силами. И вдруг все небо вспыхнуло огнем, расколослось посередине и со страшным треском рухнуло на землю, перковь пошатнулась, стены в школе обрушились, и все исчезло и стихло...

— Панна Раиса, вы еще живы и здоровы? — услышала она около себя чей-то чужой голос.

Вспыхнула спичка, и в бледном свете возникла перед ней крупная фигура о. Василия в белом подряснике. С его парусинового огромного зонта сбегала на пол струйка воды, а сапоги были в грязи. Он принес с собой в душную и спертую атмосферу закрытой комнаты сырость и свежесть летнего дождя, и от ворвавшейся струи воздуха Раиса немного пришла в себя. Увидев учительницу почти в обмороке, ее бледное, пожелтевшее лицо, широко раскрытые глаза, о. Василий вскричал:

— Господи, что с вами?..

Он торопливо зажег свечу, поднес ее к лицу Раисы и с беспокойством спросил:

-- Что с вами?

Раиса молча смотрела на него расширенными зрачками, хотя, казалось, узнавала гостя.

Отец Василий сложил пальцы своей пухлой, как у попадьи, руки и, обвевая лицо Раисы холодом влажного рукава, перекрестил ее большим крестом:

— Во имя отца и сына и святого духа...

Раиса поднялась на ноги, повела тревожно глазами и тихо спросила:

— Грозы... нет уже?..

Нет... Прошел чудесный проливной дождь, и небо теперь ясное. Ну и буря была!.. Когда грянул последний гром, он думал, что загорелась церковь, и поспешил посмотреть... Но оказалось, что все благополучно, хотя ударило где-то недалеко от церкви или от школы. Тут он вспомнил, что Раиса осталась одна, потому что отпустила Татьяну домой, и ему захотелось узнать, не случилось ли чего с Раисой, не испугалась ли она, тем более что двери школы были открыты... А тут вот что... Ну, как же она себя чувствует? Лучше? Слава богу!.. Вот только в комнате душно, нездорово, лучше открыть окно... Что? она боится?.. Но ведь небо совсем ясное, звездное, а воздух чистый и тихий. Правда? Ей так лучше будет. Может ли он чем-нибудь помочь ей? Не послать ли за Татьяной, ведь она еще не совсем пришла в себя... Разумеется, если она не хочет, он не пошлет, хотя, по его мнению, так было бы лучше... Зато он сейчас же пришлет ей настойки на травах, полрюмки этой настойки прогонит с ее лица бледность и успокоит сердце. А теперь он пожелает ей спокойной ночи и надеется, что завтра она встанет совершенно здоровой...

И когда он прощался, от его пухлой руки, от белого подрясника, в который закутан был почти женский торс, от бледноватого лица, серых глаз и даже лысины веяло таким спокойствием, что Раиса не могла так быстро отпустить его. Как-никак она была ему благодарна.

— Посидите еще, — робко попросила она о. Василия, не выпуская его руки из своей, — чего вы так торопитесь? У меня должен быть готов самовар, я еще перед грозой поставила его... Напьемся чаю...

И, не давая ему времени для ответа, она нырнула в темноту соседней комнаты...

Самовар радостно шумел и пускал пар. Лампа под белым абажуром золотила новые сосновые стены. Запах свежего чая смешивался с насыщенным озоном возду-

хом, в открытые окна смотрело звездами небо. Раиса звенела стаканами. Ее сухая фигурка в белом платье металась по комнате, как перышко на ветру, черные глаза блестели, на увядших щеках горел легкий румянец, а в голосе слышалась такая нотка, точно электричество, пронесясь над землей, оставило частицу в этом хилот теле.

Отец Василий, заложив ногу за ногу и пуская струйку дыма от папиросы, удивлялся этой внезапной перемене в настроении учительницы, хотя эта перемена была ему приятна. Ему приятна была и та чистота, какой блестело золото самовара, молочный абажур лампы, сосновые стены, платье хозяйки и звездное небо.

Раиса еще не совсем пришла в себя после грозы, — это было заметно по легкому дрожанию рук, когда она ставила перед гостем стакан, по ее нервным, слишком быстрым движениям, по блеску глаз и приподнятому настроению. Ей сразу стало так легко говорить с о. Василием, как будто он был ее старым и хорошим знакомым.

Оказалось, что она знала его покойную жену. Фаня была на два класса старше, но она хорошо помнит ее. И вот она умерла... восемь лет прошло, как умерла, а Раиса ничего не знала.

— Единственное утешение осталось у меня в жизни — это моя девочка Тася... она завтра или послезавтра придет.

И когда о. Василий говорил о дочери, лицо у него становилось добрым, а серые глаза сияли. Он был рад, что есть с кем поговорить о своей любимице, а Раиса интересовалась девочкой.

Кроме Таси, они вспоминали многих общих знакомых — и тут Раиса ждало немало сюрпризов... Она, например, никак не могла представить себе, что тот рыжий, как голландская корова, рябой и долговязый семинарист, который, пришепывая, излагал ей идеи Фейербаха, носит теперь камилавку, имеет наперсный крест и дослужился до благочинного.

— Что вы говорите? — не верила она собственным ушам.

— Ей-богу... Разве вы не читаете «Епархиальных ведомостей»?

Нет, она никогда не читала «Епархиальных ведомостей», и он обещал принести ей их.

Тем временем рой воспоминаний и известий о смерти и наградах, о счастливой или печальной судьбе общих знакомых тихо звенел в комнате под веселый шум самовара и вызывал в памяти давно забытые события и лица, пережитые когда-то чувства, лелеянные когда-то надежды...

После ухода о. Василия Раиса нырнула в постель, на дно колодца.

Однако она не замечала теперь уходящего в высоту сруба, над которым трепетал крыльями мрак.

Перед ее глазами стояла крупная фигура со спокойным лицом, с лучистыми глазами, со сложенными над ее лбом пальцами пухлой руки.

Через два дня в школу прибежала двенадцатилетняя девочка с кругленьким лопоухим личиком между поднятыми вверх плечами. Ее быстрые черные глазки напоминали покойную Фаню, и Раиса сразу догадалась, что это Тася. Плохо сшитое ситцевое платьице не скрывало коротенькой фигуры, белые чулки плотно облегли толстые икры, а желтые ушки рыжих башмаков болтались сверху, как свиные уши. Тася шмыгнула мимо Раисы и, не заметив ее, обежала все классы, стуча башмаками и заглядывая во все углы, точно она вернулась в свой дом и осматривает, все ли в порядке. Наконец она наткнулась на Раису и сконфузилась. Однако не надолго. Через несколько минут она уже засыпала Раису беспорядочными вопросами: есть ли у нее сестра? А вишни в саду уже поспели? В училище у нее была та самая начальница? Какое варенье Раиса любит, потому что она любит всякое... и т. д. и т. п.

Тася быстро подружилась с Раисой, не выпускала ее руки из своих, тянула к себе в гости. Раиса пошла.

В поповском доме они никого не застали. Но о. Василий скоро пришел и очень обрадовался Раисе.

— Маменька... маменька... — кричал он в другую комнату, вытирая вспотевшую лысину, — гостя у нас...

Где-то далеко послышался частый стук, точно коза стучала копытцами по мосту. Немного погодя в дверях показалась черная старуха с палкой в руке, от которой и шел этот странный звук.

— Маменька... маменька... — передразнила она сына, — гостья... а какая это гостья? Учительница... могла бы давно уж притти...

Она снова постучала палкой, прошла через комнату, не обращая внимания на Раису, села на стул и забормотала: «Маменька... маменька... учительница... учительница...»

Несмотря на нелюбезное приветствие, Раиса сразу почувствовала симпатию к этой старосветской фигуре в черном мещанском наряде. Голова у матушки была повязана по-старосветски черным платочком, из-под которого вместо лица выглядывало печеное яблоко.

— Мать на всех нас так ворчит, — просил извинения о. Василий.

— Ворчит... ворчит... — повторила старая попадья, встала, прошла, постукивая, через комнату, села на другой стул и забормотала что-то себе под нос.

На нее, очевидно, не обращали внимания.

Тем временем Раиса видела, как в другой комнате Тася присела перед печкой, засунула туда руки, долго копалась и вытащила, наконец, баночку с вареньем. Сняв осторожно бумагу, она запустила туда палец, запачканный золой, и быстро сунула его в рот. Она с таким наслаждением лизала варенье, что черные ее глазенки блестели, как у зверька, а торчащие уши краснели так, как будто их только что надрали.

Отец Василий хвалился своим хозяйством. Он показал собственноручно посаженные яблони, дал им отличную рекомендацию, познакомил ее с запахом конюшни, с грязью коровника и созвал для нее все кудахтающее, гогочущее и крякающее пернатое царство. Из всех зверьков, которые окружали Раису на большом дворе поповской усадьбы, самым живым и любопытным была Тася, коротенькая фигурка которой шмыгала между телятами или врывалась среди невыразимого гвалта в гусиное стадо.

Пили чай на веранде, при тихом закате солнца. От крупной и благодушной фигуры о. Василия, непрерывной воркотни старой матушки, напоминавшей журчанье воды в водосточной трубе, от живости молодой козочки Таси, от простой беседы и обстановки веяло на душу покоем. В двери, открытые в комнату, смотрели с пор-

трегов архиереи над старинной красной мебелью и увеличивали небольшое общество, в котором Раиса не чувствовала себя одинокой.

Лед тронулся, знакомство завязалось.

Раиса рада была, когда Тася иной раз с самого утра забегала к ней и тянула ее в лес или в поле. Иногда они брали с собой о. Василия. Он должен был искать с ними грибы, с трудом сгибая свою дородную фигуру в белом подряснике. Когда он уставал, а длинные пряди волос становились мокрыми от пота, они позволяли ему отдохнуть. Потом часто прибегали посмотреть, как он лежит на траве и дымит папироской. Они сносили ему собранные грибы.

Старую матушку Раиса быстро покорила: она варила ей варенье, помогала на кухне, присматривала за работницами. Старуха была очень рада и выражала свои чувства, ворча на нее, как и на всех домашних.

Все четверо составляли как бы семью.

Особенно веселыми были у них воскресные обеды. Сразу же после богослужения Тася тянула Раису к себе, и та должна была идти на кухню, чтобы приготовить для маленькой лакомки что-нибудь сладкое. Раскрасневшись у огня, с засученными рукавами, влетала она в столовую, гремела посудой, помогала прислуге накрывать на стол и прогоняла о. Василия, валявшегося с газетой на диване.

— Идите к себе, вы нам мешаете! — весело кричала она ему.

За обедом, как всегда, начинался спор с о. Василием. Считали, сколько о. Василий выпил рюмок.

— Вы уже пять выпили! — с возмущением кричала Раиса. — Вам это вредно, а вы пьете и пьете.

— Какая из вас учительница, до пяти сосчитать не умеете: я выпил четыре, а не пять.

— Нет, пять... Я вам запрещаю больше пить — слышите?

— Ого!

— Вот вам и ого! — дразнила Раиса и быстро хватала со стола бутылку.

Отец Василий защищал свои права и шел войной на Раису, превращаясь вдруг из слуги божьего в слугу



Марса. За столом поднималась страшная возня. Тася визжала, как недорезанный поросенок, старая попадья ворчала, переходила с места на место и недовольно стучала палкой, так что даже посуда звенела.

Кончалось обычно победой более слабой стороны, но в сущности довольны были все, хотя аппетит у Таси так разыгрывался от борьбы, что от сладкого почти ничего не оставалось!

Вместе они ездили на сенокос, в поле, на пасеку. О. Василий привыкал к учительнице. Он иногда посылал ее присмотреть за работницами, половшими свеклу, или поручал отвезти полдник косарям, что Раиса делала охотно. В этих приятных, привычных для Раисы развлечениях время проходило тем более незаметно, что она чувствовала себя в семье о. Василия, как в родной. В конце лета Тасю отвезли в школу, и всем стало грустно. Зато у о. Василия появился предлог чаще навещать школу, чтобы поговорить с Раисой о своей любимице. Кроме того, он приносил с собой «Епархиальные ведомости», которые ему было лень читать одному, и они читали вдвоем. О. Василий прежде всего раскрывал отдел хроники. Там были все знакомые фамилии, описывались всякие случаи и перемены в жизни местного духовенства. Сначала Раиса интересовалась этим из вежливости, чтобы не обидеть о. Василия, а потом втянулась и прониклась интересами своих прежних, еще со времени училища, знакомых. Случалось, что привозили почту, а о. Василия не было дома, и Раиса тогда первая прочитывала новости и с нетерпением ожидала о. Василия, чтобы поделиться с ним этими новостями.

— Слышали ли вы, что отца Аркадия перевели в другой приход, а отец Феогност получил набедренник? — встречала она его.

— Неужели? Откуда вы знаете?

— А вот читайте...

И они наклонялись над газетой так, что черная гривка Раисы щекотала лысину о. Василия.

Скоро о. Василий нашел работу в школе. Родители приводили детей записывать в школу, и Раиса таким образом знакомилась с крестьянами. Тут о. Василий был очень полезен: он знал каждого крестьянина, его жизнь, характер и мысли, знал его жену и детей, его

богатства тленные и нетленные. Важно рассевшись в классе, о. Василий распоряжался:

— Этого можно принять — мать его богомольная женщина, никогда не пропустит службы...

— А! И ты, Иван, привел хлопца в школу!.. Хочешь, чтоб и сын был такой умный, как отец?.. Нет, этого не записывайте... Я его знаю...

— Смилуйтесь, батюшка, не гневайтесь, я же в этой потраве не повинен...

Тут начинались счеты за потраву или за какую-то украденную рожь, о. Василий сердился, фыркал, краснел и настаивал, чтобы мальчика не записывали. Раису это сердило, однако при людях она считала неудобным напоминать попу о своих правах. Когда же Раиса узнала, что крестьяне, прежде чем идти к ней, стали ходить к попу с просьбой о своих детях, она возмутилась и высказала ему свое недовольство.

Однако о. Василию удалось успокоить Раису, и вышло так, что она еще должна была благодарить его. Да и как было не благодарить или не слушать его! О. Василий все знал и все мог. Надо было починить крышу в школе, потому что она протекала, — о. Василий сразу же находил мастеров. Нужны были учительнице дрова на зиму — о. Василий присматривал, чтобы привезли сухих. Вздумалось Раисе поехать в управу или в местечко — о. Василий давал лошадей и т. д., и т. д.

Раиса и в самом деле была благодарна ему за бесчисленные мелкие услуги и советы, без которых она в чужом селе чувствовала бы себя гораздо хуже.

Кроме того, он ей нравился. С ее точки зрения, он был красив: от его высокого лба веяло спокойствием и благородством, серые открытые глаза освещали тихим светом все лицо. Он был несчастен, потому что так рано остался вдовцом. Раиса чувствовала иногда в сердце какую-то нежность, материнское чувство к этой разбитой жизни, и ей легче было прощать о. Василию, чем кому-либо иному.

После отъезда Таси Раиса условилась столоваться у старой матушки. Каждый день они втроем делили хлеб-соль. Это сближало их, как бы роднило. Раиса даже оказывала некоторое влияние на духовного отца. Она постепенно сокращала обычную порцию рюмок, которую

с. Василий потреблял за обедом, и в конце концов о. Василий совсем бросил пить. Когда он рассказывал ей, как много мог выпить и сколько иногда выпивал, сердце ее переполнялось гордостью от сознания, что смогла же она своим влиянием искоренить такую застарелую и пагубную привычку.

Долгие осенние вечера они проводили вместе за круглым столом поповской столовой, при свете тусклой лампы. Под воркотню старой матушки велись бесконечные разговоры о Тасе, припоминались в мельчайших подробностях ее детство, ее шалости, словечки. Они строили планы ее воспитания, мечтали о ее судьбе. Атмосфера в столовой становилась теплее, родственнее.

Осенний холодный мрак, окружавший дом и бивший в окна мелким дождем, отделял их от целого мира. Они чувствовали себя на необитаемом острове и ощущали поэтому еще большую близость.

Иногда они читали длинные и скучные романы без последних страниц, вытащенные в кладовой из кучи запыленного хлама. Читала Раиса. О. Василий ходил вперевалку по комнате, заложив руки в карманы подрясника и опустив задумчиво голову, а по стенам ползла тень косматого медведя.

Старая попадья дремала. Иногда спросонок она придиралась к какому-нибудь слову, ворчала, стучала палкой и приходила в такую ярость, что Раиса должна была останавливаться. Ее успокаивали — и снова лился по комнате ровный голос, брал штурмом комнату осенний дождь и ползла по стенам медвежья тень.

Но по-настоящему праздничными бывали те вечера, когда о. Василий читал написанные им для воскресенья проповеди. Он ближе придвигал к себе коптящую лампу, закладывал за уши непокорные пряди волос и обращался в деспота. Малейший шум, малейшее, хотя бы и одобрительное, замечание старой матушки приводили его просто в ярость. Он читал свое произведение, и светлые глаза его метали искры, а вибрирующий голос, слегка гнусавый, извергал множество энергичных слов. С легким румянцем на щеках, с глубокой морщиной между бровей о. Василий громил своих прихожан, как ветхозаветный пророк. Кражи, непослушание, пьянство, равнодушие, убиение души и тела густой тучей нависали над

головами, а навстречу этой туче шла еще более черная, еще более грозная туча страшных посулов адской кары и пахла серой и дышала пламенем. А среди этих черных туч, как белый невинный голубь, возносилась дородная фигура вдохновенного проповедника и влекла к себе зачарованные взоры обеих женщин.

— Я им покажу, я их допеку! — устрасал о. Василий отсутствующих прихожан.

Правда, все это было красиво и сильно, однако некоторые места не удовлетворяли Раису. Ей казалось, что одни мысли надо пояснить, развить, другие совсем выбросить, к тому же аллегории не всегда были ясными и последовательными. О. Василий не допускал никакой критики. Как написал, так написал.

— Ни слова не изменю! — горячился он.

Однако Раиса настаивала на своем, доказывала. Начинался горячий спор, в котором иной раз неосторожное слово из уст о. Василия оскорбляло Раису. Кончалось тем, что Раиса брала карандаш и делала в рукописи вставки и поправки, с которыми о. Василию приходилось все-таки соглашаться.

В воскресенье Раиса пораньше бежала в церковь, с нетерпением ожидала проповеди. Она внимательно следила, какое действие оказывает проповедь на прихожан, особенно в тех местах, которые были изменены ею, и ей казалось, что бабы с большим чувством сморкаются, а лица мужиков приобретают более умное выражение.

Проповедь казалась Раисе величественной, а о. Василий достойным одержанной победы. Лучи этой славы освещали и ее, бедную учительницу, потому что и она частью своего «я» влияла на массы. Это поднимало ее в собственных глазах.

Понемногу и незаметно Раиса привязывалась к о. Василию.

Особенно чувствовала она это в те дни, когда о. Василий ездил к благочинному или на поповские съезды и Раиса по вечерам оставалась дома. Она тосковала, бродила по своим чистым комнаткам, не находила себе места. Школа казалась ей сосновым гробом.

Не зная, что с собой делать, куда деваться, Раиса бежала к старой матушке. Весь вечер вдвоем они разговаривали о высоких душевных свойствах о. Василия и

в том, какое это несчастье остаться вдовцом в молодые годы.

В странном настроении возвращалась она от матушки и долго не могла заснуть. Лежа на своем узком монашеском ложе, в слабо освещенной свечою комнатке, она ощущала в груди прилив теплой волны. Невольно вспоминался ей тот радостный трепет, с каким приступала она девочкой к причастию, или теплая, сладкая, до истомы приятная молитва верующего сердца. Давно это было...

Она хотела бы снова пережить эти минуты, насладиться ими. Но возможно ли это?

Она лежала и надеялась, что оно придет снова, это чистое, испытанное в детстве чувство, и, как весенний дождь, оживит иссохшее сердце. Она надеялась и вместе с тем боялась надеяться.

И оно приходило.

С высоты, где клубился мрак и куда Раиса поднимала глаза, нисходила на одинокое сердце божья благодать, и оно распускалось, как цветок папоротника, пышным, хотя и недолговечным цветком...

Она засыпала с освеженным, теплым телом, ей было стыдно и хорошо, как ребенку после долгого и горького плача.

Иногда после такой ночи Раиса чувствовала в сердце холодную и острую сталь. Эта сталь резала ее, ранила сердце, приводила в отчаяние.

— Не надо иллюзий, не надо обмана, — сердилась на себя Раиса, — довольно прятаться от действительности... я не ребенок. Если жизнь не удалась, не могу же я подсластить ее конфеткой в раскрашенной бумажке... я не хочу себя обманывать, не надо мне тщетных надежд, не надо мне никого и ничего... Да, никого и ничего...

Она никого не хотела тогда видеть, не ходила обедать, желтела и худела за один день и сухими горячими глазами резала, как ножом.

Обеспокоенный тем, что она не является к обеду, о. Василий заходил в школу, и хотя Раиса кричала ему из спальни, что не хочет его видеть, что у нее болит голова, садился в комнатке и до тех пор ее утешал, до тех пор развлекал, пока она не успокаивалась...

И снова она должна была быть ему благодарна.

Раиса старалась отблагодарить о. Василия, чем могла,

пользовалась всяким случаем. Здоровье же о. Василия она взяла специально под свое наблюдение. Достаточно было о. Василию выбежать без шапки в холодные сени или во двор, как он привык всегда делать, — и Раиса уже мчалась за ним вдогонку с шапкой и с шарфом на шее. Сначала о. Василий равнодушно принимал эти заботы, однако в конце концов они стали ему докучать, особенно когда Раиса устраивала ему сцены за то, что он не бережется.

Она не понимала, как можно не заботиться о здоровье человека, который несет не только семейные, но и общественные обязанности. Он — такой чистый, такой идейный, с могучим даром слова — может и должен оказывать влияние на людей, должен жить для высших целей, для блага своих прихожан. На него возложена миссия.

Она говорила с мужиками об этой миссии... Правда, они поддакивали ей, но иногда выражали удивление по поводу того, что проповеди и поступки батюшки не совсем как-то совпадают. Раиса сердилась, замыкалась в себе и чувствовала отвращение к неблагодарным.

Однако, минуя эти моменты неудовлетворения, Раиса все же находила себе отраду. Раньше она никак не могла бы поверить, что такая простая, обычная вещь, как пост, которой она не придавала до сих пор никакого значения, может стать источником утешения.

Столуясь у матушки, Раиса начала поститься. Она худела и бледнела, чувствуя себя немного ослабевшей от поста при тяжелой работе в школе, но эта воздержанность, эта дисциплина, которыми она поднимала дух в слабом теле, доставляли ей наслаждение.

Другой отрадой стала для нее утренняя служба. Она вскакивала с постели в темной, остывшей за ночь комнате, боясь проспать утреню, и бросала взгляд на часы. Было еще рано. В окна смотрела зимняя ночь, звезды трепетали в морозном воздухе, предрассветные огни в далеких хатах мерцали, как волчьи глаза. Она блуждала по темным, едва освещенным свечою комнатам, ежилась и дрожала от прикосновения холодного воздуха, а шаги ее гулко отдавались в окружающей пустоте. В черном платье (иное она перестала носить), с накинутым на голову темным платочком, она, словно послушница, бежала

в церковь с первым ударом колокола. Там при двух-трех желтых пятнах света сторож подметал пол, и пыль от человеческих ног оседала на грубо намалеванных иконах, на убогой позолоте. Вверху висела тьма и гудела жалобным аккордом разбитых колоколов.

Отец Василий, разглаживая еще мокрые от умывания пряди волос, крупными шагами проходил через церковь к алтарю и наскоро пожимал руку Раисе. Архангел Гавриил отодвигался перед ним, и о. Василий исчезал в алтаре.

Понемногу в церкви то тут, то там вспыхивали огоньки, словно всходили звезды, на иконах выступали сухие и черные лики, у входа слышалось шарканье ног, а по церкви растекались струйки сизого пара изо ртов и носов переябших людей.

Вся эта обстановка будила у Раисы молитвенное настроение. Она становилась за клиросом с правой стороны, перед церковным иконописцем средних веков. За ней сморкался на всю церковь старый псаломщик и мекал, пробуя голос. Служба начиналась. Раиса перебирала в уме молитвы; некоторые из них казались ей поэтичными. Стоя на коленях, она изливала их от полного сердца и все смотрела на о. Василия, словно ожидая, что он возьмет эти молитвы и отнесет их богу. Шепча слова смирения и мольбы, она замечала трепет красных губ под темными усами, ловила блеск серых глаз и была уверена, что высокий, до лысины, лоб источает тихий свет.

А когда о. Василий в клубах синего дыма воздевал свои пухлые руки к первым лучам утреннего солнца и взывал к богу мягким, чуть-чуть гнусавым баритоном, душа Раисы возносилась при этих звуках в высоту и таяла там, вместе с дымом ладана, в золоте воскресного солнца.

Раиса первая подходила целовать крест. Со сладким замиранием сердца, с трепетом благоговения приникала она устами не только к холодному металлу, но и к мягкой руке о. Василия, словно с этим поцелуем проникала в ее тело божья благодать...

Умиротворенной и тихой возвращалась Раиса из церкви. Тело ее делалось таким легким, точно она вдруг похудела, спину немного ломило, дыхание становилось

свободней. Она садилась в своей скромной комнатке, застила стол скатертью и вкушала просфору, это пречистое тело господне, с таким настроением, точно праздничный день далекого детства отбрасывал на нее свою тень...

Работа в школе утомляла Раису, но не удовлетворяла. Ее больше интересовала перемена во взглядах, новые чувства, направление мыслей — все это было так ново, неожиданно. Нельзя сказать, что эта перемена удивляла ее, наоборот, она не могла понять, как могла так долго жить иной жизнью, не пить животворной воды из источника, который носила в собственном сердце. Она просто сама себя обкрадывала. Теперь благодаря небесному соизволению и помощи о. Василия перед ней открылись новые пути, нашлась новая пища для сердца. У Раисы было такое чувство, словно под твердой оболочкой куколки у нее вырастают крылья и набирают сил для полета. Со смирением называла она себя ученицей о. Василия. Ей необходимо было постоянно видеть и слышать своего учителя. Все свое свободное время Раиса просиживала в поповском доме. Она даже считала свой день с той минуты, когда, наконец, могла побыть с о. Василием. Остальную же часть она охотно вычеркивала из своей жизни.

Перед рождественскими праздниками о. Василий слегка прихворнул. Раиса посвятила больному все свое время, все свои силы. Она с таким жаром выполняла обязанности сестры милосердия, что даже наскучила о. Василию.

Однажды она проснулась ночью с ясной и страшной мыслью: о. Василий умирает. Она могла бы поклясться, что кто-то сказал ей сейчас: «Умирает». Она боялась думать об этом и вместе с тем представляла себе бледное лицо с закрытыми глазами на руке у матушки и раскрытую, вздымающуюся от предсмертного вздоха грудь.

Она поспешно накинула на себя платье и, точно за гипнотизированная, выбежала из школы. На дворе снег синел и переливался огнями, в морозном воздухе предметы казались более твердыми, резко очерченными. Вокруг было тихо и пусто. Снег скрипел под ногами у Раисы (калоши она забыла надеть), а она бежала и пред-



ставляла себе: свет в окнах, хлопанье дверей, вопли и стоны, а на руках у матушки смертельно бледное лицо, и полумертвые уста произносят ее имя...

— Иду... — шепчет Раиса торопясь.

Она бежит изо всех сил, хотя ноги у нее дрожат и подгибаются. Она не верит, что добежит и посылает вперед свою душу. Она уверена, что стоит ей добежать, и случится чудо, он оживет и выздоровеет. Вся кровь приливает у нее к сердцу, и только оно одно живет и готово к борьбе.

Раиса чувствует, что ноги ее не выдержат, вот-вот подогнутся. Она собирает последние силы, ускоряет бег движениями всего тела. Но вот, наконец, блеснул свет... в одном окне, в другом, и Раиса грудью налегла на калитку в высоком заборе. Калитка закрыта. Раиса сразу же прильнула лицом к щели. Сквозь широкую щель глянул на нее белый и холодный, точно ледяной, дом с черными заспанными окнами. Было тихо. Даже собаки спали.

Раиса оперлась плечом о калитку и закрыла глаза. Не радость, а изнеможение овладело ею. Точно кровь, прихлынувшая к сердцу, обратилась в морозном воздухе в пар, и в груди стало мучительно пусто.

Когда Раиса открыла глаза, перед ней в синем сиянии белели снега, блестела укатанная дорога, дремали убогие хаты, словно белые грибы на черных ножках. Даже следы в глубоком снегу видела она отчетливо — значит это был не сон, а действительность.

Ей стало стыдно.

Склонив голову, она тихо побрела назад.

«Как бы не увидел кто», — думала она озираясь. Она боялась встретить свидетелей своих ночных странствий.

Везде было тихо и безлюдно. Только возле церкви сторож так неожиданно застучал колотушкой, что Раиса едва не упала.

На следующий день Раиса узнала, что о. Василий спокойно проспал всю ночь и чувствует себя почти здоровым.

Отцу Василию стало надоедать беспрестанное опекание его особы. Когда он выходил из дому, его одежда подвергалась контролю, на него наматывали столько плат-

ков, точно он собирался за тридевять земель, фуфайку же, связанную Раисой, он не имел права снимать всю зиму. Всякий кашель, даже самый легкий, вызывал упреки в неосторожности... Отсутствие аппетита влекло за собой усиленные упрасивания, а большой аппетит — просьбы не объедаться. Это раздражало о. Василия. Это просто какой-то заговор против него. И чего ей нужно от него, этой старой деве?

— Вы мне в рот смотрите, а сами ничего не едите, скоро в мощи превратитесь!

Грубый тон и раздражение о. Василия оскорбляли Раису. Она покорно переносила его деспотизм, ничего не сказала ему, когда он прогнал Татьяну и нанял на ее место кого ему вздумалось, хотя новый сторож вечно торчал на поповской кухне и ничего не делал в школе. Она даже не протестовала, когда о. Василий выгнал из школы двух лучших учеников из-за каких-то своих счетов с их родителями. Но это пренебрежение к ее лучшим чувствам причиняло боль Раисе.

Отец Василий не замечал этого. Зато Раиса прекрасно видела, что он уклоняется от долгих бесед и споров, которые так нравились ей.

Вечера они проводили вместе, хотя это уже не были прежние вечера.

После чая старая матушка усаживалась у печки, ставила перед собой решето с перьями и щипала их в полудремоте. Раиса протягивала руку за книгой и робко спрашивала:

— Может быть, прочитаем?

— Нет, не хочу, надоело... Что там, в этих романах... Не знаю, для кого их пишут, разве только для старых дев, чтобы кровь разогревать.

С этими словами о. Василий искоса поглядывал на Раису и зевал. Он шаркал по комнате, зевал, скучал либо садился на диван и снова зевал со вкусом и с криканьем.

Матушка за перьями вторила ему:

— Ты бы шел спать, а то челюсти свернешь, — советовала она ему.

— И впрямь пойду... что-то меня ко сну клонит, — зевал о. Василий и шел спать, хотя было еще рано и Раиса сидела в столовой.

Порой он усаживался писать церковные книги, словно не замечал Раисы.

Иногда же на него точно дурь нападала — и тогда он становился невыносимым: отпускал Раисе шпильки, издевался над ее экзальтацией, осмеивал даже ее поверхностность, спорил против того, что сам раньше отстаивал. Старая матушка вынуждена была брать под свою защиту смущенную и опечаленную Раису, ругала сына и стучала палкой, чтобы прервать неприятный разговор.

С приездом на рождество Таси отношения улучшились. О. Василий снова стал милым и веселым, а Раиса чувствовала себя хорошо, точно выбросила из памяти все неприятное.

Но согласие было недолгим; Тася вскоре уехала, и о. Василий заскучал. Он вяло бродил по комнатам, понутив голову, и не знал, что с собой делать. Наконец однажды вечером подошел к шкафу, вынул бутылку водки и налил себе рюмку. Раиса воззрилась на него испуганными глазами. О. Василий походил, походил и снова налил рюмку. Раиса с ужасом смотрела на него. Но когда он немного погодя налил третью рюмку, она вдруг поднялась, молча попрощалась с о. Василием и вышла из дому.

Не раздеваясь, не зажигая света, Раиса упала на диван в своей комнате. Она лежала так неподвижно, угнетенная, раздавленная, и понимала только одно: что она одинока. Одинокое, забытое всеми сердце истекало кровью в темном сосновом гробу. На дворе выл пес. Упорно, печально тянулась нота жалобы во тьме. Так вот и она могла бы выть, если бы имела силы. Но к чему выть? Она будет лежать тут без движения, без надежды, до тех пор, пока эта тьма не обратится в вечность. Как живой цветок между страницами книги. Она не хочет слышать ни тиканья часов, ни воя собаки, не надо всех этих звуков, напоминающих о жизни, пусть будет тишина и неутолимая, щемящая боль одинокого, безнадежного сердца. Пусть истечет оно кровью.

Раиса не знала, долго ли она так лежала. Она помнит только, что почувствовала вдруг на своем сердце чью-то теплую, мягкую руку. Она открыла глаза. Над нею, склонившись, стоял Христос, а на черном лифе, там, где

было у нее сердце, лежала его белая и мягкая рука. Раисе стало стыдно и страшно. Она вскрикнула и сорвалась с места. Видение исчезло. Дрожащей рукой зажгла она свечу и отерла пот со лба. Она не могла с уверенностью сказать, был ли это сон или видение, только она и теперь чувствовала на сердце прикосновение, тепло чужой руки.

С того времени Раиса смирилась. Она покорно принимала грубость о. Василия, его насмешки, невнимание, а о. Василий словно упивался силой власти над старой девой и все чаще выражал свое пренебрежительное отношение к ней. Единственной защитой Раисы стало смирение. Чем больше о. Василий отталкивал ее от себя, тем с большим самопожертвованием она посвящала ему свое время, свои силы. Она охотно отдала бы ему последнюю каплю крови своего сердца. Если бы он оттолкнул ее, как приبلудную собаку, ногой, она с любовью и смирением приникла бы устами к этой ноге. Смирение смотрело из ее больших глаз, светилось в ее желтом, иссохшем теле. Она черпала силы в этом смирении, находила в нем терпкое наслаждение, высокую поэзию. Грубые выходки о. Василия Раиса принимала как проявление энергии и непоколебимой воли, а его невнимательное, неровное и часто пренебрежительное обращение с нею объясняла себе тем, что о. Василий живет высшими интересами и ему трудно обращать внимание на мелочи. И она охотно приносила в дар необыкновенному человеку свое сердце и свое смирение, как научил ее тот, кто оставил на ее сердце теплый след руки: это был Христос, конечно Христос. И она чувствовала, что любит его. Она ему молилась. В тишине и уединении вела с ним сладкие беседы. И он понимал ее.

Тем временем Раиса таяла.

Вместе с весенними водами уходило и ее здоровье.

— Вы бы посоветовались с доктором, полечились, — говорил о. Василий, останавливая взгляд на ее восковом лице.

Она ничего не отвечала и только смотрела на него прозрачными печальными глазами.

Весна пришлось кстати Раисе: перед каждым богослужением она готовила теперь для алтаря свежие букеты. Это была ее жертва. Она вставала на рассвете и

зелеными росистыми утрами бродила по лугам, собирая цветок к цветку.

— Уж не влюбились ли вы, что ходите на рассвете на rendez-vous<sup>1</sup> за село? — шутил о. Василий, узнав об этих утренних экскурсиях.

После службы один из букетов Раиса брала себе. Ей казалось, что он менялся. Запах и краски цветов становились более сильными, свежими, словно благодать господня, нисходившая во время богослужения на алтарь, радостно раскрывала их венчики. Раиса прижимала букет к устам и сердцу и ставила у себя в спальне на столик.

Там, в этой монастырской келье, с белоснежным девическим ложем и черной одеждой на стене, под чистой простыней она соорудила себе подобие алтаря, увитого душистыми травами, свежими и сухими цветами. На видном месте стояла рядом с букетом большая фотография о. Василия.

Раисе мало было церковной службы; она опускалась на колени перед своим алтарем и, не сводя глаз с портрета о. Василия, думала о Христе и, одурманенная запахом цветов, опьяненная жалобами, из самой глубины сердца воссылала ему свои молитвы. Ему, одному ему, открывала она сердце. Она жаловалась ему на свою жизнь, бесцветную, бледную, не дающую удовлетворения. Вокруг нее пустыня, немая, без радости, холодная. Она не хочет такой жизни, ей не нужна такая жизнь. Зачем же ты, господи, вложил в нее огонь, если этот огонь лишь в пепел обращает ее сердце?.. Ты сам видишь, как она страдает, возьми ее к себе, дай ей счастье, которого она не узнала на земле, которого жаждет, как питья в горячечном жару... К ногам твоим, прибитым на кресте, она слагает свое одинокое сердце и всю силу своей любви... Ты добр, ты прекрасен, она будет тебе верно служить, будет твоей смиренной рабою. Утоли ее печаль. Освежи ее запекшиеся уста. Возложи на ее сердце свою руку, уйми его мятежный трепет, как ты уже сделал раз... господи! Иисусе!

Одурманенная запахом цветов, опьяненная жалобами из самой глубины сердца, она возносила руки к небу,

---

<sup>1</sup> Свидание.

замирала в молящей позе и с верой в чудо призывала к себе утешение. Утешение приходило оттуда.

Тихая, кроткая фигура Христа спускалась к ней. Серые глаза его сияли тихим пламенем и нежили лаской. Он брал ее за руки, такую бедную, такую маленькую, как перышко поднимал ее — она чувствовала, что отрывается от земли, — и прижимал к груди.

Необъяснимым счастьем наполнялось ее тело от этого прикосновения, в сладкой истоме кружилась голова, а испепеленное сердце снова наливалось горячей кровью, пылало небесною радостью... Неудержимые слезы текли по ее лицу...

— ...Ты понимаешь, — продолжала Раиса свой рассказ близкой приятельнице и школьной подруге, неожиданно заехавшей к ней, — ты понимаешь: это человек необыкновенный, не простой сельский поп... Если бы ты знала его высокие мысли, благородное сердце, его идейность, чистоту душевную... ты была бы очарована им... Он красив... его серые глаза сияют тихим светом, на бледном лице и высоком лбу спокойствие и гордость... Волосы слегка рыжеватые, но это не портит их, наоборот — губы от них кажутся более свежими... Голос музыкальный... Ты его увидишь, ты должна увидеть... Его, может быть, не все любят, потому что он энергичен и обладает непоколебимой волей... Этому человеку место не здесь, не в деревне. Здесь он пропадет... И вот представь себе мое горе: он собирается к отцу Ивану на храмовой праздник...

— Какое же тебе тут горе? Пусть едет...

— Ты не понимаешь, ты не хочешь понять... Он не должен туда ехать... ему там не место... там будет только пьянство, карты, кутеж... Он должен быть сильным, он должен быть выше их... Он бросил пить... Я его так просила, так молила, чтобы он не ехал... Неужели я... неужели он...

Раиса всхлипнула и умолкла — голос ее оборвался от спазмы.

Она сидела молча, а большие слезы тихо катились по ее лицу, такому жалкому, такому несчастному, с выражением вопроса и муки. Пальцы хрустнули от

внутренней боли, а затуманенные слезами глаза смотрели куда-то в пространство.

— Ты не понимаешь, — начала она снова, обращая к приятельнице мокрое лицо, но та прервала:

— Нет, я очень хорошо понимаю: ты его любишь.

— Что ты сказала?

— Я говорю, что ты его... — и не кончила.

Раиса отшатнулась вдруг от приятельницы и тихо вскрикнула, как раненая птица.

Перед ней сверкнула молния, а под ногами разверзлась земля.

Глубокая, головокружительная, черная бездна.

Раиса медленно опускалась туда, и в глазах ее постепенно меркла розовая от заката, одетая зеленью кленов церковь.

*20 сентября 1901 г.*

Чернигов

## ДОРОГОЙ ЦЕНОЮ

### *Рассказ*

#### I

Происходило это в тридцатых годах прошлого столетия... Украинское крестьянство, побежденное в классовой борьбе, с глухим ропотом влачило свое существование под панским ярмом. Это был не подъяремный вол, обычный хозяйский вол, которого корм и отдых могли сделать счастливым: ярмо было надето на шею дикому туру, загнанному, обезсиленному, но овеванному еще степным ветром, не забывшему вкус свободы и широких просторов. Он ходил под ярмом, покоровшись силе, хотя иногда от гнева его глаза наливались кровью, и тогда он бил ногами и, угрожая, наклонял рога...

Свободный дух народа еще тлел под леплом неволи. Свежие традиции свободы, такие свежие, что иногда трудно было отличить сегодня от вчера, поддерживали тлеющую под леплом искру. Старшее поколение, свидетель иной жизни, показывало еще на ладонях мозоли от сабли, поднятой на защиту народных и человеческих прав. Песня воли, опоэтизированной, может, в дни лихолетья, звучала чарующим аккордом в сердцах молодежи, звала ее туда, где еще не слышно было звона кандалов, в которые люди заковывали людей. В широкие, вольные, без пана и панщины, бессарабские степи рвалась горячая фантазия и влекла за собой сотни и тысячи.



Вот хоть бы там, за Дунаем, там, за Дунаем! Уцелевшие после разгрома Сечи, самые отважные и упорные, не смирились, свили себе гнездо в Турции, и, как контрабанду, ввозили оттуда на Украину пылкие призывы к военной организации, к свободе, к сечевому братству.

По ярам, руслам высохших рек, лесным чащам, под покровом ночной темноты, прячась, как от дикого зверя, бежало от пана и панщины все, что еще не сгнило в неволе, не утратило живой души, бежало, чтобы добыть себе то, из-за чего предки обнажали сабли или выходили в бой с кольями и вилами...

А враг тем временем не дремал.

Собственники душ, обращенных в рабочий скот, записанных в хозяйственный инвентарь помещика вместе с волами и лошадьми, больше всего боялись этого беспокойного, свободолюбивого духа народного, — ведь его никак нельзя было приспособить к панским интересам, примирить с несметными богатствами, которые давала пану обработанная холопом украинская земля. Вековая борьба двух станов — панского и мужичьего, борьба постоянная, по временам принимавшая острые формы и проносившаяся бурей над несчастным краем, никогда не прекращалась и не могла прекратиться, хотя пан и победил. Еще недавно, умывшись в Умани собственной кровью и сметав в Кодне стог гайдамацких голов, пан праздновал победу, бдительно защищая свои права на живой рабочий инвентарь — на холопа.

Холоп протестовал, холоп убегал на свободные земли, спасаясь, как мог, от панщины, оставляя на родной земле все дорогое, все милое его сердцу.

Но и там, вдали от родных поселений, наступала его панская рука. На свободных землях устраивались на беглецов охоты, настоящие облавы, как на волков или медведей. По всей Бессарабии носились дозорные, шарили всюду, во рвах, в стогах сена, в камышах болотистых рек, выслеживая несчастных, измученных людей. На юге Бессарабии, от быстрого Прута, по левому берегу Дуная, до самого моря стояло на страже войско и преграждало путь к свободе, синевшей где-то там, за широким Дунаем, за зелеными прибрежными вербами, в чужой стороне...

Голова беглеца была оценена. За каждого пойманного береговые казаки получали плату. Сотни, тысячи не-

счастливых попадались в руки казакам — и должны были испить горькую чашу до дна.

Ужасна была судьба беглеца: его отдавали в рекруты, ссылали в Сибирь, избивали плетью, клеймили, как скот, или, с наполовину выбритой головой, избитого, исполосованного кнутами, отсылали в кандалах обратно к пану, снова в неволю, в рабство.

Чего мог он ждать дома от пана?

И все же, как тающие под теплым дыханием весны снега, потоком текло украинское селянство туда, где хоть дорогой ценою, но можно было купить желанную свободу или лечь костью, найдя вечное успокоение.

— Это ты, Остап?

— Я, Соломия.

— Что же будет?

— Что будет?.. Пусть оно сгорит без огня и дыма... Убегу... уйду за Дунай, может хоть там люди собаками не стали. Вот видишь — котомка... Прощай, Соломия!

— Бежишь... покидаешь меня... Останусь я одна с постылым мужем... Нет, беги, беги, Остап. Если б ты знал, что делается в горницах: пан мечется по дому, как сумасшедший. «Бунтарь! — кричит. — Гайдамака! Он мне людей баламутит!» Позвал есаула: «Приведи мне сейчас же Остапа Мандрыку».

— Так...

— «С живого шкуру сдеру, начисто освежую; я ему, гайдамаке, припомню Кодню!»

— Так...

— «В рекруты, — говорит, — отдам». А пани бледная, бледная, трясет ее лихорадка, заломила руки: «Роман, — говорит, — бежим отсюда, не то убьют нас хлоппы, как моего деда в Умани...» Беги, Остап, беги, дорогой. Поймают — замучают звери, живым не выпустят...

— Чорт с ним. Не столько меня лях страшит, сколько злит наш народ: подставил под ярмо шею, и все равно ему, тянет, и хоть бы что. Эх, пойду туда, где свобода, где другие люди... Прощай, Соломия.

— Перелезай, хоть попрощаемся.

Остап перебросил через тын, за которым стояла Соломия, котомку и влез на тын. Под ночным звездным небом

обрисовалась стройная фигура хлопца и через минуточку пропала в густом бурьяне по ту сторону тына.

— Ну, и крапива тут, весь ожегся. Где ты, Соломия? Ночью и не видно.

— Вот я, — и перед глазами Остапа зачернела большая, как у доброго мужика, фигура. — Идем к пруду, посидим под вербами.

Бредя в высоком бурьяне, пролезая под кустами, густо переплетавшимися в этой заброшенной части панской рощи, они добрались, наконец, до воды. Здесь парило. При полном безветрии густая роща легко сохранила скопленное за день тепло и теперь дышала жаром, как печь. По стеклянной поверхности пруда, из глубины которого глядело темное звездное небо, тихо плыл белым облачком туман и как бы покрывалом заволакивал мерцавшие в таинственной глубине звезды. Ночной душный воздух был насыщен крепким запахом аира, болотной крапивы, теплой воды. Около челнока, в небольшом чистом озерце, окаймленном осокою и широколиственными лопухами, лягушки кричали так рьяно, что заглушали все звуки далекой околицы.

Остап и Соломия опустились под вербой, сидели молча. События, которые привели их внезапно к разлуке, и неизвестное будущее, уже заронившее свою тень в их души, слились в этот миг вместе и заполнили сердца. Говорить мало — что скажешь в нескольких словах?.. Говорить много — зачем?.. Не станет легче сердцу, не изменится доля. Да и некогда уже... время отправляться.

— Куда же ты пойдешь, Остап?

— Мне бы только на Черный шлях попасть, а там будь что будет... там уже укажут.

— Только не иди, голубчик, селом, чтобы не увидел кто-нибудь. Я тебя мигом переправлю на ту сторону, а там кустарником, полем, да и выйдешь на дорогу. Так безопаснее.

Соломия подошла к пруду, вскочила в челнок и начала в нем шарить.

— Проклятый старик отнес весло в шалаш... Ну, все равно, обойдемся и без весла...

Одним ловким прыжком Соломия очутилась на берегу и с такою легкостью выдернула из тына кол, будто это была воткнутая ребенком палочка.

Остап сел в челн, и Соломия оттолкнулась от берега.

Челн плавно закачался на воде, а потом тихо и ровно двинулся по воде над звездами, дрожавшими на дне синей бездны. Соломия с тихой грустью глядела на Остапа и чувствовала, что по ее лицу катится слеза за слезой. Оба молчали. Было бы совсем тихо, если бы не адский хор, в котором лягушки, казалось, старались перекричать друг друга.

Черная панская роща понемногу отодвигалась, заволкиваясь клочьями белого тумана.

Челн ударился о берег. Остап поднял свою котомку и поцеловал Соломию.

— Прощай... Смотри, не забывай моего деда. Передай: пусть не тоскуют. А я уж устроюсь как-нибудь.

— Хорошо, Остап, передам. Да хранит тебя мать божья. Прощай!..

Остап вскочил на берег, легким движеньем закинул котомку за плечи и вскоре исчез в кустарнике, а в челне, как гигантская чугунная фигура, еще долго стояла Соломия, опираясь на кол и всматриваясь в кустарник, где вместе с Остапом исчезало ее счастье.

Остап шел напрямик, минуя узкие извилистые тропинки, протоптанные скотом и пастухами. Ему хорошо были знакомы и этот кустарник, обгрызанный скотом и прихотливо извивавшийся, и далекая окрестность, расплывавшаяся неясными контурами в ночной темноте. Отойдя несколько гонов, Остап остановился и обернулся. Неясным черным пятном лежало вдалеке сонное село, и только в корчме ярко светилось одинокое оконце и приковывало к себе взор Остапа. Этот одинокий огонек в спящем селе был как бы последним «прости» родного уголка, нитью, которая еще связывала его с родиной, со всеми близкими. Но через минуту оконце погасло, и вместе с исчезнувшим светом что-то оборвалось в его сердце, и село отошло далеко от него. Остап, сам того не замечая, вздохнул и двинулся дальше.

То ли под впечатлением прощанья с Соломией и ее слез, то ли как реакция после пережитых волнений его охватила печаль. О чем именно он печалился, не смог бы сказать, да и не думал об этом. Просто тоска сжала сердце, подступив к горлу. Какая-то струна сердца зазвучала, тронутая этой печалью, а из кустарников, с по-

лей, таких родных и милых, — он это почувствовал сразу, — поднялись толпой далекие воспоминания детства, туманные, расплывчатые, но требующие места в сердце для земли, которую он покидал сейчас, может быть, навсегда.

Каждый кустик, холмик, долинка, каждая тропочка — все это было ему знакомо, о многом напоминало. Здесь в компании однолеток-пастушков затевал он бесконечные игры. Здесь пас он панский скот. Панский! В том-то и беда, что панский! Но разве и сам он всю свою двадцатилетнюю жизнь не был только панской скотиной? Разве его отец, мать, Соломия, даже дед, ходивший в Сечь, а потом резавший помещиков в Умани, — разве они не обратились в тот же скот!.. Если бы они не были панским быдлом, не мог бы пан разлучить его с Соломией и насильно выдать ее за своего кучера, не мог бы седого деда избивать на конюшне нагайками... не угрожал бы спустить шкуру с Остапа за смелое слово.

— Спустишь шкуру! — злорадно усмехнулся Остап. — Ищи ветра в поле...

И ему ясно представилось, как будет неистовствовать пан, когда узнает завтра, что Остап бежал.

Хоть бы деду не попало за него... Да что с ним сделают?.. Он уже старик, не сегодня-завтра опустят в могилу. При воспоминании о деду Остап почувствовал что-то теплое в груди. Те сказки-были про Сечь, казачество, про борьбу с панами за волю, которые он слушал, затаив дыхание и не сводя разгоревшихся глаз с уст старика, пробуждали в детской голове фантастические грезы, воинственный пыл. Телята и овцы, спокойно пощипывающие в кустарнике траву, не раз были свидетелями казацких набегов или уманской резни, разыгрываемых подпасками под предводительством Остапа. Воля, воля и воля! Это волшебное слово, опоэтизированное столетним дедом, горячило кровь мальчугану и с годами, в условиях панщины, принимало более конкретную форму, более глубокое значение. Народ страдал в неволе, но страдал молча, не протестуя, и когда Остап, воспитанный дедом в старых традициях, заводил разговор о том, что пора уже высвободить шею из-под панского ярма, люди сочувствовали ему, но дальше сочувствия

дело не шло. Нашлись даже такие, которые нашептывали пану про бунтарские речи хлопца, — и вот теперь Остап, обиженный и затравленный, должен был оставить родной край. Ему было лет десять, когда из-за Дуная, с Сечи к ним в деревню приезжали эмиссары. Он их хорошо помнит. Лежа на печи и притворяясь, что спит, он слышал, как они долго говорили с дедом, рассказывали о турецкой земле, про тамошние порядки, говорили, что под турком хорошо жить, и звали людей на свободные земли. Дед остался, он хотел умереть на родине, а дядя Панас как ушел, так и не вернулся...

Остап шел уже с час. Он не заметил, как кустарник остался позади и началось поле. Безграничные просторы зеленых хлебов, такие прекрасные в это время, дремали среди тихой ночи. Было так тихо, что шаги Остапа звенели в поле, как цеп на гумне. Но он не замечал этого, как не замечал и величия летней ночи, которая легла в безбрежных пространствах, таких свежих, зеленых, ароматных. От быстрой ходьбы Остапу стало жарко. Он сел на меже и разулся. Приятный холодок прошел по его телу, Остапу сразу стало легко.

Темная синева ночного неба тем временем начала понемногу бледнеть. С востока подул ветерок и обвеял Остапа. И сразу стало Остапу весело и легко. Он почувствовал себя свободным. Молодые нерастроченные силы волнами заходили у него в груди, разбежались по жилам, запросились на волю. Остап вскочил и не пошел, а побежал дальше. Ему хотелось запеть, дыша во всю ширину легких, или хотя бы крикнуть, взять вот так что-нибудь в руки — большое, крепкое — и сломать. Но он сдержался.

Теперь он шел быстро, резко размахивая палкой, будто вкладывал всю свою молодецкую силу в эту ходьбу, в движенье, а мысли неслись друг за другом вперед, как на крыльях. И не столько мысли, сколько воображенье. Рисуется ему Дунай, широкий-широкий, ну такой широкий, как Дунай. За Дунаем — Сечь. Пляшут под казаками горячие кони; выгнули шеи, будто змеи... Казаки—что мак: жупан красный, ус черный, длинный, на боку сабля. Впереди... впереди — Остап. Под ним конь горячий, вороной, тот, что у пана остался в стойле; одежда из чистого серебра-золота, сабля до земли. Рас-

сказывает он казакам, за что помещик хотел содрать с него шкуру, какое теперь рабство на Уманщине, говорит, что надо пойти и освободить народ, утешить на старости лет деда и отнять Соломию у ее мужа, ведь она не кучера панского, а его, Остапа, любит. Казаки кланяются ему, пускают коней в галоп, бросаются в Дунай, переплывают его, а потом мчатся — Остап впереди — по лугам и полям к ним в село, на Уманщину... Видишь ли — Соломия...

Вдруг — порх! что-то тяжелое, как пуля, с писком вылетело из-под ног Остапа и задело крылом его грудь... Остап так и отпрянул, словно его неожиданно хлестнули кнутом по ногам. Сердце затрепетало и остановилось. По спине поползли мурашки.

— Тьфу! Чорт возьми! — отдышался он наконец. — Как напугала! — И пошел дальше.

Но мечты уже исчезли, будто птица крыльями развеяла их. Остап снова увидел себя среди поля, почувствовал себя беглецом недалеко от пана и всякой опасности.

Светало. На бледном небе ярко горела звезда. Море колосьев, обрызганных росой, синело в полумраке. От свежего дыханья утра слегка вздрагивала рожь, с румяного востока брызнул свет и мягкими волнами разлился между землей и небом. Над полем, в вышине, уже пели жаворонки.

Остап вышел на шлях и огляделся. Вдали что-то виделось на дороге, будто путник с узелком за плечами брел по дороге из села. На шляху было опасно. Остапу пришла в голову мысль, что пан, узнав о его побеге, мог выслать за ним погоню. Лучше было бы свернуть с дороги в какой-либо яр или ложбину. Там можно даже переждать жару и в сумерки снова тронуться в путь. Но как только Остап свернул с дороги, ему послышалось, что кто-то его окликает. Он оглянулся: ускоряя шаг, путник махал ему рукой, очевидно желая его остановить. Что за наваждение! Первой мыслью Остапа было бежать. Но, рассудив, что пока они один на один, бояться нечего, Остап остановился, поджидая и присматриваясь к путнику. Тому, повидимому, что-то было нужно от Остапа, так как, не удовлетворяясь быстрым шагом, он иногда бежал, придерживая свои узелки за плечами,

и уже вскоре Остап мог ясно разглядеть его стройную фигуру.

Был это молодой безусый хлопец, крепко сложенный, в высокой сивой шапке, короткой свитке и с большой палкой. Остапу было странно, что хлопец словно усмехался, но когда тот приблизился и поздоровался с ним, Остап от неожиданности вскрикнул:

— Соломия, ты с ума сошла!

— Может быть, и сошла, — смеялась Соломия.

— Чорт тебя поберит! Настоящий хлопец... Куда ты и зачем?

— За Дунай, с тобой в Сечь... Принимаешь товарища или нет?

— Что ты, рехнулась, молодлица, или ты нынче шутить решила?

— Хорошие шутки! Как ты ушел, встала я в челне, да так и застыла. Холодная-холодная стою, будто окаменела. Потом очнулась и чувствую — все мне сделалось противно, все гадко: и муж, и панщина, и жизнь моя горькая. Пропадай все пропадом... Пойду куда глаза глядят... С тобой хоть сердцу легче будет... И как можно скорей домой за котомкой — захватила что нужно в дорогу... Только, думаю, будет нас пан ловить. Ну, да я не дура. Чорта с два поймает. Бросилась в клеть — мужа нет дома, повез пани в гости. Сняла с жерди рубашку и штаны. Юбку долой, штаны на ноги, накинула на плечи свитку, шапку на голову — казак казаком... Ищи теперь, пан, хлопца с молодницей... никто не видел, только двух хлопцев встречали... Что же мне со снятой одеждой, думаю, делать? Оставить боюсь, догадаются еще... Взяла подмышку, побежала к пруду, привязала камень и бросила в воду. Вечная память. А потом через село и на дорогу, и бегу, чтоб догнать. Ух, как запыхалась... Ну, что ж, принимаешь хлопца в товарищи или нет?

— А что же я делать буду с тобою в Сечи, а?..

— Вот сказал! Известно, она не пойдет в Сечь в братчики. Да и зачем, если вокруг Сечи всюду слободы и в тех слободах живут наши люди с женами и детьми. Турок дает землю — бери, сколько можешь. Она про это хорошо знает от людей. Они поселятся в слободе, она будет хозяйничать, а он из Сечи станет ездить домой, а



то и совсем останется хозяйничать... А пока в дороге — она ему стирает, досматривает за ним, голову вымоет. «Одному — и дорога долга». Разве он не знает этой поговорки? Ну, пусть он не хмурится, как сыч, а взглянет веселей на свою Соломию, которая ради него надела мужскую одежду и готова путешествовать хоть на край света...

Остап улыбнулся. Конечно, он был рад видеть Соломию, и только неожиданность сбила его с толку.

— О, чтоб тебя муха забодала, что выдумала! — повеселел Остап. — Что же мы тут стоим, — спохватился он вдруг, — давно уже день, и вон отчего-то пылит дорога...

И правда, солнце встало и пылающим оком оглядывало мир, а на степном горизонте будто и впрямь повисло облачко пыли.

Остап и Соломия свернули с дороги в поле и вскоре нашли то, что им было нужно. Здесь, у пересохшего ручья, окаймленного по высоким берегам красным полевым маком, было безопасней; это место имело даже свои преимущества: они нашли степной родничок, который, едва роняя свои слезы, наполнял естественную, поросшую травой впадину и затем струйкой вился по извилинам оврага. Здесь они решили отдохнуть.

Завтрак вдвоем и возможность перебраться дружеским словом с близким человеком совершенно примирили Остапа с неожиданным поступком Соломии; ее доводы значительно успокоили его, и оба товарища, уже без лишней тревоги, утомленные бессонной ночью, заснули крепким сном молодости.

Солнце было низко, примерно в два человеческих роста от земли, когда Остап проснулся. Он хотел разбудить Соломию, но, взглянув на нее, схватился за бока от неудержимого хохота.

— Ха-ха-ха... Вот казак, так казак! — хохотал Остап. — Ха-ха-ха!

Этот смех разбудил Соломию. Она поднялась и, протирая глаза, с удивлением смотрела на Остапа.

— Что с тобой?

— Протри, протри глаза... Ха-ха-ха!

— Они уже и так хорошо видят... Да что с тобой?

— Ну, теперь идем.

Остап помог подняться Соломии и подвел ее к роднику.

— Стань на колени и смотри в воду...

Соломия нагнулась и заглянула в родник.

Оттуда посмотрело на нее свежее полное лицо с карими глазами, выразительно белевшее под клетчатым очипком и выбившимися из-под очипка во время сна прядями черных волос.

— Теперь посмотри на свои ноги.

Соломия взглянула и сразу залилась звонким смехом.

— Ха-ха-ха! — не унимался Остап. — Голова молодницы, а ноги хлопца...

Они смеялись, как дети: она — тонко и звонко, как молодая девушка, он — громко, баском двадцатилетнего хлопца.

— Как же быть? — немного погодя спросил Остап. — Если кто увидит твой очипок, быть беде.

— А вот как! — решительно проговорила Соломия и с этими словами сорвала с головы очипок. Черные буйные косы рассыпались по плечам и упали ниже пояса. — На, режь...

— Что ты говоришь? — ужаснулся Остап.

— Режь, говорю...

— И тебе их не жаль, Соломия?

— Ни капли... Режь, — настойчиво добивалась молодница и опустила на землю.

— Да у меня и ножниц нет.

— Режь ножом...

Остап стоял в нерешительности, но, видя упорство молодницы, вынул нож, наточил его о камень и начал подрезать волосы Соломии в кружок.

Длинные пряди черных кос мертвыми змеями тихо сползали по плечам и ложились на землю, как скошенная трава.

Однако Соломия обманывала себя, уверяя, что ей не жаль кос. Как только нож коснулся волос и к ногам Соломии упала первая прядь, она почувствовала в груди какую-то боль, что-то сжало ей сердце, и на глаза набегали слезы.

Работа была окончена. Остап отошел от Соломии, чтобы издали лучше посмотреть на дело рук своих, а

Соломия, молчаливая, задумчивая, сидела среди срезанных волос и глядела куда-то вдаль.

Заходящее солнце красным светом озарило эту картину: его — стройного и сильного, с черными глазами, орлиным носом и темными молодыми усами на загорелом лице, и ее — в образе белолицего черноволосого хлопца, глядевшего вдаль печальными карими глазами.

— Ну, пора нам двигаться... Эй ты, хлопец, как тебя звать, Семеном, что ли?

— Мне все равно, хоть и Семеном... — вздохнула Соломия и поднялась.

## II

Была темная, осенняя ночь. Черное покрывало густого тумана сливало с небом сожженную солнцем равнину. В долине, на горизонте, что-то серело широкой полосой и расплывалось в темноте.

Это был Дунай!

Еще более густой мрак наполнял глубокие овраги, сбегавшие в долину по склону прибрежной возвышенности. В одном из таких яров, глубоких и изрытых по всем направлениям весенними водами, глухо шумели на самом дне люди. Это были беглецы. Два дня и две ночи сидели они здесь в сырости и тьме, прячась от казацких пикетов, разбросанных по левому берегу Дуная. Сегодня в полночь должны были они прокрасться в прибрежные камыши и там ждать перевозчиков из-за Дуная.

Было их здесь человек тридцать, с детьми, со всяким домашним скарбом, даже с больными, которых нельзя было оставить на чужой стороне.

По дну яра неся глухой шум. Не то осенние воды шумели, сбегая в Дунай, не то бился ветер в извилинах ущелья. Люди говорили тихо, почти шопотом. Какой-то молодой, с нотками сердечности, голос рассказывал обычную историю беглеца: «...и попал я к греку и узнал неволю еще более горькую, чем дома. Заставлял меня работать и днем и ночью, а кормил хуже собаки. Рубаха на мне черная, заношенная, вши на меня напали, грызут. И ходил я, как зверь лесной, и не смел и словом перечесть хозяину: хвастался хозяин, что напустит на меня всяческое начальство...»

— Ох, ох! — вырвалось из чьей-то груди и тихой жалобой замерло в темном ущелье.

Где-то далеко, как муха весной, звенела глухая песня.

— Отче наш... да будет воля твоя... — молился кто-то, подчеркивая слова, с чувством.

Больная женщина тяжело дышала, и по временам раздавались ее тихие стоны.

Среди беглецов были и Остап с Соломией. После всяческих приключений они, наконец, пробрались к Дунаю и вместе с другими ждали переправы.

— Ты еще не спишь, Соломия? — тихо спросил Остап.

— Нет... но так клонит ко сну, так клонит... скорее бы двинуться отсюда...

— Еще рано. До полуночи далеко... Ну и холод, совсем застыл! Иван, — обернулся Остап в другую сторону, — как думаешь, не помешала бы нам охалка хвороста, брошенная в костер, а?

— Боже мой, ведь наверх надо лезть, — ответил кто-то испуганно из темноты визгливым женским голосом и несколько раз глубоко вздохнул, как корова в хлеву.

— И куда его посылаешь? Он на своих коротких ногах не взберется на гору, — бросила Соломия.

— Ов-ва... Ов-ва... бог знает, что выдумали... я не на такие лазил... — обиделся Иван, и после этих слов все услышали, как он начал карабкаться по крутой стене обрыва, дыша тяжело и часто.

— Вишь старается катигорошек, — произнес кто-то в темноте, — молодца слово скажет — в пекло ползет.

Через несколько минут охалка хвороста быстро пролетела в ущелье, а за ней, осыпая глину и подымая пыль, скатился вниз торжествующий Иван.

— Вот и не вскарабкался... вот и короткие ноги... ага! Если бы не короткие ноги, сидели бы все в потемках, а теперь у нас огонь будет... хе-хе-хе... Огниво есть? Есть! А трут есть?.. Есть! Ну, высечем огня, — тараторил он, будто горохом сыпал.

Иван суетился, перебегал без надобности с места на место, шуршал сухим хворостом, ломал его и складывал в груды.

Наконец чиркнула сталь по кремню, на мгновение вспыхнула искра, и склоны обрыва как бы задвигались.

Иван припал к земле и дул в костер. Красную точку, которой он едва не касался губами, охватывал гнев: она росла, краснела, фыркала, как сердитый кот, и в конце концов, не выдержав, встала пламенем, вырвалась серым дымом и залила светом дно котловины.

Иван стоял и смеялся.

Неровный свет озарил короткую плотную фигуру с круглым ласковым лицом, заросшим, как куделью, прядями светлорыжих волос, мелькнул по разбросанным в беспорядке котомкам и по беглецам, которые группами сидели и лежали на земле. Крутые глинистые склоны обрыва желтели, и только вверху, в глубоких извилинах, бился крыльями потревоженный мрак.

Остап и Соломия пододвинулись к огню.

Внезапно издалека, с берега, послышался конский топот. Все насторожились.

— Гаси огонь,— сказал кто-то тревожным шопотом.— Сохрани бог, заметят...

Остап неохотно начал затапывать огонь, но это ему не удавалось. Тлеющий хворост расползлся повсюду огненными червями, стонал и дымился.

Тем временем конский топот стал замирать в отдаленье и, наконец, вовсе затих.

В ущелье снова стало темно. Все молчали.

— Иван, — прервал, наконец, кто-то тишину,— Расскажи-ка, как тебя жинка била и как ты от нее убежал сюда...

— Вот еще выдумал, — чтоб жена мужа била, ведь это беззаконие, это не видано, сроду такого не бывало... Хе-хе-хе,— как-то неуверенно смеялся Иван, словно хотел подбодрить себя.

Иван присоединился к Остапу где-то в пути.

Они были из одного уезда, даже из соседних деревень. Это их сблизило, и Иван уже не расставался с земляками. Веселый, добродушный нрав Ивана не раз бывал очень кстати в тяжелом и долгом скитании по чужим краям. Иван охотно рассказывал о своей семейной жизни. Из этого рассказа можно было заключить, что бежал он не столько от панщины, сколько от злой жены, у которой были слишком большие для невысокого Ивана

кулаки. Вот этой-то злой женой и дразнили то и дело Ивана, но он не сердился и добродушно отшучивался.

Но хотя тело Ивана немного отдохнуло от побоев, душой своей он искал подчинения. Он привязался к Соломии, напоминавшей ему своей дородностью жену, и был готов по ее первому слову прыгнуть хотя бы в пекло. Эту странную привязанность к Соломии замечал не только Остап, но и все, и только подсмеивались над бедным коротконогим рыцарем.

— Сознайся,— донимал Ивана тот же голос,— наверно, молотила, как цепом. Если б сюда не сбежал, пошел бы уже на кожу.

— Ну так что ж,— живо подхватил Иван,— разве я боюсь смерти? Упаси боже. Пошли, господи, хоть завтра. Один раз умирать, не дважды. Умер — и конец, больше не встанешь.

— Нет, лучше не подыхай, Иван, кожи подешевеют...

— Хе-хе-хе! Ох, чтоб тебя, что выдумал,— хихикал Иван, будто булькая из полной бутылки. На смех его, однако, никто не ответил. Люди были серьезные, даже хмуры. Только ребенок иногда заплачет и наполнит котловину печалью.

— Не пора ли нам в дорогу? — спросила Соломия.

— Это дело деда Овсия, он здесь хозяин,— ответил Остап.

Очевидно, этот вопрос интересовал всех, потому что по ущелью пошел шопот: «Пора, пора...» — и начались сборы.

— Тише, тише, не все сразу,— шамкал дед Овсий и все толкался и наступал на ноги.

Двинулись.

Однако выбраться из темного извилистого и узкого ущелья было нелегко. То и дело приходилось спотыкаться, нащупывать дорогу, падать, хвататься за узелки, вставать и снова спотыкаться. Эта неразбериха продолжалась около часу. Наконец подул ветерок — перед беглецами была придунайская равнина. Все вздохнули свободней, хотя опасность именно тут и начиналась. Чтобы очутиться в камышах, надо было пойти по ровному, голому, открытому месту. Дед Овсий построил всех в затылок и пошел сам впереди. Ночь была темная, даже

черная, в нескольких шагах ничего нельзя было разобрать. Легкий туман поднимался над Дунаем, полз по берегам, окутывал беглецов. Они тихо подвигались вперед.

— А я уже держусь вас, как слепой плетня,— шептал Иван Соломии, идя за ней. — Куда вы, туда и я... Чтоб быть вместе. А может, вам тяжело, дайте мне узелок, я понесу,— лепетал он, тяжело дыша.

— Ох, не сопите, как кузнечный мех,— учила его Соломия.— А узелка своего не дам,— я и вас еще могу взвалить на плечи с вашей торбой вместе...

Ноги вязнут, даже в постолах вода, кто-то, не здесь будь помянут, хватает за ноги, не пускает...

Начиналось болото, поросшее тростником. Слышно было, как шелестит камыш жестким листом, как иногда хрустнет под ногой сухая камышинка.

Шли недолго. Старик-проводник остановился, приказал всем залезть в камыш, сложить свои вещи и быть наготове, а сам куда-то исчез.

Близко, совсем рядом, дышала холодной влажностью река, хотя ее не было видно в темноте. Сверху начал сеяться не то дождь, не то туман. Беглецы расположились на болоте, под ногами у них хлюпало. Они сидели неподвижно на корточках, боясь пошевелиться и задеть шуршащий камыш. Они вглядывались в густой влажный мрак. Ноги затекали, туман покрывал одежду холодной росой, вода проникала в обувь. Ожидание помощи, которая должна была прибыть из неведомых вольных стран и освободить их от рабства, заставляло их нервы напрягаться, без конца растягивало время. Ощущение действительности терялось, все принимало необычный, сказочный характер. Напряженному зрению рисовались во тьме какие-то тени, двигавшиеся в тумане, приближавшиеся, удалявшиеся, принимавшие необычайные размеры. Иногда блеснет вдалеке огонь и погаснет, чтобы появиться в другом месте. И снова тьма. На реке что-то плеснуло... раз... другой... Можно было побожиться, что это равномерно опускаются в воду весла, что челны режут волну и вот-вот ударятся носом о берег... Однако кругом тихо... Широкая река спокойно дремлет в легком тумане, черное небо беспрестанно сеет росу... Кажется, что эта долгая осенняя ночь никогда не кончится... напрасны надежды,

тщетны ожиданья... никто не явится, никто и не думает о том, что здесь сидят окоченевшие, взволнованные люди и, как манны небесной, ждут спасенья... Все напрасно... Но глаз снова привлечен блуждающими огнями и движущимися тенями, ухо снова ловит неясные звуки, которые рождают надежду, будят вниманье...

Тело затекает, деревенеет, куда девались мокрые ноги — их и не чувствуешь; почти сладостная истома охватывает человека, безразличие закрадывается в сердце... Все идет своим чередом, и не все ли равно, где погибать — здесь, в этом болоте, или дома, в неволе.

Вдруг — что это? Сон снится, или чудо свершилось? Далеко за рекой что-то блеснуло, точно с неба упал огонь на землю и вспыхнул, как свеча. Рядом тоже озарилось, потом в третьем месте ярко вырвалось пламя. Три огня горели, как свечи в церкви, и нельзя было разобрать — на земле или на небе это происходит. Словно подул холодный ветер и коснулся лиц. Все встрепенулись. Но не успели они опомниться, как огни погасли и одновременно с этим где-то недалеко в камыше тоскливо завыл голодный волк. Эта печальная жалоба прокатилась по реке и заставила беглецов содрогнуться.

— Вишь, проголодался,— сочувственно сказала Соломия.

— Еще не так запоешь, когда живот присохнет к спине... А может быть, это он вас почуял и плачет, что никак не достать... хе-хе...

— Ну, ты его только тронь, катигорошка, он сразу и начнет сыпать,— недовольно проговорил Остап.

— Да что вы!.. Я ничего такого не сказал... ничего.

— Заснули, что ли? — внезапно прошамкал дед Овсий, вернувшись с берега.— Сейчас переправа будет...

Люди всполошились. Так вот он, перевоз... Груды облегченно вздохнули... Сразу стали повиноваться ноги, мокрые, холодные, одеревенелые, застывшее тело требовало движений, действительность развеяла чары, разбудила мозг.

— А что, волк хорошо выл? — шепнул дед на ухо Ивану и засмеялся.

— А чтоб вас медведь задрал... Упаси боже! — удивился тот.— Я ничего такого не сказал... ничего...

И в его шопоте слышалось такое удивленье хитро-



стям деда и такая наивная вера в то, что он сразу разгадал эти хитрости, что Остап и Соломия невольно усмехнулись.

Медленно и осторожно все двинулись к берегу. С нетерпением всматривались в темноту, но ничего не видели и не слышали. Река спала. На западе немного прояснилось, и в мутном небе, как тяжелые тучи, прорезались контуры черных гор. За рекой шумели плавни.

Несмотря на обещание деда, челны не подходили. Люди теряли терпенье. Дети от холода верещали, и трудно их было унять. Место было небезопасно: здесь часто шаталась стража, она могла нагрянуть каждую минуту. Это раздражало. На деда Овсия сыпались упреки, всех охватывало желание поскорей оставить опасный берег и снова забиться в какую-нибудь нору. Там по крайней мере можно разложить огонь и согреться. Никто уже не смотрел на реку.

Вдруг у самого берега что-то плеснулось. Два челна мягко прошуршали по прибрежному песку, и тихий голос спросил:

— Все тут?

На берегу засуетились. Все толпились около челнов, каждый хотел поскорее занять место, устроить свои узелки. Деду Овсию нелегко было поддерживать порядок и спокойствие. Катигорошек одним из первых вскочил в челн и усердно старался втащить какой-то узелок Соломии.

— Соломия... Остап... сюда... ко мне! — звал он шопотом, и сопел, и кряхтел, и вертел головой, суетясь над непокорным узлом.

Неожиданно совсем близко фыркнула лошадь. Все оторопели.

— Садись скорей! — цыкнул перевозчик.

Но уже было поздно.

— Кто там? — крикнул из темноты сердитый голос.

В ту же минуту конская морда наткнулась на группу людей, а над ней свесился казак, будто ища что-то на земле.

— Эге-е! — протянул он, словно говоря с самим собой, скинул с плеча ружье и выстрелил над головами притаившихся беглецов.

Люди опомнились. Ведь он был один, а их много.

Самые сильные бросились на казака, но голыми руками его нелегко было взять.

Тем временем выстрел, должно быть, услышали, так как из темноты уже доносился конский топот, бряцанье оружия и грубые голоса.

— Лови их! Вяжи! — кричали казаки, кидаясь на тех, кто не успел еще сесть в челн. Они соскакивали с лошадей и бросались на беглецов. Все смешалось.

Какой-то огромный солдат схватил Соломию поперек тела и поволок, но Остап насел на него и освободил Соломию.

— Матушки! Спасите! — верещал пронзительный женский голос, покрывая шум борьбы.

А челны между тем уплывали. Вода кипела под веслами, челны вздрагивали и прыгали на воде, как живые.

— Стой! — неслось с берега. — Стрелять будем!

Прогремело несколько выстрелов и всколыхнуло воздух.

Пули свистели над головами беглецов, но Ивану было не до пуль. Он все еще махал руками и звал умоляющим, полным отчаяния голосом:

— Остап!.. Соломия!.. Где же вы... садитесь скорее... сюда, ко мне... — и не замечал, что от берега его отделила широкая полоса воды, а из-за шума на берегу не было слышно его визгливого голоса.

Что было потом — ни Остап, ни Соломия не могли хорошо припомнить. Они помнили только, что бежали, как безумные, через камыши, по воде, в беспросветной мгле, с чувством зверя, за которым гонятся собаки. Остап несколько раз попадал в воду почти по пояс. Соломия нередко натыкалась с разбегу на вербу, но каждый раз они не терялись и снова мчались вперед, собрав последние силы. Наконец что-то преградило им дорогу, и они упали. Эта неожиданность была им даже на руку. Лежа на чем-то холодном и твердом, они могли слегка отдышаться. Ноги у них дрожали, грудь тяжело дышала. Они лежали и слушали. Вокруг было тихо, с берега не долетал ни один звук, очевидно, там уже все кончилось. Сеял мелкий дождик, тьма стала еще гуще. Не слыша за собой погони, Остап и Соломия понемногу пришли в себя. Остап ощупал то, на чем они лежали: это был холмик, поросший травкой. «Ага, — подумал он, — мы, видно,

наткнулись на высокий берег». Они немного отдохнули, ободренные тишиной, и осторожно побрели вдоль гор, в надежде отыскать какой-нибудь яр, где можно было бы найти защиту от дождя и холода. И действительно, вскоре они почувствовали под ногами размытую глину и очутились в черной пасти ущелья.

Здесь они нащупали сухое тихое место и только тогда почувствовали, как страшно утомлены, как разгорячены шальным бегом. Усталость была так сильна, что брала верх над всем: они упали прямо на землю. Без сновидений, без мыслей они заснули крепким, здоровым сном.

Проснулись они поздно: солнце должно было быть очень высоко, так как его желтый луч полз по склону обрыва. Вверху синела полоска погожего неба.

Первая мысль Остапа была — узнать, где они. Он ушел на разведку и скоро вернулся, чтобы успокоить Солomio: вокруг тихо, спокойно, день теплый и ясный.

Начали советоваться.

Оба вспомнили, что один мельник с Прута, кривой Яким, такой же беглый, как и они, только с Подолии, хвастался, что знает способ переправить их в Турцию, и они, наверно, обратились бы к нему, если бы катигорошек и дед Овсий не уговорили их бежать вместе через Дунай.

Теперь ничего иного не оставалось, как обратиться к этому мельнику. Скрываться дальше на этом берегу было невозможно: их могли поймать и отослать к пану или засадить в тюрьму.

Они едва выбрались из глубокой котловины и очутились на сожженной солнцем серой равнине. Долина, принявшая ночью фантастические, неясные очертанья, днем выглядела очень красиво. Широкий и тихий Дунай блестел на солнце, как сталь, а из-за прибрежных, еще зеленых верб поднимались в небо голубые зубцы далеких гор.

Внимательно осмотревшись, Остап сообразил, что отсюда до Кишницы, где находится Якимов ветряк, будет верст тридцать. Если поспешить, можно добраться туда еще к вечеру.

И они, немного почистив свою забрызганную грязью молдаванскую одежду, не мешкая, тронулись в путь. Они

шли то дорогой, то тропинками напрямик, стараясь не обращать на себя внимание.

— Где-то сейчас наш катигорошек с турком беседует, — проговорила Соломия.

— Если он только не кормит собой дунайских раков, — ответил Остап, и им представились события ночи.

Они обошли с правой стороны Рени и пошли вдоль Прута.

С дороги было видно, как извивался зигзагами в долине глубокий и мутный Прут, а за ним, насколько хватал глаз, выгоревшим камышом рыжели плавни и волновались, как нива. На горизонте что-то дымилось, дым низко стлался над тростниками. Иногда по берегу над Прутом проносился всадник и исчезал за крутым поворотом реки.

За Прутом лежала Турция.

Была уже ночь, когда они подходили к кишницким мельницам, которые лениво помахивали крыльями. К их радости, в ветряке Якима был виден свет. Они открыли дверь и вошли. Там никого не было, и Остап с Соломией присели на мешках. На мельнице стоял теплый, приятно-сладковатый дух свежей кукурузной муки. Мучная пыль носилась в воздухе, а стены, балки и постова́ были занесены ею, как снегом. Белая паутина бахромой висела вверху, качалась при малейшем движении воздуха и бросала причудливые тени от желтого света единственного фонаря. Жернова мягко шуршали по зерну, ковш тряся, как в лихорадке. Вверху что-то жалобно скрипело. За стенами ветряка, в селе, лаяли собаки.

Вскоре появился покрытый мукой мельник. Присмотревшись своим единственным глазом, он узнал Остапа.

Остап сразу рассказал ему, зачем пришел.

— Хорошо, — коротко ответил Яким, — немного управлюсь и пойдем.

Остап и Соломия были утомлены дорогой, но промолчали об этом.

Они немного отдохнули и закусили, пока мельник насыпал зерно и переносил мешки.

Приблизительно около полуночи Яким их позвал:

— Идем!

Они вышли.

Над селом стоял обычный в осеннюю пору туман. Он поднимался, очевидно, с реки, из плавней, потому что чем ниже они опускались, тем туман делался гуще. Село, казалось, было покрыто водой, бледный свет только кое-где мерцал во мгле. Было тяжело дышать. Все трое молча спускались вниз, а потом свернули в сторону от села и шли так версты две, то спускаясь, то взбираясь на холмы. Наконец мельник велел им остановиться, а сам пошел вперед. Остап и Соломия всматривались в темноту и ничего не видели: фигура мельника сразу исчезла, будто растаяв во мгле. Через несколько минут он возвратился и повел их вниз, по крутому и скользкому склону. Когда они осторожно спускались с горы, неподалеку от них блеснули два огонька и тотчас же исчезли.

— Это лисица,— объяснил мельник.

Наконец они остановились. Мельник высек огня и осветил узкую, как лисья нора, пещеру.

Здесь, очевидно, недавно были люди, так как лежала груды сухих листьев и несколько больших поленьев.

План мельника был прост. Связать небольшой плот, который смог бы выдержать двух людей, и на нем, в темную ночь, скрываясь от казаков, переплыть в плавни. А там уже спокойно. Если бы нехватило спрятанного здесь материала, его можно раздобыть на берегу, только осторожно.

И одноглазый Яким подал Остапу связку веревок и хлеб, простился и исчез во мраке.

Соломии очень понравился Якимов план. Ей хотелось сейчас же приняться за сооружение плота.

При свете восковой свечи, которую они раздобыли на мельнице, они принялись за работу и так увлеклись, что забыли про усталость и сон. Но материала нехватило для плота, и пришлось отложить работу на другой день.

На другой день Остап отправился на разведку. Оказалось, что их убежище было в котловине, но достаточно было подняться на гору, и тут же Прут нес быстрые воды, вдаваясь в берег коленом и прячась с обеих сторон за высокими выступами берегов. Действительно, место было удобным для переправы: достаточно было казаку-пограничнику обогнуть мыс, и колено реки скрывалось от него.

На берегу валялись ветки, обломки досок и даже целые вербы с корнями, выброшенные на берег половодьем. Над плавнями черными прядями полз дым.

Только ночью Остап и Соломия рискнули отправиться на берег. Взбираясь из котловины на гору, они увидели красный горизонт, будто восходила луна.

— Что за чудеса,— проговорил Остап,— ведь теперь не лунные ночи.

Но Соломия, уже успевшая взобраться, внезапно отшатнулась, едва не вскрикнув.

— Смотри... смотри...

Остап взглянул и остолбенел.

Перед ним на горизонте стояли высокие огненные горы, но нет, они не стояли. Они двигались, как живые, качались, вздрагивали, опускались в одном месте и вырастали в другом. Они тихо мерцали, как груда искристого золота, или вырывались вверх красным снопом пламени. Они изнемогали, пропадали, гнулись от ветра и снова росли, снова пылали. Когда падала одна, другая подхватывала ее, поднималась вверх и быстро ломала линию блестящих зубцов. Они зажигали в небе тучу, и она пылала вместе с далеким небом.

Это горели плавни.

Со страхом смотрели Остап и Соломия на эту картину.

— Нет, не к нам идет, в другую сторону, по ветру,— наконец с облегчением вздохнула Соломия.

Казалось, растревоженное море огня кипело, выло, брызгало огненной пеной, то красной, как горячий уголь, то белой, как блеск молнии, и наступало сердитыми волнами на черные беззащитные плавни, притаившиеся и трепетавшие в ночной темноте.

Однако любоваться было некогда. Оглядываясь и прислушиваясь, они спустились к берегу. Не было никого. Внизу казалось еще темнее от далекого света. С плавней вставал туман.

Они нашли то, что им было нужно, и с величайшей осторожностью, помня, что каждую минуту из-за выступа может появиться казак, осторожно потащили охапки ветвей.

К полуночи плот лежал готовым и просился на воду.

Он был тяжел, неровен, и его надо было нести так, чтоб не ослабли веревки.

Остап и Соломия кряхтели, останавливались, отдыхали, обливались потом и снова тащили плот вверх.

Вокруг — ни души. Нет, им везло нынче! Туман стоял густой, как кисель: до рассвета было далеко, пограничная стража или заснула, или ушла.

— Пока солнце взойдет — ого-го, где мы будем, — радостно шептал Остап.

— Не говори гоп, пока не перескочишь...

На берегу было так же тихо и безлюдно. Мутный Прут дышал влажным холодом. Серые, едва заметные в тумане плавни недружелюбно шумели.

Остап и Соломия тихо спустили плот на реку. Он всколыхнул воду и глубоко осел. Когда Соломия устроилась на плоту, Остап оттолкнул его от берега и вскочил сам. Плот закачался и кое-где покрылся водой. Быстрое течение завертело его и понесло вниз. Остап сопротивлялся ему изо всех сил, но его кол мало помогал: плот несло по середине реки. Некоторое время плыли они в тумане между берегами, оторванные от земли и беспомощные. С большим трудом удалось в конце концов выйти из быстрины и приблизиться к тому берегу. Но и тут течение относило плот, и пристать к берегу было нелегко. Остапу посчастливилось, однако, как-то зацепиться за прибрежную вербу. Соломия ухватилась за ветки, Остап придержал плот, и оба выскочили на берег, утомленные и мокрые.

Течение тотчас же подхватило плот, медленно повернуло его и понесло вниз вместе с припасами, забытыми на плоту. Но это были пустяки: они находились за кордоном.

Странное чувство овладело Остапом: вместо радости негодование охватило его душу. В один миг почувствовал он все неправды и глумления, изведенные им в покинутом краю, и, твердо стоя на новой, не знающей панщины земле, он сжал кулак и погрозил противоположному берегу.

— Чтоб ты провалился, проклятый край, с твоими порядками! — крикнул он громко.

В этот момент с другого берега послышался конский топот.

— Кто там? — бросил во тьму казак-пограничник и, не дожидаясь ответа, выстрелил наугад из ружья.

— Ой! — вскрикнул Остап, схватился за грудь и зашатался.

— Нича-во-о!.. Если промахнулся, беги с богом,— добродушно проговорил казак и шагом тронулся дальше.

### III

— Что с тобой? — подбежала Соломия к Остапу и поддержала его.

Она вся похолодела и дрожала от страха.

— Ой,— тихо стонал Остап,— попал мне сюда, под сердце...

Соломия, казалось, не понимала, что случилось. Она дергала Остапа за одежду, тянула его за собой и с ужасом повторяла:

— Бежим, бежим, он еще будет стрелять, он убьет тебя...

Заметив, что Остап не трогается с места, она подхватила его под руку и почти потащила за собой. Она бросилась в камыши и побежала так быстро, как только позволяли ей Остап и густой тростник. Зыбкий грунт плавней качался под ней, как на пружинах. Ноги временами уходили по колено в топь, жесткий камыш ломался, трещал, бил ее по лицу, мешал идти, а она все бежала, охваченная страхом, ничего не замечая, желая только одного — убежать как можно дальше, укрыться от внезапной смерти.

Остап бессознательно покорился ей. Он бежал за нею, хотя при каждом вздохе и движении у него кололо в груди и порой ему становилось дурно, а из-под руки, которой он прикрывал рану, сочилось что-то теплое и мокрое.

«Лишь бы пробежать это место! Лишь бы пробежать... и все пройдет... и все хорошо будет», — бродили мысли в его голове, и он бежал, напрягая последние силы, чтобы только не отставать от Соломии.

Наконец он почувствовал, что лишается сил.

— Стой!.. не могу... — прошептал он, опускаясь на землю.

— Что с тобой? — пришла в себя молодая женщина, наклоняясь над ним.



— Много крови потерял,— едва проговорил Остап.

— Ты ранен? Куда? — вскрикнула Соломня, опускаясь перед ним на колени и стараясь рассмотреть рану.

Но было темно, как в погребу. Не было видно даже камыша, росшего вокруг густо, как рожь на поле.

— Куда ты ранен?

— Сюда, под сердце.

Соломня провела рукой по его груди и нащупала мокрую и липкую рубашку. Остап застонал от этого прикосновения.

Соломни все стало ясно. Страх ее исчез бесследно. Она знала, что делать.

Осторожно расстегнула ему рубашку и обнажила его грудь. Этого было мало. Она разодрала рубаху, отклеила окровавленные лоскутья, потом оборвала длинную полосу от своего подола и с помощью Остапа крепко перевязала ему рану.

— Воды! — попросил раненый.

Воды! Это легко было сказать! Здесь, в темноте, здесь, в черной неведомой пустыне, где достаточно было сделать несколько шагов, чтобы заблудиться, трудно было искать воду. Эта Остапова просьба терзала сердце Соломни, но голова искала выхода. Да! ведь они на воде! Об этом говорит жидкая трясина под ногами. Соломня попробовала выкопать рукой ямку и действительно добралась до воды. Это была густая, гнилая и тягучая жидкость с противным запахом аира. Соломня зачерпнула ее пригоршней и поднесла Остапу. Он смочил губы, но пить не мог. Соломня смочила ему лоб, сбросила с себя верхнюю одежду и подложила ему под голову. О том, чтобы пуститься в дорогу в такой темноте в неизвестной местности, не могло быть и мысли.

Приходилось дожидаться рассвета.

Остап лежал на тростнике, силы оставили его. В груди у Остапа хрипело, ему было больно дышать. Не то сон, не то забытье смыкало веки.

— Ты здесь, Соломня? — спрашивал он и снова впадал в дремоту.

— Здесь, здесь... вот где.

Сердце Соломни ныло от тоски и тревоги. Ей легче было бы, если б пуля попала в нее.

Если бы она хоть могла видеть его рану, его лицо, ей, кажется, так тяжело не было бы. А тут этот мрак, эта черная, проклятая тьма: Она окружила ее со всех сторон, стлалась перед глазами, висела над головой, проникала под кожу, наполняла всю и угнетала сердце... Напрасно напрягала она зрение — она не могла различить даже пальцы на собственной руке. Он жил, этот мрак, двигался, дышал, шептал что-то тысячью уст, беспрестанно, упорно, с присвистом, как беззубая старуха. Соломия сидела перепуганная и прислушивалась к шопоту мрака.

«Шу-шу-шу,— начинал он издаലെка,— шу-шу-шу,— вторило возле нее,— шу-шу-шу»,— шептало все сразу.— И зачем было кричать, божиться... «Шу-шу... а теперь умрет... увидишь, умрет... шу-шу-шу...»

Соломии становилось жутко. «Лжешь, лжешь, — хотела она бросить в лицо злому мраку,— он мой... он будет жить... он ранен неопасно... ведь сколько он пробежал...»

Но тьма упорно шептала свое: «Он умрет... шу-шу-шу... он умрет... шу-шу-шу...»

И, точно в ответ ей, тяжело дышал Остап, тихо стоил во сне.

Соломия зажала уши и закрыла глаза. Эта темнота, более знакомая, более привычная, не так мучила ее. Зато она почувствовала сырой холод, прохвативший ее насквозь, но она не хотела брать из-под головы Остапа свою одежду и только съежилась как-то, чтобы немного согреться. Она уже не слыхала зловещего шопота тьмы, она отдалась надеждам на лучшее будущее. «Он поправится, он будет жить... она не даст ему погибнуть. О, если бы уже светало... если бы светало!»

Усталость взяла свое. Соломия сидя задремала.

Когда она проснулась, серый свет лился с пасмурного неба. Туман еще блуждал в камышах и медленно подымался вверх. Плавни будто дымились.

Остап лежал тут же с открытыми глазами; его молодое лицо осунулось, губы пересохли.

— Ну, как? — склонилась к нему Соломия.

— Ничего... только дышать трудно... Жажда меня жжет... воды...

Надо было что-то предпринимать.

— Ты можешь итти?

— Не знаю... подыми меня...

С помощью Соломии Остап поднялся. Он стиснул зубы и крепился, чтобы не стонать: при каждом движении у него болело где-то под лопаткой. Соломия поддерживала его, и они медленно шли между высокими стенами желтого камыша.

Недолго пришлось им искать воды. Вскоре блеснуло сквозь камыш спокойное зеркало озера.

Соломия напоила Остапа, осмотрела и обмыла его рану. Она приложила к ране мокрую холодную тряпицу, и Остапу стало легче.

Начали советоваться, как бы выбраться из плавней, куда итти. Остап соображал.

— Где солнце? — спросил он.

Соломия взглянула на небо. Между тихо покачивавшимися метелками камыша виднелся клочок серых оловянных туч. Из-за высокого и густого, как щетка, камыша нельзя было ничего разобрать.

— Откуда ветер? — допытывался Остап.

Но и это нелегко было узнать. В плавнях стояла тишина, как в лесу, только вверху шелестели метелки, склоняясь то в одну, то в другую сторону.

Остапу казалось, что они должны держаться правой руки; Соломия же, напротив, доказывала, что им следует итти налево, против ветра, потому что, кажется, направо гнется камыш. Возражения Соломии раздражали раненого, и она должна была согласиться с ним. Они тронулись в путь. Дорога была трудной. Даже здоровому тяжело было пробираться в густых камышах, поросших вьюнком, перескакивать с кочки на кочку, чтобы не попасть в трясины. Часто приходилось обходить ерики и малые озера, где Остап освежался холодной водой и смачивал воспаленный лоб. Соломия почти несла Остапа, и все же им приходилось часто останавливаться, так как больной утомлялся и требовал отдыха... Потом они снова брели, одинокие, потерянные среди безбрежного моря тростника, который колыхался над ними мохнатыми кистями и нагонял тоску однообразным шуршаньем. Так они шли долго, не зная времени, — ведь над ними все еще висел клоч оловянной тучи и вокруг щетинился высокий, жесткий, желтый камыш, точно двигался вместе с ними, как заколдованный. Иногда им казалось, что в

тростнике что-то мелькало, будто собака или волк, порой они с отвращением обходили сонных, вялых от холода змей, кучками лежавших на кочках или лениво двигавшихся в тростнике.

Раз им послышался над головой шум, отличный от шума плавней, и они догадались, что это пролетала над ними стая каких-то птиц, может быть диких гусей. Казалось, плавням нет конца: вокруг было все одно и то же, будто они стояли на месте.

Дело принимало дурной оборот. Остап обессилел и совсем расхворался: его жгла горячка. Соломия уложила его на берегу озера и задумалась. Ведь они могли погибнуть здесь без помощи, без пищи, подвигаясь так медленно! Уже и так от голода сосало под ложечкой. Наверно, они заблудились и кружатся в плавнях, и кто знает, как долго еще будут блуждать в этой глуши! Не лучше ли оставить здесь Остапа,— она все равно не может ему помочь,— а самой пойти и поискать выхода? Так было бы верней и скорей.

— Положи меня около озерца, чтобы я мог напиться, а сама иди осмотри плавни,— соглашался Остап.

— Ты, наверно, проголодался, есть хочешь?

— Нет, не хочется... только пить.

Соломия пригнула камыш и устроила больному ложе. Не двигаясь с места, он мог зачерпнуть пригоршней воды.

— Вот так будет хорошо...

Соломия оглянулась и стала соображать.

Она пойдет против ветра... кажется, вправо больше клонятся метелки. Она ничего не скажет Остапу, а то он начнет спорить, сердиться.

— Не скучай здесь без меня, я скоро вернусь,— обратилась она к нему и исчезла в камышах.

Она шла и старалась представить себе плавни, какими видела их сверху, до переправы.

Направо горело... да, направо горело, и туда гнал ветер пламя; налево виднелись горы и вербы. Значит, туда нужно идти, против ветра. Почти ободрившись, она пере-скакивала с кочки на кочку. С каждым шагом надежда возрастала в ее сердце, хотя картина не менялась. Иногда ей приходилось продирается сквозь такие заросли, что она едва пробиравалась между желтыми стенами.

Поскользнувшись, Соломия ушла выше колен в холодную топь.

Под ногами была бездна, но, к счастью, она ухватилась за тростник и выбралась. Она сняла обувь, вылила из нее воду и пошла дальше. В камышах кое-где блестели озера, красиво лежали на них круглые листья лилий, высунув из воды зеленые свои кувшинки. Соломия останавливалась на мгновение, чтобы посмотреть издали, как дикий гусь старательно перебирал перышки на голове самочки, а она нежилась, постукивала клювом и расправляла крылья. Змея иногда переплывала ерики волнистыми движениями, подымала голову, благосклонно наклоняла ее то направо, то налево, как важная дама, и смотрела вокруг круглыми глазами. В этих непролазных дебрях, наверно, никогда не ступала человеческая нога. Здесь было множество таинственных уголков, везде встречались логова диких зверей, устланные метелками камыша и сухим мхом, на старых камышинках качались покинутые гнезда; по рыжим, почти красным, скользким от тумана кочкам валялись перья и сброшенная змеями кожа. Ужей было так много, что Соломия вскоре перестала обращать на них внимание. Иногда головки тростника, задетого Соломией, лопались и обсыпали ее белым пухом, будто снегом. Соломия шла, как по дну моря, сверху над ее головой шумели метелки, будто катились куда-то рыжие мутные волны. Соломия соображала, что если взять влево, плавни должны скоро окончиться, ведь в эту сторону они недалеко тянулись. Лишь бы идти против ветра. Неожиданно Соломия остановилась и едва не лишилась чувств от страшной мысли. Ей пришло в голову, что она может не найти Остапа, ведь она никак не обозначала своего пути. Следовало заламывать камыш или делать другие отметки. Необходимо сейчас же вернуться, пока она не отошла далеко и не забыла дороги. Сердце ее беспокойно билось, когда она бежала назад, отыскивая свои следы. Ей некогда было быть осторожной, камыш бил ее по лицу и даже расцарапал ногу. Но это были пустяки. Только бы скорее найти Остапа, тогда она снова отправится в разведку, только уже не будет такой глупой, не забудет отмечать дорогу. Сперва все шло хорошо, она находила свои следы и возвращалась по ним. Но скоро

следы исчезли. Соломии казалось, что она отклонилась влево. Она взяла немного вправо и неожиданно наткнулась на довольно длинное озерцо. Здесь она не была, это она твердо помнила. Она принуждена была немного вернуться назад, чтобы обойти препятствие. Соломия теперь уже сомневалась, в каком направлении идти. Лучше руководствоваться ветром: надо, чтобы он дул теперь в спину, надо идти по ветру. Соломия взглянула вверх, метелки качались то в одну, то в другую сторону. Решить было трудно. Однако ей показалось, что надо идти прямо перед собой. Она пошла. Пройдя немного, Соломия убедилась, что идет против ветра. Неужели возвращаться? Она остановилась. Очевидно, она сбилась с дороги, заблудилась. Что делать? Ноги ее подкашивались от трудного перехода, в голове бродили нестройные мысли и соображения. Что делать? — будто спрашивал у камыша блуждающий ее взор. Камыши окружали ее враждебной толпой и шептались. Соломия подумала, что она должна быть недалеко от Остапа, что он услышит ее, и крикнула:

— Остап! Оста-ап!..

Ее голос прозвучал глухо. Стена враждебного тростника не пустила его далеко, втянула в себя, поглотила. Соломия еще раз крикнула то же самое.

Сердце Соломии упало, руки беспомощно опустились. Но не надолго. Новый прилив энергии и безумная отвага направили ее волю, и она бросилась вперед, отводя в стороны и ломая тростник со слепым упорством раненого оленя. По временам она звала Остапа. Ответа не было. Она начала кричать, как только позволяли ей легкие, в надежде, что если не Остап, то хоть кто-нибудь другой услышит ее. Не могло же быть, чтобы она так далеко ушла от берега, где иногда проходили люди. Камыши заглушали своим шумом ее голос. Испуганные птицы с тревожным писком кружились над головой Соломии. Камыш шумел. Он щетинился перед ней, теснил с боков, настигал сзади, хватал корнями за ноги, колот и резал жестким листом. Желтый, толстый, высокий, он издевался над ней, размахивая над ее головой рыжим чубом. Соломия ненавидела его, будто он был живым существом. Он дразнил ее. Если б у нее был серп или нож, она срезала бы его до тех пор, пока не лег бы

весь или она сама не упала бы замертво. Соломия набросилась на него, как на врага, и начала ломать со злостью, с остервенением.

Она рвала, ломала и топтала ногами, а он сгибался, упирался, цеплялся кистями, ранил ей руки и только вздрагивал, как бы от скрытого смеха.

Соломия обессилела и упала. Ей стало душно, пот каплями стекал по лицу, грудь тяжело дышала, глаза горели, как у зверя, попавшего в западню. Значит, нет выхода: она должна здесь погибнуть, а Остап — по ее вине — вдали от нее. Соломия жалела не столько себя, сколько Остапа: ей представлялось, как он теперь лежит, слабый, одинокий, в зарослях и старается ее увидеть. Ей стало жаль молодой загубленной жизни, и она заплакала.

Тем временем короткий осенний день угасал, из плавней вставала ночь. Мрак сначала заполз в тростники, потом задышали озерца и кочки белым туманом.

Становилось сыро и холодно. Ночью нельзя было двигаться. Соломия сидела, обхватив голову руками, и думала. Нет, она не хочет погибнуть здесь! Как только рассветет и можно будет продолжать путь, она пойдет прямо, прямо будет идти, пока не дойдет до самого края. Она найдет там людей, отдаст им все свои деньги, которые висят на шее, зашитые в мешочке, и с ними обыщет плавни и найдет Остапа... Только бы пережить ночь.

Чем больше темнело, тем ветер, казалось, становился сильнее, по крайней мере тростник шумел так, что заглушал даже мысли. Ничего не было слышно, кроме беспрестанного, однообразного, вечного шу-шу-шу... Правда, иногда она замечала, как внизу между камышами что-то проскакивало и шуршащий сухой тростник трещал. Птицы были беспокойны, суетились, бились крыльями в тростнике и поднимали шум, как перед бурей.

Соломия сидела так, пока не заснула. Она не заметила сама, как это случилось. Усталость и шум камыша усыпили ее.

Проснувшись, она не могла сказать, было ли поздно, или рано. Над камышами еще ниже, чем вчера, свисало оловянное небо. Все тело Соломии ныло, как от побоев. Отяжелевшие веки невольно опускались, голова была не

свежа. Однако Соломия не могла колебаться ни минуты. Она пошла прямо и решила идти, пока хватит упорства и сил. Она бежала, хотя ее ноги были слабее, чем вчера, а воздух был какой-то густой и трудно было дышать. Кроме того, Соломию мучил голод. Уже вторые сутки она ничего не ела, у нее сосало под ложечкой, подводи-ло живот. По пути Соломия выдергивала стебли или корни водорослей и жевала противное, пропахшее боло-том растение. Чем дальше она шла, тем больше удив-лялась, что сегодня попадалось ей так много живых существ. Трижды заметила она в камышах серый волчий хребет, раз промелькнул около нее хвост лисицы, а то вдруг издалека доносилось кабанье хрюканье. Ужи и гадюки были сегодня особенно подвижны и все ползли и ползли в том же направлении, в котором шла Соло-мия, так что ей надо было особенно остерегаться, чтобы не наступить на скользкое и холодное тело змеи. Птицы кружились над плавнями целыми тучами и так кричали, что заглушали даже шум плавней. Соломия все шла. Она напрягла всю свою энергию, всю силу воли, всю мощь тела и шла прямо и упорно, с верой в то, что ее широкая и высокая грудь сломит все препятствия. Но кон-ца плавням не было. Камыши, озерца, ерики... И снова камыши, и снова вода, и снова тот же звук мерного, однообразного прибоя морской волны. Под вечер она почувствовала запах дыма и обрадовалась — значит, близко люди. Но чем дальше она шла и чем больше смеркалось, тем явственнее становился запах дыма. Птицы сильнее беспокоились, в воздухе стало теплей. Тепло шло и из-за спины, и с боков, будто из печи. Соло-мии становилось душно. Ее удивляла и тревожила эта перемена в плавнях. Что происходит вокруг?

Обернувшись, взглянув на небо, она увидела красные, как раскаленные уголья, тучи, и сразу стали понятны ей и дым, который она чувствовала, и тепло, и тревога птиц, и бегство зверей. Плавни горели, огненные горы наступали на них, несли всему смерть. Но огонь еще где-то далеко. Если быстро побежать — можно уйти от него. Только так душно, так тяжело! Точно кто-то гонит-ся сзади и дышит, и насаждает на плечи. Ухо Соломии уже улавливает и далекий треск сухого камыша, и неясный гул, будто зверь-великан ломает что-то, чавкает и тяжело



сопит. Это верная смерть догоняет ее. Нет спасенья. Никто и ничто не поможет. Невыразимый ужас охватил Соломию. С криком: «Ох, боже мой!.. ох, боже!..» — она собрала последние силы и бросилась в тростники вслед за змеями, зверями и всем живым, что, спасаясь от внезапной смерти, бежало в страхе перед наступающими бурунами огненного моря.

А оно шло, оно катилось за ними неудержимыми, непобедимыми веселыми волнами, золотом рассыпалось по плавням, пожирало тростник, выпивало воду, поджигало небо.

После ухода Соломии Остап почувствовал себя отрезанным от всего мира и людей. Горячка жгла его, он минутно обмакивал в воду руку и охлаждал лоб, глаза, голову. Ему наскучило смотреть на желтые стены камыша, и он закрыл глаза. Он думал. Припоминались ему давние желанья, он думал о том, зачем шел сюда, в Турцию, зачем оставил родное село и дедушку. Что теперь с дедушкой, живы ли, здоровы ли? Вспоминают ли Остапа? Вот если бы он пришел и посмотрел на своего внука, подстреленного, обессилевшего, брошенного в камышах на обед волкам и воронам.

Ему все мерещилось что-то, и в бреду он звал дедушку.

Дедушка приходил. Тихо и незаметно вылезал он из камышей и становился над Остапом, скрестив руки.

— Тебя ранили, сынок, ты не с ляхами ли сражался?

— Нет, дедушка, это меня солдат подстрелил, когда я переходил границу.

— А где же твои братчики, сечевики дунайские, почему ты один лежишь в тростнике?

— Эх, дедушка, вы думаете, до сих пор Сечь существует? Нет, дедушка, нет уже Сечи... Была и сгинула... Вывел Гладкий — может, слышали? — товариство в Азовские степи, оставил туркам...

— Что же ты делать будешь, сынок, на чужой стороне?

— Если выживу, землю буду пахать, рыбацким промыслом займусь... все же лучше на воле, чем у пана... Там еще остались наши люди, дедушка... под турком.

Остап беседовал с дедом — и дед утешал его, давал советы, рассказывал о прошлом и о том, что делается в деревне теперь...

Как только Остап открывал глаза, старик прятался в камыш, но достаточно было закрыть их, как дед снова появлялся и слушал злоключения Остапа или рассказывал о себе.

Под вечер Остап начал тревожиться: куда девалась Соломня, почему ее нет до сих пор? Почему она не приходит? Ведь она знает — ему тяжело даже пошевелиться, он не может выбраться из этих дебрей.

А может быть, она его оставила... «Соломия!.. Соломия!..» стонал раненый, но стон его заглушался шумом плавней.

Ночью ему стало хуже. Лихорадка трясла его, жгла огнем, а в груди так колело, что он с огромным трудом достал себе воды. Он хотел кашлянуть и не мог от боли. А Соломия не приходила. Остап не спал и только иногда на несколько минут впадал в забытие. Ночь тянулась длинная, бесконечная, как смерть... А Соломни не было... Где же она, что с ней? Остап томился.

На рассвете Остап почувствовал, что около него живое существо.

— Ты, Соломия? — спросил он и открыл глаза.

«Шутит она, что ли, зачем обратилась в собаку?» — подумал он и немного пришел в себя.

Перед ним стояла не собака, а волк. Огромный, серый, забрызганный грязью, с горящими голодными глазами. Он насторожил уши и протянул морду к Остапу, соображая — безопасно ли нападать или нет. Остап лежал беззащитный и смотрел на волка. Он хорошо видел немного кривую, глубокую, слюнявую пасть волка, завитки шерсти на его груди и сильные мокрые лапы.

Зверь стоял неподвижно, наконец переставил одну лапу, потом другую и немного подо двинулся к Остапу.

Остап зачерпнул пригоршней воды и брызнул на волка. Брызги долетели до его морды, несколько капель упали на нее. Волк оскалил зубы и попятился, но уходить не собирался.

Остап снова окропил его водой. Волк щелкнул зубами и сверкнул глазами. Он был недоволен. Не сводя глаз с Остапа, посидел немного, потом вдруг вытянул шею,

еще пододвинулся и так жалобно завыл, что у Остапа мороз прошел по коже. Был он долго, на разные ноты, с большим чувством, закрывая глаза. Наконец умолк, посидел немного и еще приблизился к Остапу. Единственным оружием Остапа была вода, и он время от времени плескал ею в волка, не подпуская его к себе. В конце концов волку это наскучило. Он несколько раз сердито, с отчаяния, щелкнул на Остапа зубами, повернулся и пропал в камышах.

После этого посещения Остап начал думать о смерти. Пришла пора умирать.

Живого или мертвого его съест волк или черви в этих дебрях. Не все ли равно?

Остапу вспомнился катигорошек: «Разве я боюсь смерти? — слышал он его козлиный голос. — Отроду не боялся. Пошли, господи, хоть сейчас. Один раз умирать — не дважды... Умер — и конец, больше не встанешь...»

Остап тоже не боялся смерти. Ему только хотелось, умирая, увидеть Соломию. Дедушку он видел, он приходил к нему, а Соломия как ушла, так и нет ее, и нет... Где-нибудь заблудилась в плавнях или волки разорвали ее. И Остапу стало жалко Соломии, страх как жалко. Она такая добрая, так любила его, она пошла за ним в дальнюю дорогу, не пожалела своих кос, она заботилась о нем, как родная мать, была ему верным товарищем. И вот теперь, когда они добыли себе волю и должны были счастливо и радостно начать новую жизнь, приходит гибель и, как щенят в реке, топят обоих. Топит, топит, топит... — поют ему отходную камыши справа; гибель, гибель, гибель... — подхватывает левое крыло.

Остап лежит бесконечно долго. Осенний день движется медленно, серое небо цедит бледный свет.

Остапу скучно. Ему кажется, что он ждет переправы. Вот-вот будет переправляться... вот-вот переправится... и не может, что-то не пускает. «Тише, люди, не торопитесь», — шепчет дед Овсий, и горят в небе огни. Огни горят, разгораются, от них исходит тепло и согревает Остапа, горячит ему кровь. Жаркая волна доходит до сердца, мысли становятся яснее, он не хочет умирать. Он хочет жить. Мир так прекрасен... Остап еще молод, он еще не жил, не испытал всего... Ему еще хочется

посмотреть на солнце, увидеть божий мир, людей, обнять Соломию... Он еще жив, он не будет лежать здесь, как колода, не будет ждать, пока придет смерть...

Остап с трудом оставляет свое ложе и ползет.

Ему больно. Ну, да ничего, терпи, казак... Он будет ползти, ему помогут не только его руки и ноги, но даже зубы. Он все же выберется из этих болот.

Остап ползет. Ему трудно, каждую кочку приходится брать с боя, в груди колет и спирает дыхание, ноги тяжелы, будто на них колодки. Он отдыхает, порой теряет сознание, приходит в себя и снова ползет по дну камышового моря. В сердце хлещет горячая волна: дикая, непреодолимая жажда жизни жжет его, наполняет все его существо...

Вдруг он слышит над головой:

— Остап! Остап! Это ты! Жив?

Он знает, чей это голос. Это жена его верная, это Соломия сошла с неба, чтобы взять его к себе.

— Это я, это я, сердце мое... — откликается он и чувствует, как она поднимает его, берет на руки, как малого ребенка, и они летят ввысь, туда, туда, в звездное небо. Ему так радостно, так хорошо...

#### IV

Недалеко от большой дороги, по которой крестьяне придунайских сел ездят в Галац, затерялся в вербах, среди тростников, цыганский выселок. Он состоял всего-навсего из трех халуп, собственно говоря курятников, низких, кривых, вылепленных из глины, как ласточкины гнезда.

В двух из них, очевидно, никто не жил, так как рам не было, камышовые кровли осыпались, и жерди торчали из них, как ребра костяка. Только в одной лачуге светились два оконца и дымила труба, сделанная из вербы.

Там жила единственная в выселке цыганская семья.

Больше всего места в халупе занимала печь с огромным, чуть ли не до земли, устьем. Шесток был так низок, что огонь горел почти на земле. Седая растрепанная цыганка сушила у огня свои лохмотья, подбрасывала в огонь тростник и курила короткую трубку. На лавке в

удобной и живописной позе раскинулся молодой цыган. Его черные кудри вылезали сквозь продранный бриль, блестящие глаза и веселое, изрытое оспой бородатое лицо улыбалось молодежи, которая, наклонившись, старалась стащить сапог с ноги своего мужа. Ее стройная фигура изогнулась, как тугой лук, а фантастический синий плащ и красная юбка не могли скрыть упругих форм молодого тела.

На пороге стоял старый высокий цыган и как бы раздумывал, войти ли ему. Наконец он переступил через порог, подошел к печи и придвинулся к огню так близко, что его суровое бритое лицо блеснуло медью. Он обратился к младшему:

— Ты загнал, Раду, клячу? Как бы она часом не забрела в плавни да не сгорела.

Раду собрался отвечать, но в этот миг что-то громко стукнуло в окно.

Все вздрогнули. Молодая цыганка выскочила из хаты.

Вскоре после этого со двора послышался ее резкий горланый голос:

— Раду, аорде<sup>1</sup>.

Раду лениво поднялся с лавки и вышел во двор, за ним последовал и старик.

Под окном в умоляющей позе стояла перед цыганкой какая-то страшная женщина, бледная, простоволосая, в порванной и забрызганной грязью одежде, и старалась что-то сказать. Ее губы шевелились, но голос изменил ей. Это ее мучило, и она говорила глазами — красными, испуганными, страшными. Наконец ей удалось прохрипеть:

— Люди... добрые... добрые... помогите... помогите! Остап лежит там, недалеко... идем... спасите!

Цыгане ничего не понимали.

— Содесь душа?<sup>2</sup> — спрашивал старый цыган. Но Соломия не слушала его. Она обращалась к Раду, хватала цыганку за плащ, умоляла старика. Она стонала и влекла их за собой.

Цыгане не торопились, они советовались, спорили и кричали. Наконец согласились — Соломия это поняла. Она схватила за руку цыганку, как бы боясь потерять

---

<sup>1</sup> Раду, иди сюда.

<sup>2</sup> Что говоришь?

ее, и побежала в сторону горевших плавней. Цыгане едва поспевали за ней... Перейдя через дорогу, они направились вдоль плавней.

— Кай жа? <sup>1</sup> — тревожно кричал Раду Соломии.

Но она не отвечала и все бежала вперед. Наконец остановилась, склонилась к земле и сказала:

— Остап!

Ответа не было.

Цыгане тоже наклонились, глядели. Лежал какой-то человек. Старый цыган высек огня, зажег тростинку и поднес ее к лицу Остапа. Глаза Остапа были закрыты, на белом лице резко чернели молодые усы и густые брови.

— Саншукар... <sup>2</sup> — шепнула молодая цыганка, склоняясь над Остапом.

Эта похвала, видимо, рассердила Раду, потому что он загремел на жену диким гортанным голосом и оттолкнул ее.

— Люди добрые, — умоляла Соломия, стоя на коленях, — смилуйтесь, пустите нас к себе... Видите — погибаем... Муж мой ранен, он едва жив, мы едва не погибли в плавнях... Я отблагодарю вас, я отработаю... возьмите все, что я имею... все... только не оставляйте нас... вот, возьмите...

С этими словами Соломия сорвала с шеи мешочек и высыпала старому цыгану несколько серебряных монет.

Деньги зазвенели на ладони старика, он подбросил их и спрятал в карман.

— Мишто <sup>3</sup>, — сказал он коротко.

Посоветовавшись, старик вместе с Радой взяли Остапа, один подмышки, другой за ноги, и медленно двинулись к дому.

Когда принесли раненого, старая цыганка ожила. Ее страшное желтое лицо ведьмы сразу стало добрым, и седые пряди волос, выбивавшиеся из-под черного платка, спокойно ложились на грудь Остапа, как на грудь сына, когда она обмывала и перевязывала его рану. Напоенный зельем, перевязанный, согретый, Остап вскоре открыл глаза. Это так обрадовало старую цыган-

<sup>1</sup> Куда идешь?

<sup>2</sup> Красивый.

<sup>3</sup> Хорошо.

ку, что она быстро забормотала что-то, сильно задымила и радостно потрепала Соломию по плечу.

Старая цыганка взяла Остапа на свое попечение. Она ухаживала за ним, варила ему лекарственные травы, осматривала рану, поила козьим молоком, особенно когда Гица и Раду отсутствовали.

Молодая Мариуца при мужчинах не обращала внимания на Остапа, даже делала вид, что ее сердит вся эта история: она часто выкрикивала что-то злое резким, как у вороны, голосом и бросала неприветливые взгляды в угол, где лежал раненый. Но Соломия замечала, что делается это больше для Раду, потому что, сердясь, цыганка косилась на мужа, видимо интересуясь, какое впечатление это производит на него.

Однако стоило мужчинам выйти за порог, как Мариуца превращалась в добрую сердечную женщину и помогала Соломии и старухе матери ухаживать за Остапом. Она укрывала его самыми теплыми из своих отрепьев, откидывала волосы с его лба, отгоняла осенних мух и все это делала так охотно, с такими живыми и прекрасными движениями, что казалась гибким растением на ветру. Кидая быстрый взгляд своих черных и сверкающих глаз то на Остапа, то на Соломию, она спрашивала у Соломии:

— Мануш? Мануш? <sup>1</sup>

И когда Соломия, не понимая, что она хочет, кивала наугад, цыганка спрашивала:

— Сарбу шос? <sup>2</sup>

Иногда, из-за Остапа, цыганки позже выезжали собирать подаянье. Каждое утро они запрягали маленькую, худую и облезлую клячу в свою двухколесную арбу, брали холщовые сумки, залезали в сколоченный из старых досок деревянный сундук, служивший кузовом. Ящик был так велик, что старая цыганка целиком уходила в него, и только ее страшная голова с белыми космами и красная трубка в зубах выглядывали оттуда. Мариуца вставала в ящике на колени и дергала вожжами. Маленькая облезлая кляча печально наклоняла голову и не двигалась. Мариуца причмокивала, хлестала

---

<sup>1</sup> Муж? Муж?

<sup>2</sup> Как зовут?

ее вожжами, била то одной, то другой стороной кнута, подбадривала гортанными звуками. Кляча не двигалась. Тогда старая цыганка выпускала дикий, нечеловеческий вопль, подымала кулак с дымящейся трубкой и потрясала им, и бранилась так страшно и вдохновенно, что вблизи от страха и стыда склонялись камыши. Когда при этом присутствовали мужчины, они помогали женщинам криком и руками. Среди невероятного шума кляча, наконец, решала идти, вытягивала хребет, выпячивала ребра и, едва переступая дрожащими ногами, тащила странный возок по пыльной дороге.

Они ездили по деревням, нищенствовали, собирали где яичко, где горсть муки или мамалыги, добывали из помойных ям грязные рваные тряпицы и разгружали вечером из арбы такую пропасть самых разнообразных вещей, что трудно было поверить, что все это дали им милосердные люди по доброй воле.

Гица и Раду под вечер просыпались, — они имели обыкновение спать днем и исчезать на ночь, — и в дымной халупе становилось весело и шумно. В печи пылал огонь, женщины варили какое-нибудь кушанье и, как сороки, наполняли хату гортанными звуками, рассказывая о своих приключениях. За ужином появлялась водка, вино — все пили, кричали, махали руками, покачивались, как камыш, блестели черными глазами и подсиненными белками, показывали свои раскрытые черные груди. Иногда приходили к ужину соседние цыгане, хмурые и сомнительные личности, и тоже пили, кричали, стучали кулаками по столу.

Черные тени черных цыган колыхались по стенам, в халупе было многолюдно, как на базаре.

Остап не мог спать из-за этого шума. Он лежал с открытыми глазами, в жару, и ему казалось, что он попал в ад.

Веселая компания приглашала Соломию, угощала вином, но Соломия, не понимая цыганского языка, уклонялась от упрасиваний, наконец ей было не до того.

К ночи все стихало. Гица, Раду и гости уходили куда-то, а цыганки залезали на печь. На другой день повторялось то же самое.

Оставаясь в халупе одна, пока женщины ездили просить милостыню, а мужчины храпели под стенами на



лавках или исчезали неизвестно куда, Соломия ставила возле Остапа холодную воду и принималась за работу. Она подмазывала черные, задымленные стены халупы, напоминавшей дикую пещеру, подметала, стирала пыль с Гициной скрипки, мыла стол и даже запущенные стекла, сквозь которые виднелось море рыжего камыша и белая, блуждавшая около дома коза.

Соломия всячески старалась отблагодарить цыган за их помощь и защиту; однако то, что она делала, не удовлетворяло старого цыгана, — она замечала это по его злобным взглядам, по его ворчанью. Но что было ей делать? Пойти наняться в город или село, предоставив беспомощного больного самому себе, она не могла, ведь Остап беспрестанно нуждался в ней. Даже когда она прибирала хату, он часто подзывал ее слабым голосом:

— Соломия...

— Что, Остап? — бросала она работу.

— Сядь подле меня.

Она садилась на лавку, а он молча смотрел на нее красными от жара глазами или бредил.

Но Соломия не теряла надежды и даже не очень печалилась. Молодость брала свое. Раз они уже не погибли в плавнях, если уцелели до сих пор, то теперь уже не погибнут, лишь бы Остап поскорее выздоровел.

И Остап поправлялся. Жар постепенно спадал, рана быстро затягивалась, силы прибывали.

Через две недели он уже поднимался с лавки, добирался до окна и печально глядел на волны рыжего, почти красного камыша.

Соломия могла теперь оставлять Остапа на день одного. Она советовалась с ним, не пойти ли ей вместе с цыганками по деревням, может быть кто-нибудь наймет ее на поденную. А то, может быть, встретятся свои люди, наставят на путь, помогут, — не то, что чужие.

— Что ж, иди, — согласился Остап, — может быть, и для меня что-нибудь подыщешь, когда приду в себя.

На другой день, когда цыганки отправились нищенствовать, Соломия пошла за их арбой. Те заметили ее и удивились.

— Кай жа? <sup>1</sup> — крикнула Мариуца оборачиваясь.

---

<sup>1</sup> Куда идешь?

Соломия только махнула рукой, показывая, что она пойдет туда, куда и они. Цыганки погалдели немного и успокоились.

Соломия шла вдоль плавней. Днем они не были страшными, казались даже красивыми. Крепкие и высокие тростники сверкали на солнце, как золото: метелки стлались по ветру и приветливо шумели, как поле зрелой высокой пшеницы. Хотя погода была солнечная и сухая, подул холодный осенний ветер и проникал сквозь худую одежду Соломии. «Вот-вот зима наступит, — думала она, — а ни я, ни Остап не имеем во что одеться, надо зарабатывать».

Соломии улыбнулось счастье. Цыганки, должно быть, сообразили, зачем она пошла с ними, потому что в первом же селении они отвели ее к зажиточному болгарину, который нанял Соломию мыть шерсть. С этого времени Соломия всегда приносила с собой немного денег и покупала Остапу лучшую пищу.

Однако старый Гица понял, где зарыта собака: заметив, что Соломия приносит деньги, он как-то подошел к ней, протянул руку, заворочал глазами и крикнул:

— Давай деньги! Что, я даром буду тебя кормить?..

Соломия не понимала их языка, но догадалась, чего он хочет.

Однако Гица для большей ясности достал из кармана монету, положил ее на ладонь и, тыкая в нее черным пальцем другой руки, упорно и сердито настаивал:

— Пара! Пара!..<sup>1</sup>

Соломия отдала ему все, что имела.

И так пошло дальше: каждый ее заработок исчезал в глубоком Гицином кармане.

С каждым днем жизнь в цыганской халупе становилась все тяжелее и тяжелее.

Раз случилось такое происшествие. У Остапа сдвинулась повязка, и он никак не мог ее поправить, — ему все не удавалось перевязать рану. Мариуца тогда была дома. Она заметила это и помогла Остапу завязать платок. Как раз в тот момент, когда Мариуца наклонилась над Остапом, Раду вошел в хату. Цыган сразу побледнел, и волосы его из черных стали синими.

---

<sup>1</sup> Деньги! Деньги!

— Аорде!

Он загремел на жену, злым, сдавленным, хриплым голосом. Руки невольно сжались в кулаки.

Мариуца, не торопясь, завязала платок и стала перед Раду, высокая и прямая, как натянутая струна, со спокойным, но грозным лицом. Ее глаза, не мигая, смотрели в его глаза, будто говорили: «тронь». С минуту они стояли так друг против друга, как статуи. Раду ожил червым. Он поднял руку и тяжело опустил на ее плечо. Потом рука разжалась и дернула женщину за косу. Мариуца согнулась, словно поклонилась Раду, и, внезапно подскочив, всеми десятью ногтями провела по его бледному лицу. Он зарычал от боли и, рванув ее к себе, обхватил. Она забилась, завертелась в его объятиях, как вьюн, а ее синий плащ трепался на одном плече, словно перебитое крыло. Драка горячила их. Они налетали друг на друга, сталкивались грудями, как разъяренные петухи, кусались и царапались, будто коты, рычали от злости и теребили друг друга так рьяно, что волосы их поднялись и торчали, как вата цыганских лохмотьев. Наконец они разошлись со странно блещущими глазами, взволнованными грудями, с раздутыми ноздрями на бледных и гордых лицах...

Остап дрожал от досады, что не может любить цыгана.

«Я бы тебе натер маку, — думал он, — если бы солдат не выпустил из меня крови».

Крови этой вытекло, верно, порядочно, потому что здоровье возвращалось к Остапу медленно, силы прибывали по капле, а бледные губы долго не хотели розоветь.

К тому же он был в неволе. Море камыша отовсюду катилось на него рыжими волнами и не выпускало, как своего пленника.

Предоставленный целыми днями самому себе, Остап пробовал свои дрожавшие ноги, как птенец крылья, и томился, и горевал, что нет еще сил, чтобы покинуть цыганский выселок. Присматриваясь к жизни этого выселка, Остап замечал много необычного и даже тревожного. Гица и Раду целыми днями спали, а на ночь куда-то исчезали. Нередко посреди ночи, прерывая спокойный сон халупы, раздавался неожиданный грохот в

оконце, и хату наполняла шайка какого-то подозрительного люда, который пил, кричал, сверкал жадными глазами и ссорился, как волчья свадьба. Однажды Остапу не спалось. Он открыл дверь, чтобы подышать свежим воздухом, увидел, как Раду пригнал чьих-то лошадей, стреножил их и отвел в камыши.

«Эге!— подумал Остап. — Так вот оно что!..»

И чем больше Остап присматривался, тем все больше замечал и все более становился уверенным, что попал в боровское гнездо.

Плавни были хорошим местом для сокрытия краденного, а старый и молодой цыганы жили с ними душа в душу и смело поверяли им все тайны опасного ремесла.

— Надо бежать отсюда,— говорил Остап, рассказывая Соломии о своих наблюдениях,— а то еще попадешься с ними. Раду на меня чортом смотрит из-за своей — а ну ее! — носатой цыганки да таскает за юлосы молодлицу ни за что ни про что.

Однако Раду не всегда ссорился с женой.

Случались такие дни, когда вся семья, как бы створясь, оставалась дома, отдыхала. Все вместе обедали, пили вино, были веселы. Если взрыв гнева или злобный блеск подсиненного белка иногда нарушал мир, то лишь на минуту: сразу после этого вновь раздавался смех, и радость была такой же дикой, как и ссора.

После обеда Гица снимал со стены свою скрипку. Вся семья знала, что будет дальше, и располагалась у лачуги. Старая цыганка набивала красную трубку свежим табаком и удобно устраивалась на завалинке. Гица надвигал на лоб рваный бриль, становился в позицию около двери и начинал. Сперва Мариуца только сверкала на Раду белками, а он слегка подмигивал ей горячим оком да поводил черным усом, но когда скрипка начала поддавать жару и щекотать танцорам нервы, молодлица не могла уже сидеть на месте, черной птицей срывалась с завалинки и кидалась в танец так порывисто, что синий плащ ее надувался и шелестел от ветра. Раду ждал. Все его обычно тяжеловатые движения становились в танце легкими и плавными, ноги едва касались земли, руки гнулись, как резиновые, вся фигура его напоминала тонкую и гибкую лозу. Сначала танцевали медленно, плавно, словно покачиваясь от ветра. Но вот

Гица наклонился и налег на скрипку. Он взял одну ноту и все тянул ее, тянул все выше и выше, даже становилось не по себе, даже захватывало дух. Наконец нота сорвалась с высоты и покатилась вниз. Сперва она катилась одна, подсакивая и беря разгон, но вот ненароком зацепила другую, третью. Зазвенели эти ноты и покатились вместе вниз, как камни с горы, все быстрее и быстрее, беря все больший разгон, все больше захватывая нот, вырастая в лавину звуков, в грозный водопад музыки, в котором чувствовалась дикая сила движения.

Этот водопад всецело захватил танцующих, заставил встрепенуться все их жилки. Цыгане ускорили темп, манили друг друга руками, глазами, подплывали и уплывали, сладко млели, ловким движением ускользали из объятий и снова колыхались в танце, как черные лебеди на волнах. Даже когда они стояли, каждый мускул их черных тел трепетал под одеждой, груди тяжело вздымались, белые зубы сверкали в раскрытых ртах, а из горла вылетал короткий крик страсти.

Старая цыганка, едва различимая в табачном дыму, ударяла в ладоши, сидя на завалинке, а с другой стороны стояла белая коза и смотрела, не мигая, на хозяев, как бы зачарованная мелодией цыганской пляски.

Остап тоже выходил из хаты смотреть на танцы.

«Чорт знает, как веселятся, будто пьяные», — думал он и вспоминал музыкантов в своем селе, которых когда-то нанимал для Соломии.

\* \* \*

Неожиданно произошло событие, всколыхнувшее все цыганское гнездовье. Как-то перед рассветом Раду принес в хату израненного, окровавленного Гицу. Старый цыган тихо стонал, а за ним от порога к лавке тянулась кровавая дорожка. Женщины всполошились. Старуха бросалась на Раду и проклинала его, а он, хмурый и взволнованный, объяснял ей что-то шопотом, чтобы не услышали чужие люди. Старая цыганка подняла переполох и расшевелила всех. Соломия должна была затопить печь. Мариуца с матерью осматривали раненого, а Раду поспешил бросить в огонь окровавленную

одежду Гицы и соскоблить с пола следы крови. Он был встревожен, — то выходил, то входил в халупу, куда-то исчезал, снова появлялся, чтобы тайно посоветоваться с женщинами. Женщины не поехали нищенствовать. Облезлая кляча бродила целый день возле дома, подставляя тощие ребра ветру, и щипала последнюю пожелтевшую и высохшую траву. Старая цыганка, повидимому, тосковала, она кричала, плакала и не отходила от Гицы. Мариуца была спокойна, но задумчива. Гица молча лежал в углу, но время от времени созывал всех, и тогда над ним склонялись три черные головы и велись таинственные совещания. Должно было произойти что-то необычайное. Что именно, Остап не знал, но догадывался. Случай с Гицей беспокоил их с Соломией, и они решили покинуть опасное место, несмотря на то, что Остапу трудно было пускаться в путь пешком. На другой день Соломия должна была просить своего болгарина приютить Остапа, и если тот согласится, сейчас же выбраться из плавней.

Но вышло иначе. На другой день около полудня набежали на цыганскую халупу турецкие солдаты, сделали обыск, нашли в плавнях какие-то вещи и связали всех бывших в хате — даже слабого Гицу. Напрасно Остап уверял солдат, что он посторонний здесь, напрасно рассказывал, как очутился в плавнях, — его не слушали, как не слушали жалоб женщин и проклятий Раду.

Они положили Гицу в возок, запряженный облезлой клячей, подперли дверь колом и, вспоминая аллаха и бранясь, погнали пленников по дороге в Галац.

В плавнях возле лачуги осталась на хозяйстве одна коза и жалобно блеяла, когда осенний ветер ерошил ее белую шерсть.

## V

Соломии сегодня везло. У болгарина не работали, — был какой-то местный праздник, — и она пошла в горницы к хозяину просить за Остапа. Болгарин ради праздника был навеселе. Он охотно позволил Остапу переночевать вместе со своими слугами и даже дал Соломии немного денег вперед. Соломия решила воспользоваться свободным днем и деньгами и сбегать в Галац купить

для Остапа теплую одежду. Ей было сегодня как-то особенно весело и легко на душе: так хорошо дышалось морозным воздухом, все плохое, что случилось в ее жизни, отходило назад, бледнело. Возрастала уверенность, что все кончится благополучно и что она еще узнает счастливую жизнь. Соломия не заметила, как очутилась на базаре. Глаза у нее разбежались среди балаганов и рундуков с грудями разной одежды, с горами белых и коричневых качул<sup>1</sup>, лежавших на рундуках, как будто там отдыхала отара, с целыми грудями легких козловых туфель, которые пахли на весь базар. Она не знала, с чего начать, и долго, возможно, стояла бы так, если бы кто-то не дернул ее сзади за рукав.

— Соломия, — тотчас же послышался козлиный голос, — вы ли это или ваша тень?.. Хе-хе-хе...

Соломия оглянулась: перед нею стоял катигорошек.

— Иван! Как вы сюда попали? — вскрикнула она, обрадовавшись ему, как родному.

— А что, вы думали — погиб?.. А где Остап?

— Остап... Да пойдемте лучше отсюда, присядем где-нибудь, а я потом куплю, что нужно... — И Соломия увела из толпы обрадованного ее лаской Ивана.

— Хе-хе-хе!.. Гора с горой не сходятся, а мы... — смеялся он, едва поспевая на своих коротких ногах за Соломией, и его сытое тело колыхалось от смеха.

Иван за это время пополнил, стал на людей похож и казался не работником, а скорее хозяином. Короткую суконную свитку он подпоясал широким зеленым поясом, широкие шаровары выпустил на голенища, отчего стал еще короче, а козлиную бородку отрастил, и она важно лежала на его груди, как у степенного денежного человека. Они устроились на ступеньках перед лавкой.

— Вот это так! — удивлялся Иван. — Будто снится, что я вас вижу. Расскажите хотя бы, каким чудом вы тут очутились?

Соломия начала рассказывать, но Иван все перебивал ее:

— Хе-хе-хе!.. Я кричу: «Остап! Соломия!» Взглянул — а вокруг вода... только буль-буль под веслами, буль-буль... а берег так и исчез в темноте... Ох, беда! —

---

<sup>1</sup> Овечья шерсть.

охал Иван, как баба, — под самое сердце угодил! — Иван таращил на Соломию глаза и поводил от удивления своей козлиной бородкой.

— А как же, а как же, так бы и осмолили, как борова, погибла бы душа христианская ни за понюшку табака... хе-хе!..

...Вы что думаете — так же было и со мной: вот пристали мы к берегу...

...Вот это так!.. Ну и чертовская цыганка!.. Он ее за косы таскает, она ему в глаза с когтями бросается..

Иван перебивал рассказ Соломии и все порывался рассказать о своих приключениях. Наконец он добился своего:

— Вылезли мы из челнов и вышли на турецкую землю, а мне и свет не мил, ей-богу!.. Человек думал вместе с хорошими людьми побыть, а тут... только узелок ваш в руках... Идем на другой день в конак<sup>1</sup> записываться, а у меня в мыслях все вы с Остапом, едва не плачу от горя... Записали нас — говорят: свободны... Ну, живой живет и о будущем думает, хе-хе-хе!.. Одни из нашей партии направились в Тульчу, в Исакчу к родственникам, а я вижу — и тут наши люди, да и остался. Может быть, думаю, весточку какую-нибудь от вас получу, ей-богу!.. Подождите, не перебивайте! Вот вышел я на базар, остановился около наших, смотрю на тех, которые нанимают. Проходят турки — гал-гал-гал! Как евреи наши... Черные греки так и шныряют, так и шныряют. Подошел ко мне один человек, румынами их тут зовут. «Иди, говорит, ко мне, аргат...» Аргат — это по-ихнему, а по-нашему — работник... Я и не знал, о чем это он. «Что тебе надо? — спрашиваю, а он: «Аргат, аргат...» Насилу растолковали люди. «Почему же нет», — говорю, — и пошел за ним. Добрый человек, спасибо ему, и харчи хорошие... А как молодница его начнет на меня ворчать, так он еще добрее делается, лишь бы я его не оставил: «Бун<sup>2</sup> аргат, говорит, бун», — и еще по плечу хлопает. Что же он думает, что я ему до самой смерти стану молотить?.. Как же, надейся, хе-хе-хе! Вот Савка, — помните Савку: такой высокий, сухопарый? — Ах, какие

---

<sup>1</sup> Полицейский участок.

<sup>2</sup> Хороший.



же вы в самом деле, Савка... такой сухопарый, высокий, верстой его дразнили... так он зовет под Тульчу... «Иди, говорит, туда, там земли не меряны, бери, занимай, сколько силы хватит, руби лес, ставь хату — хозяином будешь...» Знаете, Соломия... знаете что: отправимся все туда, ей-богу!.. И Остап с нами. Вот будет хорошо! Идем сейчас же к вам, посоветуемся с Остапом... Ну и праздник же сегодня. Вот это так! Не думал, не гадал... Правду говорят: гора с горой... хе-хе-хе!..

Иван вертел головой: от счастливых мыслей сытое лицо его и круглые глаза лоснились, будто смазанные маслом. Он безустали тараторил, строил планы, божился и упрашивал.

Соломия и сама думала уже о тех краях, куда звал ее Иван. Работая у болгарина, она слыхала про поселения беглецов и только ожидала, чтобы Остап немного поправился. Теперь вместе с Иваном и этим Савкой (какой это Савка?) еще сподручнее будет отправиться в новые места.

— Ну, хорошо, только вы подождите, пока я сделаю покупки...

— И я с вами пойду... я уже буду держаться вас, как слепой плетня, а то снова потеряю... хе-хе-хе...

Вскоре Соломия с Иваном шли напрямик через плавни к цыганскому поселку. Иван был радостен, весел, отбивал дробь короткими ногами и все говорил, говорил, будто горох рассыпал.

Прежде всего они увидели белую козу. Она терлась о сухую вербу и жалобно блеяла. Приближаясь к хате, Соломия чувствовала невыразимую тревогу, — почему, отчего, она не знала, — но эта тревога отравляла ей душу. Соломия, уже не слушая болтовни Ивана, подбежала к двери. Дверь была подперта колом снаружи. Что случилось? Для чего заперли Остапа? Она рванула кол и вбежала в хату. Там был беспорядок: лежали перевернутые скамьи, лохмотья валялись на полу, в хате было черно и пусто. Никого. Куда же все подевались? Где Остап? Может быть, она ошиблась и попала не в ту хату? Соломия выскочила во двор. Нет, хата та же, вот и трещины в стене, те же вербы и коза. Может быть, Остап вышел из хаты и подпер дверь колом?

Соломия позвала Остапа.

Никто не ответил. Но почему в хате такой беспорядок, все перевернуто и разбросано? Где больной Гица? Он не мог встать: когда она уходила, он едва дышал. Что случилось?

Соломия обежала вокруг хаты, заглянула под навес — лошади и возка не было. Она побежала к другим хатам, заглянула в выбитые окна — никого и ничего. Ноги у нее подкашивались. Все тело дрожало. Тревога теснила грудь и сжимала горло. Где Остап?

— Вот тебе раз! — удивлялся Иван, бегая за Соломией, недоуменно вытаращив на нее глаза и надоедая всякими глупыми советами.

— Куда его дели? — спрашивала себя молодлица, смотря на Ивана и не видя его. Она ничего не могла понять: мысли и предположения прыгали у нее в голове и рассыпались, как монисто.

— Да кто ж его знает! Пойдемте в конак, — посоветовал Иван, — расскажем: так-то и так — был человек и пропал... Увидите, они-то уж отыщут его...

Соломия согласна была на все, лишь бы напасть на Остаповы следы. Да ничего другого и не оставалось, как послушаться Ивана. Для большей уверенности она еще раз осмотрела каждый угол в хате, крикнула несколько раз в сторону плавней, зовя Остапа. Иван вторил своим пискливым голосом. Все было напрасно. Тогда они как можно скорее поспешили назад в Галац, потому что уже начало смеркаться.

Ночь стояла на дворе, когда они добрались до конака. Тут им пришлось ожидать, так как старший пошел в мечеть и долго не возвращался, а турецкие солдаты не понимали их. Наконец их позвали. Толстый добродушный турок с горбатым носом и с черными блестящими усами на свежем спокойном лице выслушал их через переводчика. Он перекинулся несколькими словами с другим турком и снова при помощи переводчика спокойно повел разговор:

— Незачем искать далеко, он тут у нас хорошо спрятан. Попалась птичка. Давно мы расставляли сети воробушкам, вот и поймали. Все гнездо накрыли. Чужую душу отправили в рай, а сами очутились в пекле. Скажи-ка нам, молодлица, когда твой муж заработал пулю? Не тогда ли, когда и Гица, может быть при другой ока-

зии, потому что рана уже заживает. От русского солдата, говоришь, при переправе... я так и знал, что он русский беглец... Вот мы и отошлем его обратно, у нас и своих висельников достаточно, пусть там поглядят его по спине. И не проси, не умоляй, ничем не помогу. Ну, что стоишь? Айда!..

— А вы кто такой? — заметил турок Ивана. — Тоже, видать, из цыганского табора.

— Я... я ничего... я так... что выдумали... я здесь служу... у Тодораки, разве не знаете?.. Вот тоже!..

Соломия вся похолодела, узнав про такое несчастье с Остапом! Она с негодованием отвергала все обвинения, рассказывала всю историю, умоляла, едва не плакала. Турок не хотел ее слушать, отвернулся, заговорил с другими. Переводчик замахал на нее руками и почти что вытолкал за дверь.

Она вышла из конака.

Что было делать, где искать помощи?

Они молча шли по темной улице незнакомого города.

Перед ними висел туман, и в нем ясно виднелись лишь желтые мокрые сучья деревьев, освещенные окнами верхних этажей. Прохожие встречались редко. Зато у ворот на лавках сидели, как воробьи на плетне, веселые и разговорчивые румыны. Все это было такое чужое, все было еще более равнодушно к горю Соломии, чем плавни. И зачем они с Остапом только забрались сюда? Зачем столько натерпелись, зачем так бедствовали в Бесарабии, едва не найдя смерть в плавнях? Не лучше ли было б сгнить в панской неволе среди своих людей?

— Не печальтесь, — утешал ее Иван, — уж там, в конаке, рассудят... Не ела душа чесноку, и не будет от нее пахнуть... Увидите, что его отпустят. А мы завтра посоветуемся с людьми... Я пойду к хозяину своему, он здешний, знает порядки... Не тоскуйте, тоска не поможет. Только вот, горе мое, — где бы мне устроить вас переночевать? Не знает ли Савка? Пойдем к Савке, у него добрая хозяйка.

После долгих блужданий по грязным и темным улицам они дошли, наконец, до Савки. Его не было дома, но хозяйка пустила Соломию переночевать.

— Забегу я к вам завтра, этак — в полдень... Может

быть, отпрошусь у хозяина, — попрощался с нею кати-горошек.

Соломия всю ночь проплакала и утром не пошла на работу. Она нетерпеливо ждала Ивана.

Иван явился, как и обещал, в полдень.

— Ну, что? — бросилась к нему Соломия.

— Бакшиш надо дать... вы не знаете, что такое бакшиш? Куку в руку — взятку... Если не дадите, отвезут раба божьего в Рени. А там не поглядят по головке, ой не поглядят... Рассказывал Савка, — вы же помните Савку? — как его отвезли отсюда за Дунай: ему там так расписали солдаты всю спину нагайками, что до сих пор синие полосы видны... да еще выбрили полголовы, выжгли на лбу клеймо, — вы не видели, потому что сн волосами закрывает его, — и отослали к пану... А сколько по тюрьмам таскали, он и счет потерял. А как пан потешился над ним, говорит, этого и вспоминать не хочется. Да что там — снова убежал сюда. В Тульчу, говорит, пойду... Упорный хлопец... хе-хе! Надо бакшиш дать и вызволить Остапа, да где взять денег? где? скажите! Даже голова кругом идет...

Несмотря на все рассказанные Иваном ужасы, у Соломии стало светлее на душе. Если дело только в деньгах, она приложит все усилия и раздобудет их. Она станет отрывать от себя каждый кусок, каждый грош будет откладывать для выкупа. Может быть, и Иван ей поможет?

— Вот вам все, что я скопил, пусть будет и моя часть для начала, — как бы угадал ее мысли Иван, развернул платок и высыпал горсточку серебра. Он сконфузился и захлопал глазами. — Да еще в нашем узелке кое-что есть. Может, продадите что-нибудь из одежды?

Соломия взяла деньги. В узелке были бусы и кое-какая одежда. Она все это продала. Ей помогла и хозяйка Савки. Но денег было мало. Однако Соломия на другой день утром побежала в конак. Там к старшему ее не пустили, переводчика она не видела, а солдаты смеялись над ней и заигрывали.

Соломия сгорала от стыда и гнева.

— И-и... басурмане, так бы и перерезала вас всех, так бы посвертывала вам головы, как галчатам... Взяли безвинного, да еще и издеваются! — едва не плакала

Соломия и показывала своими сильными руками, как бы она посвертывала солдатам головы...

Впрочем, другого выхода не было, как только ходить в конак, где можно было увидаться с переводчиком, а на него Соломия надеялась. Переводчик, однако, многого не обещал.

— Не освободят твоего мужа, и не надейся. Бежал к нам — сиди тихо, а причиняешь зло — айда назад... Не хлопочи напрасно, и не увидишь его теперь...

— Смилуйтесь, спасите, без вины человек погибает. Соломия сунула переводчику деньги.

Переводчик взял, пересчитал и помотал головой.

— Мало...

— Больше нет. Тут все, что я достала.

— Ну, хорошо, приходи через три дня... нет, лучше через неделю. Может быть, что-нибудь и ответчу.

Соломия каждый день бродила около конака, злая, раздраженная, как голодная волчица. Она не сознавала, зачем туда ходит, но что-то неведомое влекло ее в эту сторону. Она ходила до изнеможения и мерзла. Мокрый снег, летя, как вишневый цвет на ветру, ложился на землю и засыпал Соломию, но она не обращала на него внимания. Соломия была уверена, что не позволит увезти Остапа за Дунай. Как это произойдет, как она поступит, она не знала, но уверенность в этом возрастала с каждым днем. Она согласна пойти на заведомую смерть, если это необходимо. Соломия верила, что случится что-нибудь, необычайное событие, неведомая сила придет в нужный момент на помощь, и эта вера была в ней так сильна, что Соломия оставила работу, не хотела зарабатывать и копить деньги, как решила сначала. Зачем? И так все устроится. Лишь бы дожидаться, что скажет переводчик.

Спокойною, грозно-спокойною пришла она в конак в назначенный переводчиком день.

Он вышел к ней равнодушный.

— Ничего нельзя сделать... Отвезут. А так как я не хочу даром брать твои деньги, то скажу тебе, что повезут его послезавтра утром. Как только начнет светать, приходи на берег, увидишь мужа. Вот!..

Так же спокойно, ничего не ответив даже, как будто она давно помирилась с этим, оставила Соломия конак.

«Отвезут, отвезут, отвезут», — стучало молотком в ее голове при каждом шаге, когда она спешила к Ивалу. Она позвала Ивана с гумна и отвела в сторону.

— Отвезут, — промолвила она, смотря на него сухими глазами.

— Кого отвезут?

— Остапа.

— Ну? Когда?

— Послезавтра... Мы его отобьем.

— Кто — мы?

— Вы и я.

— Вот это так! Вот так сказали! Как же мы его отобьем? Его турки повезут! — испугался катигорошек.

Что турки!.. У нее целый план. Очень простой план. Он достанет ей и себе ружье — ружья есть у каждого румына. Они выйдут на берег утром, отвяжут чужой челн и выплывут на реку. Там они будут ждать, пока повезут Остапа, и тогда нападут на турок. Остап им поможет, увидев их. Как, он боится? Он не хочет выручить товарища, который вместе с ним прошел большой путь, вместе ел и пил? Она так и знала, что у этого пузыря с жиром только и хватило смелости на то, чтоб убежать от жены. Вот когда она узнала ему цену, поняла его улещивания. Она обойдется и без него, она сама погибнет, спасая Остапа. Но на прощанье она напомнит ему его жену и здесь, при людях, осрамит, отколотит его, как еврей Гамона.

— Да что же вы, как же это вы... храни вас бог, — защищался испуганный Иван от наступавшей на него Соломии. — Да я с вами хоть в пекло... Что мне — страшно умирать?.. Если, говорите, послезавтра — пусть будет послезавтра! Я готов... лишь бы вы... — Иван был красен, хлопал глазами и робко поглядывал на Соломию.

Соломия отошла, опомнилась. Они помирились и уже тихо, не ссорясь, условились обо всем. На этом и разошлись.

В назначенный день, только начало светать, Соломия была уже на берегу. Полная до краев река лежала перед нею между покрытыми снегом берегами, как черная и тихая бездна. Туман уже поднялся, и небо стало серым. В тихом и теплом воздухе чернели прибрежные вербы и ложились черные тени на зеркало реки; мокрые, разбух-

щие сучья верб слегка дымились, словно дышали на холме.

Соломия смотрела на город. Она поджидала Ивана. Неужели он не придет?

Народу было еще мало. Лишь кое-где перебирались через грязную улицу согбенные пешеходы. Но вот показалась короткая и сытая фигура. Иван нес на плече весла и походил на рыбака, спокойно начинающего свой рабочий день. Иван сбросил весла в крайний челнок, вытащил из-за пазухи старый турецкий пистолет и подал Соломии. Это было все, что он мог раздобыть.

— Заряжен? — спросила Соломия, садясь в челн.

— Заряжен, — тихо ответил Иван, отталкиваясь от берега. Он был молчалив и серьезен, точно печаль зимнего ландшафта изменила его постоянное настроение. Они отплыли на середину реки. Быстрым течением отнесло их вниз, и видно было, как бежали от них берега с черными вербами.

Соломия не сводила глаз с берега. Там, у воды, группа людей готовилась сесть в челн. Трое или четверо? — мучил Соломию вопрос, и она никак не могла сосчитать. Она видела, как они садились и как челн закачался на воде, отделяясь от берега. Оба челна двигались по черному зеркалу и оставляли за собой город. Турецкий челн тоже выплыл на середину, очевидно желая воспользоваться силой течения. Так они плыли далеко друг от друга, и расстояние между ними не уменьшалось. Вскоре город совершенно скрылся за прибрежными вербами. Тогда Иван налег на весла, и его челн начал заметно нагонять передних. Вот уже можно было разобрать, что там сидело четверо — двое на веслах, а двое друг против друга. Соломия узнала Остапа.

Надо его известить.

— Ос-та-ап! — крикнула она, словно начав песню, и этот музыкальный зов покатился среди белых берегов, долетел до человека на переднем челне и заставил его вздрогнуть.

— Ос-та-ап, — пела Соломия, — мы плывем тебя освобождать! Иван убивает одного, я стреляю в другого, а ты возьми на себя третьего.

Прекрасный, сильный голос пел над водой, все приближаясь, становясь все громче. И турки заслушались.

Они не заметили даже, что прямо на них летит челн и вот-вот столкнется с их челном.

Челн Соломии повернулся бортом и был всего-навсего на аршин от турецкого, когда турки заговорили все разом. Но было уже поздно: челны коснулись друг друга, закачались, и в тот момент, когда турки с бранью пагнулись, чтоб оттолкнуться, Иван поднял весло и со всей силой опустил его на красную феску.

В тот же миг сверкнул огонь и взвилось облачко дыма.

— Алла! — вскрикнули турки от неожиданности.

Одного из них душил Остап.

Это было так молниеносно, что казалось минутой сна. Иван, опустив на голову турка весло, поднял его снова и на мгновение застыл, смотря на качающийся, прыгающий на волне челн с испуганными людьми. Соломию сквозь кисею дыма ожег злой взгляд черных глаз, и ей казалось, что она стреляет беспрестанно, хотя могла выстрелить всего раз.

Вдруг Иван почувствовал, что ему что-то обожгло живот. Он машинально опустил весло на турка, но весло скользнуло и выпало из рук: красная феска турка как-то вытянулась перед глазами, как бы выросла и так же исчезла. Иван раскинул руки, пошатнулся, в голове его промелькнула мысль, что с ним случилось недоброе.

— Ох, боже мой! — вскрикнул он вдруг и полетел навзничь в воду. Шаткий челн накренился под тяжестью его тела и выбросил Соломию. Ледяная вода иглами прошла по ее телу, сон исчез, и сознание происходящего освежило мозг. Стараясь ухватиться за опрокинутый челн, Соломия заметила, что Остап бьется в руках двух турок, а третий, тот самый, который подвернулся под весло Ивану, держит в руках еще дымящееся ружье. Длинный челн бился перед глазами на воде, как большая рыба.

Значит, ни она, ни Иван никого не убили... Значит, все погибло... Но ей не до того... Она чувствует, как мучнее течение заключает ее в свои объятия, а черная глубина тянет за ноги. Приходит смерть. Но Соломия не дается. У нее сильные руки, а до берега недалеко. Она слышит за собой какие-то крики, Остапов голос, но ей не до них. Она должна спешить, пока не застыло тело.



Буйные, упорные силы жизни поют и просятся наружу и распирают грудь, превращаются в ярость. Все силы собрать... всю теплую кровь... всю волю... Вот уже ближе берег, вот берег виден... А там так хорошо... так сияет солнце, там зелень, там небо синее, там радость, жизнь. Душа рвется к солнцу, а тело тянет к себе черная бездна. Она оковывает его железом, отягчает его камнями, обнимает холодными руками. Все тяжелее и тяжелее становится оно, все глубже и глубже уходит в воду.

— Остап!..— с отчаянием взывает душа.

— Соломия!..— доносится до нее крик сердца.

— Соломия! — слышит она сквозь холодную воду, которая хлещет ее по глазам, касается лба, приподымает волосы.

Желтый мутный свет медленно плывет вверх... воспоминания загораются, как искры, и потухают, как искры.

По черной реке между белыми берегами быстро несет челн, тает вдали, становится точкой; за ним вода несет другой, пустой, колотится в его белые борта и красит их в красный цвет.

Тихо в воздухе...

\* \* \*

Немало воды утекло в Дунае с тех пор.

По высокому бессарабскому пастбищу день за днем катится грязная волна овечьей отары, а ночами скорбно гудит ветер. Одиноким стоит высокий памятник, поставленный на месте пролитой человеческой крови. Здесь когда-то сражались турецкие янычары с русскими войсками.

Тускло светятся окна небольшой халупы, где сторож варит свой бедный ужин. Весело потрескивает, пылает в печи сухой тростник и шумит в трубе. В печи что-то булькает. Седой старик греется у огня и слушает разговор ветра.

Что ни говорите, а он живой, этот ветер. Он летит издалека над тихими деревнями и все собирает по дороге, и полон тишиной деревенской и клекотом города, шорохами темного леса, журчанием вод и звоном спелого колоса. Он несет с собой весь гомон земли — от тихого жужжанья мухи до раскатов грома, от сокровенного вздоха сердца до крика смертельного отчаяния.

Надо только уметь слушать. А старик научился. Долгие годы одинокой жизни среди пологих просторов в этом царстве ветра научили его понимать таинственный разговор. Вот и теперь приносит ему его верный товарищ вести со всего света и бросает, как драгоценный дар, в трубу халупы.

Старик подымает густые брови и слушает. Его мутные глаза смотрят в пространство, а улыбка разглаживает морщины.

— Слышу, слышу...— шепчет он и выходит из лачуги. Ночь и пустота охватывают его.

Он поворачивается в ту сторону, где далеко за селами и полями течет Дунай, и шепчет:

— Снова зовешь меня, Соломия? Подожди, скоро приду, не стану медлить...

А ветер гудит, играет стариковской бородою и приносит ему тихий, едва слышный, как бы со дна Дуная, оклик:

— Оста-а-ап!

— Вот так она часто зовет меня, — рассказывает старик людям, которые иногда заходят в сторожку. — Как только ветер загудит, так и зовет к себе, то в трубу крикнет, то на дворе позовет, а иногда среди ночи разбудит. Но не приходит, нет... Да и слава богу, ведь опечалилась бы, бедняжка, если бы прочла мою жизнь, какой она написана на моей спине...

И Остап охотно поднимает рубашку и показывает исполосованный синий хребет, где записана, как он говорит, его жизнь.

— Вот на спине памятка от пана, а спереди, меж ребер, подарок солдата... кругом в заплатках... так и к богу пойду... Дорого заплатил я за свободу, горькую цену дал... Половина меня лежит на дне Дуная, а другая ждет не дождется, когда соединится с ней...

4 ноября 1901 г.

Чернигов

## НА КАМНЕ

(Аquareль)

Из единственной на всю татарскую деревню кофейни хорошо было видно море и серые пески берега. В открытые окна и двери на длинную с колонками веранду так и вривалась ясная голубизна моря, уходящая в бесконечную голубизну неба. Даже душный воздух летнего дня принимал мягкие голубоватые тона, в которых тонули и расплывались контуры далеких прибрежных гор.

С моря дул ветер. Соленая прохлада привлекала гостей, и они, заказав кофе, усаживались у окон или садились на веранде. Даже сам хозяин кофейни, кривоногий Мемет, предупредительно угадывая желания гостей, кричал своему младшему брату: «Джепар... бир каве... эки каве»<sup>1</sup>, а сам высовывался за дверь, чтобы освежиться влажным холодком и снять на миг с бритой головы круглую татарскую шапочку.

Пока красный от духоты Джепар раздувал жар в печи и постукивал по кофейнику, чтобы вышел хороший «каймак», Мемет вглядывался в море.

— Будет буря! — проговорил он, не поворачиваясь. — Ветер свежеет — вон на лодке убирают паруса...

Татары повернули головы к морю.

---

<sup>1</sup> Одну чашку, две чашки,

На большом черном баркасе, который, казалось, поворачивал к берегу, действительно убрали паруса. Ветер надувал их, и они вырывались из рук, как большие белые птицы; черная лодка наклонилась и боком легла на синюю волну.

— К нам поворачивает, — отозвался Джебар, — я даже узнаю лодку — это грек привез соль.

Мемет тоже узнал лодку грека. Для него это имело значение, так как, кроме кофейни, он держал лавочку, также единственную на все селение, и был мясником. Значит, соль была ему нужна.

Когда баркас приблизился, Мемет оставил кофейню и отправился на берег. Гости поторопились допить свой кофе и двинулись за Меметом. Они пересекли крутую узкую улицу, обогнули мечеть и по каменистой тропе спустились к морю.

Синее море волновалось и пеною кипело у берега. Баркас подпрыгивал на месте, плескался, как рыба, и не мог пристать к берегу. Седоусый грек и молодой батрак — дангалак<sup>1</sup>, стройный и длинноногий, выбивались из сил, налегая на весла, однако им не удавалось пристать к берегу. Тогда грек бросил в море якорь, а дангалак начал быстро разуваться и закатывать выше колен желтые штаны. Татары переговаривались с берега с греком. Синяя волна молоком закипала у их ног, а потом таяла и шипела на песке, убегая в море.

— Ты уже готов, Али? — крикнул грек дангалаку.

Вместо ответа Али перекинул голые ноги через край лодки и прыгнул в воду. Ловким движением он принял от грека мешок с солью, положил на плечо и понес на берег.

Его стройная фигура в узких желтых штанах и синей куртке, здоровое, загорелое от морского ветра лицо и красный платок на голове прекрасно вырисовывались на фоне синего моря. Али сбросил на песок свою ношу и снова вернулся в море, погружая мокрые розовые икры в легкую и белую, как взбитый белок, пену, а потом обмывая их в чистой синей волне. Он подбегал к греку и должен был ловить миг, когда лодка становилась

---

<sup>1</sup> Гребец.

вровень с его плечом, чтобы удобно было принять тяжелый мешок. Лодка билась на волне и рвалась с якоря, как пес с цепи. Али все бегал от лодки к берегу и назад. Волна догоняла его и бросала ему под ноги белую пену. Порой Али пропускал удобный момент и тогда хватался за борт лодки и поднимался вместе с нею вверх, словно краб, прилипший к борту корабля.

Татары собирались на берегу. Даже в деревне, на плоских кровлях домов, появлялись, несмотря на жару, татарки; с берега они казались яркими цветами на клумбах.

Море все больше теряло спокойствие. Чайки срывались с одиноких прибрежных скал, грудью припадали к волне и плакали над морем. Море потемнело, переменялось. Мелкие волны сливались и, словно глыбы зеленоватого стекла, незаметно подкрадывались к берегу, падали на песок и разбивались в белую пену. Под лодкой клокотало, кипело, шумело, и она подскакивала и прыгала, будто куда-то неслась на белогривых зверях. Грек часто оборачивался и с тревогой поглядывал на море. Али еще быстрее бегал от лодки на берег, весь забрызганный пеной. Вода у берега начала мутиться и желтеть; вместе с песком волна выбрасывала со дна моря на берег камни и, убегая назад, волочила их по дну с таким шумом, будто там что-то огромное скрежетало зубами и ворчалло. Спустя какие-нибудь полчаса прибой уже перескакивал через камни, заливал прибрежную дорогу и подбирался к мешкам с солью. Татары принуждены были отступить назад, чтобы не замочить чувяк.

— Мемет!.. Нурла!.. помогите, люди, а то соль подмокнет!.. Али! иди же туда, — хрипел грек.

Татары зашевелились, и, пока грек танцевал вместе с лодкой на волнах, тоскливо поглядывая на море, соль была перенесена в безопасное место.

Тем временем море наступало. Монотонный, ритмичный шум волн перешел в грохот. Сперва глухой, как тяжелый храп, а потом сильный и короткий, как далекий выстрел орудия. В небе серой паутиной проносились тучи. Взволнованное море, уже грязное и темное, налетало на берег и покрывало скалы, по которым стекали потоки грязной, пенистой воды.

— Ге-ге!... будет буря! — кричал Мемет греку. — Вытаскивай лодку на берег.

— А, что говоришь?.. — хрипел грек, сисясь пере-кричать шум прибора.

— Лодку на берег! — крикнул что есть силы Нурла.

Грек беспокойно завертелся и среди брызг и рева волн начал распутывать цепь, связывать веревки. Али кинулся к цепи. Татары снимали чувяки, закатывали штаны и спешили на помощь. Наконец грек поднял якорь, и черный баркас, подхваченный грязной волной, окатившей татар с ног до головы, двинулся к берегу. Кучка согнувшихся мокрых татар среди клекота пены с криком вытаскивала из моря черный баркас, будто какое-то морское чудовище или огромного дельфина. Но вот баркас лег на песок. Его привязали к колу. Татары отряхивались и взвешивали с греком соль.

Али помогал, хотя иногда, когда хозяин увлекался разговором с покупателями, поглядывал на незнакомое селение. Солнце стояло уже над горами. По голому серому выступу скалы лепились татарские домики, сложенные из дикого камня, с плоскими земляными кровлями, один над другим, будто сложенные из карт. Без оград, без ворот, без улиц. Кривые тропки вились по каменистому склону, исчезали под кровлями и появлялись где-то ниже у каменных ступенек. Все было черно и голо. Только на одной кровле каким-то чудом выросла тонкая шелковица, а снизу казалось, — она подымает темную корону в синеве неба.

Зато за деревней, в далекой перспективе, открывался волшебный мир. В глубоких долинах, зеленых от винограда и полных седой мглы, теснились каменные громады, розовые от вечернего солнца или синеющие густыми лесами. Круглые лысые горы, словно гигантские шатры, отбрасывали от себя черную тень, а далекие вершины, серо-голубые, казались зубцами застывших туч. Тем временем солнце спускало из-за туч на дно долины косые пряди золотых нитей, и они опутывали розовые скалы, синие леса, черные тяжелые шатры и зажигали огни на острых вершинах.

Рядом с этой сказочной панорамой татарская деревня казалась грудой дикого камня, и только вереница стройных девушек, с высокими кувшинами на плечах

возвращавшихся от чишме<sup>1</sup>, оживляла каменную пустыню.

На краю деревни, в глубокой долине, между волошскими орехами пробегал ручей. Морской прибой остановил его бег, и вода разлилась между деревьями, отражая в себе их зелень, пестрые халаты татарок и голые тела детворы.

— Али, — крикнул грек, — помогай ссыпать соль!..

За ревом моря Али едва слышал хозяина.

Над берегом от мелких брызг висел соленый туман. Взбаламученное море свирепело.

Уже не волны, а буруны вставали на море, высокие, сердитые, с белыми гребешками, от которых с треском отрывались длинные лоскуты пены и взлетали вверх. Буруны шли неустанно, подминали под себя встречные волны, перескакивали через них и заливали берег, выбрасывая на него мелкий серый песок. Всюду было мокро, стояли лужицы, в ямках задерживалась вода.

Вдруг татары услышали треск, и в тот же миг вода полилась им в чуяки. Это сильная волна подхватила лодку и бросила ее на кол. Грек подбежал к лодке и ахнул: в лодке была дыра. Он кричал от горя, бранился, плакал, но рев моря покрывал его стенанья. Пришлось еще дальше вытягивать лодку и снова привязывать. Грек был так опечален, что, хотя наступила ночь и Мемет звал его в кофейню, он не пошел в деревню и остался на берегу. Словно привидения, блуждали они с Али среди водяной пыли, сердитого грохота и крепкого запаха моря, которым они пропахли насквозь. Месяц давно уже взошел и перепрыгивал с тучи на тучу; при его свете линия берега белела от пены, будто покрытая первым пушистым снегом. Наконец Али, соблазненный огнями деревни, уговорил грека пойти в кофейню.

Грек один раз в год развозил соль по прибрежным крымским селениям и обычно оставлял ее в долг. На другой день, чтобы не терять времени, он приказал Али чинить лодку, а сам горной тропой пошел по деревням собирать долги. Прибрежная тропа была затоплена, и со стороны моря деревня была отрезана от мира.

---

<sup>1</sup> Фонтан.

сторонах ручья: у Нурлы — на правой, у юзбаша — на левой. И если последний пускал воду на свою землю, Нурла запруживал поток выше, отводил его к себе и давал воду своему участку. Это злило всех левобережных, и они, забывая родственную связь, отвоевывали право на жизнь для своего лука и разбивали головы один другому. Нурла и юзбаш стояли во главе враждующих партий, хотя партия юзбаша будто бы брала верх, так как на ее стороне был мулла Асан. Эта вражда сказывалась и в кофейне: если сторонники Нурлы играли в кости, то юзбашевцы, с презрением глянув на них, садились за карты. В одном враги сходились: все пили кофе. Мемет, у которого не было огорода и который, как коммерсант стоял выше партийных раздоров, все ковылял на кривых ногах от Нурлы к юзбашу, успокаивал и мирил. Его круглое лицо и бритая голова лоснились, как у освежеванного барана, а в хитрых глазах, всегда красных, мелькал беспокойный огонек. Он вечно был чем-то обеспокоен, о чем-то вечно думал, вспоминал, что-то подсчитывал и все время бегал то в лавку, то на погреб, то снова к гостям. Иногда он выбегал из кофейни, задирая вверх лицо к плоской кровле и звал:

— Фатьма!..

И тогда от стен его дома, подымавшегося над кофейней, отделялась, словно тень, женщина, завернутая в покрывало, и шла по кровле к самому ее краю.

Он бросал ей наверх пустые мешки или что-либо приказывал резким, скрипучим голосом, коротко и властно, как слуге хозяин, и тень исчезала так же незаметно, как и появлялась.

Али один раз видел ее. Он стоял возле кофейни и следил, как тихо ступали желтые туфельки по каменной лестнице, которая соединяла дом Мемета с землей, а яркозеленый фередже<sup>1</sup> складками спадал по стройной фигуре от головы до красных шаровар. Она сходила тихо, не спеша, неся в одной руке пустой кувшин, а в другой придерживала фередже так, что только большие продолговатые черные глаза, выразительные, как у горной серны, мог увидеть посторонний. Она остановила

---

<sup>1</sup> Плащ.



Уже с полудня волна начала спадать, и Али принялся за работу. Ветер трепал красный платок на голове дангалака, а он работал около лодки и мурлыкал монотонную, как прибой, песню. В соответствующий час, как добрый мусульманин, он расстелил платок на песке и благоговейно стал на колени. Вечером он разложил у моря костер, сварил плов из подмоченного риса, который оставался в лодке, и даже собирался ночевать у лодки, но Мемет позвал его в кофейню. В ней лишь раз в год, когда наезжали покупатели винограда, было трудно найти место, а теперь — свободно и просторно.

В кофейне было тихо. Джебар дремал около печи, увешанной сверкающей посудой, а в печи дремал и подергивался пеплом огонь. Когда Мемет будил брата криком: «Каве!» — Джебар вздрагивал, срывался, хватал мехи, чтобы разбудить огонь. Огонь в печи скалил зубы, метал искры и поблескивал на медной посуде, а по дому распространялся душистый запах свежего кофе. Под потолком гудели мухи. За столами, на широких, обитых кумачом скамьях, сидели татары: в одном месте играли в кости, в другом — в карты, и всюду стояли маленькие чашечки с черным кофе. Кофейня была сердцем деревни, где сосредоточивались все интересы жителей, все то, чем жили люди на камне. Там заседали самые знатные гости — старый суровый мулла Асан, в чалме и длинном халате, который мешком висел на его костлявом, одеревеневшем теле. Он был темный и упрямый, как осел, и за это его все уважали. Был здесь и Нурла-эффенди, богатырь, у которого была рыжая корова, плетеная арба и пара буйволов. Был и зажиточный юзбаш (сотник), владелец единственной на все село лошади. Все они были родичи, как и все обитатели этой маленькой заброшенной деревни, хотя это не мешало им разделиться на два враждебных лагеря. Причиной их вражды был небольшой источник, который бил из-под скалы и стекал ручейком как раз посередине деревни, между татарскими огородами. Только эта вода давала жизнь всему, что росло на камне, и если одна половина деревни пускала ее на свои огородики — другая с болью в сердце глядела, как солнце и камень губят их лук. У двух самых богатых и наиболее влиятельных жителей селения были огороды на разных

взор на Али, потом опустила веки и пошла дальше тихо и спокойно, как египетская жрица.

Али показалось, что эти глаза пронзили его сердце, и он понес их с собою.

Над морем, починяя лодку и мурлыча свои дремотные песни, он глядел в эти глаза. Он видел их везде: и в прозрачной, как стекло, и, как стекло, звонкой волне, и в огромном сверкающем на солнце камне. Они смотрели на него даже из чашечек с черным кофе.

Он часто посматривал на деревню и часто видел на кофейне под одиноким деревом неясную фигуру женщины, стоявшую лицом к морю, будто искавшую свои глаза.

К Али в деревне скоро привыкли. Девушки, возвращаясь от чишме, как бы случайно открывали лица, когда встречались с красавцем-турком, краснели, шли быстрее и шептались между собой. Мужской молодежи нравился его веселый нрав. Летними вечерами, тихими и свежими, когда звезды висели над землею, а месяц над морем, Али вынимал зурну, привезенную из-под Смирны, присаживался у кофейни или еще где-нибудь и разговаривал с родным краем печальными, хватающими за душу звуками. Зурна созывала молодежь, конечно, мужскую. Им понятна была восточная песня, и скоро в тени каменных жилищ, затканной синим светом, начинались развлечения: зурна повторяла одну и ту же мелодию, монотонную, нехитрую, бесконечную, как песня сверчка; даже становилось тошно, под сердцем начинало болеть, и одуревшие татары подхватывали в такт песне:

— О-ля-ля... о-на-на...

С одной стороны дремал таинственный свет черных великанов-гор, с другой — лежало спокойное море и вздыхало сквозь сон, как маленький ребенок, и трепетало под месяцем золотой дорогой...

— О-ля-ля... о-на-на...

Те, кто смотрел сверху, из своих каменных гнезд, видели иногда протянутую руку, на которую падал луч месяца, или дрожащие в танце плечи и слушали однообразное, назойливое сопровождение зурны:

— О-ля-ля... о-на-на...

Фатъма тоже слушала.

Она пришла с гор. Из далекой горной деревни, где жили иные люди, где были свои обычаи, где остались ее подруги. Там не было моря. Пришел мясник, заплатил отцу больше, чем могли дать свои парни, и забрал ее с собой. Противный, неласковый, чужой, как все люди здесь, как этот край. Здесь нет семьи, нет подруг, доброжелательных людей, это — край света, отсюда нет даже дорог.

— О-ля-ля... о-на-на...

Нет даже дорог потому, что когда море рассердится, то отнимет единственную прибрежную тропу... Здесь только море, всюду море. Утром слепит глаза его синева, днем качается зеленая волна, ночью оно дышит, как больной человек... В хорошую погоду раздражает спокойствием, в бурю плюет на берег, и бьется, и ревет, как зверь, и не дает спать... Даже в дом проникает его острый запах, от которого становится тошно... От него не убежишь, не скроешься, оно везде, оно наблюдает за ней... Порой оно дразнит, покрывается туманом, белым, как снег в горах; кажется, его нет, пропало, а в тумане все-таки бьется, стонет, вздыхает, вот как сейчас — о!..

Бу-ух!.. бу-бух!.. бу-ух!..

— О-ля-ля... о-на-на...

Бьется под туманом, как ребенок в пеленках, а потом сбрасывает их с себя... Лезут вверх длинные, рваные клочья тумана, цепляются за мечеть, окутывают деревню, заползают в дома, давят на сердце, — даже солнца не видно... Да вот сейчас... вот сейчас...

— О-ля-ля... о-на-на...

Теперь она часто выходит на крышу кофейни, прислоняется к дереву и глядит на море... Нет, не моря она ищет, она следит за красной повязкой на голове чужеземца, словно надеется увидеть его глаза — большие, черные, горячие, какие ей снятся... Там, на песке у моря, зацвел ее любимый цветок — горный шафран.

— О-ля-ля... о-на-на...

Звезды висят над землей, месяц — над морем.

. . . . .

— Ты издалека?

Али вздрогнул. Голос шел сверху, с крыши, и Али поднял глаза.

Фатма стояла под деревом, тень от которого укрывала Али.

Он вспыхнул и начал заикаться.

— Из п-под... Смирны!.. Далеко отсюда...

— Я с гор.

Молчание.

Кровь зашумела у него в голове, как шумит морская волна, и он не мог оторвать глаз от татарки.

— Зачем забрался сюда? Тебе здесь грустно?

— Я бедняк — ни звезды на небе, ни былинки на земле... Батрачу...

— Я слышала, как ты играешь...

Молчание.

— Весело... У нас в горах тоже весело... музыка, девушки веселые... у нас нет моря... А у вас?

— Близко нету...

— Иохтер?<sup>1</sup> И ты не слышишь в доме, как оно дышит?

— Нет, у нас вместо моря — песок... Несет ветер горячий песок, и растут горы, будто верблюжьки горбы... у нас...

— Тсс!..

Она будто случайно показала из-под фередже белое выхоленное лицо и приложила палец с крашеным ногтем к полным и розовым губам.

Вокруг было безлюдно. Синее, словно второе небо, глядело на них море, и только возле мечети мелькнула какая-то женская фигура.

— Ты не боишься, ханым<sup>2</sup>, разговаривать со мною? Что сделает Мемет, если нас увидит?

— Что захочет...

— Он нас убьет, если увидит.

— Если захочет...

\* \* \*

Солнце еще не было видно, хотя некоторые вершины уже розовели.

Темные скалы были мрачны, а море лежало внизу под серою дымкою сна. Нурла спускался с Яйлы и

---

<sup>1</sup> Нет.

<sup>2</sup> Госпожа.

почти бежал за своими буйволами. Он торопился, ему было так некогда, что он даже не замечал, что копна свежей травы съезжала с арбы на спины буйволов и рассыпалась по дороге, когда высокое колесо, зацепившись за камень, подбрасывало на ходу плетеную арбу. Черные низкорослые буйволы, шевеля мохнатыми горбами и большими головами, свернули в деревню к своему двору, но Нурла спохватился, повернул их в другую сторону и остановился у самой кофейни. Он знал, что Мемет там ночует, и рванул дверь.

— Мемет, Мемет, кель мунда! (Иди сюда!)

Мемет, заспанный, вскочил на ноги и протирал глаза.

— Мемет! Где Али? — спросил Нурла.

— Али... Али... где-то здесь... — и он окинул глазами пустые лавки.

— Где Фатьма?

— Фатьма?.. Фатьма спит...

— Они в горах.

Мемет вытаращил глаза на Нурлу, спокойно прошел по кофейне и выглянул во двор. На дороге стояли буйволы, обсыпанные травой, и первый луч солнца ложился на море.

Мемет возвратился к Нурле.

— Что тебе надо?

— Ты сумасшедший... Я тебе говорю, что твоя жена убежала с дангалаком... Я видел их, когда возвратился с Яйлы.

Глаза Мемета полезли на лоб. Дослушав Нурлу, он оттолкнул его, выбежал из дому и, шатаясь на своих кривых ногах, полез по ступенькам лестницы.

Он обежал свои комнаты и выскочил на крышу кофейни. Теперь он действительно был как сумасшедший.

— Осма-ан! — крикнул он хриплым голосом, приложив ладони ко рту.

— Са-ли!.. Джебар!.. Бекир! Кель мунда! — Он поворачивался во все стороны и сзывал, как на пожар: — Усе-йн!.. Мустафа-а!

Татары просыпались и появлялись на плоских кровлях. Тем временем Нурла помогал внизу.

— Асан! Мамут! Зекерия-а-а!.. — кричал он не своим голосом.

Тревога летела над деревней, поднималась выше, к верхним домам, скатывалась вниз, прыгая с кровли на кровлю, и собирала народ. Красные фески появлялись отовсюду, сбегая крутыми тропами к кофейне.

Нурла объяснил, что случилось.

Мемет, красный и почти в беспамятстве, молча водил глазами по толпе. Наконец он подбежал к краю кровли и прыгнул вниз ловко и легко, как кот.

Татары гудели. Всех этих родственников, которые вчера еще, споря из-за воды, разбивали друг другу головы, объединяло теперь чувство оскорбления. Была затронута не только честь Мемета, но и честь всего рода. Какой-то паршивый, презренный дангалак, батрак и пришелец... неслыханное дело! И когда Мемет вынес из дому длинный нож, которым резал овец, и, сверкнув им на солнце, решительно сунул за пояс, — род был готов следовать за ним.

— Веди!

Нурла двинулся вперед, за ним, хромя на правую ногу, спешил мясник и вел за собой длинную цепь возмущенных, решительных родичей.

Солнце уже поднялось и жгло камень. Татары поднимались в гору хорошо знакомой им тропой, вытянувшись в линию, как ползущие муравьи. Передние молчали, и только позади соседи изредка перекидывались словом. Нурла шел, напоминая движениями гончую собаку, которая уже чует дичь. Мемет, красный и мрачный, стал заметнее хромать. Хотя еще было рано, серые камни накалились, как в печке. По их голым выпяченным бокам, то круглым, как гигантские шатры, то острым, как застывшие волны, стлались мясистые листья ядовитого молочая, а ниже, туда к морю, сползал меж синей груды камней яркозеленый каперс.

Узкая тропка, едва заметная, как след дикого зверя, порой пропадала среди каменной пустыни или пряталась за выступом скалы. Там было влажно и холодно, и татары снимали фески, чтобы освежить бритые головы. Потом они снова входили в раскаленную печь, душную, серую и залитую слепящим солнцем. Они упорно лезли на гору, подав туловище несколько вле-

ред, слегка покачиваясь на выгнутых дугою татарских ногах, или обходили узкие и черные ущелья, задевая плечом края скал и ставя ноги на край бездны с уверенностью горных мулов. И чем дальше они шли, чем труднее было им преодолевать препятствия, чем сильнее припекало их сверху солнце, а снизу камень, тем больше упорства отражалось на их красных и потных лицах, тем все больше вылезали их глаза на лоб от упрямства. Дух этих диких, бесплодных, голых скал, которые умирали на ночь, а днем были теплы, как тело, ободрял оскорбленных, и они шли защищать свою честь и свое право с непоколебимостью суровой Яйлы. Они торопились. Им нужно было перехватить беглецов, пока те не добрались до соседней деревни Суаку и не скрылись в море. Правда, Али и Фатьма были здесь чужими людьми, не знали тропинок и легко могли запутаться в их лабиринте, и на это рассчитывала погоня. Однако, хотя до Суаку оставалось немного, их нигде не было видно. Становилось душно, так как сюда, в горы, не долетал влажный морской ветер, к которому они привыкли на берегу. Когда они спускались в ущелье или влезали на гору, мелкие колючие камни сыпались у них из-под ног, и это раздражало их, вспотевших, усталых и злых: они не находили того, что искали, а тем временем каждый из них оставил в деревне работу. Задние немного отставали. Но Мемет рвался вперед с затуманенными глазами и головою, как у разъяренного козла, и, ковыляя, то вырастал, то становился меньше, как морская волна. Они начинали терять надежду. Нурла опоздал — это было очевидно. Но все же шли. Несколько раз извилистый берег Суаку блестел перед ними серыми песками и исчезал...

Неожиданно Зекерия — один из передних — свистнул и остановился. Все посмотрели на него, а он, не говоря ни слова, протянул вперед руки и показал на высокую каменную косу, вдававшуюся в море.

Там из-за утеса на один миг мелькнула красная головная повязка и исчезла. У всех заколотилось сердце, а Мемет тихо зарычал. Они переглянулись; им пришла в голову одна мысль: если бы удалось загнать Али на косу, то его можно будет взять голыми руками. У Нурлы уже был план; он приложил палец к губам, и когда

все замолчали, разделил их на три группы, которые должны были окружить утес с трех сторон; с четвертой стороны скала круто обрывалась в море.

Все сделались осторожными, как на охоте, только Мемет кипел и рвался вперед, сверля скалу жадными глазами. Но вот вынырнул из-за камня край зеленого фередже, а за ним поднимается в гору, словно вырастет из скалы, стройный дангалак. Фатьма шла впереди, зеленая, как весенний куст, а Али, в тесно облегающих ноги желтых штанах, в синей куртке и красной повязке на голове, высокий и гибкий, как молодой кипарис, казался на фоне неба великаном. И когда они остановились на вершине, с прибрежных скал поднялась стая морских птиц и покрыла синеву моря дрожащей сеткою крыльев.

Али, видимо, заблудился и советовался с Фатьмой. Они в тревоге осматривали обрыв, стараясь найти тропу. Вдалеке виднелась спокойная бухта Суаку.

Вдруг Фатьма испугалась и вскрикнула. Фередже сдвинулось с ее головы и упало, и она с ужасом уставилась глазами в налитые кровью безумные глаза мужа, которые глядели на нее из-за камня. Али обернулся, и в тот же миг со всех сторон полезли на скалу, цепляясь руками и ногами за острые камни, и Зекерия, и Джепар, и Мустафа — все те, которые слушали его музыку и пили с ним кофе. Они уже не молчали, из их груди вместе с горячим дыханьем вырывалась волна смешанных звуков и шла на беглецов. Бежать было некуда. Али выпрямился, уперся ногами в камни, положил руку на короткий нож и ждал. Его красивое лицо — бледное и гордое — дышало отвагой молодого орла.

В это время за ним, над обрывом, билась, как чайка, Фатьма... С одной стороны было ненавистное море, с другой — еще более ненавистный, нетерпимый мясник. Она видела его бараньи глаза, злые синие губы, короткую ногу и острый нож, которым он резал овец. Ее душа перелетела через горы. Родная деревня. Завязанные глаза. Играет музыка, и мясник ведет ее отсюда к морю, как овечку, чтобы зарезать. Она в отчаянии закрыла глаза и потеряла равновесие... Синий с желтыми полумесяцами халат скользнул за скалу и пропал среди крика испуганных чаек.



Татары ужаснулись: эта простая и неожиданная смерть отвлекла их от Али. Али не видел, что произошло позади него. Как волк, водил он вокруг глазами, удивляясь, почему они медлят. Неужели боятся? Он видел перед собою блеск хищных глаз, красные, ожесточенные лица, раздутые ноздри и белые зубы — вся эта волна ярости разом бросилась на него, как морской прибой. Али оборонялся. Он проколол Нурле руку и задел Османа, но в ту же минуту его сбили с ног, и, падая, он видел, как Мемет поднял над ним нож и всадил ему между ребрами. Мемет колот куда попало, яростно, как смертельно оскорбленный, и равнодушно, как мясник, хотя грудь Али больше не поднималась, а красивое лицо обрело покой.

Дело было кончено, честь рода спасена от позора. На камне, под ногами, валялось тело дангалака, возле него — затоптанное и порванное фередже.

Мемет был пьян. Он шатался на кривых ногах и размахивал руками; его движения были нелепы и ненужны. Оттолкнув любопытных, столпившихся над трупом, он схватил Али за ногу и поволок.

За ним двинулись все. И когда они возвращались назад теми же самыми тропами, спускаясь вниз и карабкаясь на гору, прекрасная голова Али, с лицом Ганимеда, билась об острые камни и обливалась кровью. Порой она подскакивала на неровных местах, и тогда казалось, что Али с чем-то соглашается и говорит: «Так, так».

Татары шли за ним и бранились.

Когда процессия, наконец, вошла в деревню, все плоские крыши покрылись пестрыми группами женщин и детей и казались садами Семирамиды.

Сотни любопытных глаз проводили процессию до самого моря. Там, на песке, совершенно белом от полдневного солнца, лежал, слегка накренившись, черный баркас с пробитым боком, будто дельфин, выброшенный в бурю. Нежная голубая волна, чистая и теплая, как грудь девушки, бросала на берег тонкое кружево пены. Море сливалось с солнцем в радостной улыбке, и она скользила в даль — по татарским селениям, по садам, по черным лесам и согретым громадам Яйлы.

Все улыбалось.

Без слов, без сговора татары подняли тело Али, положили его в лодку и, сопровождаемые, как стоном морских чаек, тревожными женскими криками, доносившимися из деревни с плоских кровель, дружно сдвинули лодку в море.

Прошуршала по камешкам лодка, плеснула волна, качнулся на ней баркас и — остановился.

Он стоял, а волна играла вокруг него, плескала в борт, брызгала пеной и тихо, едва заметно, относилась в море.

Али плыл навстречу Фатьме...

*10 января 1902 г.*

**Чернигов**

## ПОЕДИНОК

### *Набросок*

Они уже поужинали — пани Антонина и учитель ее дочери, Иван Пиддубный.

Он поднялся с кушетки, слегка отодвинул круглый стол с остатками ужина, а она подала ему для поцелуя руку. И он начал целовать ее не с той стороны, какую обычно целуют знакомые, а ладонь и выше.

Пани Антонина не сопротивлялась, наоборот, она откинула голову и зеленоватыми, слезящимися глазами с красноватыми веками, которые всегда делались такими после наливки, глядела на кудрявую голову молодого человека. Свободной рукой она расстегивала рукав и указывала пальцем:

— Здесь... здесь...

И он двигался губами по синей жилке вверх к белой и мягкой округлости, озаренной матовым светом столовой лампы.

Вдруг — т-ррах... трах-трах!..

Оконная рама задрожала, и все стекла дико зазвенели.

Они вздрогнули и перепуганными глазами впились в черные оконные стекла, в которые лезли из сада облепленные снегом ветви деревьев.

— Кто? Что?!

Муж... он все видел...

И пока они стояли в тех же позах, в бессильном ожидании чего-то страшного и непоправимого, среди мертвой тишины хлопнула дверь, кто-то пробежал по лестнице,

и в комнату влетел хозяин дома — в шубе, в шапке, в калошах, облепленных снегом, низенький, с злыми глазами и трясущейся бородой.

Он уже издали нес простертую левую руку и, добежав до столовой, указал в сторону двери:

— Вон!.. вон из моего дома!..

Иван Пиддубный изменился в лице, хотел что-то сказать, почему-то качнулся, протянул руку и, наклонив голову, пошел нетвердой походкой через столовую, мимо хозяина, через другую комнату — в переднюю. Он слышал, как позади него сдавленным, глухим голосом жена умоляла мужа:

— Опомнись!.. Микола... ты с ума...

— Вон!.. вон из моего дома! — верещал тонким, не своим голосом пан Микола и топал не снятыми с ног калошами.

Пока учитель надевал полушубок, на крик выскочила в переднюю его ученица, десятилетняя Людя. Она была уже наполовину раздета: короткая белая юбочка на белых бретельках, не достигающая до чулок, открывала голые колени. Она сложила голые ручки на груди, согнулась слегка и умоляюще глядела на отца голубыми и перепуганными глазами:

— Папочка!.. папочка!.. не выгоняй пана Вана.

Так она называла своего любимого учителя. Но «папочка» не замечал ее. Он тоже выбежал в переднюю, смешно размахивал руками и декламировал:

— Принял в дом, как сына, как порядочного человека, поил, кормил, платил... Га-а-а!..

Что-то говорила пани Антонина, пицчала Людя, но Иван уже не слышал, нашел шапку, машинально схватил зонтик пана Микола, стоявший в углу, и выскочил на улицу.

Острый поток морозного воздуха... освещенные окна домов... чьи-то голоса... бубенцы извозчиков... берегись!.. — и он очутился в глухой, безлюдной улице. Перед его глазами была протянутая вперед левая рука пана Микола, две красные полосы на его лице, а в ушах звенело: «Вон!.. вон из моего дома!..» Скандал!.. позор!.. Кровь шумела в ушах, что-то подступало к горлу... Он бежал, не сознавая ничего, в расстегнутом полушубке, с чужим зонтиком подмышкой.

Луна уже закатилась. На снегу блестели звезды, будто упавшие с неба. Контурь были резки. Деревья, дома, заборы — тверды, будто высечены из мрамора, странно спокойны, странно крепки. Голубой свет — колюч, словно он замерз.

Учитель ничего не замечал, он бежал по улице и желал только одного: поскорее добраться домой, спрятаться от людей, от позора.

«Вон!»

Это «вон» бежало вслед за ним и гнало вперед.

Встречались извозчики. Он хотел ехать, но вспомнил, что нехватит пяти копеек.

Пиддубный вбежал в свою комнату и, не зажигая света, не раздеваясь, бросился на постель.

Все случившееся ясно стояло перед глазами. Кроме позора, кроме оскорбления, которое горело у него в крови, он чувствовал, что был смешон. Его выгнали, как пса, и он, как пес, покорился и ушел, беспомощный, бессловесный, трусливый. Она не простит ему его позора, его мещанства. Следовало что-то сказать, что-то сделать... Но что? Он не знал. У него первый раз был роман с такой важной дамой. Бедный учитель из нищей мещанской семьи, выгнанный из школы, он никогда не взлетал грешной мыслью выше прислуги или бедной барышни, которая только по праздникам надевает платье получше и у которой вечно красные от работы руки. И вот эта сорокадвухлетняя дама, богатая помещица, дворянка, бросилась ему в объятия так неожиданно и властно, что он не смел возразить. Она им завладела. Он был ей нужен каждый час, каждую минуту, днем и ночью. Она уверяла, что у него хороший вкус и что он умеет торговаться, и потому он вынужден был покупать ей пуговицы, нитки, пологно и мебель. Она таскала его по магазинам. Затем решила, что Людя должна больше учиться, и вместо одного часа он посвящал ей три, а если обед заставал его на середине занятий, его оставляли обедать. Она возила его на концерты и в театр, если муж был занят, и уверила мужа, что в компании с учителем ему лучше всего ловить рыбу. Он должен был слушать ее музыку, много музыки, хотя ничего не понимал в ней, а когда засиживался до позднего вечера, выходило так, что не только она, но и ее муж просили его переноче-

вать у них. Его укладывали в отдельной маленькой комнате, где когда-то жила бонна, и, отправляясь утром пить кофе, он снимал с одежды седой женский волос.

Приходя на занятия, Иван входил обычно в пустой, почти мертвый дом. Муж был на службе, Людя играла где-то в конце сада или у знакомых, прислуга не смела показаться в комнатах, а пани занималась туалетом. Она приоткрывала дверь третьей комнаты, своего будуара, выглядывала оттуда с распущенными волосами и оголенными руками и звала его к себе. Она целовала ему глаза, щеки, губы, пылко, без конца, щекотала распущенными волосами, которые пахли прогорклой помадой, обнимала голыми руками — голова у него шла кругом.

— Ивась... Ивашечко... Иванько... единственный, маленький, — стонала она между поцелуями... — ты мой повелитель, мой господин... кровь моего сердца, поэзия жизни... ты мой Ромео...

Потом она приказывала целовать ее, подставляла шею, плечи, высокую, хорошо сохранившуюся грудь, поднимала руки, чтобы он мог целовать подмышками, и нервно смеялась, когда он щекотал ее усами. Она поворачивалась во все стороны и глядела на него зеленоватыми глазами с красными веками, и морщинки на ее лице разглаживались от этих ласк. Затем она вынимала откуда-то из-под подушки сложенный в несколько раз лист бумаги и совала ему в руки торопливо и таинственно:

— На! это тебе.

По мелкому женскому почерку и по синим чернилам он угадывал, что это письмо от нее.

Занимаясь с Людей, он украдкой разворачивал это письмо и читал. Людя могла делать, что хотела.

Письмо прежде всего было очень большое, на пяти-шести страницах. Оно было написано в несколько старомодном цветистом стиле с аллегориями и длинными вымученными периодами. Кроме того, от него шел специфический запах прогорклой помады, оно носило пятнистые следы поцелуев, не аллегорических, а настоящих, отпечатанных на почтовой бумаге, присоединенных к нежным словам как иллюстрация. «Если бы ты заглянул в бездну моего чувства и, озаренный небесным светом любви...» «Я хотела бы вечно жить на твоей груди,

поселиться в ней и в несказанном счастье, в безумном блаженстве пить росу твоих поцелуев, целовать следы твоих ног, обнимать воздух, которым ты дышишь». «Ты мой повелитель, мой господин, моя жизнь и моя смерть...»

Она по меньшей мере дважды в день писала ему такие письма, совала ему в руку, передавала через Людю, вкладывала в карманы пальто и посылала по почте. Ящики его стола были переполнены письмами с синими строчками, специфическим запахом они насытили воздух его комнаты. На каждое письмо она упорно добивалась ответа, длинного, пылкого, полного неземного чувства и рыцарского духа. Она хотела. Он обязан был обнажать перед ней душу и украшал ее театральной шумихой, мучился, потел, но ничего не получалось. Если он не приносил отвеса или приносил короткий и бледный, она устраивала ему сцену, обзывала его бездарностью, мещанским убожеством, а потом падала на грудь, ласкала, вкладывала в карманы еще более длинные письма и одевалась в легкое платье, делавшее доступным ее тело. В приступах нежности она слюнила папиросы, какие без конца курила, втыкала ему в рот или вырывала у него папиросу для себя, и тогда ее зеленоватые с красными веками глаза окаймлялись лучистыми морщинками удовлетворения. Его мучила такая любовь, хотя одновременно и шекотала его гордость. Он больше всего боялся стать смешным в ее глазах; и вот теперь: «Вон!..» — и он пошел, как собака.

Пиддубный застонал, как раненый. Он сам виноват. Надо было что-то сделать. Но что? Побить? Нет. Бросить в лицо перчатку? Но у него не было ее с собою. Вызвать на поединок? Откуда он знает!

Глаза его случайно повернулись к окну, и он застонал от боли. Это окно его угнетало. Он встал с постели и опустил штору. Потом снова лег и закрыл голову подушкой. В груди гнездилось невыразимое, бесформенное недовольство. Голова пухла и становилась пустой. В ней лишь, как летние тени, проносились воспоминания, беспорядочные, бессвязные.

Она приходила к нему в комнату бонны. Целуй! И когда он слишком решительно подступал к ней, на нее нападал страх.

— Боюсь... боюсь, мой милый, я боюсь... — шептала она с ужасом в глазах и страдальческой складкой у губ, и отталкивала его от себя, и беспокойно оглядывалась по сторонам.

Ему нечего было бояться, и он не слушал ее. Тогда она пищала и билась, как муха в паутине, и эти институтские манеры немолодой женщины раздражали его.

— Ой! ах!.. милый, единственный... боюсь... кто-то идет... ой!..

И она убегала от него, вызвав в нем желания...

Порой она была просто жестокой. Она заставляла его целыми вечерами слушать музыку, главным образом классическую — Баха, Гайдна, Бетховена, — и после какой-нибудь фуги или симфонии, сыгранной с пониманием и экспрессией, резко поворачивалась к нему вместе со стулом и спрашивала с триумфом в глазах:

— Нравится тебе?

Он говорил что-то невнятное... Да... нет... видите...

Тогда она мерила его злыми глазами.

— Осел! Вы ничего не понимаете...

Сжимала губы и поворачивалась к нему полной спиной. Он сидел угнетенный и думал о том, что она говорит правду.

Она была капризной, пылкой, сентиментальной и старой. Своим поведением она напоминала ему старые французские романы.

«Папочка, не выгоняй пана Вана!..»

Он видел голые руки и длинные ноги под белой юбкой и этот умоляющий чистый взгляд детских глаз.

Зачем они сделали свидетелем домашней грязи эту чистую душу?

Как ненавидел он этого чиновника, красные пятна на его лице, его трясущуюся бороду и пискливый голос, ненавидел за то, что он муж его любовницы, ненавидел за свой позор, за свою трусость! С каким наслаждением он побил бы его, раздавил своим телом, задушил!..

Но что сказала бы она?

Мещанин!.. скандалист!..

Ей нужен декорум... поединок!

— Ну что же, пусть будет поединок!

Он говорит это вслух, садится на кровати и расширенными глазами смотрит в темноту.



И сразу встает перед ним картина поединка из какого-то романа. Зеленая полянка. Секунданты в цилиндрах. Он наводит пистолет... синий дымок, и пан Микола склоняется вниз, а сквозь белую рубашку течет красная струйка.

Пиддубный жмурится, дрожит и прячет голову в подушки. Нет, он не может этого! Не может!..

Он дрожит на кровати всем телом и не хочет думать о крови. Наконец его успокаивает мысль, что пан Микола не захотел бы с ним стреляться. Он чиновник, лойяльный чиновник. Он сразу бы донес в полицию. Это наверно... наверно так... А тогда еще хуже. Допросы, суд, полиция — он попал бы в смешное положение. Что же будет?

Пиддубный лежит долго один, в темноте, и думает под стук колотушки ночного сторожа.

— Ну, хорошо! — говорит Иван и снова садится на кровати. — Ты поступил по-свински. Влез в семью, взял чужую жену... Имей же смелость честно рассчитаться. Возьми ее. Возьми и свей свое гнездо... На свои десять копеек, которые остались в кармане, на свои скудные средства. А ребенок?

Что-то поднимается у него в груди и судорожным смехом вырывается из горла... Старуху... Обьедки... Нет!..

Его мысль все больше и больше склоняется к поединку. Он должен смыть кровью жгучий позор.

И снова картина.

Стреляются. Что-то острое, горячее пронизывает его тело в том месте, где живет чувство оскорбления, ему даже легче становится от этого — и он труп, и он герой!

Про него говорят, ему сочувствуют, его оплакивают, пишут ему длинные и нежные письма — бесконечные синие строчки на дорогой бумаге, которые он никогда не прочитает.

Сознание его раздваивается, и, видя все последствия своего поединка, он знает, что это фантазия, глупость, что он ни за что — вот ни за что! — не подставит лоб под дулю пистолета.

«Ме-щанство-о!» — прозвучал чужой голос в его ушах.

Он насилывал свою мысль и продолжал думать о поединке. Он представлял себе, что произойдет с ним, когда он будет мертвым. Прежде всего не будет

дышать — он перестал дышать и спокойно лежал. Кровь в жилах, холодная и густая, как студень, члены вытянуты, задеревенели и не сгибаются. Будто из папье-маше. В голове пустота... В груди пустота... Рот нельзя закрыть, из горла вырвать звук...

И в страстном импульсе жизни он выжал горлом короткий звук, ощупал свое тело и согнул руку.

Ф-фу! Он протестует!

Внезапно он вскочил на ноги. Блеснула счастливая идея. Она еще бесформенная, легкая и неуловимая, как ветер, и, пока она волновалась перед ним и струилась, будто летучий газ, он чувствовал, как из самой глубины его существа поднимались ничтожество, фальшь, компромиссы и глядели на него зелеными глазами, вились, как змеи, и кружили голову тяжелым зловонием.

Наконец он уловил эту идею — вот она!

Он вызовет его письмом на поединок; только это письмо должно будет пройти через руки Антонины, и она не допустит крайности ни с той, ни с другой стороны.

Он, почти веселый, вскочил на ноги.

Окно за шторой серело шестью светлыми пятнами; бледный, зимний свет проникал со двора в комнату. Начинало светать. Ночью выпал снег.

Пиддубный зажег свечу.

В каком духе написать письмо? Он не знал. Где-то были какие-то романы; там, наверное, можно найти. Он начал искать. Чорт! куда-то запропастились! А ну их! Он только знает, что подпишется: «С полным презрением». Ему пришла в голову чудесная мысль: «с полным презрением!»

«Милостивый государь!»

И — остановился! Мысли наполняли голову, фразы вытесняли их, было трудно. Наконец, зачеркивая и переписывая, он состряпал письмо:

«Милостивый государь! Вы вчера позволили себе тяжело оскорбить меня. Только кровь может смыть это оскорбление. Прошу Вас назначить время и место, куда я могу направить своих секундантов.

С полным презрением *Иван Пиддубный*».

Затем он зачеркнул «с презрением», написал «с уважением», переписал и адресовал: «Ее высокородию

госпоже Антонине Цюпа в собственные руки, для Миколы Цюпы».

Вот!

Было еще рано, половина восьмого. Цюпы же вставали около девяти. Пиддубный ходил по комнате и все поглядывал на часы. Время тянулось медленно. Наконец он набросил полушубок и вышел.

Много снега, тепло и солнечно. Снег засыпал землю, здания, опушил линии заборов, облепил стволы деревьев и ветки. Сквозь их белую сетку синеет ясное небо, а на снегу, на золоте солнца, дрожат синие тени. Солнце и воздух щекочат щеки, а хвоя зеленеет из-под снега так свежо, что кажется, на дворе стоит весна, одетая в белые ризы.

Пролетела ворона и села на забор.

Как передать письмо, чтобы оно попало в руки Антонине? Как бы не встретить пана Миколу, который иногда выходит из дому раньше.

Гонят стадо на бойню... целая груда рыжей шерсти, ног, рогатых голов.

Как хорошо дышится, — пьешь воздух, словно теплое молоко.

Солнце зажгло звезду на заснеженной ветке.

Письмо в кармане не дает ему покоя. Надо послать через кого-нибудь. Ей принесут... она выходит. Письмо? от кого? давай сюда... Ага!.. Изменяется в лице и несет мужу.

Безлюдная улица. Два ряда белых домов под белыми крышами, между ними снег. Дым взлетает в небо. Солдат бежит с корзинкой. «Эй! Солдат! Эй!..» Подходит... вытаращил глаза.

— Отнеси письмо... Вот туда, два окна видно. Отдай барыне в руки. Слышишь? Десять копеек получишь.

И он нащупал в кармане десять копеек.

Ходит по улице и ждет.

Солдат возвращается, кланяется.

— Самой барыне?

— В руки.

— На...

И возвращается к себе.

Что будет дальше, что будет дальше? Чем все кончится?

День длинный, бесконечный, тревожный. В полдень небо начинает улыбаться, каплет с крыш, и вся комната в золоте.

Ходит и думает.

Обед не лезет в горло, во рту сухо, голова тяжелая. Что будет дальше?

После обеда ложится в постель, холодный, равнодушный, одеревенелый, и ничего не ждет.

Будь что будет!

Серые тени гуляют по комнате, окно гаснет, расплывается, вечерний сумрак охватывает сердце. Вокруг никого и ничего.

Стук... стук...

К кому бы это?

— Можно?

Чей голос? Пиддубный дрожит и срывается с постели.

— Войдите.

Он... пан Микола. Голос охрипший, смотрит в сторону, не снимает шубы и не подает руки.

Садится.

Иван дрожащею рукою ищет спички и никак не может зажечь огонь.

— Не беспокойтесь, не надо.

Иван все чиркает спичками.

— Вы... вы... — хрипит пан Микола, — вы не сердитесь на меня — вчера я был пьян. Просто пьян, и больше ничего... больше ничего... Ну, а если пьян, вы понимаете...

Ага-а-а! Ну, конечно, он был пьян, пьян, как сапожник... больше ничего... больше ничего... Как это он не заметил, что пан Микола был пьян, как стоведерная бочка с водкой, как целая корчма баб... ха-ха!.. как этого он не заметил?

— Людя соскучилась без вас... приходите завтра на занятия и не вспоминайте того, что было между нами..

Ха-ха! Ах ты, пьянчуга, он был пьян, как... и больше ничего. Ну, он придет, конечно придет... ха-ха... Внутри у него все хохочет, все радуется, и он с охотой сдавил бы хрипкое горло этого господина, хотя старается не показать ни своей радости, ни своих желаний...

Хорошо, он придет... и больше ничего... ха-ха-ха!..

А про письмо ни слова! Свинья!..

Пиддубный выпался. Всю ночь спал как убитый. Около двенадцати он взял подмышку зонтик пана Микола и побежал на занятия.

Знакомое чувство учителя, который торопится на занятия, успокоило его. Только когда он вошел в переднюю и посмотрел на лестницу, по которой сбегал позавчера, и, в особенности, когда поставил зонтик в угол, воспоминания обдали его холодной водой и сковали свободу движений.

На пороге комнаты уже стояла Людя, подпрыгивала на своих длинных ногах и протягивала худенькие ручки к пану Вану.

— Пан Ван... пан Ван... — радостно пицала она и смотрела влюбленными, как у мамы, глазами.

Они сразу начали заниматься.

Все шло, как и раньше; даже в тот же час, как обычно, прервали их занятия и позвали обедать.

И вот он прошел по тем комнатам, по которым недавно уходил, и увидел столовую и круглый стол, и пана Миколу, и пани Антонину.

Пан Микола сухо пожал ему руку, пани Антонина казалась утомленной, но сияла и, улучив минуту, сунула ему в руку такую пачку бумаги, что он не знал, куда ее девать.

Обедали молча, хотя и пытались разговаривать. Пан Микола был вежлив, услужлив, может быть даже слишком. Он подвигал Ивану блюда и упрашивал, глядя куда-то мимо него:

— Кушайте... куш-шайте...

И это «ш-ш»... вырывалось у него с таким шипеньем, будто во рту было целое гнездо ос.

Иван еще не пришел в себя, он опустил глаза и ел, ел без конца, без памяти, с таким же усердием и самопожертвованием, с каким его просили.

Пани Антонина часто роняла салфетку и, наклоняясь за ней, щипала ногу Ивана.

Порой она клала его руку к себе на колени. Людя вздыхала и поднимала глаза к иконе:

— Благодарю тебя, боже милосердный!.. теперь все счастливы!..

8 февраля 1902 г.  
Чернигов

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**



# С Т И Х И М. М. КОЦЮБИНСКОГО

## НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ

Та свобода, что лишь в грёзах  
Вам зарей алеет,  
Пусть скорее к Вам примчится,  
Сердце обогреет,

[1886?]



[МАРУСЕ М.]

Как будто цветы, что морозом прибиты,  
Всё ниже и ниже головки склоняют,  
Как будто печалью и горем повиты,  
Напрасно от стужи лихой погибают, —

Так гибнет у нас молодежь: не успеют  
На свете пожить без беды и напасти,  
Глядишь — уж и черные кудри белеют,  
Глядишь — уж и сердце разбито на части.

Откуда ж берутся невзгоды лихие,  
Что тяжелой душой мы без сил цепенеем,  
И дни вереницей проходят пустые, —  
Иль землю мы божью любить не умеем?

Э, где там! Мы сердца горячим дыханьем,  
Любовью своею весь мир бы согрели,  
Мы место нашли бы и честным желаньям,  
Да сил нет! — печали и гнет одолели.

Вокруг нас неправда, нужда без просвета,  
Сжимается сердце от скорби и муки,  
Захочешь помочь — бесполезно и это:  
Коль разум не скован, — так скованы руки.

Такое-то, девушка милая, горе  
Всех добрых людей в этом мире морочит.  
Как пышно цветок ни расцвел бы, а вскоре  
Увянет, коль червь ненасытный подточит.

### МНОГОУВАЖАЕМОЙ Н. Г.

Коль звёздами очи у Вас засияют  
И счастье во взоре,  
А радости волны Вам сердце ласкают,  
Как лодочку в море,

Коль светлой судьбы и другому хотите,  
В минуту такую меня вспомните.  
Коль сердце, грустя, словно пленная птица,  
В груди затрепещет,

И вдруг на ресницах слеза загорится,  
Росою заблещет,  
И горем всю душу свою истомите,—  
Вы в думах меня и тогда вспомните.

Коль веру утрачу навек в свои силы  
И в горестной муке  
Я вдруг опущу, словно в темной могиле,  
Бессильные руки,

И горько над долей своей затоскую,—  
Могу ль о Вас вспомнить в минуту такую?

### МАРУСЕ Н.

Как встряхну старуху музу,  
И запоеет душа.  
Я знаю, милая Маруся  
Так хороша!

Она достоинств всех полна,  
Как месяц, лик ее сияет.  
Порой печальна и грустна,  
Порой бесенок в ней играет.

Грустна Маруся оттого,  
Что сердце спит еще в покое:  
Гляди, полюбит чуть кого —  
Печали снимет, как рукою!

Откуда шутки, смех возьмутся,  
Глаза огнями запылают,  
И песни девичьи польются, —  
Никто Маруси не узнает.

Совсем изменится Маруся,  
Вся радостью дыша, —  
И станет милая Маруся  
Так хороша!

### НАША ХАТКА

Наносим камней мы и глины нароем,  
Веселую хатку с сенями построим,  
А в хатке прорубим пошире оконце,  
Чтоб ярко сияло нам ясное солнце.

Мы крышу покроем снопами ржаными,  
Солому жгутами скрепив золотыми,  
Да аисту гнездышко сделаем сами,  
Чтоб нежно курлыкал себе над птенцами.

В сенях невысокие будут пороги,  
Чтоб нищие к нам заходили с дороги  
И в хате на лавках подолгу сидели,  
Про дива давнишние думы нам пели.

Мы садик посадим своими руками,  
Вкруг хатки лужайку украсим цветами  
И жито посеем за садиком, в поле,  
Чтоб хлебом насытились бедные вволю.

*29 марта 1890*

## ЗАВИСТЛИВЫЙ БРАТ

### *Народная сказка*

Сердится М а р т, не на шутку бушует,  
Деревья от ветра и стонут и гнутся;  
Землю с рассвета кропит он дождями,  
А ночью морозом лютым терзает.  
Тучами небо усеял так густо,  
Что некуда солнцу и глянуть на землю...  
Мчатся весенние воды рекою,  
Пути размывают и сносят плотины;  
Нежную ж зелень в дубравах и в поле  
Мокрыми хлопьями снег засыпает...  
Сердится М а р т... нынче сердце вещует,  
Что вскоре настанет с жизнью разлука, —  
А п р е л ю цветистому, меньшему брату,  
Землю ему уступить доведется.  
Зависть вползает змеей в его сердце,  
Дело недоброе он замышляет:  
Меньшего брата родного — А п р е л я —  
Без жалости хочет сжить он со света.  
В гости задумал он брата покликать  
И в речке его утопить по-злодейски.  
Так порешил — и чело просветлело,  
Как будто он доброе дело затеял.  
Мигом все тучи развеял по небу,  
А сам поклонился ясному солнцу:  
Просит у солнца он помощи с неба,  
Просит, чтоб веяли буйные ветры —  
Землю сушили, травой устилали,

Лес украшали густым первоцветом.  
Чуть только глянуло солнце на землю —  
Высохла грязь на тропинках повсюду,  
Птичка щебечет в небесной лазури,  
Зеленые травы встают из-под снега.  
Видит, что трудится солнце усердно,  
И птичек, летящих из тёплого края,  
Тотчас за А п р е л е м М а р т посылает:  
Пускай, мол, А п р е л ь соберется в гости.  
Тот, услышав приглашение брата:  
«Поеду!» — воскликнул голосом звонким,  
И радостью очи его засияли,  
Уж очень хотел он свидеться с братом.  
Стал он тотчас собираться в дорогу:  
Вмиг запрягает телегу; с собою  
Зелени вешней берет для лошадок,  
Богатый убор надевает зелёный.  
«Эй, ты куда это, братец, собрался?» —  
Послышался детский голос задорный.  
Вздрыгнул А п р е л ь, оглянулся в испуге  
И младшего брата, М а я, увидел.  
М а й был подростком надиво красивым:  
Как вешнее небо, глаза голубые,  
Соткан из нежных цветов и былинки  
Дивный наряд его благоуханный.  
В пышной короне у М а я росинки  
На солнце сверкают, как самоцветы;  
Речь поведет, словно звонкую песню  
Поет соловейко в тихой дубраве.  
М а ю А п р е л ь улыбнулся и молвил:  
«Собрался я братца М а р т а проведать!»  
М а й, как услышал, тотчас огорчился,  
Тучи темней стал, брови нахмурил.  
«Слушай-ка,— молвил он,— брат мой любимый,  
Хочу тебе давнюю тайну поведать:  
Матушка наша — Весна-чаровница,  
Бывало, головку моет иль чешет  
Кудри любимому младшему сыну,  
В теплую ль на ночь постельку уложит,—  
Жарко целует и, горько рыдая,  
Сквозь слезы мне молвит с горестным вздохом:  
«Трех родила вас на свет я, сыночек,

Соколов трех на несчастье второму:  
М а р т — самый старший — недобрый ребенок,  
Он с матерью дерзок, в сердце таит он  
Ненависть к меньшему брату — А п р е л ю.  
Боюсь я, сыночек, беды неминучей,  
Знаешь и сам, сколько силы у М а р т а.  
Ему ведь и ветры, и воды подвластны». —  
Будь осторожен, прошу тебя, братец,  
Возьми ты с собою лодку и сани,  
Чтоб безопаснее было в дороге,  
Тогда отправляйся к М а р т у без страха». —  
С братом А п р е л ь соглашается молча,  
Кладёт на телегу лодку и сани.  
Вот обнялись оба брата сердечно,  
Вот тронулись кони, и путник поехал.  
Резво лошадки бегут по дороге,  
Дорога просохла, пыль даже вьется.  
Озимь зеленая справа и слева  
Сверкает на солнце бархатом нежным,  
Ясное небо над ней голубеет,  
Внизу ж молодая стелется зелень.  
Птичка щебечет в весеннем просторе,  
Ох, счастье весны благодатной дожждаться!  
Радостно сердце А п р е л я трепещет,  
Из уст вылетает могучая песня,  
Льется над полем, над лесом, над рощей,  
К самому небу взметаются звуки.  
Долго уж едет так месяц счастливый,  
Как вдруг налетели черные тучи,  
Ясное небо задернули тьмою,  
Дождиком, снегом спустились на землю.  
Стужей повеяло, ветры завыли,  
Как дикие звери в чаще дремучей.  
Темень вокруг, развезло путь-дорогу,  
Лошади стали, в грязи по колено.  
Что это? Слышится рокот в долине,  
Всё ближе и ближе... вот заревело,  
Видно, как волны безумные мчатся, —  
То берег зеленый река затопляет.  
Видит А п р е л ь, что грозит ему гибель  
И быстро спускает на воду лодку,  
Сани с собою берет и лошадак,

Весла в могучих руках его гнутся,  
Речка бушует, кидаясь на лодку,  
Волны ревут, о борта разбиваясь,  
Льдины плывут отовсюду — огромны,  
Глаза залепляет снегом колючим.  
Борется бедный А п р е л ь с быстриную,  
Вертким ужом между льдинами вьется,  
Силы беднягу совсем оставляют,  
Но лодка с разгона врезалась в берег...  
«Будет!» — промолвил он, лоб утирая.  
Глядь — уже снегом поле покрыто,  
Об полы тут он ударил руками,  
Да нечего делать! — хуже не будет.  
В сани коней он впрягает и едет.  
Бредут по сугробу бедные кони,  
Метель заметает снегом дорогу,  
И в поле, что в пекле, ни зги не увидишь.  
Ночью мороз как ударил — тотчас же  
Инеем травы в телеге покрылись,  
Те, что А п р е л ь взял для корма лошадам.  
Дрожь самого до костей пронимает,  
Путник иззяб, весь дрожит он от стужи,  
Душу из тела мороз вытесняет.  
Но перед зорькой слегка потеплело,  
Снег начал таять, слякоть повсюду.  
Чуть на востоке зарделось небо  
И красными стали с краешков тучи,  
М а р т пробудился — несчастную землю,  
Свое королевство пошел озирать он.  
Стал на холме, опершись на дубинку,  
Вдаль устремивши гневные очи.  
Красный от ветра, а, может, от злости;  
Веснушками рыжими щеки покрыты;  
Свитка на нем вся изодрана, в дырах,  
По пояс забрызгана липкою грязью.  
Вместо короны — упрямые космы  
Торчат, как попало, растрепаны ветром.  
«Горе! На помощь! А п р е л ь уже едет!» —  
В отчаянье М а р т завопил, ну а после  
Как заскрежещет от гнева зубами!  
Испуганный ветер мигом улегся,  
Тучи со страхом умчались с неба.



И глянуло солнце с неба на братьев.  
Слушает Март, как Апрель к нему ехал,  
Как Май дал совет ему в путь снарядиться.  
Выслушал молча, а после как вскрикнет:  
— Эй, Май ненавистный, враг мой заклятый!  
Уж я оплачу тебе, братец любезный,  
Не раз и не два еще вспомнишь о Марте!.. —  
Крикнул и в белый туман превратился,  
Исчез во владениях тучи косматой,  
Меньшему брату — Апрелью — в наследство  
Свое королевство — землю оставив.  
Март и поныне злится на брата:  
Тайком заберется в сад на рассвете,  
Так приморозит цветы в нем и травы,  
Что долго Май бедный плачет росюю.

[23 марта 1892 г.  
с. Лопатинцы]

## В Е Ч Е Р

Уж солнце заходит — оно утомилось  
И ласково с небом лазурным простилось,  
Сиянием розовым мир озарило,  
В свой терем подземный уйти заспешило.  
Уж силы у резвого ветра не стало,  
Широкие крылья сложил он устало,  
И вербы в богатом уборе зеленом  
Уже задремали над озером сонным  
И слышат — не слышат, как птичка хлопочет,  
Птенцов усыпить своей песенкой хочет...  
Тесовые вдруг заскрипели ворота:  
Мать с поля идет — завершилась работа,  
Набит лопухами мешок ее плотно —  
Корова голодная съест их охотно...  
Заблеяли овцы... Пыль облаком встала...  
Сестренка домой уже стадо пригнала,  
Матуся корову доить начинает,—  
Давно детвора молока ожидает...  
А в хате бабуся у печки хлопочет,  
Кулеш в чугулке перед нею клокочет,  
По стенам от пламени мечутся блики, —  
Лицо у бабуси красней земляники.  
Стемнело уже, тишина наступает,  
Звезда, словно искорка, в небе мерцает,  
Лягушки запели в болоте гурьбою,  
Туман за клубился над тихой водою,

А к беленькой хатке по стёжке знакомой  
Шагает сон-братец с сестрицею-дремой,  
Что к детям приходят, чтоб сны им навеять  
И словно бы медом ресницы им склеить.

[1892 г.]

[К ЖЕНЕ]

В тихом движении воздуха чистого  
Словно твой образ ко мне приближается,  
Ширь белопенная моря волнистого —  
Будто бы грудь твоя ровно вздымается.

Тополь листвою зашумит говорливою —  
Шопот твой милый и ласковый слышится;  
Долю свою называю счастливою, —  
Друг мой, тобою душа не надышется.

Ты, ненаглядная, — юга сияние,  
Месяц мой ясный, звездочка скромная,  
Ты — моя радость и горе-терзание,  
День мой лучистый и ноченька темная.

*15 декабря 1897 г.*  
Житомир



## ПРИМЕЧАНИЯ<sup>1</sup>

### АНДРИЙ СОЛОВЕЙКО, ИЛИ УЧЕНЬЕ СВЕТА, А НЕУЧЕНЬЕ ТЬМА

Рассказ впервые опубликован в 1924 г. в III книге сборника «Украина» (издание Украинской Академии наук в Киеве).

Даем перевод эпиграфа к первой главе

(стр. 35):

За что, не знаю, называют  
Мужичью хату божьим раем...  
Там, в хате, мучился и я,  
Там первая слеза моя  
Когда-то пролилась! Не знаю,  
Найдется ли у бога зло,  
Что в этой хате не жило?  
А хату раем называют!

(Перевод А. Глобы)

*Недолюд* (эпиграф к третьей главе) — недостойный имени человека.

### 21-го НОЯБРЯ НА ВВЕДЕНИЕ

Рассказ впервые напечатан в сборнике «Украина» (1924, кн. IV).

---

<sup>1</sup> Здесь даны примечания редакции; примечания М. М. Коцюбинского помещены в тексте.

## НЮРЕНБЕРГСКОЕ ЯЙЦО

Впервые напечатано во львовском детском журнале «Дзвінок» (1891, № 15).

### ХАРИТЯ

Впервые опубликовано в журнале «Дзвінок» (1891, № 16).

### НА ВЕРУ

Повесть впервые напечатана во львовском журнале «Правда» (1892, VIII, IX, X).

В архиве М. М. Коцюбинского, кроме черновой рукописи повести, сохраняется перевод ее на русский язык; к русскому тексту автором даны следующие пояснения о «жизни на веру».

«Под таким названием известны в Подольской губернии (а также в Киевской и Волынской, в Галиции) гражданские сожительства в крестьянском быту. Много различных условий и причин вызывают это явление. Чаще всего живут «на віру» в том случае, когда канонические преграды мешают легализации брака, а экономические условия побуждают к совместному сожительству. Так, например, крестьянин, похоронивший трех жен, для поддержания хозяйства, для сохранения обычного течения семейной жизни, с которой он свыкся, ищет себе подругу и находит ее обыкновенно в лице вдовы, похоронившей трех мужей, или в лице бобылки, брошенной мужем. У более молодых причиной вступления в гражданский брак часто бывает неудачная женитьба, невозможность ужиться с мужем или женой при влечении к другому лицу. Контингент живущих «на віру» с женской стороны пополняется в значительной мере «покрытками», желающими как-нибудь пристроиться, а с мужской — зашлым людом, быть может оставившим свои семейства на родине. (В особенности по селам, где существуют сахарные заводы.) Несмотря, однако, на распространенность описываемого явления, мне никогда не приходилось встречать или даже слышать о гражданском сожительстве между холостой молодежью.

Словом, жизнь ставит много задач, которые так или иначе нужно решить, а крестьянская находчивость, не обинуясь, рассекает гордиев узел, если его нельзя развязать.

О распространенности сожителства «на віру», о территории, которую захватило это явление, точных сведений не имею. В Подольской же губернии мне приходилось встречать села, где насчитывают более десяти семейств, живущих «на віру». В Киевской губернии, на Волыни, в Галиции тоже известны подобные факты. По всей вероятности, можно встретить их на левой стороне Днепра (так в Черниговской губ., Сосницький уезд); жена, бросившая мужа, называется «покидачкою», а если сойдется с другим — «приставакою».

Практиковались ли сожителства «на віру» в прежние времена, или же представляют наслоение новейшего времени — определить с точностью трудно. По народным рассказам, раньше реже встречались невенчаные, чем теперь. Г. Рыльский в статье «К изучению украинского народного мировоззрения» (Киевская старина, т. XXXI, 1890), слегка касаясь интересующего нас вопроса, решение суда, где обвиняются живущие «на віру», помечает 1864 годом. По всей вероятности, жили и раньше вне брака.

Не буду разбирать описываемого явления со стороны этической, замечу только, что сами крестьяне относятся к нему с полной терпимостью, особенно в том случае, когда оно является необходимым следствием экономических условий крестьянского быта.

Предлагаемая повесть была напечатана на украинском языке в одном из галицких журналов (август, сентябрь и октябрь 1892) с предисловием от редакции, которая видит причину распространенности нелегальных браков в упадке нравственности и религиозном индифферентизме среди украинского крестьянства.

(Стр. 117)

*Очипок* — головной убор замужней женщины, вроде чепца. Под очипком замужние женщины носят «кичку» — кольцеобразный валик из пакли, шерсти или гаруса, иногда обшитый холстом.

(Стр. 125)

*Удівонька* — вдовушка.

## ЕЛОЧКА

Впервые рассказ напечатан в журнале «Дзвінок» (1891, № 24).



## ПЯТИЗЛОТНИК

Рассказ впервые напечатан во львовском журнале «Зоря» (1893, № 23).

*Пятизлотник* — монета в 75 копеек.

## ЦЕПОВЯЗ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Зоря» (1893, № 17 и 18).

*Цеповяз* — делающий цепи. Здесь ироническое: темный мужик.

(Стр. 162)

*Шнур* — мера длины (около 45 метров).

*Катенька* — обиходное название сторублевого кредитного билета. На кредитке была изображена императрица Екатерина.

(Стр. 163)

*Морг* — мера площади, равная приблизительно 0,6 гектара.

(Стр. 174)

*Синенькая* — обиходное название пятирублевой кредитки.

(Стр. 185)

*Магазея* — общественный амбар.

(Стр. 185)

«И тогда не скажу...» — после этих слов в журнале «Зоря» и во всех последующих изданиях этого рассказа было: «Становой удивленным взглядом смерил Семена с головы до ног, словно не ожидал такого упорства.

— Тут пришел ответ на твое прошение, — сказал он, наконец, наклонившись над столом и разбираясь в бумагах.

У Семена захватило дыхание. В голове роем заворошились разнообразные мысли, опережая смысл ответа, глаза беспокойно следили за движением пальцев становой, шелестевших бумагой. В шелесте этом почудилось Семену: «Приезжай, расскажи свою тайну...» Страх охватил его. Семен чувствовал, что не выдержит долгого напряжения, в каком находились его нервы...

А становой, как нарочно, неторопливо перекладывал бумаги, словно позабыв о Семене.

— Пришел ответ, — повторил, наконец, становой. — Приказано объявить тебе, что прошение твое оставлено без последствия.

— Как это... без последствия? — не понял Семен.

— А так... признали, значит, что оно не основательное, не стоит внимания, и указали мне известить тебя об этом.

— Так и стоит в той бумаге?

— Так и стоит, — усмехнулся становой. — Ну, чего еще ждешь? Узнал и иди себе с богом! — прибавил он.

Но Семен не пошевелинулся и все смотрел на станowego широко раскрытыми глазами, полными испуга, горя и отчаяния.

— Сотский! — крикнул становой, встревоженный подозрительным взглядом Семена.

Вбежал сотский.

— Ты знаешь этого человека?

— Знаю, ваше благородие... Ведь это Семен Ворон, из нашего села...

— Как он там у вас... у него все дома? — становой повертел пальцем около лба. — Лишнего, порой, в голове не бывает? А?

— Нет, ваше благородие, не замечали... Человек спокойный.

— Ну, идите с богом.

— Идем, — дернул сотский Семена, отворяя дверь.

Семен вышел из канцелярии и нервной походкой, с шапкой в руках, почти бессознательно шел по дороге. Он шел, не замечая, что идет не к дому, а куда глаза глядят. В ушах его все звучало «без последствия», «без последствия...» и словно колотушкой било по голове. Он чувствовал, что у него что-то жжет глубоко, под сердцем. Остановился...» и т. д.

Коцюбинский дал этот вариант встречи Семена со становым по просьбе редактора «Зори», сославшегося на требование цензуры. Коцюбинский писал редактору «Зори»:

«Станового сделал не волком, а слабой овечкой и уверен, что с точки зрения цензуры мой становой будет считаться идеалом

станового в беллетристике». (Музей М. Коцюбинского в Чернигове. Сборник № 2, Чернигов, 1940, стр. 12 Цитируем письмо в переводе.) Нами дана первоначальная редакция повести.

### МАЛЕНЬКИЙ ГРЕШНИК

Рассказ впервые напечатан в журнале «Дзвінок» (1893, № 15—16).

### ОТОМСТИЛ

Очерк впервые опубликован в журнале «Зоря» (1894, № 2).

(Стр. 206)

*Диграбе!* (молдав.) — Поскорей!

### ХО

Сказка «Хо» впервые появилась в журнале «Зоря» (1894, № 24).

(Стр. 216)

*Хлопские дети* — мужицкие дети.

(Стр. 236)

*Ви тут заважаєте* — вы тут мешаете.

### НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Зоря» (1895, № 22).

(Стр. 242)

*Ярма наривайте* — ярма надевайте (на волов).

*Воли ремигають* — волы жуют жвачку.

(Стр. 243)

*Пригодонька* — приключеньце, несчастье; здесь — го-  
рошко.

(Стр. 243)

*Вага* — шест для подъема повозок.

(Стр. 244)

*Притыки* — палки, прикрепляющие ярмо к дышлу.

(Стр. 245)

*Гай* — рошча.

## ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

Впервые опубликован в журнале «Зоря» (1896, №№ 1, 2, 3, 4, 6). Рассказ отмечен премией на конкурсе журнала «Зоря». В 1896 г. издан отдельной книгой во Львове. Книга в царской России была запрещена. Приводим в связи с этим письмо С.-Петербургского цензурного комитета Главному управлению по делам печати.

«Канцелярия Главного управления по делам печати за № 9236 препроводила в С.-Петербургский Цензурный комитет для рассмотрения в цензурном отношении брошюру, изданную во Львове в 1896 г. на русинском языке, вполне подходящем к малороссийскому, под заглавием: «Для загального добра» (Для общей пользы). Оповіданне Михайла Коцюбинського. Виданне Василя Лукича».

Цензор граф Головин доложил Комитету о содержании брошюры следующее:

«Молдаван Замфир Нерон все свои надежды, для прокормления себя и семьи, возлагает на роскошный урожай винограда. Но ходят слухи, что в той местности появилась филлоксера и что для борьбы с нею явятся «дохтора», как называет их народ, которые будут уничтожать зараженные кусты. Молдаване, и в том числе Замфир, страшно волнуются и готовятся защищать свое имущество с оружием в руках. Комиссия действительно приезжает, и виноградник Замфира оказывается настолько зараженным, что его весь приходится выжечь. Замфир и жена его так подавлены этим происшествием, что первая принимается есть филлоксеру, проклиная членов комиссии, а Замфира силой приходится увести с виноградника. Он впадает в мрачное отчаяние и приводит к Тиховичу, одному из членов комиссии, своего отца, полупомешанного старика, требуя, чтобы Тихович его кормил, так как семья совсем

обнищала. Тиховичу едва удается отделаться от старика при помощи священника, который и сам не сочувствует действиям филлоксерной комиссии. Жена Замфира умирает от отчаяния.

Брошюра эта написана весьма популярно и, очевидно, предназначена для народного чтения. Но в душе крестьянина она может возбудить только ненависть к властям, действующим на его пользу, так как, по брошюре, последствия стараний комиссии оказываются ужасными: расстраивается целая семья. Кроме того, и правописание брошюры не соответствует правилам, установленным в России для произведений на малороссийском наречии. Ввиду этого цензор не признает возможным дозволить брошюру к распространению в России.

Соглашаясь с изложенным мнением цензора о неудобности допущения к обращению в России этой небольшой, предназначенной, очевидно, для народного чтения заграничной брошюры, напечатанной притом без соблюдения установленного правописания, С.-Петербургский Цензурный комитет имеет честь представить о сем на благоусмотрение Главного управления по делам печати своей брошюры».

На письме резолюция: «Запретить».

(Стр. 272)

*Коли б мені зранку...* — Даем прозаический перевод песни: «Если б мне с утра водки стакан... Табаку да трубку, девушку Ганнульку, — водку пил бы, трубочку курил бы, девушку Ганнульку к сердцу прижимал бы».

## ПЕ-КОПТЬОР

Очерк впервые напечатан в журнале «Зоря» (1896, № 22).

(Стр. 305)

*Комниця* — высокий и узкий плетенный из прутьев амбарчик, в который ссыпают кукурузу в початках.

(Стр. 308)

*Фрундзу верди семиногу...* — зеленые листья бессмертника всюду хорошо.

(Стр. 312)

*Русешти* — по-русски.

## ПОСОЛ ЧЕРНОГО ЦАРЯ

Рассказ впервые опубликован в львовском журнале «Житте і слово» (1897, кн. II), выходившем под редакцией Ивана Франко.

## ВЕДЬМА

Впервые напечатано в журнале «Літературно-науковий вісник» (1914, кн. IV), выходившем тогда в Киеве.

(Стр. 335)

*Валев* — ой!

*Матуша* (молдав.) — тетка.

(Стр. 340)

*Джок* — танец.

## В СЕТЯХ ШАЙТАНА

Впервые опубликован в сборнике рассказов М. Коцюбинского «В путях шайтана й інші оповідання» (Львов, 1899).

## ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Впервые напечатан в сборнике рассказов М. Коцюбинского «По-людському» (Львов, 1900).

## КУКОЛКА

Этюд «Куколка» впервые напечатан в альманахе «Дубове листя» (Киев, 1903) со значительными цензурными купюрами.

## ДОРОГОЙ ЦЕНОЮ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Киевская старина» (1902, кн. I).

В библиотеке Коцюбинского сохранились книги, которыми он пользовался, работая над этим рассказом:

1. Лупулеску. «Русские колонии в Добрудже (историко-этнографический очерк)», Киевская старина, 1899, кн. I, III.
2. Кондратович, Ф. «Задунайская Сечь по местным воспоминаниям и рассказам», Киевская старина, 1883, кн. I, II и IV.
3. Зашука, А. «Бессарабская область. Материалы для географии и статистики России». СПб., т. II.
4. «Записки южно-русского крестьянина», «Устой», 1882, кн. II.
5. Костомаров, Н. И. «Мазепа и мазепинцы». Исторические монографии. СПб, 1885.

(Стр. 415)

*Хлопы (польск.)* — мужики.

(Стр. 416)

*Черный шлях* — «Черный шлях (чумацкий), — пишет Коцюбинский в своих заметках, — начинался на Вольни, оттуда шел на Умань, а оттуда тайными тропинками, глубокими оврагами и берегами степных рек проходил до Балты, дальше до Ольвиополя и, наконец, до Никитской переправы на Днепре».

## НА КАМНЕ

Впервые напечатан в журнале «Літературно-науковий вісник» (Львов, 1902, кн. IX).

(Стр. 472)

«*Каймак*» — так в Крыму называли не только сливки, но и пенку на кофе.

## ПОЕДИНОК

Впервые опубликован в книге «Літературний збірник на спомини Ол. Кониського» — украинского писателя и биографа Т. Шевченко (Киев, 1903).

В заметках Коцюбинского находим список действующих лиц этого рассказа с указанием их возраста.

*Она — Антонина — 40 лет.*

*Дочка — Людя — 11.*

*Он — Микола Цюпа — 53 г.*

*Учитель Иван Тулубинский<sup>1</sup> — 22.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ. СТИХИ М. КОЦЮБИНСКОГО

При жизни Коцюбинского были напечатаны в журнале «Дзвінок» ст.ст. «Наша хатка» (1890, № 8) и «Завистливый брат» (1892, № 9), а стихотворение «Вечер» — в выходившем во Львове издании «Ілюстрована бібліотека для молодіжі, міщан і селян» (1892, кн. IV).

Остальные стихи публиковались в различных изданиях Украинской Академии наук: «Новогоднее пожелание», «Марусе М.», «Многоуважаемой Н. Г.» в записках историко-филологического отдела УАН (Киев, 1927, кн. XV), а «Марусе М.» — в сборнике «Украина» (1926, кн. I) и «К`жене» там же (1927, кн. III).

---

<sup>1</sup> Пиддубный.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции . . . . .	5
Жизнь и творчество М. М. Коцюбинского — С. Шаховский	7

### П О В Е С Т И И Р А С С К А З Ы

Андрей Соловейко, или ученье свет, а неученье тьма. <i>Перевод Р. Скоморовского</i> . . . . .	36
21-го ноября, на Введение. <i>Перевод Р. Скоморовского</i> . . . . .	54
Нюрнбергское яйцо. <i>Перевод А. Островского</i> . . . . .	59
Харитя. <i>Перевод А. Островского</i> . . . . .	64
На веру. <i>Перевод Р. Скоморовского</i> . . . . .	71
Елочка. <i>Перевод А. Дейча</i> . . . . .	133
Пятизлотник. <i>Перевод А. Дейча</i> . . . . .	143
Цеповяз. <i>Перевод А. Деева</i> . . . . .	153
Маленький грешник. <i>Перевод И. Дорбы</i> . . . . .	188
Отомстил. <i>Перевод И. Дорбы</i> . . . . .	196
Хо. <i>Перевод А. Деева</i> . . . . .	208
На крыльях песни. <i>Перевод А. Дейча</i> . . . . .	239
Для общего блага. <i>Перевод Е. Нежинцева</i> . . . . .	249
Пе-коптьор. <i>Перевод А. Островского</i> . . . . .	299
Посол черного царя. <i>Перевод Т. Белогорской</i> . . . . .	322
Ведьма. <i>Перевод Е. Егоровой</i> . . . . .	333
В сетях шайтана. <i>Перевод Е. Нежинцева</i> . . . . .	357
По-человечески. <i>Перевод А. Островского</i> . . . . .	370
Куколка. <i>Перевод Е. Егоровой</i> . . . . .	382
Дорогой ценю. <i>Перевод Н. Ушакова</i> . . . . .	413
На камне. <i>Перевод Е. Нежинцева</i> . . . . .	442
Поединок. <i>Перевод Е. Нежинцева</i> . . . . .	488

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Стихи М. М. Коцюбинского в переводах Т. Волгиной:*

Новогоднее пожелание . . . . .	501
[Марусе М.] . . . . .	502
Многоуважаемой Н. Г. . . . .	503
Марусе Н. . . . .	504
Наша хатка . . . . .	505
Завистливый брат . . . . .	506
Вечер . . . . .	511
[К жене] . . . . .	513
П р и м е ч а н и я . . . . .	515

Переплет и титул художника  
*И. Костылева*

\*

Редактор *Е. Цинговатова*  
Худож. редактор *Н. Мухин*  
Технический редактор *М. Позднякова*  
Корректоры *В. Брагина* и *Т. Рощина*

\*

Сдано в набор 25/X 1950 г.  
Подписано к печати 15/II 1951 г.  
А00223. Тираж 30000. Бумага 84×108<sup>1/32</sup>  
8,2 бум. л. 27,06 печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 25,7.  
Цена 10 р. Зак. 1753.

\*

20-я типография „Союзполиграфпрома“  
Главполиграфиздата  
при Совете Министров СССР.  
Москва, Ново-Алексеевская, 52.



О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
353	14 сн.	Голчана	Галчана
387	17—18 св.	родственниками	родственниками
522	4 сн.	кошница	кошница
526	3 сн.	36	35
526	3 сн.	136	135
526	2 сн.	442	472

*М. Коцюбинский. Собр. соч., т. I.*